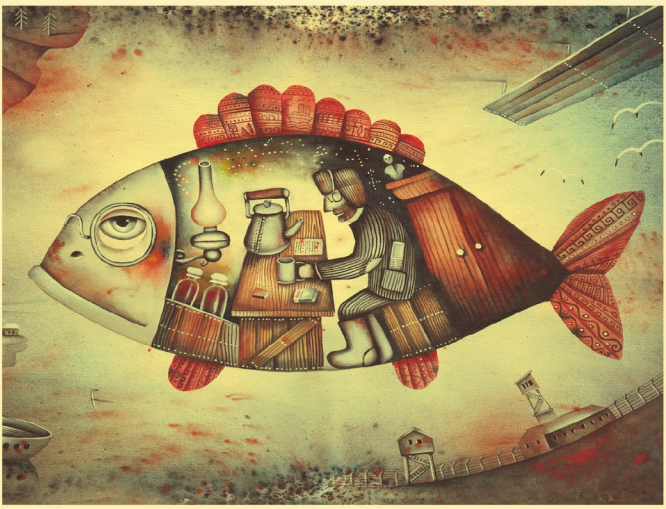

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

АСТАФЬЕВ

ЦАРЬ-РЫБА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

русская классика

Царь-рыба

Виктор Петрович Астафьев

Аннотация
Виктор Петрович Астафьев. Царь-рыба
Часть первая
- Бойе
- Капля
- Не хватает сердца
- Дамка
- У золотой карги
- Рыбак Грохотало
- Царь-рыба
- Летит черное перо

Часть вторая
- Уха на Боганиде
- Поминки
- Туруханская лилия
- Сон о белых горах
- Нет мне ответа

Аннотация

Некогда старый рыбак наставлял деревенскую молодежь, рассказывая ей старинную притчу о гигантской «царь-рыбе», обитающей в местных водах: «А ежли у вас, робяты, за душой што есть, тяжкий грех, срам какой, варначество – не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды – отпушшайте сразу».

Однако какой грех может быть на душе у зажиточного «крепкого хозяина» Игнатьича, которого все село уважает за ум и сноровку, честность и готовность прийти на помощь ближним? Почему ему встреча с таинственной «царь-рыбой» может стоить жизни? В страшные минуты борьбы со смертью Игнатьичу предстоит заново переосмыслить все свое прошлое и, если он хочет избежать гибели, понять, в чем он все-таки согрешил перед Богом и людьми.

Виктор Петрович Астафьев
Царь-рыба

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

Николай Рубцов

Если мы будем себя вести как следует, то мы, растения и животные, будем существовать в течение миллиардов лет, потому что на солнце есть большие запасы топлива и его расход прекрасно регулируется.

Халдор Шепли

© Астафьев В.П., наследники, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Часть первая

Бойе

По своей воле и охоте редко уже мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки — много родни, много друзей и знакомцев — это хорошо, много любви за жизнь получишь и отдашь, да хорошо, пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом…

Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм, выслушивать не одни причитания. Случались счастливые часы и ночи у костра на берегу реки, подрагивающей огнями бакенов, до дна пробитой золотыми каплями звезд; слушать не только плеск волн, шум ветра, гул тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному открытых, рассказы, откровения, воспоминания до темнозори, а то и до утра, занимающегося спокойным светом за дальними перевалами, пока из ничего не возникнут, не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, тяжелыми, язык неповоротлив, и огонек притухнет, и все в природе обретет ту долгожданную миротвор-

ность, когда слышно лишь младенчески чистую душу ее. В такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязной тайной радостью ощутишь: можно и нужно наконец-то довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под росою, уснешь легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего перебора у летней воды, с вечера хранящей парное тепло, улыбнешься давно забытому чувству — так вот вольно было тебе, когда ты никакими еще воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему, прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя…

Но так уж устроен человек: пока он жив — растревоженно работают его сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но и память о тех, кто встречался на росстанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости.

…Тогда еще действовали орденские проездные

билеты, и, получив наградные деньги, скопившиеся за войну, я отправился в Игарку, чтобы вывезти из Заполярья бабушку из Сисима.

Дядья мои Ваня и Вася погибли на войне, Костька служил во флоте на Севере, бабушка из Сисима жила в домработницах у заведующей портовым магазином, женщины доброй, но плодовитой, смертельно устала от детей, вот и просила меня письмом вызволить ее с Севера, от чужих, пусть и добрых, людей.

Я многого ждал от той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось все же то, что высадился я с парохода в момент, когда в Игарке опять что-то горело, и мне показалось, никуда я не уезжал, не промелькнули многие годы, все как стояло, так и стоит на месте, вон даже такой привычный пожар полыхает, не вызывая разлада в жизни города, не производит сбоя в ритме работы. Лишь ближе к пожару толпился и бегал кой-какой народ, гудели красные машины, по заведенному здесь обычаю качая воду из лыв и озерин, расположенных меж домов и улиц, громко трещала, клубилась черным дымом постройка, к полному моему удивлению оказавшаяся рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка из Сисима.

Хозяев дома не оказалось. Бабушка из Сисима в слезах пребывала и в панике: соседи начали на всякий случай выносить имущество из квартир, а она не смела — не свое добро-то, вдруг чего потеряется?..

Ни обопнуться, ни расцеловаться, ни всплакнуть, блюдя обычай, мы не успели. Я с ходу принялся увязывать чужое имущество. Но скоро распахнулась дверь, через порог рухнула тучная женщина, доползла на четвереньках до шкафчика, глотнула валерьянки прямо из пузырька, отдышалась маленько и слабым мановением руки указала прекратить подготовку к эвакуации: на улице успокоительно забрякали в пожарный колокол — чему надо сгореть, то сгорело, пожар, слава Богу, на соседние помещения не перекинулся, машины разъезжались, оставив одну, дежурную, из которой неспешно поливали чадящие головешки. Вокруг пожарища стояли молчаливые, ко всему привычные горожане, и только сажей перепачканная плоскоспинная старуха, держа за ручку спасенную поперечную пилу, голосила по кому-то или по чему-то.

Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною для его роста и национальности продувной рожей и характером. Мы

с ним и с хозяйкою крепко выпили. Я погрузился в воспоминания о войне, хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, но безо всякой, впрочем, злости, что у него тоже были и награды, и чины, да вот сплыли.

Назавтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в Медвежьем логу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюзжала под нос: «Мало имя меня, дак ишшо и пальня сплатируют!» Но я пилил дрова в охотку, мы перешучивались с хозяином, собирались идти обедать, как появилась по-над логом бабушка из Сисима, обшарила низину не совсем еще выплаканными глазами и, обнаружив нас, потащилась вниз, хватаясь за ветки. За нею плелся худенький, тревожно знакомый мне паренек в кепочке-восьмиклинке, в оборками висящих на нем штанах. Он смущенно и приветно мне улыбался. Бабушка из Сисима сказала по-библейски:

— Это брат твой.

— Колька!

Да, это был тот самый малый, что, еще не научившись ходить, умел уже материться и с которым однажды чуть не сгорели мы в руинах старого игарского драмтеатра.

Отношения мои после возвращения из детдома

в лоно родимой семьи опять не сложились. Видит Бог, я пытался их сложить, какое-то время был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребятишками — папа, как и прежде, пропивал все до копейки и, следуя вольным законам бродяг, куролесил по свету, не заботясь о детях и доме.

Кроме Кольки, был уже в семье и Толька, а третий, как явствует из популярной современной песни, хочет он того или не хочет, «должен уйти», хотя в любом возрасте, на семнадцатом же году особенно страшно уходить на все четыре стороны — мальчишка не переборол еще себя, парень не взял над ним власти — возраст перепутный, неустойчивый. В эти годы парни, да и девки тоже совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков.

Но я ушел. Навсегда. Чтоб не быть «громоотводом», в который всаживалась вся пустая и огненная энергия гулевого папы и год от года все более дичающей, необузданной в гневе мачехи, ушел, но тихо помнил: есть у меня какие-никакие родители, главное, ребята, братья и сестры, Колька сообщил — уже пятеро! Трое парней и две девочки. Парни довоенного производства, девочки создались после того, как, повоевав под

Сталинградом в составе тридцать пятой дивизии в должности командира сорокапятки, папа, по ранению в удалую голову, был комиссован домой.

Я возгорелся желанием повидать братьев и сестер, да, что скрывать, и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сисима со вздохом напутствовала меня:

— Съезди, съезди… отец всеш-ки, подивуйся, штоб самому эким не быть…

Работал папа десятником на дровозаготовках, в пятидесяти верстах от Игарки, возле станка Сушково. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте «Игарец». Весь он дымился, дребезжал железом, труба, привязанная врастяжку проволоками, ходуном ходила, того и гляди отвалится; от кормы до носа «Игарец» пропах рыбой, лебедка, якорь, труба, кнехты, каждая доска, гвоздь и вроде бы даже мотор, открыто шлепающий на грибы похожими клапанами, непобедимо воняли рыбой. Мы лежали с Колькой на мягких белых неводах, сваленных в трюм. Между дощаным настилом и разъеденным солью днищем бота хлюпала и порой выплескивалась ржавая вода, засоренная ослизлой рыбьей мелочью, кишками, патрубок помпы забивало чешуей рыбы, она не успевала откачивать воду, бот в повороте кренило набок, и

долго он так шел, натужно гукая, пытаясь выправиться на брюхо, а я слушал брата. Но что нового он мог мне рассказать о нашей семейке? Все как было, так и есть, и потому я больше слушал не его, а машину, бот, и теперь только начинал понимать, что времени все же минуло немало, что я вырос и, видать, окончательно отделился от всего, что я видел и слышал в Игарке, что вижу и слышу на пути в Сушково. А тут еще «Игарец» булькал, содрогался, старчески тяжело выполнял привычную свою работу, и так жаль было мне эту вонючую посудину.

Я раскаиваться начал, что поехал в Сушково, но дрогнуло, затрепыхалось сердце, когда возле одиноко и плоско стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов-бабочек под чутко и часто шмыгающим носом. Нет, пока еще никто и ничто не отменило, не побороло в нас чувство, занимающее место в сердце помимо нашей воли. Сердце прежде меня почуяло, узнало родителя! Чуть в стороне, на зеленом приплеске, топталась все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке, навстречу боту «Игарец», в изнеможении остановившемуся на якоре, но все еще продолжающему

дымить во все дыры, взбивая желтенький дымок пересеянного ветрами песка, мчались ребятишки, обутые и одетые кто во что, за ними с лаем неслась белая собака…

Телеграммы в Сушково мы не давали, да она сюда и не дошла бы, Коля, ездивший поступать в игарскую школу и там случайно подцепивший меня, выскочил на берег и, частя, захлебываясь, кричал, показывая на трап:

— Папка! Папка! Гляди, кого я привез-то!..

Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг, легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня, для чего ему пришлось подняться на цыпочки, неумело поцеловал, чем смутил меня изрядно — последний раз он облобызал родное чадо лет четырнадцать назад, возвратившись с великой стройки Беломорканала.

— Живой! Слава Богу, живой! — По лицу родителя катились слабые, частые слезы. — А мне кто-то о тебе писал или сказывал, будто погиб на фронте, пропал без вести, ли чё ли…

Вот так вот: «не то погиб, не то пропал без вести, ли чё ли…» Эх, папа! Папа!..

Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места, лишь чаще и

встревоженней дергалась ее голова.

Я подошел, поцеловал ее в щеку.

— А мы правда думали, пропал, — сказала она. И не понять было, сожалеет или радуется.

— Я женат. У меня своя семья. Заехал повидаться, — поспешил я успокоить родителей и, почувствовав ихнее да и свое облегчение, обругал себя: «Все ищешь, недотыка, то, чего не терял!»

Ребятишки, лесные, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, как водится, и прилипли, показывали удочки, самопалы, тащили на реку и в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным каждому человеку, родне же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кобель по кличке Бойе. Бойе или Байе — по-эвенкийски «друг». Коля кликал собаку по-своему — Бое, и потому как частил словами, в лесу звучало сплошняком «ё-ё-ё-о-о-о».

Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно золой припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бойе не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудро-спокойных, что-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак и особенно у лаек, говорить не стоит, о

том все сказано. Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою, хорошим. Это детски наивное, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шавок, на раскормленных до телячьих размеров псин, обвешанных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи — дворянство здесь так искоренено и не было, оно приняло лишь комнатные виды.

Бойе был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить, но так природой назначено собаке — быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником.

Суровой северной природой рожденный, свою верность Бойе доказывал делом, ласки не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал добывать человеку, спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, когда мокрый чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей, он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в

клубочек и робко следил за людьми — не мешает ли? Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псиный запах, в морозы особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки. Бойе обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: «Не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные…» И, не получив ни дозволения, ни отказа, однако угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако ж и не перечит, Бойе вежливо снимал с детской руки замусоленный осколочек сахару или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутно и лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал.

С каким облегчением кобель вываливался из избяной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявшие в тепле уши снова ставил топориком

и, озырнувшись на избу — не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет, после отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязны делались, не очень чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла, от усталости…

Без охоты Бойе жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Бойе ронял хвост, лопоухо опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе места, даже повизгивал и скулил, точно хворый.

На него кричали, и он послушно смолкал, но томленье и беспокойство не покидали его. Иногда Бойе один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря, по первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что, когда на гам и лай вышел хозяин, песчишко тут же сунулся ему меж ног, отыскивая себе спасенье и защиту.

Бойе шел по птице, по белке, нырял в воду за

подраненной ондатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей — они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку — друга своего. Тот однова так забегался за подранком-глухарем, что затемняло в тайге, и замерз бы лихой охотник в снегу, да Бойе спервa отыскал, затем привел к нему людей.

Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел!» — насторожился Колька. Бойе приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! «Вот дурень! — улыбнулся Колька. — Засиделся коло дома, балуется». Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил — в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.

Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бойе выпер вновь из воды

щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками: «Чего за свою бурную жизнь ни перевидел, — говорит, — приключений каких только ни изведал, однако подобного дива не зрел еще. Бестия — не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице або утопили обоих — за колдовство, привязавши к одному камню…»

В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный.

Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья — нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали — не откликается. Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела — пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозится за

задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа — нет собаки. И тогда он решительно крикнул:

— Ко мне, Бойе!

И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вослед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.

Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!

К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности — замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.

Я отговаривал родителя — только что был опуб-

ликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему о том, что семья, слава Богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель ответствовал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат!» И вскоре после моего отъезда подался-таки на руководящий пост.

Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо — слеза катится...» По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в «белом домике». И снова — в который раз! — затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей.

Лет десять спустя после встречи с отцом и семьею в Сушкове попал я на Север по творческой командировке. На сей раз Бог меня миловал — в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение — гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном — самом сухом и высоком здесь месте, с

которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без пологов.

Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу — сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.

Я заозирался вокруг — никого нигде не было, и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:

— Я брат твой!

Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после того моего приезда в Сушково.

Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился.

Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады,

сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахино. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полость, обнаружился папа, черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартой развевались разноцветные ленточки, деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла, стала драть на себе волосы — ленточки те были продуктовыми талонами, деньги — зарплата рабочим-рыбакам.

Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смикитил: на озера, в бригады ехать ему нельзя — разорвут голодные люди, под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом: «Всем господам по сапогам!..», «Мореходов (начальник рыбозавода) друг мой верный! И мы с Мореходовым на урок положили...» Урками начальник рыбного участка называл бригадников,

волохающих на тундряных озерах немыслимо тяжелую работу — пешнями долбят двухметровый лед и, пока доберутся до воды, делают три уступа, майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу — чира, пелядь, сига.

Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям, все понимали, да и он тоже: несдобровать ему.

Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахино. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей — на Крайнем Севере возводилась железная дорога.

Строй заключенных спускался по игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения, головой стала маяться, совсем уж расшатанно потряхивала ею, судорожно дергалась худой, птичьей шеей. Задергаешься с пятью-то ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он ни на есть. Осунувшийся лицом

Колька отыскивал взглядом отца — понимал парнишка: мыкаться им, ох мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бойе сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй, и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смиренным и виноватым, загородил собою Бойе.

— Это ж собака. В людских делах она не разбирается… — И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю: — Стрелять не собаку, меня бы…

Колька с трудом оттащил Бойе в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина, завыл на всю пристань да как рванется! Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу.

Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью.

Бойе словно переломился в спине, стремительное его тело забилось передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновал-

ся, бегом погнал по трапу подконвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу в гуще людей. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе.

Бойе еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, неба серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Бойе так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль осуждая кого.

И впрягся Колька в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли заполярной, в трескучие морозы, в мокромозглую ли осень, в дурное ли вешнее половодье парнишка в тайге, на воде, с ружьем, с сетями — кормил, как мог, семью, помогал матери. Однажды столкнулся нос к носу с только что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевши перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот, ослепленный, катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка стал за

дерево, заложил патрон с пулей и встретил медведя, ринувшегося на него.

Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет, и долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, коей стращали когда-то родители старшего парня, стало быть меня, и не всем братьям и сестрам та жизнь задалась…

Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя руками — это у всех у нас от папы, говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а вот жесты, привычки его, и не самые лучшие, навсегда отпечатались в нас.

Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал, мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утартал меня за старую Игарку, на озера, и мы там — порода-то одинаковая! — нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера

заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, недолго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе с наревленным в детстве пупом и побрел. Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить — на дне заполярных озер, под рыхлым торфом и тиной вечный лед, и ему ли, с его «могучим» телосложением…

— Ниче-о, ниче-о-о-о! — всхлипывая от холода, брел Колька напропалую, вглубь. — Привычно. — Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал: — Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ худу бает: ты худ, я худ, погоняй худ худа…

У-ух! — оступился братец, ахнул, ожгло его водой, и поскорее на берег, не закончив присказки, однако с десяток птиц сумел ухватить. До красноты ошпаренный студеной водой, обляпанный ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать: не попробовать ли еще? Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо.

Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел.

Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера, но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаясь без соли испеченными в золе утками. Во всех

замашках брата, в беззаботности его, в рассказах, сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже — дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город, — во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец — вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Непрожитое, неотыгранное, неотбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь… Видать, природой заказанное человеку должно так или иначе исполниться.

Коля заявил: точит его мечта махнуть зимой поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно, от этого он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь.

В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой Николай Петрович вкупе с двумя напарниками бултыхался средь густых, уже набитых снегом, затяжелевших облаков в дребезжащем всеми железками гидросамолетике, держал курс на Таймыр — промышлять песца. Самолет лодоч-

ным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи.

Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте — одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на «накроху» и на уде себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье.

Выметав две мережи — одну на озере, другую против избушки на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь, и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя, хотелось узнать, что в них попалось. Он спустился к Дудыпте — сети не видать. Ладно привязать охвостку догадался за камень на берегу, иначе

не нашел бы мережи. Попробовал потянуть сеть с плота — она не сдвинулась с места. «Зацепилась!» — огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь, чуть с плота не сверзился — мережу утопила рыба! Втроем едва выволокли артельщики сеть из воды: нельмы, чиры, сиги, щуки зубатые — всё рыба отборная. На полотне мережи обнаружились «окна» — человек пролезет! Решили мережу проверять проворней, иначе одни веревки от сети останутся.

На озере попалась жиром истекающая, толстоспинная пелядь и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочки, остальной же весь улов на прикорм: хорошая накроха — половина дела в промысле песца ставными ловушками.

Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок, на глухую пору зимы, да и от снежной слепоты рыбий жир — верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисала. Только эта забота беспокоила

охотников. Порешили: коль не сопреет рыба в ямах, доводить ее до вони в тепле избушки, пусть будет душина — стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику, кое-где на кустах оставшуюся, облаивали, клюкву из моха выбирали. Верстах в десяти от зимовья, средь выветренных, болотом поглощенных скал островок лиственного леса, в нем краснела брызганка — брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасение. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтоб не прокисла ягода без сахара, дров наплавили — всю зиму жечь не пережечь, бражонку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до «настоящей» работы.

Удачно начался сезон, ничего не скажешь! Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что ни прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели — человек бывалый, и войну, и тюрьму прошел. В этих краях, у озера Пясино, долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле Сопочной карги. Пробовал на лихтере шкипером плавать — не поглянулось: инвалидная работа,

привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа движенья, просторов и фарта жаждет.

Полные добрых предчувствий, молодые охотники бегали по тундре, шарились в лесочке, постреливали по озерам, рыбку в Дудыпте добывали, дрова ширикали — и все им хаханьки да прибаутки, и не замечали они — старшой день ото дня становился смурней и раздражительней. Парни над ним шутки шутили: как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкатят — бугор врастяжку, парни в хохот; а то ложку у старшого спрячут либо цигарку спичками начинят — старшой ее прикуривать, она ракетой изо рта! Вечерами, а они день ото дня становились темнее и длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали:

«Вот добудем песца, вылетим в Игарку и тебя, бугор, оженим на бабе, у которой семь пудов одна правая ляжка, тридцать два килограмма грудя! Смотри вперед смело, назад не обертывайся, не то горе, что позади!..»

«А то горе, что впереди! — подхватывал про себя старшой. — Верно, парни, верно. И как вы себя покажете?..» В тундре мор лемминга, так по-научному зовется мышь-пеструшка — самый

маленький и самый злой зверек на Севере: всему живому в тундре пеструшка — корм, даже губошлеп олень, попадись она ему, сжует и не задумается, а песцу-прожоре это главное питание. Несло мертвые тушки леммингов по реке, оттого и набилась в Дудыпту рыба — жирует. Еще в тот, в первый день, когда ошалелый Колька рыдающим голосом позвал их к сети, екнуло и заскулило у старшого сердце: не будет лемминга — не будет песца. Ход его, миграция, по-научному говоря, много таит всяких загадок, да навечно ясно и понятно одно: держится песец, как и всякая живая тварь, там, где еда. Не только проходной, но и местный песец откочует — голодной смерти кому охота?

При первых же заморозках, отковавших железную корку на земле и звонкий лед на озерах, появился широкий путаный нарыск зверьков по тундре. Песец выедал остатки лемминга, землеройку-мышь, отсталую больную птицу и все, что было еще живо и пахло мясом. Блудливые песцы сделали набеги на ямы с накрохой. Колька с Архипом весело гонялись за песцами, палили из ружей — десяток зверьков угрохали, крепко при этом подпортив шкурки. «Вот дак да! — ликовали парни. — Песец-то, песец-то на стан лезом

лезет!»

И залез бы. Разорил запасы, голодом уморил охотников, если б старшой лопоух был. Он еще по первой пороше, осмотрев густую песцовую топанину вокруг зимовья, велел поднять весь провиант на чердак, крышки бочек придавить камнями, ямы с накрохой завалить булыжинами и плавником. Не доверяя беззаботным напарникам, старшой сам зорко стерег муку и соль. Расставив по углам зимовья мышеловки, ударно промышлял мышей. И вот однажды мыши исчезли, смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк, и тогда свалился старшой на нары, вытянулся, закинув руки за голову, не курил, не спал, не разговаривал, много томительного времени проведя в раздумье, обыденно, даже чересчур обыденно возвестил:

— Песца, парни, однако, не будет.

Охотники были сражены. Холодов ждали, ветров, одиночеством тяготились уже, но развеивались надеждой: «Вот пойдет песец, некогда скучать будет!»

— Не будет охоты, — беспощадно рубил старшой, — ходовый песец минет эти бескормные места, местный, прикончив мышей и все, что дается зубу, тоже откатится с севера, пойдет коле-

сить по земле в поисках корма.

— Что же теперь делать?

— Можно уйти, парни. Сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки, пока неглубоки снега…

— Сколько идти?

— Я как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут, — усмехнулся бугор, — и карт не выдавали…

Парни хоть и бесшабашны, но хватили кой-чего в жизни, о тундре наслышаны: идти много-много немереных километров, без палатки, без упряжных собак. Три дурака случайно, на ходу купленные, ловко ловили мышей, заполошно гоняли зайцев вокруг озера, рыскали по тундре, распугивая последнюю живность, жрали непроворотно рыбу, грызлись меж собой. Но и дураков двух уже не стало — одного порвала проходная стайка полярных волков, другой, водоплав и лихач, мотнулся в полынью за уткой-подранком, до морозов державшейся на воде, и до того себя и утку загонял, что вконец обессилел, выползти наверх не мог, и его вместе с добычей в зубах затянуло под лед. Последнюю из трех собак старшой приказал беречь пуще глаза.

— Какое хоть время пройдем?

Раздражение, но пока еще, слава Богу, не враждебность. Старшой свернул цигарку, неторопливо прикурил и, сунув сучок в поддувало печки, долго не отрывал взгляда от красно полыхающего огня.

— И этого не знаю, парни, — вздохнул старшой. — Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся, если не перегрызем-ся, если удача от нас не отвернется, маракую, за полмесяца дойдем… — Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать.

— Если… если… — уловив смуту в словах старшого, заворчали парни, и тон у них такой, будто надул их бугор и во всем виновен перед ними. А виноват и есть! Насулил, губы мазнул отравой фарта, подзадорил, растревожил — и что?! Чувство неприязни, желание свалить на кого-то пока еще не беду, всего лишь неудачу забрезжило и во взглядах, и в разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней, начала свою медленную разрушительную работу. Сами они пока не понимают, что это такое, пока еще «каприз» движет ими — конфетку вот посулили и не дали, а не чувство смертель-

ной опасности. Смутная тревога беспокоила парней, но они подавляли ее в себе, раздражаясь от этого непредвиденного и бесполезного, как им казалось, усилия. Они готовились к работе, ими двигало приподнятое чувство ожидаемой удачи, охотничьего чуда, но в зимней, одноликой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. Случалось, опытные промысловики переставали выходить к ловушкам. Оцинжав, заваливаясь на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то, что где-то в миру есть еще жизнь и люди, равнодушно и тупо мозгли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в беспредельную тишину, избавляющую от забот и тревог, а главное, от тоски, засасывающей человека болотной чарусой. Старшой и пошел оттого артельно на промысел — трое не двое, будет людней, будет бодрей, да и парни вроде не балованные, трудовые парни, крепкой кости, брыкливые, веселые — пойди песец, не отвернись от них удача, перемогли бы и тундру, и зиму.

— А если останемся? — дошел до старшого настойчивый вопрос. Парни могли еще позволять себе досадовать, вроде бы он, старшой, мамка им, а мамка же на то и мамка, чтоб терпеть от детей

своих наветы, обиды да отводить напасти от них и от дома.

— Если останемся? — переспросил старшой и замолк. Парни ему не мешали. Некуда торопиться. Дотянув цигарку, бугор не растоптал ее на полу, как напарники, заплевал чинарик и опустил в ржавую консервную банку, будто в копилку, — навечно въевшаяся привычка бродячего человека дорожить на зимовье не только каждой крохой хлеба, но и табачной. Поднялся старшой от печки, согнулся под потолком, щедровитое лицо его, будто вытопленное, обвисло складками — разом постарел бугор. В себя ушедшим взглядом старшой скользнул по оконцу — бело за ним, снега полого и бескрайно лежат, средь них избушка одиноким челном плывет, ни берега вокруг, ни пристанища — пустота кругом! Ступи с палубы этого челна, обвалишься и вечно будешь лететь, лететь… — Кто его, зверя, знает, ребята, тварь Богова… Может, и пойдет еще? — Старшой говорил вяло, словно не о главном, словно главное на уме: он перестал лаяться, не употреблял даже слова «черт» — иная, чем прежде, мораль двигала старшим. — В тридцать девятом годе взял песец и через станки и населенные пункты пошел! В Игарке на помойках

ловили его, обормота, бабы-укладчицы на лесобирже меж штабелей гоняли, досками грохали… Загадка природы. — Сгорбился у печки бугор, кряхтел, курил. В избушке слой дыма, что окуневый студень — хоть ножом режь… — Ну а если песец не пойдет… Можем и постреляться…

— Как так?

— Очень просто, из ружей. — Старшой почесал голову: — Не растолковать мне. Маетой такая штукенция рождается… Решать надо: уходить, так не мешкая, останемся — разговор отдельный будет. На размышления вечер. Разбежимся в разные стороны, пораскинем умом. Крепко мозгуйте, парни, напрягите башки, коли есть чего в них напрягать…

Весь вечер бродили парни по тундре, ночи прихватили. Погодка стояла самый раз, безветренная, морозец покалывал, прочищал ноздри, глотку, лечил душу и голову. Вольно было застоявшемуся телу двигаться, катиться, лететь на лыжах, видно так далеко, что земля и на самом деле шаром вдали закруглялась, на горбине шара ровно бы сторожевые вышки мерцали заледенелыми оконцами — то сверкал лед на приморских скалах. И если долго на них смотреть — скалы начинали двигаться, рассыпаться. Над оледене-

лыми камнями морского побережья ненадолго зависло солнце, ровно бы лишним сделавшееся на небе. Висело, висело и исчезло. Не закатилось, не опало за горизонт, вот именно исчезло — его вобрал в себя без остатка, всосал, как старую, измызганную пустышку, узенький краснова-тый зев, приоткрывшийся над скалами, и тут же все: и онемелую аленькую щель, и скалы, и белые снега, над которыми какое-то время еще трепетал, догорал красный клок неба, заволокло сгустившимся мороком.

Тундра погрузилась в глубокую тишину. Тени, пока еще недвижные и тоже бесшумные, опу-стились на нее сверху, придавили свет, сжали пространство. «Солнце закатилось до весны», — догадались зимовщики, и у каждого из них сердце сжалось в груди, холодом ни на что не похожей разлуки опахнуло нутро, и такое ося-заемое чувство беспросветности охватило души охотников, что они, бродившие нарозь друг от друга, не сговариваясь, порешили: «Уходим!»

Но в тундре что-то шевельнулось, стронулись снега, закачалось пространство вокруг, то там, то тут начало чиркать искрами, и небо, только что мутное, грузное, пустое, вдруг растворило врата прозрачным и переменчивым светом. Жуть и

восторг охватывали душу. Надо бы бежать, но не было над собой власти. Середь ночной сверкающей тундры, опершись на таяк, стоял Коля, стоял Архип, стоял подле избушки старшой, и все они улыбались растерянно и приветно, не понимая, что с ними, отчего такое облегчение?

К зимовью охотники вернулись разом, в позднее для этих мест время. Навстречу вывалился кобель Шабурко — звался он по фамилии хозяина в отместку за то, что слупил с охотников неслыханную цену, пользуясь их безвыходным положением.

Дыша холодным паром, парни ввалились в избушку и в один голос заявили:

— Остаемся!

— Остаться не напасть, да кабы, оставшись, не пропасть.

— Ни хрена-а! Не мы первые, не мы последние. Чё нам без добычи уходить? Манатки бросать? Неустойку платить?..

— Ну, ну! Колефтиф настаивает. Колефтиф — сила!

Разогрев еду, старшой достал из запасов поллитру спирта, молча налил полную кружку, вынул нож из ножен, полоснул по руке, кровью спирт разбавил. «Начинается!.. — Лица парней

вытянулись, под кожей холод захрустел. — Накатило на старшого. Все они, эти «бывшие», люди потрясенные, и чего им на ум придет — угадай попробуй!» Цап Кольку за руку, чирк ножом по пальцу, кровь отцеживает Колькину в кружку старшой.

Архип побелел, к двери попятился, чтобы рвануть из избушки, да не успел, старшой его перехватил, тоже ему палец порезал.

Побурел спирт от крови, отвратным на вид сделался. Затосковали парни, ждут, чего дальше будет? Старшой примочил ранки спиртом, велел забинтовать пальцы, зажег свечу и, капая воском во все четыре угла зимовья, забормотал жуткую запуку: «В добрый час молвить, в худой помолчать. На густой лес, на болыпу воду, на свою и товришшэв алу горячу кровь, на свой чистый подложечный пот, на живу душу слово намолвлю: пустоглаза тоска, змея костна — цинга, люто голодное, люто холодное — миньте нас, киньте нас, уйдите на посолонь, закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, ослепните от огня бегучего, оглохните от слова клятвенного, околейте от креста святого! Кто бел-горюч камень алатырь изгложет, тот мой заговор переможет! Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, ни по вечерней,

ни в обыден, ни мужик, ни колдун с колдуньей, ни баба, ни пожилой, ни старый, ни сама тундряная ведьма с тем словом моим заклятным, верным не совладают, не перемогнут его. Аминь!..»

Прилепил старшой свечу к столу, умолк в изнеможении. Избушка осветилась, бодрее в ней сделалось, не то что от лучины и печки. Керосин и свечи берегли, освещались сподручными средствами, жгли чаще тряпицу в рыбьем жире. Парни на нары забрались, ноги поджали, во все глаза глядят на старшого. А он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки, держать их на весу и глядеть в глаза друг дружке, пока он, старшой, будет творить клятву, и все слова повторять следом.

Парни сперва с пугливой ухмылкой, как филины, булькали, рыгали какую-то присказку насчет моря-океана, острова Буяна, зверя рыскучего, снега сыпучего, но поворотилось и на серьез:

— Будет ли, не будет ли удача — жить союзно. Поглянется, не поглянется какое слово старшого — не прекословить и зла никакого друг на дружку не копить. Все выкладывай, худое ли, хорошее. День кончился, ночь пошла. Снегу на зимовье наметет — могила. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Время гиблое,

не вступ ногу жить, гибель, стало быть. Долбить корыта в пастях и кулемах, если зверек попадет, не плющило б его, не погрызли б другие зверьки и мыши. Ловушек ставить больше, навального песца не будет, следует его стараньем брать, накрохи не жалеть, пусть воняет, живность приваживает. Свету мало — пятнышко за сутки, значит, бегать быстро, но беречь себя, не запариваться — один простынет, захворает — хана всем. Договор наш кровью скреплен, такой договор смертельный. Добыть бы жильной крови, выпить гольную, да, вас жалеючи, не стал тела молодые уродовать… — Старшой покидал щепоткой пальцы над кружкой, хукнул, отбрасывая из себя воздух, выплеснул наговорное зелье в рот, утерся рукой, зажевал питье подвяленным хвостом пелядки. Молодые его связчики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой.

— Да, вот еще что, парни, — подождав, когда они отдышатся и закусят, продолжал старшой, — соленого много не лопать, снег не хапать, с хлебом аккуратней — стряпаете, мучкой сорите. Шабурку на норму! Распустил пузо, что генерал! И помните всякий час, всякую минуту: в тундре заблудиться страшнее, чем в нехоженой тайге.

Спирт подразобрал парней, на душе отмякло, по телу благость разлилась.

— Да ладно, — остановили они старшого, — хватит права-то качать!

И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, сутки в еще более долгие недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лисы, пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре; призаблудился как-то горностай — занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыпты и возле озера хорошо ловилась куропатка в силки, пока не задавило сугробами стланики. Но начались метели, и кончилась всякая работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку, на верхушку капкан приладят — сова видит в ночи и в пургу, не облетит никакую мету — ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться. Ели сов. Не куропатка, конечно, мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет, зато пуху, пуху от совы, пенистого, легкого — вороха! Вот бы радости бабам, да где они, бабы-то?

Залегла зима по Пясине, по Дудыпте, по всему Таймыру, сровняла снегом впадины речек с берегами, ухни — напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до крови не

сечет, слава Богу. Маячившие у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся средь тундры, захоронило снегом. Переливались, искрили до рези в глазах снега, да небо, чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей — подступала пора диких, вольных ветров и обвальных метелей. В распогодье охотники спешили при свете позарей пробежаться по ловушкам, со слабо теплящейся надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, загнала промысловиков в зимовье, запечатала их в избушке, залепила окно, закупорила дверь, загнала в снежный забой. Лишь труба еще стойко торчала из снега, соря по ветру искрами, клубя низкий живой дымок.

Время двигалось еле-еле, разговаривать охотникам не о чем — все переговорили; делать по дому нечего — все переделали, а ветер все дичей, яростней. Подняло снег над тундрой, воедино слились земля и небо, вместе кружась, летели они в какие-то пространствия, где никакой тверди нет, и охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась средь

воя, свиста и лешачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отсвет печного огня, тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда, и эта капелька света, эта звездочка, преткнувшаяся в кромешную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания.

Время суток — день, ночь определялись по часам да еще по Шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покрученников с нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни, и такая она у него оказалась содержательная, столькими приключениями наполненная, что хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, изведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, «составить роман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости лет, как-нибудь засядет составлять роман, а пока

слушай, парни, дальше.

Любая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог проноровиться к такому вихревому режиму, трудно все в него входило, еще трудней выходило. Он до того застывал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в беремя, не в силах уже застегнуть их. Однажды и вовсе подзадержался Архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником. Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал полниться нежданным гневом. «Разорвало б обжору! Нашел время рассиживаться! Садану дрыном по хребту — будет знать!»

В промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке: один шофером, другой слесарем. Архип — выходец из кержаков, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное, послушным артельщиком казался Архип и неожиданно первым помутнел, чаще и чаще огрызался, поссориться норовил. Поначалу справлялись с собой Коля и бугор, старались не обращать внимания на брюзгу с таким редким, древним именем. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе, даже

имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно.

Архипа возле зимовья не оказалось. Коля взухал раз, другой. Голос его словно бы отламывало ото рта и тут же закручивало ветром, глушило снегом. Старшой, услышав крик, зарычал, подпрыгнул, шапку надернул, Шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть, сам метнулся следом, зверски матерясь.

Шабурка мигом отыскал Архипа. Стоит охотничек за избушкой, придерживает штаны, набитые снегом, пробует орать, но хайло снегом запечатывает. Закружился в пурге младой охотник, добро, что не метался, не бегал, потеряв избушку, иначе пропал бы.

Велико ли время прошло, да успел ознобить кое-что Архип, рот его скипелся, даже зубы не стучали, только мычанье слышалось, и слезы текли из глаз.

Загнанно, панически дыша, заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись оттирать. Отогрелся, отошел Архип. Старшой ему «Отче наш» в назидание, и приказ всей артели: пока ветродурь не кончится, ходить в лохань. Простая такая операция получалась лишь у старшого. Парни мучились, стыдясь друг

дружки. Тот, кто бывал в больницах и госпиталях «лежачим», ведает, что насильственная эта штука хуже всякой кары.

Первым снова не выдержал и осердился Архип.

— Привык к параше! И сиди на ней! — заорал он и засобирался на улицу, забыв, как замерзал недавно, волком выл, когда его оттирали. Коля солидарно с Архипом тоже шапчонку на голову, тоже на волю. Старшой прыгнул к двери, закрутил в кулаки телогрейки на парнях.

— Обсоски! — рычал он, вызверившись. — Из снега выкапывать вас, красивеньких, беленьких?! — И, отшвырнув обоих к нарам, пнул еще, небольно пнул, но остервенело, да и бранил их много, совсем как-то обидно, ровно мальчишек, и до того увлекся этим развлечением, что вывел из себя Архипа. Набычился, всхрапнул кержак и молча пошел на старшого.

Будто смертельные враги, сошлись артельщики средь избушки, схватились, испластали вмиг друг на дружке рубахи, рычали по-собачьи, хватались за горло, царапались, хрястали кулаками во что попало. Брызнула, закипела на печке кровь, запахло горелым мясом.

— Мужики-и-и! — закричал Коля, втискиваясь

меж связчиками. Но где ему, заморышу, совладать с двумя здоровенными лбами, которые так ломали друг дружку, что трещали кости. До пояса голые, в кровящих царапинах, молча тилищутся — ни матюка привычного, ни ора, лишь храп, рычанье — звери и звери.

Плошка упала, погасла. Темнынь в избушке, ветер лютует за дверью, и лютуют во тьме два артельщика.

— Мужики-и-и-и! — закричал громче прежнего и заплакал Коля. — Мужики! Опомнитесь! Мужики-и-и!.. Лю-у-ди! Кара-ул-ул!..

Сверкнул и вывалился из печки огонь. Избушка наполнилась дымом — своротили печку обормоты и враз отпрянули от огня, трезвея. Коля заливал головешки из чайника натаянным снегом.

— Балды! Суки! Заразы! — все кричал он и плакал. — Сгорим в тундре, что тогда?!

Старшой забрался на нары, забился в угол, натянул на себя одеяло. Архип кашлял от дыма до сблева, сипел, тужась что-то сказать, непримиримо тыкая пальцем туда, где таился старшой. Коля водружал железную печку на место, в ящик с землею.

— Всер-р-равно, всер-р-равно… Он меня… Я

его… — разобрал он.

— Чё буровишь-то? Совсем уже того?! — потыкал Коля себя пальцем в висок и неожиданно хватанул Архипа так, что тот оказался за мерзло крякнувшей дверью. — Остынь, недоумок! — Собрав в печку чадящие головешки, выпустив пар и дым из зимовья, Коля откашлялся, высморкался и, утирая подолом рубахи грязное от сажи и слез лицо, с горестным ожесточением обратился к старшому: — А ты-то, ты-то! Сурьезный человек! За коллектив, пусть и махонький, ответственный…

Старшой шевельнулся на нарах, прошуршал пересохшей осокой, отыскивая одежонку, спустился на пол, знаком показал на чайник — полить. Умыв разбитое лицо, начал утираться тряпицей.

— Не окажись воды, — шевельнул Коля чайником, — погорели б и, как псы, подохли средь тундры.

— Худо, Колька, худо… Н-на, худо, Колька, худо. Началось! Позови-ка эту жертву неудачного аборта, простудится, остолоп!..

Сошлись в одной избушке артельщики, деваться некуда. Не разговаривают, от папироски друг у дружки не прикуривают, принципиальные. Рожи у обоих запухли, темными синяками наливаются,

экая красотища! Натешились, измордовали друг дружку, разрядили злобу. Что-то дальше будет?..

Сварив еду, Коля достал с чердака избушки из неприкосновенного запаса бутылку спирта, развел, в кружки налил и, как сердитая, но все понимающая, добросердечная хозяйка, велел чокнуться и выпить мировую.

Чокнулись, выпили. Коля хоть и натянуто, но уже с некоторым облегчением и искательностью рассмеялся:

— Э-эх вы-ы!

Старшой стиснул рукой лицо, будто стирая с него что-то, провел сверху вниз.

— Бывает! — сказал покаянно. — Да больше не надо.

Архип тоже что-то буркнул и отвернулся. Выпили еще по малой, пытались заговорить. Однако разговор увязал, рвался. Нарушилась душевная связь людей, их не объединяло главное в жизни — работа. Они надоели, обрыдли друг другу, и недовольство, злость копились помимо их воли.

Но бывает конец пурге и в тундре. Проснулись утром — тишина, да такая оглушающая после, казалось уж, вечного воя, ветра, бряканья трубы, гула снежных туч, что и тревожно от нее. Старшой вышел на волю, заорал, шапку подбросил,

пнул ее, поймал Шабурку, катнулся в обнимку с ним по снегу.

Охотники разбрелись в разные стороны откапывать ловушки. Снега сделались глубоки, пурга была долгая. Песцы в поисках корма начнут теперь делать кругаля по всей тундре, глядишь, и этих мест не минуют. Врали, обманывали сами себя покрученники — надо было верить во что-то, и они убеждали себя: будет, будет удача, пусть и запоздалая.

Задыхаясь жидким воздухом — выдуло из него ветром кислород, стужей выбило сырость из снега, в коловерти пурги вываривало из него клейковину, охотники бродили по тундре, отыскивали захороненные в забоях ловушки и, к удивлению своему, немало их откопали. Совы, чуя корм под снегом, разрывали наметы, наводили на места. Мало только осталось возле Дудыпты сов, переловили их охотники капканами, свели беззаботно, теперь хватились, да уж делу не помочь.

Коля придумал себе занятие: волочь на истоплю жаркий витой кряжик. Лесок был по маковку завален снегом, приходилось много трудиться, прежде чем откопаешь лыжиной суховерхое деревце со стеклянно хрупкими от мороза сучками, с прикипелой к плоти дерева болонью и

корой, под которой остановился сок. Коля тюкал топором деревце. К лезвию топора белым жиром липла смола лиственницы, тонкими паутинками пронизывающая годовые, вплотную притиснутые кольца, не давала загаснуть дыханию, с лета поднявшемуся по неглубоким, но жилистым корням. Мал лесок, всего островок крохотный, и веток живых на каждом деревце с пяток, не больше, а раскопаешь снег от земли, хвоя лежит, пусть тоненько, пусть на плесень похоже, а все напоминание о лете, о тайге. Лес жил, боролся за себя, шел вперед на север, к студеному океану. Рубить его вот как жалко. Коля выбирал деревца сломленные, полузасохшие, отбитые от табунка. Свалив лиственку, садился на вздутый комелек, отдыхивался, думая о сложности всякой жизни, о том, какая идет везде тяжкая борьба за существование.

Сделав из толстой веревки петлю, Коля надевал ее через плечо и, ширкая камусными лыжами, пер к избушке сутунок по уже хорошо накатанной лыжне, радуясь тому, что пурги нет и, может, она не скоро будет, что поработал он хорошо, что наколупают они с лиственницы серы, вытопят ее в склянке, жевать станут — все для зубов работа. Пожалуй, следует выдолбить прорубь на

Дудыпте, наносить воды, натопить зимовье и побаниться — не хватало завшиветь — последнее это дело.

По полному безмолвию, по усиливающемуся морозу и скрипу снега под лыжами, по ярким, из края в край, сполохам можно было предположить — межпогодье еще продержится и, стало быть, передышка им будет. Ночь морозна, светла до того, что все впереди видно. Да что видеть-то? Снег и снег. Даже вилючую ленту речки Дудыпты и озеро застругало пургою вровень с тундрой, лишь местами, сдавленный, серел снежок с подветренной, полуденной стороны, означая крутой поворот речки или подмытый берег. Вокруг озера, как бы на всплеске, остановились гребни снега — замело кусты стлаников. Оборони Бог задуматься, заскочить лыжами на вороха эти, хуже того, на изгиб речки — обрушишься, и потечет снег, что песок, заживо хоронить станет. Бухайся, раскалывайся тогда, тори траншею, коль силы есть.

В белой тишине тундры, тенистой, зеркально-шевелящейся от сияния, охватывает блажь, являются видения: судно с мачтами и драными парусами, узкомордый белый медведь с безгласно раззявленной пастью, нарта с упряжкой оленей, на нарте знакомый еще по Плахино эвенк Уль-

чин. Сидит бойе с хореем, куржак обметал его плоскую мордаху, черненькие глазки радушно светятся из белого, однако хореем не шевелит, губами не чмокает, «мод-модо» не кричит, олени не фыркают, не взбивают снег. Плывут олени, да лыбится глазками бойе. «Сгинь, Ульчин, сгинь! — боязливо открещивался Коля. — Ты умер, еще когда мы всей семьей в Плахино зимогорили. Ты с папкой вино жрал. Думаешь, забыл?..»

Однажды увидел Коля собаку — остановилась в отдалении, белая с серым крапом на ногах, ждет, приветно хвостом пошевеливает. Знакомая собака, очень. Дрогнуло сердце: «Боё! Боё! Боё!» — Коля сбросил лямку, подхватился, побежал — нет собаки, бугорок вместо собаки. Страсти-то! Коля вытер со лба пот, хотел перекреститься — не знает, с какого места начинать.

Больше всего он опасался повстречать шаманку. Бродит шаманка по тундре давно, в белой парке из выпоротков, в белой заячьей шапочке, в белых мохнатых рукавичках. За нею белый олень с серебряными рогами следует по пятам, головой покачивает, шаркунцами позвякивает. Шаманка жениха ищет, плачет ночами, воет, зовет жениха и никак не дозовется, потому и чарует любого встречного мужика. Чтобы жених не

дознался о грехах ее сладострастных, до смерти замучив мужика ласками, шаманка зарывает его в снег. К человеческому жилью близко шаманка не подходит, боится тепла. Сердце ее тундрой, мерзлой землей рождено, оледенелое сердце может растаять.

Сказочку такую парням поведал старшой и поступил, как потом оказалось, опрометчиво. Парни скабрезничали, постанывали, валяясь на нарах: «Ээ, сюда бы счас шаманочку-то!..»

— Не блажите-ка, не блажите! — испуганно таращил глаза старшой и наставлял: — Чурайтесь, некрещеные морды! Навязчивы такие штукенции, еще накличете…

Шаманка явилась, когда Коля пер из леса сутунок и видел, как пыльно разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позарей. Впереди нет-нет да и вытеребит белое перышко, полетит оно, кружась и перевертываясь. Следом пушок сорится, мелконький пушок, горстка его, но сердцу тревожно — нарождается пурга. Легкое, пробное пока еще движение началось по тундре, небо пучится, набухает темной силой.

Коля налег на лямку, напрягся и, частыми, мелкими глотками схлебывая воздух, провор-

ней заширкал лыжами, низко наклонившись головой, подавшись вперед всем телом — так вроде бы легче и скорее идется. Но вот раз-другой что-то продрожало в глазах, снег начал красно плыть, густо искриться, в ушах пронзительно зазвенело — воздух, разреженный воздух северных широт угнетал организм — нужна передышка. Коля остановился. Раскатившееся бревнышко толкнуло в запятки лыж, снег гас, звон из ушей отваливал, дыхание выравнивалось.

И в это время из переменчивого, нервно дрожащего света, из волн позарей, катающихся по одной уже половине неба, выплыла ОНА и, не касаясь расшитыми бокарями снега, вовсе даже не перебирая ногами, стала приближаться, бессловесная, распрекрасная. Вытянутые раскосые глаза ее светились призывно и печально, лик бледен — дитя белой тундры. Может, болело что внутри, сердце, может, худое, порок, может, в нем какой? Поймав себя на том, что он думает о шаманке как о живом, на самом деле существующем человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно выругался, сплюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью, которое было уже близко, стараясь не поднимать головы и не оглядываться, хотя и коробило спину, казалось,

вот-вот вцепится шаманка пальцами в воротник, что тогда делать? Голова сама собой утягивалась в одежду, ноги дрожали в коленях, рвался дых. Только возле дверей избушки охотник оглянулся и заметил призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась и, перед тем как раствориться в снегах, вознестись на волнах позарей ввысь, слабо ему и укоризненно улыбнулась. Голубой свет, пронизывающий сгустившуюся ночь, сочился из ее груди, и видно сделалось ее сердце, похожее на ушастого зайчонка, сжавшегося в комочек, чуть вздрагивающего под набегающими порывами ветра.

Сбросив лыжи и лямку, Коля поскорее заскочил в избушку, вытер лоб, в изнеможении упал на чурбак возле печки.

«Кто за тобой гнался-то?» — взглядом спрашивал старшой, и, чтобы не пускаться в объяснения, Коля поскорее начал переодеваться. Одежда мокра, пар валил из-под рубахи. «Не надо бы так потеть», — вяло подумалось ему.

Коля ничего не сказал связчикам о шаманке, полагая, пока пережидают пургу, отсиживаются в избушке, наваждение уйдет, но даже самому себе боялся признаться в том, что он хотел ее видеть, ревниво пас в себе видение, спал неспокойно,

сделался потаенным и, едва кончилась пурга, засобирался в тундру. И вдруг заметил: его связчик, тихоходный и тугодумный Архип, мечется по избушке, чего-то ищет, куда-то торопится, бросая шалые взгляды в звенышко обметанного морозом оконца. «А что, если ему она тоже явилась?! — ожгла ревнивая подозрительность Колю. — Убью! Застрелю! Не дам!..»

— Вы чего, молодцы? Чего? Вроде как не в себе? — забеспокоился старшой. — Уж не шаманка ли блазнится? Наплел я вам. Вот дурак дак дурак! Креститесь, беситесь, орите, из ружья палите, топором рубите, но не поддавайтесь. Болезнь это, ребята, жуткая болезнь…

Обман. Мираж. Болезнь. Ну и пусть! В сравнении с дивным видением, сулящим что-то тайное, небывалое, жизнь, которую они влачили, так опостылела, что не было никакой охоты бороться за нее. Молодцы желали перемен, какого-то действия, яростная плоть при одной только мысли о шаманке возжигалась в парнях, толкала на безрассудство.

И, отчетливо сознавая, что делать этого нельзя, однажды Коля сбросил с себя лямку, вытащил ноги из круглых креплений лыж, почему-то поставил их торчмя и успел еще отметить: лыжи

похожи сделались на страшных змей кобр со злобно раздутыми шеями, которых он видел в кино, когда служил в армии, — им почти каждый день показывали кино. Э-эх, армия, друзья, люди, города, дома, огни, машины! Где они? Были ль они?

Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр Дудыпты и лежал какое-то время ничком в снегу, и плыл куда-то вместе с осыпью, не веря обману. Снег все накатывался, накатывался сверху, перемерзлый, сыпучий. Он заполнял, сравнивал всякий бугорок, всякую выбоину. Забарахтался, забился человек, потерявший желание думать и бороться, когда наконец увидел над собой, на урезе Дудыпты собаку, все ту же, белую, с серым крапом на лапах и голове, родную, верную собаку.

— Боё! Боё! Боё! — Человек скребся, плыл по снегу к собаке. Поскуливая, руля хвостом, собака ползла встречь ему, и вместе с нею полз, двигался

снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась острием в лицо лыжина. Человек ее схватил, подсунул под себя и, как в детстве на дощечке, погребся наперекор течению сквозь этот бесконечно двигающийся снег. — Боё! Боё! Боё!.. — Но собаки нигде не было, зато вот она, вторая лыжа. Откопав ее, человек прилег, свернулся бочком на двух лыжах, мокрый, насквозь пронизаемый стужей и ветром, он грел дыханием руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. «Стреляют! Ружье!» Не в силах снять ружье со спины, он нащупал сзади гладкую ложу, отвел не пальцами, а всей ладонью курок, засунул в скобу ничего уже не чувствующий палец, отодвинул ствол от затылка в сторону и надавил на железо. У левого уха метнулось пламя, ахнул гром, голову откинуло волной выстрела, ухо словно бы забило пыжом, ноги стрелка подогнулись, и он упал поперек лыж…

Болезнь напарника напугала и объединила старшого с Архипом. Последнее время они уже не просто грызлись, а хватались за ружья и топоры. Коля понимал: наступит срок, и ему будет не разнять связчиков, не справиться с двумя осатанелыми мужиками, кто-то кого-то из них порешит или он их из ружья обоих положит —

такая думка ему тоже не раз голову посверливала — не уговаривать, не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пуле каждому — и пропадай все, гибель так гибель, суд так суд — не они первые, не они последние на зимовках стреляются…

Лечили Колю артельщики напористо: жарили докрасна печку, обмазывали больного горчицей, вливали ему в жаркий рот спирта, капали в питье растопленной серы, бросали в кружку горячую монету — серебрушку. Коля метался на нарах, кричал: «Е!.. Е!.. Е!..»

— Чего это он?

— Не знаю, — Архип шарил в затылке, припоминая, — собаку, может? Собака у него была, Бойе…

— Собаку? Собаку — хорошо! Собака — друг.

Гнали охотники пот аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой и достигли своего — температуру сбили, простуду напрочь выгнали, но при этом надсадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал все: как выгонять простуду, как делать из хлебного мякиша смесь и по самодельным трафаретам изготавливать карты, из обломка железа ножик, из куска жести котелок, из кости зажи-

галку. Он мог сварить суп из топора, сготовить гуляш из подметок, шить без ниток, стирать без мыла, коптить рыбу, чтоб дыма не видно, сушить мясо, чтоб запаху не слышно, спасаться от цинги хвоей, строить землянку без топора и выделать для нее олений пузырь руками, мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, как и чем лечить сердце — в его жизни сердцем заниматься было недосуг, хоть бы грешное тело сохранить. Где-то слышал или умом своим гибким и проницательным старшой допер: при больном сердце надо меньше шевелиться, не бултыхать нутром, и, глядишь, оно, ретивое, успокоится, наберет силу, выровняет ход. Архипу, испуганному и послушному, старшой приказал носить дрова с накрошных ям, складывать их кострами неподалеку от зимовья, не палить в лампе керосин, обходиться лучиной, рыбьим жиром и только в крайнем случае жечь свечи.

Артельщики ждали самолет. Фартовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес Архип песца, тощего, маленького, с сырой, ровно бы присоленной, шкуркой. Кости в шкурке словно истолчены. Голова зверька расклевана совами, пусто темнели глазницы, в щелях голенького черепа бурела сохлая кровь — в тундре свиреп-

ствовал голод, начался падеж.

«Смерть! Вот она какая!» Горло больного задергалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив сочащиеся красным, цинготные десны.

— Боюся-а-а!..

Издали донеслось:

— Ничего, Миколаха, ничего… Держись! Мы с тобою! Мы не оставим…

В декабре, как было оговорено, самолет не пришел. Надеялись, верили — к Новому-то году обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпало дурным снегом, справила новогодье свирепая пурга, пошатала избушку, побрякала трубой, помучила людей и природу всласть, но как только унялась пурга, зачуфыркал в небе самолетик. Сперва он «промазал» избушку, устремился резво к морю, состывшемуся с берегом и тундрой, где и разбиться мог о скалы, заметенные снегом, но Архип такие костры запалил, наплескав керосину на дрова, а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг. Увидев сигнал, снизился, покачал крылами и, чтобы не ковырнуться кверху брюхом, опробовал лыжами снег, скользнув над самой землею. Архип попеременке со старшим все время утрам-

бовывали и прикатывали снег самодельными катками, изготовленными из сутунков, натасканных Колей, как будто ведал малый, что они сгодятся.

Благополучно приземлившись, самолетик покрутил пропеллером, уркнул, чихнул и замер. Зная, как их везде ждут, пилоты, улыбаясь, вышли наружу и узрели картину: на снегу сидят два здоровенных ознобленных мужика и плачут. Через порог зимовья перевалился изможденный парнишка в нижней, просторной для него рубахе и ровно в тайге кого-то кличет:

— Ё! Ё! Ё!..

Остаток зимы Коля пролежал в краевой больнице, получил группу инвалидности, какую дают лишь кандидатам в покойники, — первую, но не сдался смерти, вылечился тайгой, рекой, свежей рыбой, дичиной, и скоро перевели его на третью группу. Окрепнув здоровьем, он выехал из Игарки к родичам жены, в старинный приенисейский поселок Чуш, поступил работать в рыбкооп шофером.

Однажды мы всей семьей собрались и поехали в гости к братану. Как и в прежние годы, был он бегуч, суетлив, разговорчив, на здоровье не жаловался, всем норовил угодить, обрадовать ра-

душием. Зная, какой я заядлый рыбак, посулился свезти нас с сыном на речку Опариху, чтоб отвели мы душу на хариусах.

Капля

Заманил речкой Опарихой Коля, а сам чего-то тянул с отъездом. «Вот Акимка явится, и двинем», — уверял он, то и дело выскакивая на берег Енисея, к пристани.

Аким — закадычный друг братана — уехал в Енисейск вербоваться в лесопожарники и, как я догадался, решил «разменять» подъемные, потому что не любил таскать за собою какие-либо ценности.

Я коротал время возле поселка, на галечном мысу, названном Карасинкой, — хранились здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда название, — таскал удочками бойких чебаков и речных окуней, белобрюхих, ярко-полосых, наглых. Шустрей их были только ерши — они не давали никакой рыбе подходить к корму. Днем мы купались и загорали под солнцем, набравшим знойную силу, лето в том году было жаркое даже на Севере, и вода, конечно, не такая, как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно.

По причине ли сидячей работы, оттого ли, что курить бросил, тетки уверяют — в прадеда удался, прадед пузат был, — тучен я сделался, стеснялся

себя такого и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу Карасинка, не отрывая взора от удочек, услышал:

— Е-ка-лэ-мэ-нэ! Это скоко продуктов ты, пана, изводис?! Вот дак пузо! Тихий узас!

По Енисею на лодке сплывал паренек в светленьких и жидких волосенках, с приплюснутыми глазами и совершенно простодушной на тонкокожем, изветренном лице улыбкой.

По слову «пана», что значит парень, и по выговору, характерному для уроженцев Нижнего Енисея, я догадался, кто это.

— А ты, сельдюк узкопятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине!

Парень подгреб лодку к берегу, подтянул ее, подал мне руку — опять же привычка человека, редко видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку, и лодку непременно поддергивать — низовская привычка: при северном подпружном ветре вода в реке прибывает незаметно, и лодку может унести.

— Как это ты, пана, знас, што я сельдюк? — Рука сухожильная, жесткая, и весь «пана» сухощав, косолап, но сбит прочно.

— Я все про тебя знаю. Подъемные вот в Ени-

сейске пропил!

Аким удивленно заморгал узенькими глазками, вздохнул покаянно:

— Пропил, пана. И аванец. И рузье…

— Ружье? За пропитое ружье раньше охотников пороли. Крестьянина за лошадь, охотника за ружье.

— Кто теперь пороть будет? Переворот был, свобода! — хохотнул Аким и бодро скомандовал: — Сматывай поживее удочки!..

И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихе. Мотор у братана древний, стационарный, бренчит громко, коптит вонько, мчится «семь верст в неделю, и только кустики мелькают». Опять же, нет худа без добра и добра без худа — насмотришься на реку, братца с приятелем наслушаешься. Зовут они себя ханурикáми, и слово это звуком ли, боком ли каким подходило к ним, укладывалось, будто кирпич в печной кладке.

Аким сидел за рулем — в болотных сапогах, в телогрейке нараспашку, кепчонку на нос насунул, мокрую сигаретку сосал. Коля тоже в сапогах, в телогрейке и все в той же вечной своей кепчонке-восьмиклинке, которая от пота, дыма и дождей, ее мочивших, сделалась земляного цвета. Под телогрейкой у Коли пиджачишко, бязевая рубаха

— привычка охотников и рыбаков: на реке, в тайге, в лодке быть «собранным» — плотно одетым в любое время года.

Брат узенько лепился на беседке посреди длинной лодки, мы с сыном против него, на другой. Громким голосом, рвущимся из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изведанных ими. Знакомы они с Акимом еще с Игарки. Дружок и в Чуш притащился следом, живет в доме Коли, и хотя Коля и одногодок «пане», однако хозяин — женатик и потому журит Акима, и тот «слусается товарисса», если трезвый.

Слушая Колю, сын мой уже не раз падал со скамейки. Аким у руля одобрительно улыбался, понимая, что речь идет о них.

…За Опарихой, непроходимой для лодки, есть речка Сурниха, по которой осенью, когда вздует речку, можно где волоком, где шестом подняться километров на двадцать, а там рыбалка-а-а! Забрались парни в глубь тайги, на Сурниху. Устали до того, что ноги подламываются. Но Аким все равно не удержался, перебрел на порожек, лег на камень, долго глядел в воду, потом удочку забросил. Только забросил, тут же хариуса поднял, темного, ярко-серого. «Пор-р-рядок!» — заорал.

Ну а друг разве утерпит! И давай они шуровать, не поевши, не поспавши. Забросят и подымут, забросят и подымут то хариуса, то ленка. В азарт вошли, про все забыли, а ведь опытные таежники — знают: сперва отаборись, разбей стан, устройся, и тогда уж за дело.

Чего на скорую руку, тяп-ляп сделаешь, тяп-ляп и получится. Когда «попробовать» решили, вынули туесок с червями, взяли с собой только по щепотке, что она, щепотка-то, при таком клеве — была и нет!

— Колька! — крикнул Акимка с порога, рыбачивший пониже его, в кружливом пенистом омутке. — Черви кончились. Во берет! Сходи, позалуста!

Оставив удочку с жилкой ноль шесть и двумя пробками, чтоб было видно, когда заклюет, братан подался к брошенным под кусты манаткам. Цап-царап — в туеске ни одного червяка! В тайге их не найти — мох, сырь, местами мерзлота, какой тут червяк выживет? Значит, накрылась рыбалка! Накрылись труд и старания. Валидол сосал, глаза на лоб лезли, когда тащил лодку по речке, и вот крах жизни.

— Акимка, падла! Кто-то всех червей спер!..

— Сто ты, сто ты, пана! — взревел Акимка и

запрыгал по камням к берегу, поскользнулся, упал в речку, начерпал в сапоги. Туесок он тряс, щупал, лицо в него засунул — нету червей. У Коли от потрясения губы почернели. — Сто же это! Сто же это! — чуть не плача, повторял Акимка. — Озевали нас! Кержаки озевали! Дружишь с имя, привечаешь… — И вдруг Акимка смолк, увидев на пеньке черного дятла — желну. Сидит, клюв чистит. Дальше еще один — клиноголовики, муж с женой, видать. Такие оба довольные. Почистились, дремать пробуют после обеда. Еще с речки слышал Акимка, как они перекликались тут, квякали озабоченно, потом на весь лес стоном стонали — песня у них такая — напировались, весело им. «А-а, живоглоты! Поруху сделали! Теперь тувалет!» — Аким сгреб ружье и картечью в дятла. Близко стрелял, отшибло бедной птахе голову. Вторая желна застонала, запричитала на весь лес, черно умахивая в глубь тайги. Акимке мало, что расшиб из ружья птаху, он еще схватил дятла за крыло и шмякнул его в воду, как тряпку. Коля замахал руками, замычал, валидолину выплюнул и бултых в речку следом за дятлом. «Все! — ужаснулся Аким. — Спятил кореш!» Хотел бросаться спасать его, но Коля где плавом, где бродом догнал дятла, выловил и на берег, повторяя:

— Вот оне! Вот оне!..

Акимка глянул: черви, будто из копилки, вылезают из дятла и разбежаться метят. Другую желну Аким долго караулил, выставив туес на пенек. Явился разбойник, не запылился. Аким прибил дятла аккуратно, да в брюхе пожоры от червей мало чего осталось. Попробовали рыбачить на птичьи потроха. Хариус, особо ленок, брал безотказно, и наловили друзья два бочонка отборной рыбы. На всю зиму обеспечились, однако с тех пор рот в лесу не открывали и червей берегли пуще хлеба.

… Долго ли, коротко ли мы плыли, и привез нас моторишко к речке Опарихе, отстучал, отбренчал, успокоился, пар от него, перекаленного, горячий валит, водой брызнули с весла — зашипело.

Аким в который раз предлагает уйти на Сурниху. Но мне чем-то с устья приглянулась Опариха, главный заман в том, что людей на ней не бывает — труднопроходимая речка.

— Смотри, пана, не покайся, — предупредил Аким, и мы пошли сначала бойко, но как залезли в переплетенные, лежащие на земле тальники, то и понял я сразу, отчего опытные таежники долго обходили эту речку стороной — здесь самые что

ни на есть джунгли, только сибирские, и называются они точно и метко — шарагой, вертепником и просто дурниной.

Версты две продирались где ползком, где на карачках, где топором прорубаясь, где по кромке осыпного яра. И вот уж дух из нас вон! Гнуса в зарастельнике тучи, пот течет по лицам и шее, быстро съедает солью противокомариную мазь.

Наконец-то шиверок! И сразу крутой поворот, ниже которого речка подмыла берег, навалила кустов смородины, шипицы, всякого гибника, две старые осины и большую ель. Место — лучше не придумать! Коля зашел на камни шиверка и через голову пульнул под кусты, на глубину толстую леску с пробками от шампанского. Я подумал, что после такого всплеска и при такой жилке ему не только хариус, но и крокодил, обживись он в этих студеных водах, едва ли клюнул бы, но не успел завершить свою мысль, как услышал:

— Е-э-эсь! — Жидкое, только что срубленное братом удилище изгибалось былкой под тяжестью крупного хариуса.

Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье, шлепоток и увидел, как от упавшей с берега осинки сын поднимает ярко взблески-

вающего на свету хариуса. Все во мне обмерло: берег крутой, опутанный кустами, сын никогда еще не ловил такого крупного хариуса, хотя спец он по ним, и немалый. Он поднял рыбину над водой, но, привыкший рыбачить на стойкую бамбуковую удочку, позабыл, что в руках у него сырой черемуховый покон — рыбина разгулялась на леске, ударилась о куст и оборвалась в воду. Очумело выкинувшись наверх, хариус хлопнул сиреневым хвостом по воде и был таков!

Потоки ругательств, среди которых «растяпа» было едва ли не самое нежное, обрушил папа на голову родного дитяти. Аким, стоявший по другую сторону речки, не выдержал, заступился за парнишку:

— Что ты пушишь парня? Было бы из-за чего! Наудим иссе! — и выдернул на берег серебрящегося хариуса. — Во, видал!

А я-то думал, что на его удочку и вовсе уж никто не попадется — удилище с оглоблю, жилка — толще не продают, поплавок из пенопласта, с огурец величиной, крючок в самый раз для широкой налимьей пасти. Я перестал ругаться, пошел искать «хорошее» место, не найдя какового, на уральских речках, к примеру, хариуса не поймаешь. Загнали его там, беднягу, в угол, и таких

он страхов натерпелся, что сделался недоверчивым, нервным и, прежде чем клюнуть, наденет очки, обнюхается, осмотрится, да и шасть под корягу, как распоследний бросовый усач или пищуженец.

С берега упал кедр, уронил собою несколько рябинок и вербу. Палые деревья образовали что-то вроде отбойной запруды, и там, где трепало их вершины, кружил, хлопался водоворот — непременно должна здесь стоять рыба, потому что ловко можно было выскакивать из ухоронки за кормом, но самая хитрая, самая прожорливая рыба, по моему разумению, должна стоять у комля, точнее, под комлем кедра, в тени меж обломанными сучками и вилкой корня. Темнел там вымытый омуток, в нем неторопливо кружило мусор, значит, и всякий корм. Требуется уменье попасть удочкой меж бережком и ветками кедра и не зацепиться, но все на тех же захламленных речках Урала, где хариус и поплавка боится, навострился наш брат видеть поклевки вовсе без каких-либо поплавков — впритирку ко дну, в хламе и шиверах проводит крючок без зацепов, добывая иногда на ушицу рыбы, каждая из коих плавает с порванными губами или кончила противокрючковые курсы.

Севши за кустик шиповника, я тихо пустил у ног в струйку крючок со свежим червяком, дробинкой-грузильцем и чутким осокоревым поплавком уральской конструкции — стоит даже уклейке понюхать наживку, поплавок нырь — и будьте здоровы! Поплыл мой поплавок. Я начал удобней устраиваться за кустом, глянул — нет поплавка. «Раззява! — обругал я себя. — Первый заброс — и крючок на ветках!» Потянул легонько, в удилище ударило, мгновенье — и у ног моих на камнях забился темный хариус, весь в сиреневых лепестках, будто весенний цветок прострел.

Я полюбовался рыбиной, положил ее в старый портфель, который дал мне Коля вместо сумки, уверенный, что ничего я не поймаю, сделал еще заброс — поплавок не успел дойти до ствола кедра, его качнуло и стремительно, без рывков повело вбок и вглубь — так уверенно берет только крупная рыба. Я подсек, рыба уперлась в быстрину, потащила леску в стрежень, но я стронул ее и с ходу выволок на камни. Ярко, огненно сверкнуло на камешнике, изогнулось дугой, покатилось, и я, считающий себя опытным и вроде бы солидным рыбаком, ахнув, упал на рыбину, ловил ее под собою, пытался удержать в руках и не мог удержать. Наконец мне удалось ее отбросить от

воды, прижать, трепещущую, буйную, к земле.

«Ленок!» — возликовал я, много лет уже не видавший этой редчайшей по красоте рыбы — она обитает в холодных и чистейших водах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где ленка называют гольцом. На Урале ленка нет.

Вам доводилось когда-нибудь видеть вынутую из кузнечного горна полосу железа? Еще не совсем остывшую, на концах и по краям еще красную, а с боков уже сиренево и сине отливающую? Сверх того, окраплена рыба пятнами, точками, скобками, которые гаснут на глазах. Ко всему этому еще гибкое, упругое тело — вот он каков, ленок! Как и всякое чудо природы, прекрасный ее каприз сохраняется только у «себя дома». На моих глазах такой боевой, ладный ленок тускнеет, вянет и успокаивается не только сила его, но и окраска. В портфель я кладу уже вялую, почти отцветшую рыбину, на которой остался лишь отблеск красоты, тень заката.

Но человек есть человек, и страсти его необоримы. Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души, и тут же все пропало, улетучилось под напором азарта и душевного ликования. Я вытянул из-под комля еще пару ленков и стал осваивать стрежину за вершиной

кедра, где хариусы стояли отдельно от стремительных, прожорливых ленков, надежд на совместный прокорм почти не оставляющих, и поднял несколько рыбин. Я был так возбужден и захвачен рыбалкой, что забыл про комаров, про братана, про родное дитя.

— Папа! — послышался голос сына. — Я какого-то странного хариуса поймал! Очень красивого! — Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал — кроме ленка сын добыл еще четырех хариусов, да каких! Парень он уравновешенный, немного замкнутый, а тут чую, голосишко дрожит, возбудился, поговорить охота. — У тебя как?

Я показал ему большой палец и скоро услышал:

— Я снова ленка поймал!

— Молодец!

Надо мной зашуршало, покатилась земля, и я увидел на яру Акима.

— Ты сё здесь делаешь? Ково ты здесь добудешь? — Я поднес к носу сельдюка портфель, и Аким схватился за щеку: — Е-ка-лэ-мэ-нэ-э! Это се тако, пана?! — жаловался он подошедшему Коле. — Оне таскают и таскают!..

— Пушшай таскают! Пушшай душу порадуют! Натешатся!..

— Ты бы, — сказал я Акиму, — канат вместо жилки привязал да поплавок из полена сделал и лупцевал по воде…

Тут я выхватил еще одного хариуса из такого места, где, по мнению Акима, ни один нормальный рыбак не подумал бы рыбачить, а нормальная рыба — стоять. Сельдюк махнул рукой: «Чего-то нечисто тут!» — и пошлепал дальше, уверяя, что все равно всех обловит. За поворотом он запел во всю головушку: «Не тюрьма меня погубит, а сырая мать-земля…» Коля хохотал, перебредая по перекату через речку, говорил, что сельдюк узкопятый в самом деле всех обловит, убежит вперед, исхлещет речку, разгонит все, что есть в ней живое, и, если не встретится дурная рыба, обломает вершинку удилища, смотает на нее леску, натянет на ухо полу телогрейки и завалится спать. Его и комар не берет, за своего принимает.

Следом за Акимом подался дураковатый и прожорливый кобель Тарзан. Кукла, хитренькая такая сучка, верная и золотая в пушном промысле, не отходила от Коли, сидя чуть в отдалении, утиралась лапкой, смахивала с носа комаров. Почему Тарзан привязался к Акиму — загадка природы. Чего только не вытворял над Тарзаном сельдюк! И ругал его, и гонял его, если давал мел-

конькую рыбку слопать, непременно с фокусом — зашвырнет ее в гущу листьев копытника и понукает:

— Усь! Усь, собачка! Лови рыбу! Хватай!

Тарзан козлом прыгал в зарослях, брызгал водой, преследуя рыбешку, часто отпускал добычу и, облизнувшись, ждал подачку — рыбу он любил пуще сахара. Я уж устал хохотать, а сын мой — хлебом не корми, дай посмеяться, вместе с Тарзаном таскался за Акимом, любовно смотрел ему в рот.

— Акимка! — строжась, кричал Коля. — Скоро уху варить, а у нас чё?

Аким не отзывался, исчез, подавшись вверх по речке.

И мы углубились по Опарихе. Тайга темнела, кедрач подступил вплотную, местами почти смыкаясь над речкой. Вода делалась шумной, по обмыскам и от весны оставшимся проточинам росла непролазная смородина, зеленый дедюльник, пучки-борщевники с комом багрово-синей килы на вершине вот-вот собирались раскрыться светлыми зонтами. Возле притемненного зарослями ключа, в тени и холодке, цвели последним накалом жарки, везде уже осыпавшиеся, зато марьины коренья были в самой поре, кукушкины

слезки, венерины башмачки, грушанка — сердечная травка — цвели повсюду, и по логам, где долго лежал снег, приморились ветреницы, хохлатки. На смену им шла живучая трава криводенка, вострился сгармошенными листьями кукольник. Населяя зеленью приречные низины, лога, обмыски, проникая в тень хвойников, под которыми доцветала брусника, седьмичник, заячья капуста и вонючий болотный болиголов, всегда припаздывающее здесь лето трудно пробиралось по Опарихе в гущу лесов, оглушенных зимними морозами и снегом.

Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипица, боярышник, таволожник и всякая шарага оробели, остановились перед плотной стеной тайги и лишь буераками, пустошами, оставшимися от пожарищ, звериными набродами крадучись пробирались в тихую прель дремучих лесов.

Опариха все чаще и круче загибалась в короткие, но бойкие излучины, за каждой из которых перекат, за перекатом плесо или омуток.

Мы перебредали с мыса на мыс, и кто был в коротких сапогах, черпанул уже дух захватывающей, знойно-студеной воды, до того прозрачной, что местами казалось по щиколотку, но можно

ухнуть до пояса. Коля предлагал остановиться, сварить уху, потому что солнце поднялось высоко, было парко, совсем изморно сделалось дышать в глухой одежде — защите от комаров. Они так покормились под шумок, что все лицо у меня горело, за ушами вспухло, болела шея, руки от запястий до пальцев были в крови.

Уперлись в завал.

— Дальше, — сказал Коля, — ни один местный ханыга летом не забирался, — и покричал Акима.

Отклика не последовало.

— Вот марал! Вот бродяга! Парня замучает. Тарзана ухайдакает.

В могучем завале, таком старом, вздыбленном, слоеном, что местами взошел на нем многородный ольховник, гнулся черемушник, клешнясто хватался за бревна, по-рачьи карабкался вверх узколистый краснотал и ник к воде смородинник. Речку испластало в клочья, из-под завала там и сям вылетали взъерошенные, скомканные потоки и поскорее сбегались вместе. Такие места, хотя по ним и опасно лазить — деревья и выворотни сопрели, можно обвалиться, изувечиться, — никакой «цивилизованный» рыбак не обойдет. Я забрался в жуткие дебри завала, сказав ребятам,

чтоб они стороной обходили это гиблое место, где воду слышно, да не видно и все скоргочет под ногами от короедов, жуков и тли.

Меж выворотней, корневищ, хлама, сучкастых стволов дерев, слизанных водою бревен, нагромождения камней, гальки, плитняка темнели вымоины. Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх, прощупывает мусор и короедами точенную древесную труху. Иной рыбехе удается поддеть губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка следом. Один рукав круто скатывается под бревно, исчезает в руинах завала, и не скоро он, очумелый от темноты и тесноты, выпутается из лесного месива. Осторожно спускаю леску с руки, и, едва червяк коснулся воды, из-под бревна метнулась тень, по руке ударило, я осторожно начал поднимать пружинисто бьющуюся на крючке рыбину.

Пока вернулся Аким с компанией, едва волочившей ноги, так он ушомкал ее, бегая по Опарихе, я вытащил из завала несколько харисусов, собрался похвастаться ими, но пана открыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев ленков, что совсем померкли мои успехи, однако по количеству голов сын обловил Акима, и он

великодушно хвалил нас:

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Пана, се за рыбаки понаехали! Сзади, понимас, идут и понужают, и понужают! Тихий узас!

Я заверил друзей-хануриков, что со своей нахальной снастью они ничего, кроме коряжины иль старого сапога, в местах обетованных не выудят.

— А мы туды и не поедем, раз такое дело! — в голос заявили сельдюки. Колю я тоже звал сельдюком, потому что вся сознательная жизнь его прошла на Севере и рыбы, в том числе и туруханской селедки, переловил он уйму, а тому, сколько могут съесть рыбы эти мужички-сельдючки величиной с подростков, вскоре стали мы очевидцами. Аким умело, быстро очистил пойманную рыбу. Я подумал, подсолить хочет, чтобы не испортилась. Но, прокипятив воду с картошкой, он всю добычу завалил в ведро, палкой рыбу поприжал, чтобы не обгорели хвосты.

— Куда же столько?

— Нисе, съедим! Проходилися, проголодалися.

Это была уха! Ухи, по правде сказать, в ведре почти не оказалось, был навар, и какой! Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно. А я уж отвык от рыбного изобилия, управил с пяток

некрупных, нежных хариусов и отвалился от ведра.

— Хэ! Едок! — фыркнул Аким. — Ты на сем тако брюхо держишь?

Вывалив рыбу на плащ, круто посолив ее, сельдюки вприкуску с береговым луком неторопливо подчистили весь улов до косточки, даже головы рыбьи высосали. Я осмотрел их с недоверием наново: куда же они рыбу-то поместили?! Жахнув по пятку кружек чаю и подморгнув друг дружке, сельдюки подвели итог:

— Ну, слава Богу, маленько закусили. Бог напитал, никто не видал.

— Вот это вы дали!

— На рыбе выросли, — сказал Коля, собирая ложки, — до того папа доводил, что, веришь — нет, жевали рыбу без хлеба, без соли, как траву…

— Как не поверить! Я ведь нашему папе сродни…

Аким, почуяв, что нас начинают охватывать невеселые воспоминания, поднял себя с земли, зевнул широко, обломал конец удилища, смотал на него леску, взял вещмешок, сбросал в него лишний багаж и, заявив, что такую рыбалку он в гробу видел и что лодку без присмотра на ночь нельзя оставлять, подался вниз по речке,

к Енисею.

Мы еще поговорили у затухающего костерика и уже неторопливо побрели вверх по Опарихе. Чем дальше мы шли, тем сильнее клевала рыба. Запал и горячка кончились. Коля взял у меня портфель, отдал рюкзак, куда я поставил ведро, чтоб хариусы и ленки не мялись. У рыбы, обитающей в неге холодной чистой воды, через час-другой «вылезало» брюхо. Тарзан до того наелся рыбой и так подбил мокрые лапы на камешнике, что шел, пьяно шатаясь, и время от времени пьяно же завывал на весь лес: зачем, дескать, я с вами связался? Зачем не остался лодку сторожить? Был бы сейчас с Акимкой у стана, он бы со мной баловался, и никуда не надо топать. Кукла-работница лапок не намочила, шла верхом, мощным лесом и только хвостом повиливала, явившись кому-нибудь из нас. Где-то кого-то она раскапывала, нос у нее был в земле и сукровице, глаза сыто затуманились.

Когда-то здесь, на Опарихе, Коля стрелял глухарину, и молодая, только что начинавшая охотничать собака дуром ринулась на глухаря. Тот грозно растопорщился, зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и шасть хозяину меж ног. Глухарь же

до того разъярился, до того ослеп от гневной силы, что пошел боем дальше, распустив хвост и крылья. «Кукла! Да он же сожрет нас! — закричал Коля. — Асю его!» Кукла хоть и боялась глухаря, хозяина ослушаться не посмела, обошла птицу с тыла, теребнула за хвост. С тех пор идет собачонка на любого зверя, медведь ей не страшен, но вот глухаря побаивается, не облаивает, если возможно, минует его стороной.

Опариха становилась все быстрей и сумрачней. Реденько выступал мысок с избитым зеленым чубом листвы или в зарослях осоки. Кедры, сосняки, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке. Космы ягелей и вымытых кореньев свисали с подмытых яров, лесная прель кружилась над речкой, в носу холодило полого плывущим духом зацветающих мхов, в горле горчило от молодых, но уже мыльно сорящих папоротников, реденькие лесные цветы набухали там и сям шишечками, дудочник шел в трубку. В иное лето цветы и дудки здесь так и засыхают, не расцветя.

Отошли семь-восемь километров от Енисея, и нет уже человеческого следка, кострища, порубок, пеньков — никакой пакости. Чаще завалы поперек речки, чаще следы маралов и сохатых на перетертом водою песке. Солнце катилось

куда-то в еще более густую темь лесов. Перед закатом освирепел гнус, стало душнее, тише и дремучей. Над нами просвистели крохали, упали в речку, черкнув по ней отвислыми задами и яркими лапами. Утки огляделись, открякались и стали выедать мелкого хариуса, загоняя его на мелководье.

Я взглянул на часы, было семь минут двенадцатого, и улыбнулся про себя — мы отстояли четырнадцатичасовую вахту, и не просто отстояли: продирались в дебри где грудью, где ползком, где вброд; если бы кого из нас заставили проделать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз.

Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Хотя обдувья не было — так загустела тайга вокруг, по распадку угорело виляющей речки все же тянуло холодком, лица касалось едва ощутимое движение воздуха, скорее дыхание тайги, одурманенное доцветающей невдалеке черемухой, дудками дедюльников, марьиного корня и папоротников.

Пониже мыска, у подмытого кедра, динозавром стоявшего на лапах в воде, полосами кружилось уловце, маячила над ним тонкая фигура сынишки — там уж три раза брал и сходил «здоровенный

харюзина»!

Я крикнул сына, и он с сожалением оставил недобитого хариуса. Мы свалили кедровую сухарину, раскряжевали ее топором. И вот уж кипяток, запаренный смородинником и для крепости приправленный фабричным чаем, напрел, запах. Брат лежал на опечке вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо.

— Сейчас, — не поднимая головы, отозвался он и сколько-то времени еще полежал, вслушиваясь в себя. С трудом приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. — Тайга-мама заманила, титьку дала — малец и дорвался, сам себе язык откусил…

Чай подживил Колю. Он прилег на бок, уперся щекой в ладонь, слушал тайгу-маму — она отодвинулась от всех шумов, шорохов, отстранилась от всякого движения и отчужденно погружалась в самое себя, в хвою, в листья, в мох, в хлябистые болота. Было слышно птицу, где-то за версту неловко и грузно садившуюся в дерево; жуков, орехово щелкающихся о стволы, крохалей, озадаченных костром, ярче и ярче в сумерках светящим, и коротко по этому поводу переговаривающихся; падение прошлогодней шишки, сухо

цепляющейся за сучки; короткий свист бурундука и чем-то потревоженную желну, заскулившую на весь лес, при крике которой сморщило губы брата улыбкой, и мы с сыном тоже заулыбались, вспомнив о приключении ханурикoв-друзей на Сурпихе. Но все вокруг сияло журчанием берестяного пастушьего рожка, почти сливающимся с чурлюканьем речки в перекате и все же отдельным от него, нежным, страстным, зовущим.

— Ты чего? — повернулся ко мне братан. — Какие тебе тут пастухи? Здесь скот — маралы, олени да сохатые… — Говорил он резко, почти сердито — нездоровилось ему. Но, перехватив мой взгляд, без необходимости поправил огонь, мягче пояснил: — Маралуха с теленком тут пасется…

Собаки одыбались, навострили уши. Я перестал рубить лапник для подстилки. Но скоро собаки успокоились, прикрылись хвостами. Хитрая и умная Кукла легла под тягу дыма, и от нее отжимало комара. Тарзан почти залез в огонь, и все равно гнус загрызал его. Он время от времени лапами стряхивал комаров с морды, упречно глядел на нас — что же это, дескать, такое? Куда вы меня завели и чего вам дома не сидится! Коля бросил на лапник телогрейку, натянул на ухо воротник старого пиджака, осадил ниже кепчонку и лег по

одну сторону костра; сын, обмотавшись брезентовыми штанами, устроился по другую.

Я спать не хотел. Не мог. Напился крепкого чая, за братана переживал и, кроме того, столько лет мечтал посидеть у костра в тайге, еще не тронутой, точнее сказать, не поувеченной человеком, так неужели этот редкий уже праздник продрыхать?!

Что испытывал я тогда на Опарихе, у одинокого костра, хвостатой кометой мечущегося в темени лесов, возле дикошарой днем, а ночью по-женски присмирелой, притаенно говорливой речки? Все. И ничего.

Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь: будет весна, лето, я убреду в лес и там увижу такое, переживу разэтакое… Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середке не защищенную, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе.

И не ожидание ли необычного, этой вечной сказочки, не жажда ли чуда толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру, на речку Ду-

дыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской наделила его шаманка? И что привело нас сюда, на Опариху? Не желание же кормить комаров, коих, чем глуше ночь, тем гуще клубится и ноет возле нас. В отсвете костра, падающем на воду, видно не просто серое облако гнуса, а на замазку похожее тесто. Без мутовки, само собою сбивается оно над огнем, набухает, словно на опаре, осыпая в огонь желтые отруби.

Коля и сын спрятали руки под себя, дрыгаются, бьются во сне. Собаки пододвинулись вплотную к огню. Я же, хорошо умывшись в речке, сбив с лица пот, густо намазался репудином (если бы существовал рай, я бы заранее подал туда заявление с просьбой забронировать там лучшее место для того, кто придумал мазь от гнуса). Иной ловкач-комар все же находил место, где насосаться крови, то и дело слышится: «шпы-ы-ынь…» — это тяжело отделяется от меня опившийся долгоносый зверь. Но дышать-то, жить, смотреть, слушать можно, и что она, эта боль от укусов, в сравнении с тем покоем и утешением сердца, которое старомодно именуется блаженством.

На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые дерева, свертывало в валки, катило над

короткими плесами, опятнанными кругляшками пены. Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами легкие, кисеей колышущиеся полосы. Это облегченное дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой всего живого. Даже малявки в речке перестали плавиться и плескаться. Речка текла, ровно бы мохом укрытая, мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвою, комки цветов, гибкие тальники одавило сыростью, черемуха на том берегу перестала сорить в воду белым, поредевшие, растрепанные кисти полоскало потоком, и что-то было в этой поздно, тощо и бедно цветущей черемушке от современной женщины, от ее потуг хоть и в возрасте, хоть с летами нарядиться, отлюбить, отпраздновать дарованную природой весну.

За кедром, динозавром маячившим в воде, в ночи сделавшимся еще более похожим на допотопного зверя, где стоял «харюзина», не изловленный сыном, блеснуло раз-другой, разрезало острием серпика речку от берега до берега, точно лист цинкового железа, и туманы, расстриженные надвое, тоже разделились — одна полоса, подхваченная речкой, потекла вниз, другая сбилась в облачко, которое притулилось к берегу,

осело на кусты подле нашего костра.

Блеклым светом наполнилось пространство, раздвинулась глубь тайги, дохнуло оттуда чистым холодом, на глазах начал распадаться ком гнуса, исчезать куда-то, реденько кружило дымом уже вялых, молчаливых мокрецов. Ребята у костра внятно вздохнули, напряженные тела их распустились — уснули глубоко, все в них отдыхало: слух, нюх, перетруженные руки и ноги. Который-то из парней даже всхрапнул коротко, выразительно, но тут же подавил в себе храп, чуя подсознанием, что спит он не дома, не под крышей, не за запорами, какая-то часть его мозга бдила, была настороже.

Я подладил костер. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым откачнуло к воде, туда же загнуло яркий гребень огонька. Придвинувшись к костру, я вытянул руки, сжимал и разжимал пальцы, будто срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно левая, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала вкрадчивая боль — сказывалось долгое городское сидение — и такая сразу нагрузка да вчерашняя духотища.

Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без

всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли. Лишь отблескивала в перекатах Опариха, катясь по пропаханной вилючей бороздке к Енисею. Там она распластается по пологому берегу на рукава, проточины и обтрепанной метелкой станет почесывать бок грузного, силой налитого Енисея, несмело с ним заигрывая. Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшка Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтобы капля по капле наполнять молодой силой вечное движение.

Казалось, тише, чем было, и быть уж не могло, но не слухом, не телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующее темечко нарождающегося дня — настал тот краткий миг, когда над миром парил лишь Божий дух един, как рекли в старину.

На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить

мир своим падением.

И я замер.

Так на фронте цепенел возле орудия боец с натянутым ремнем, ожидая голос команды, который сам по себе был только слабым человечьим голосом, но он повелевал страшной силой — огнем, в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то с четверенек взнявшее человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. «Огонь!» — не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней!

Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал ее в стоке желобка, не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капли упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» — заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире.

В глуби лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги. И в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть, иных миров иль «ангелов крыла»?! В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и в вечное блаженство, и в истлевание зла, и в вос-

кресение вечной доброты. Собаки тревожились, вскидывали головы. Тарзан зарычал приглушенно и какое-то время катал камешки в горле, но, снова задремывая, невнятно тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами.

Ребята крепко спали.

Я налил себе чаю, засоренного хлопьями отгара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке-сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, спозаброшенными, нуждающимися в моей защите. Сын окончил девятый класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута, ноги в коленях корнем — не сложился еще, не окреп, совсем парнишка. Но скоро отрываться и ему от семьи, уходить в ученье, в армию, к чужим людям, на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик, двоих ребятишек нажил, всю тайгу и Енисей обшастал, Таймыра хватил, корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками высыпали, руки в кистях тонкие, жидкие, спина осажена надсадой к крестцу, брюхо серпом, в крыльцах сутул, узок, но жилист, подсадист, под заморышной, невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода, ан жалко отчего-то и сына, и брата, и всех

людей на свете. Спят вот доверчиво у таежного костра, средь необъятного, настороженного мира два близких человека, спят, пустив слюнки самого сладкого, наутреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, а ощущают защиту — рядом кто-то, стережет их от опасностей, подживляет костер, греет, думает о них…

Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой и с этим прекраснейшим и грозным миром, и ни я, ни кто другой не сможет их греть и оберегать!

Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети — счастье, дети — радость, дети — свет в окошке! Но дети — это еще и мука наша. Вечная наша тревога. Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу — все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими — никогда. И еще: какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет? Простит?

И эта капля!

Что, если она обрушится наземь? Ах, если б возможно было оставить детей со спокойным сердцем, в успокоенном мире!

Но капля, капля!..

Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом над далеким Енисеем небе различил две мерцающие звездочки, величиной с семечко таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят: «тот свет», — я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением? А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал: радость кратка, преходяща, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее и укатится с перекатным громыханьем. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем, рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно-сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе-при-

тягательном будущем. Мудра, взросла печаль — ей миллионы лет, радость же всегда в детском возрасте, в детском обличье, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов — чем гуще тайга, тем они реже.

Но при чем тут небо, звезды, ночь, таежная тьма?

Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались, одно дерево сжигало молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду, по ветру, птица отрывала шишку от кедра, клевала орехи и сорила ими в мох. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься

с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только вонмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие.

С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Вон соболек мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испугу и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью в дерево, была капалуха, на исходе вечера слетавшая с гнезда размять крылья. Лапы у нее закостенели под брюхом от сидения и неподвижности, худо цеплялись за ветви, оттого она так долго и громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ль к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, капалуха тенью скользнула вниз подкормиться прошлогодней брусникой, семечками и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под которым у нее лежало в круглом гнезде пяток тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились — птица выпаривала цыпушек — глухарят.

Близко от валежины прошла маралуха с телен-

ком. Пошевеливая ушами из стороны в сторону, мать тыкалась в землю носом, срывая листок-другой — не столько уж покормиться самой, сколько показать дитю, как это делается. Забрел в Опариху выше нашего стана сохатый, жует листья, водяную траву, объедь несет по речке. Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей, через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки, нальется в них лаково-желтый орех. Прилетела жарового цвета птица ронжа, зачем-то отвинтила, оторвала лапами сиреневую шишечку с кедра и умахала в кусты, забазарив там противным голосом, не схожим с ее заморской, попугайной красотой. От крика иль тени разбойницы ронжи, способной склевать и яички, и птенцов, и саму наседку, встрепенулся в камешках зуек, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду, тут же цвиркнула, взнялась из засидки серенькая трясогузка, с ходу сцапала комара иль поденка и усмыгнула в долготелые цветочки с багровым стеблем. Цветочки на долгой ножке, листом, цветом и всем обличьем похожие на ландыши. Но какие же тут ландыши? Это ж черемша. Везде она захрясла, сделалась жесткой и только здесь, в глуби тайги, под тенистым бережком, наливается соком

отдавшей мерзлоты. Вон кристаллики мерзлоты замерцали на вытаине по ту сторону речки, сиреневые пупырки на кедре видно, трясогузка кормится, куличок охорашивается, пуночки по дереву белыми пятнышками замелькали…

Так значит?..

Да утро ж накатило!

Прозевал, не заметил, как оно подкралось. Опал, истаял морок, туманы унесло куда-то, лес обозначился пестрядью стволов. Сова, шнырявшая глухой полночью над речкой и всякий раз, как ее наносило на свет костра, скомканно шарахавшаяся, ткнулась в талину, уставилась на наш табор и, ничего-то не видя, на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крохали, просвистели над нами, согласно повернув головы к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом.

Все было как надо! И я не хочу, не стану думать о том, что там, за тайгою. Не желаю! И хорошо, что северная летняя ночь коротка, нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли, и успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину и клокочущий где-то мир,

самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели.

Хоть на одну ночь да отделился я от него, и душа моя отошла, отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни.

Тайга дышала, просыпалась, росла.

А капля?

Я оглянулся и от серебристого крапа, невдали переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедюлек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостоинах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блестку света, но, слившись вместе, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а быть может, подумал: «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра…»

Отволгло все вокруг, наполнилось живи-

тельной влагой, уронило листья пером вниз, и потекли, покатились капли с едва слышным шорохом на землю, на песок, на берег Опарихи, на желтое топорище, на серенький рюкзачок, на сухостоину, стоящую в речке. Травы покорно полегли, цветы сникли, хвоя на кедрах счесалась острием долу, черемуховые кисти за речкой сваляло в ватку, ребята съежились возле пригасшего огня, подвели ноги к животам, псы поднялись, начали потягиваться, зевая с провизгом широко распахнутыми, ребристыми пастями.

— Эк вас, окаянных! — проворчал я на них незлобиво. — Раздерет!

Кукла шевельнула извинительно хвостом, затворила рот. Тарзан истошно взвизгнул, завершая сладкий зевок, и принялся отряхиваться, соря песком и шерстью. Я отогнал его от костра, разулся, пристроил на колышки отсыревшие в резиновых сапогах портянки и, закатав штаны, побрел через речку. Стиснуло, схватило льдистыми клещами ноги, под грудью заломило, замерло, появилась тошнота. Но я перебрел через речку, напластал беремя черемши, бросил ее у костра, обулся и уловил взглядом: где-то в вершине соседней речки — Сурнихи, за горбом осередыша, за лесами, за подтаежьем обозначило себя солнце.

Еще ни единый луч его не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь расплылась размоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрачно-льдистую голубизну, в которой все ощутимей глазу или какому-то другому, более памятному и восприимчивому зрению виделась пока несмелая, силы не набравшая теплота.

Живым духом полнилась округа леса, кусты, травы, листья. Залетали мухи, снова защелкали о стволы дерев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряжине и беззаботно деранул куда-то; закричали всюду кедровки, костер наш, едва верескавший, воспрянул, щелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собою занялся огнем. От звука ахнувшего костра совсем близко, за тальником, что-то грузно, с храпом метнулось и загромыхало камнями. Собаки хватили в кусты, сбивая с них мокро, лая вперебой, мокрая и сонная сова зашаталась на талине, запурхалась, но отлететь далеко не смогла, плюхнулась за речкой в мох.

— Сохатый, дубак! — вскинув голову и вытирая припухшие от укусов губы и сонные глаза, сказал Коля и щелкнул по носу моментом вернувшихся из погони мокрых псов: — Ы-ы, падлы! Дрыхаете,

а людей чуть не слопали…

Кукла стыдливо отвернулась. Тарзан, предположив, что с ним играют, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на песок, хлопнул по мокрущему пузу так, что брызги полетели.

Балуется братан, значит, отлегло.

— Хватит дуреть-то! — по праву старшего заворчал я, доставая из рюкзака мыло, и велел ему умыться. Сам же бродом поспешил к кедру, все так же упорно, лбом встречь течению стоявшему в речке — «харюзина» тревожил меня, побуждал к действию. Поплавок коснулся воды, выправился, бойким острием пошел вдоль дерева. Меня потянуло на зевоту, только рот мой распялило судорогой, поплавок безо всяких толчков и прыжков исчез в отбойной струе; я не успел завершить сладостный зевок — на удочке загуляла сильная рыбина, потянулась под сучковатый кедр, уперлась в нахлестный вал отбоя. Но я не дал уйти хариусу под кедр — там он запутается в сучках, сорвется, — быстро повел его и ходом вынес на опечек. Забился, засверкал боец-удалец на короткой леске, сгибая удилище, обручем завертываясь в кольцо — ни одной из речных рыб не извернуться на леске кольцом, только хариус с ленком такие циркачи.

Коля поднял от воды намыленное лицо, заорал сыну:

— Плакал твой харюз!

— Красавец-то какой! — подняв голову и проморгавшись, произнес сын и, начавши обуваться, подморгнул дяде: — Я бы его вытащил, да папа из-за харюза всю ночь не спал — пускай пользуется!..

— Ишь какие весельчаки! Выспались, взбодрились! Вам бы еще сельдюка в придачу!

Но они и без Акима обходились хорошо. Пока пили чай, подначивали меня, дразнили собак, проворонивших сохатого.

Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах Опарихи.

Далеко-далеко возник широкий шум, ветер еще не достиг нашего стана, но уже из костра порхнули хлопья отгара, трепыхнулась листва на шинице, залопотала осина, порснула черемуха в речку белыми чешуйками. И вот качнуло сперва густые вершины кедрачей, затем дрогнул и сломился крест на высокой ели, лес задвигался, закачал ветвями, и первый порыв ветра пробился к речке, выдул огонь из костра, завил над ним

едкий дым, однако валом катившийся шум еще был далек, еще он только набирался мощи, еще он вроде бы не решался выйти на просторы, а каждое дерево, каждая ветка, листок и хвоинка гнулись все дружней, монолитней, и далекий шум тайги, так и не покидая дебри, принял в себя, собрал вместе, объединил движение всех листьев, трав, хвоинок, ветвей, вершин, и уже не шум, шумище, переходящий в раскатное гудение, грозно покатился валами по земле, вытянуло из-за лесов одно, второе облако, там уж барашковое пушистое стадо разбрелось во всю ширь озора, и по чуть заметной притемненности, как бы размазавшей обрез неба и кромку лесов, объединив их вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи.

Вот отчего так тяжело было дышать вчера, воздух, смешанный с тестом гнуса, изморностью сваривал тело, угнетал сердце — приближалось ненастье.

Шли быстро. Рыбачили мало. Ветер расходился, а с ветром на Енисее, да еще с северным, шутить нельзя, лодка у нас старая, мотор почти утильный, правда, лоцманы бывалые.

Тайга качалась, шипели ветви кедрачей, трепало листья березников, осин и чернолесья. Коля

все настойчивей подгонял нас, ругал Тарзана. Тот совсем не мог идти на подбитых, за ночь опухших подушках лап, отставал все дальше и дальше, горестно завывал, после заплакал голосом. Мы хотели его подождать и понести хоть на себе, но брат закричал на нас и побежал скорее к Енисею.

Чем ближе была река, тем сильнее напоры ветра. В глуби тайги он ощущался меньше, и шум тайги, сплошняком катящийся над головами, не так уж и пугал. Но по Енисею уже ходили беляки, ветер налетал порывами, шум то нарастал, то опадал, шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда.

Аким собрал вещи, приготовил лодку, ждал нас и, когда встретил, вместо приветствия заругался:

— Оне люди городские, не понимают, чё к чему! Но ты-то, ты-то чё думаешь своей башкой? — корил он Колю.

— Тарзан отстал. Ждать придется.

— Тарзана дождать, самим погибнуть! — отринул наши городские претензии Аким и маленько смягчился лишь после того, как удалось нам оттолкнуть лодку, выбиться из нахлестной прибрежной волны. — Никуда не денется байбак! Отлежится в тайге, голодухи хватит, умней бу-

дет.

Переходили на подветренную сторону, под крутой берег, и теперь только стало ясно, отчего сердился Аким, мирный человек. Через нос лодки било, порой накрывая всю ее волной. Мы вперебой выхлестывали банкой, веслом, ведром воду за борт. Банка и весло — какая посуда? Я сдернул сапог, принялся орудовать им. Аким, сжимая ручку руля, рубил крутым носом лодки волну, улучив момент, одобрительно мне кивнул. Сын, не бывавший на больших реках в штормовых переделках, побледнел, но работал молча и за борт не смотрел. Моторишко, старый, верный моторишко, работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти заглухал, натужно все в нем дрожало, когда оседала корма и винт забуривался глубоко, лодка трудно взбиралась по откосу волны, а выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор, бодро попукивая, бесстрашно катил ее снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упиралось в горло, то кирпичом опадало аж в самый живот.

Но вот лодку перестало подымать на попа, бросать сверху вниз, воду не заплескивало через борт, хотя нос еще нет-нет да и хлопался о

волну, разбивая ее вдребезги. Аким расслабился, сморкнулся за борт поочередно из каждой ноздри, уместив ручку руля под мышкой, закурил, и, жадно затянувшись, подмигнул нам. Коля свалился на подтоварник возле обитого жестью носа лодки, засунул голову под навес, накрылся брезентовой курткой, еще Акимовой телогрейкой и сделал вид, что заснул. Аким выплюнул криво сгоревшую на ветру цигарку, ловко пододвинул к себе ногой с подтоварника черемши, сжевывая пучок стеблей, как бы даже заглатывая его, заткнуто крикнул:

— Ну как? Иссе на рыбалку поедем?

— Конечно! — отозвались мы, быть может, с излишней бодростью. Мокрый с головы до ног, сын пополз по лодке на карачках, привалился к Коле. Тот его нащупал рукой, притиснул к себе, попытался растянуть куцую телогрейку на двоих.

За кормой, за редко и круто вздымающимися волнами осталась речка Опариха, светлея разломом устья, кучерявясь облаками седоватых тальников, красной полоской шиповника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнела уже ведомая нам и все-таки снова замкнутая в себе, отчужденная тайга. Белая бровка известкового камня и песка все резче отчерки-

вала суземные, отсюда кажущиеся недвижными леса и дальние перевалы от нас, от бушующего Енисея, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному оподолью, в которых плутала, путалась и билась синенькой жилкой речка Опариха, смягчало даль, и много дней, вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею монолитная твердь тайги, сплавленной веками и на века.

Не хватает сердца

И сами боги не могут сделать бывшее небывшим.

Греческая пословица

После всех этих занятных историй, после светлого праздника, подаренного нам светлой речкой Опарихой, в самый раз вспомнить одну давнюю историю, для чего я чуть-чуть подзадержусь и вспомню былое, чтобы понятнее и виднее было, где мы жили и чего знавали и почему так преуспели в движении к тому, о чем я уже рассказал и о чем еще рассказать предстоит. Брат доживал последние дни. Муки его были так тяжелы, что мужество и терпение начали ему изменять. Он решил застрелиться, приготовил пулю, зарядил патрон в ружье и только ждал момента.

Мы почувствовали неладное, разрядили ружье и спрятали его на чердак. Наркотики, только наркотики, погружающие больного в тупое полузабытье, чуть избавляли его от страдания. Но где же найти наркотики в богоспасаемом поселке Чуш? Ночью, продираясь сквозь собачий лай и храп, вырывая себя, будто гвоздь из заплота, из

пьяных рук охального мужичья и резвящихся парней, пробиралась в дом брата больничная сестра с бережно хранимым шприцем.

Переведя дух, бодро улыбаясь нам и брату, она открывала железную коробку с ватой и шприцем, просила больного приобнажиться и делала «укольчик».

Винясь за что-то, сестра делала попытку еще раз улыбнуться, желала больному спокойной ночи и опадала в темный коридор заплотов, сараев, перемещалась от дома к дому, от двора ко двору. И по мере того как лай чушанской псарни удалялся, затихал и наконец совсем умолкал, мы все тоже успокаивались и с облегчением в сердце выдыхали — медсестра благополучно добралась до поселковой больницы, располагающейся в деревянном бараке образца тридцатых годов.

Но так было недолго — в Чуш на лето собирались бродяги всех морей и океанов, — эти ради шприца с наркотиком и на преступление пойдут. Взяв на сгиб руки топор, Аким, холостяк, бродяга и приключенец, провожал сестру до больницы и чуть было роман с нею не заимел — помешала занятость и болезнь брата.

Время шло. «Укольчик» действовал все слабее, и все виноватее делалась улыбка сестрицы,

аккуратно и самоотверженно идущей в ночь, в непогоду, чтобы исполнить почти уже бесполезную работу.

И тогда я решился ехать в ближний город, где жил мой товарищ, там жена его работала в райздравотделе и, пожалуй, может достать нужное лекарство.

Уехал я не сразу.

Была середина лета. Переполненные норильскими трудящимися еще в Дудинке белые теплоходы проносились мимо Чуши. Северный богатенький люд двинул на отдых.

Наконец один теплоход подвалил среди ночи к чушанской пристани. Я отыскал вахтенного штурмана в нарядной кремовой рубашке, в форменном картузе, обсказал ему о том, как необходимо мне ехать, просил любое место, «хоть на палубе».

Штурман даже расхохотался, услышав про место на палубе. Сказалась психология прошлого — на палубе, на дровах и на мешках, в четвертом классе, ныне никто не ездил и самого этого «класса» давно не было.

Понявши, что все я погубил своим первобытным вежливым примитивизмом, я употребил крайнее, малонадежное средство и выскреб

из-под корочек записной книжки тоненько слипшийся коричневый билет.

Разлепивши ногтем билет, на корочке которого тускло светились буквы «Союз писателей СССР», а в середке конопушками пропечатались сырые табачины — не курю уж который год, но табак все виден, во зараза! — штурман недоверчиво читал билет, потом еще более недоверчиво осматривал меня, сказал, что впервые в жизни держит в руках подобный документ и видит живого писателя. Я от такого внимания сперва смутился, потом приободрился и на вопрос, что лично мною написано, назвал две последние книги, напечатанные в Сибири. Штурман признался, что ничего моего не читал — некогда читать книги — навигация, но по радио слышал что-то. Бдительность в этих каторжных местах развита от веку, и штурман на всякий случай еще спросил: не родня ли мне Николай Васильевич Астафьев, работающий механиком на теплоходе «Калинников»? Я сказал, что родня — это сын моего дяди, по прозвищу Сорока, убитого на войне. И пояснил, что хотел дать на «Калинников» телеграмму, но в поселке вышел из строя телеграф, ремонтники же, прибывшие на повреждение, неожиданно для себя и для всего народа загуляли.

Штурман задумался. Он решал какую-то трудную задачу и решить должен был быстро: теплоход, приткнувшийся к синему дебаркадеру, уже начинал отшвартовываться.

— Есть у нас одно место, но…

— Я освобожу его по первому требованию. Могу вообще не занимать место, на палубе постою…

— Посмотрели бы вы на себя! — вздохнул штурман. — Словом, едет в двухместной каюте один пассажир. Заплатил и едет. С удобствами. Богатый. Разницу мы ему выплатим. Только вы ни мур-мур…

Штурман повел меня к окошечку кассы и ушел будить кассиршу.

Я настороженно слушал, как внизу подо мною вздыхают машины, как негромко и деловито звучат команды на капитанском мостике, напряженно следил за щелью, все шире и шире разделяющей теплоход и дебаркадер…

Проснулся я уже неподалеку от города, в котором надлежало мне высаживаться. Сквозь решетку деревянных жалюзи слабо и рифлено сочилось солнце.

У дверей каюты справный, но бледный телом мужик в плетеных белых трусиках, чуть отемненных в соединении и на поясе, старательно

делал гимнастику.

— Доброе утро! — бодро заявил он, не оборачиваясь. Я не сразу сообразил, что он видит меня во вделанное в двери зеркало.

— Хотел я скандальчик закатить, но… пассажир некурящий, к тому же писатель…

Говоря все это, он бодро, без одышки делал телодвижения. Вот начал наклоны туловища вперед, откидывая ко мне чуть зарифленый зад с туго подтянутыми в сахаристом материале трусов «причиндалами». Мне почему-то до нестерпимости захотелось дать физкультурнику ногой «под корму».

Долго, тщательно умывался хозяин каюты, еще дольше вытирался розовой махровой простыней, вертелся перед зеркалом, любуясь собой, поигрывая мускулами, раздвигая пальцем рот — чудился ему в зубах какой-то изъян или уж так гримасничать привык. Он выудил из-под стола бутылку коньяку, огромную рюмаху, напоминающую гусиное яйцо, плеснул в нее янтарно-коричневой жидкости и, держа посудину в пригоршне, отпил несколько мелких глотков, небрежно бросая при этом в рот оранжевые дольки апельсина.

Я глядел и дивовался: вот ведь выучился ж где-то культуре человек, а мы, из земли вышед-

шие, с земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? Культурно покутить и то не хватает толку! Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности, как бы даже и утомленье имеющих от жизненных пресыщений и благоденствия. Друзей-приятелей моих во время столичных торжеств непременно стянет в один гостиничный номер. Курят, выражаются, пьют по очереди из единственного стакана, кто подогадливее полоскательницу из санузла принесет, выхлещут дорогой коньяк безо всякого чувства, сожрут апельсины, иногда и не очистив, некогда, потому что орать надо насчет соцреализма, о пагубных его последствиях на родную литературу вообще и на нас в частности. Так и не заметит, не вспомнит никто, какой напиток пили, у кого и за сколько его ночью покупали, каким фруктом закусывали.

Утром самые умные и храбрые пойдут на поклон к горничной, станут ей совать червонец — насвинячили в номере, последний стакан разбили, натюрморт спиной со стены сшибли.

Хозяин каюты начал неторопливо одеваться. Свежие носки, свежую рубашку, брюки из серой

мягкой шерсти с белеющими, наподобие глистов, помочами — все это надеть-то — раз плюнуть, но он растянул удовольствие на полчаса. Обмахнув щеткой и без того чистые светло-коричневые, скорее даже красноватые туфли, подбриолинил на висках волосики, идущие в убыток, взбил пушок над обнажающейся розовенькой плешинкой, которая, понял я, была главным предметом беспокойства в его сегодняшней жизни.

Делая все это, он попивал коньячок и без умолку болтал, сообщив как бы между прочим, что едет в «загранку» с тургруппой Министерства цветмета, что в Красноярске его ждут четверо соратников из управления. Отметив встречу в «Огнях» (ресторан «Огни Енисея» захудалого типа), он уже через какие-то дни будет в Париже: «Какие девочки в Париже, ай-яй-яй!»

— Не бывали в Париже? Жа-аль! Коньячку не желаете?..

— Я самогонку пью.

— Вы что так злы? Понятно, несчастье, понятно, устали. Вы и впрямь из сочинителей? Извините, по внешнему виду…

— Вы знаете, сколь я их ни встречал, сочинителей-то, они все сами на себя непохожи…

— Ха-ха-ха-ха! Ценю остроумие!..

— А при чем тут остроумие-то?

Он был чуткий, этот мужчина-юноша, к тому, что сулило ему неприятности, умел избегать их и перешел на доверительно-свойский тон:

— «Раковый корпус», «В круге первом» Солженицына читали?

— Нет, не читал.

— Да что вы?! — не поверил он. — Вам-то ведь доступно.

— Нет, недоступно.

— Ну, а…

— Я считаю унизительным для себя, бывшего солдата и русского писателя, читать под одеялом, критиковать власти бабе на ушко, показывать фигушки в кармане, поэтому не пользуюсь никакими «Ну, а…», даже радио по ночам не слушаю.

— И напрасно! Глядишь, посвежели бы! Не впустую, стало быть, молвится, что литература отстает…

— От жизни?

— Хотя бы!

— В том-то и секрет жизни, юноша, что, и отставая, она, холера такая, все равно чего-нибудь да обгоняет…

«Парижанин» утомился, я отвернулся и стал глазеть в окошко — всю-то зимушку это нами

новорожденное существо таскало, крадучись, денежки в сберкассу, от жены две-три прогрессивки «парижанин» ужучил, начальство на приписках нажег, полярные надбавки зажилил, лишив и без того подслеповатого, хилого северного ребенка своего жиров и витаминов. По зернышку клевал сладострастник зимою, чтоб летом сотворить себе «роскошную жизнь».

И сотворил! Горсть карамелек по столу нечаянно разбросана, апельсинчик звездой разрезан, «цветок, засохший, безуханный», валяется, позолоченная штука, которой что-то и где-то ковыряют, блестит, бутылка заткнута безутечной пробкой, чтобы питье аромата не теряло. Рюмки не стоят — на боку лежат. Коньяк из них следует не лакать, не хлестать, а высасывать, как сырое яйцо. Меня бы и стошнило небось — баринок же этот советский ничего, привычен. Во какие у нас в стране достижения! Во к каким вершинам интеллекта мы подвинулись!

Где-то, поди-ко, был или еще и есть в этом самозабвенно себя и свои культурные достижения любящем человеке тот, который строем ходил в пионерлагере и взухивал: «Мы — пионеры, дети рабочих!..», потом тянул на картошке, моркошке да на стипендии в политехе; где-то ж в костром-

ской или архангельской полуистлевшей деревне, а то и на окраине рабочего поселка с названием Затонный доживает или дожила свой век его блеклая, тихая мать либо сестра-брошенка с ребятишками от разных мужиков — жизнь положившие на то, чтоб хоть младшенького выучить, чтоб он «человеком стал».

Такие уже на похороны не ходят, не ездят. Зажжет интеллектуал свечу негасимую перед «маминой» иконой, то есть из родной деревни вывезенной, с разрешения жены напьется и церковную музыку в записи послушает, скупую слезу на рубаху уронит. Ложась спать, тоскливо всхлипнет: «Э-э-эх, жизнь, в рот ей коптящую норильскую трубу… Отпеть маман просила, да где она, церковь-то, на этой вечной мертвой мерзлоте?..»

— Веки вечные кто-нибудь от кого-нибудь отстает, значит, есть кого и чего догонять. Раз так, общество не слабнет. Вы же слышали: заяц вымирает, если никто его не гоняет, — продолжил умственный разговор все еще куда-то снаряжающийся, все еще чего-то на себе подживляющий хозяин каюты.

— Потрясающее открытие. Может, не самая лучшая, но самая лукавая за все разумные вре-

мена литература не хочет никого обгонять по простой причине, чтобы не показать голого заду.

— А вы — диалектик?

— Еще какой! Я ее, диалектику-то, воистину не по Гегелю, я ее по речам родного отца и учителя постигал. Здесь вот, — постучал я пяткой в пол теплохода, — на берегах родной реки, юноша, на практике осуществлялся его клич: «Самое ценное для нас кадры!» Заметьте, юноша: не люди, не человеки, а ка-адры! Да уж где-где, но в вашем-то городе солнца эта диалектика получала самое яркое осуществление…

Юноша-мужчина покрылся серостью, румянчик его разом зажух. Он засуетился, захлопал себя по карманам и стриганул вроде бы чего-то искать. Этот закроет амбразуры, недозакрытые нами! Этот заступится за друга, за соседа! Этот перестроит мир!

Явился мой сосед снова жизнерадостный, добрый, освеженный енисейскими ветрами. Из-под подушки он выудил маленькую кинокамеру с пулеметным дульцем, пожужжал ею в растворенное окно и, тяготясь молчанием, предложил сходить в салон-ресторан: «Меню там, правда…» Я ответил, что на ресторан у меня денег нет и потерплю я до пристани назначения, там у друга

огород свой, картошки непокупные.

— Н-ну, так уж и нету. Вон, говорят, у Шолохова миллионы!

— У вас, юноша, неточная информация! Миллионы — это у детективщиков, например, у Василия Ардаматского.

— Ардаматский? Ардаматский? Что он написал?

— «Путь Абая».

— А-а! Да-а. Переводной роман. Я вообще-то предпочитаю иностранную литературу. Французскую, в частности. Балуюсь языком. Кесь-кесю, месье? — сверкнул он начищенными зубами.

— Как затянет месье Будервиль — да родную лучину. Как пойдет отбивать трепака — Петипа!..

— Вознесенский?

— Как это вы угадали?

— Ритмика энергичная. И пафос! Пафос!

— Да-а, по пафосу он у нас действительно. Еще Евтушенко мастак по пафосу! Так и рвет рубахи на грудях! На чужих, правда. Здоровый малый.

— Вы знакомы?

— Не сподобил Бог.

Тучнеющий, несмотря на гимнастики, юноша-мужчина упорхнул на палубу, резво пробежал мимо окна с выводком девиц, жужжа кинока-

мерой. На бегу же он просунул руку в окно за бутылкой, сгреб в горсть два апельсинчика. С палубы послышались возгласы, щебет и даже рукоплескание.

Несколько разморенный коньячком и весельем, сосед мой вернулся в каюту, прилег на подушку, полуприкрыл глаза. У меня постель уже изъяли, при этом горничная долго не могла найти полотенца, которым я так и не воспользовался. Свернутое пластинкой, оно завалилось за спинку дивана. Пока горничная возилась, искала полотенце, подозрительно на меня взглядывала, я вспоминал, как в Свердловске знакомый литератор свалился с четвертого этажа в пролет лестницы, угодил задом на решетчатую скамью, побил ее в щепки, сам при этом даже царапины не получил, даже бутылка коньяка в боковом кармане невредимо сохранилась, первая мысль у него была земна и до удивления обыденна: «Вот, еще и за скамейку платить придется…»

Моя мысль тоже вертелась вокруг полотенца, за которое я готов был заплатить хоть впятеро больше, чтобы штурман-добряк не получил нагоняй: «Пускаешь кого попало в классы!» Сосед же мой до самого Парижа-Атаманова (есть такая пристань ниже Красноярска — рядом с какой-то

атомной заразой оздоровляются норильские дети в пионерлагерях и нежатся, набираются сил северные «парижане»), так вот, млея от сладострастия, станет мой «парижанин» до самого Атаманова вопрошать: «Хейли, Апдайк сопрет полотенце?»

Мимо окон раз-другой белогрудой ласточкой пролетела девица с надменным поворотом головы и треплющимися по ветру волосами, оживленно хохоча. Всякий раз при ее мелькании мимо окна вздрагивали веки моего соседа и плотоядно заваливались вглубь бледнеющие крылышки непородистого носа.

Да-а, крепко я помешал компании норильских интеллигентов культурно отдыхать, крепко!

— Послушайте, юноша! Вот за этим мысом будет остров, потом еще остров, потом заворот в протоку, и я с вами распрощаюсь, извинившись за неудобства, вам доставленные. Но я хотел бы задать вам один вопрос взамен многих вами заданных: вы мне все рассказывали о роскошной жизни в Норильске, о розариях, о бассейнах, о заработках, о фруктах, везомых по воде и несомых по воздуху, даже о французской туалетной бумаге с возбуждающими картинками, но вот о городе, о самой-то его истории — ни звука…

Не отрывая глаз, все так же развалисто дыша, юноша-мужчина пожал плечами:

— Разве есть у него история?

Все! Больше ни слова. Есть город Норильск, где венчался, то есть в горзагсе расписался, премьер-министр Канады Трюдо, капризам которого надо потакать. У Трюдо надо выпрашивать хлебушек, пусть и за золото. Это вам не советский колхозник, у которого можно забрать все и ничего ему не давать. Трюдо увидел город фонтанов, дворцов, монументов, город трудной, но высокооплачиваемой жизни, город, к которому, минуя сотни поселков и старых приенисейских полуголодных городишек, современные транспортные средства мчат все самое вкусное, модное. Но есть город, о котором не хочет знать и думать этот вот, перенасыщенный информацией современный строитель передового общества, презирающий литературу «за отставание от жизни», в которой и впрямь больше говорят, постановляют, рукоплещут, пляшут, пьют и поют, чем пишут.

Все так, все так. Но этот сотворитель современной жизни и светлого будущего «прошел» в школе, «сдал» в политехе и прошлую нашу блистательную литературу. Все прошел, все постиг, что ему нужно для удобства жизни.

История ж его города неудобна, груба. От нее может голова разболеться, от нее задумываться начнешь. А вот задумываться-то этот сладострастник и не хочет. Зачем? Он ждет в каюту ласточку-красотулю, а я тут «с историей».

Да с какой историей!

Мы, трое парнишек, папа и ссыльнопоселенец по фамилии Высотин, рыбалили на Енисее, возле Демьянова Ключа, что в полсотне верст выше по реке от города Игарки, и вскоре после середины лета нас обокрали. В тайге, где на избушке, построенной в начале тридцатых годов связистами, ведшими линию в Заполярье, нет даже петли для замка по причине отсутствия лихих людей, — и обокрали.

Судя по тому, что унесено было все съестное, ружья с патронами и кое-что из одежонки, не составляло труда уяснить — сделали кражу норильцы. «Норильцами» тогда называли беглецов из тундры, строивших там город под незнакомым и мало кому известным названием — Норильск. Строители проводили самую северную железную дорогу — от Дудинки до будущего города. Дорога эта тут же возникла на всех географических картах. Во всех школах все учителя и все ученики охотно тыкали в нее пальцем и с таким чувством

говорили о ней, будто сами ее строили. Больше же ни о чем не знали и знать не хотели.

На Север с весны до поздней осени беспрерывным потоком шли караваны барж с оборудованием, машинами, харчами и живым грузом. Слово «зэк» появилось потом, тогда же их деликатно именовали переселенцами, спецконтингентом, вербованными, подконвойными и еще как-то витиевато и секретно. Возили арестантов насыпью в трюмах пароходов и в баржах. Енисей на Севере — штормовая река, но конвой, если совсем трусливый и подлый, не открывал трюмы, и, достигнув Дудинки, живые люди сгружались на берег с таким облегчением и радостью, будто достигли земли обетованной, новую Америку обживать приехали.

По Северу ползли слухи один страшнее другого, однако время было воистину такое, когда словам: «Не верь своим глазам, верь нашей совести» — внимали с детской доверительностью.

Но не бывает дыма без огня и огня без дыма! Вслед за слухами о норильцах поползли и сами норильцы. Шли они сначала открыто и только по берегу Енисея, оборванные, заросшие, до корост съеденные комарами, кашляющие от простуды, с ввалившимися от голода глазами. Упорно, сто-

ически шли и шли они вверх по реке, питаясь тем, что добудут в тайге, и подаяниями рыбаков, охотников, встречных людей. Города и крупные поселки обходили, насилий, воровства и грабежа избегали. Еще действовал древний, никем не писанный закон Сибири: «Беглого и бродяжьего люда не пытать, а питать».

В тридцать седьмом году мудрое карательное начальство приняло меры: за поимку и выдачу беглого норильца — сто рублей премии или поощрения, так туманно именовались воистину иудины сребреники.

Спецпереселенцы, коренные промысловики и прежде всего староверы не «клюнули» на тухлого заглотыша, они в таежных теснинах, ссылках и казематах постигали суровые, но неизбежные законы мало защищенной земли. Однако вербованные людишки, падкие на дармовщину, развращенные уже всякого рода подачками, а также наивные северные народы — долгане, нганасаны, селькупы, кето, эвенки, — не ведая, что творят, стали вылавливать «врагов народа» и доставлять их на военные караульные посты, выставленные в устье глубоких речек.

Озверелые от тоски, вшей и волчьего житья в землянках, постовые конвойники и патрули

жестоко избивали пойманных и возвращали на «объекты», где скорым судом им добавлялось пять лет за побег, а герои энкавэдэшных служб вместе с падкими на вино полудикими инородцами пили до зеленых соплей на деньги, дуриком доставшиеся, — вино было дешевое, время бездумное, энтузиазму полное.

В середине лета по тихому Енисею плыл плотик, на нем стоял крест, ко кресту, как Иисус Христос, был прибит ржавыми гвоздями тощий нагой мужичонка. На груди его висела фанерка, на фанерке химическим карандашом нацарапано: «Погиб пижон за сто рублей, кто хочет больше?»

Это был вызов. Война. От селения к селению, от станка к станку ползло: «Вырезали семью долган на острове Тальничном»; «изнасиловали девку и грудя отрезали», «живьем сожгли в избушке бакенщика с женой, отстреливался»; «вышла ватага норильцев на Игарку с винтовками, даже с пулеметами, обложили город, чего-то ждут».

Деревушки и станки, рыбацкие бригады вооружались, крепили запоры, детей перестали пускать одних в лес, женщины ходили на сенокос и по ягоды партиями.

Слухи, слухи! Горазда на них наша земля, одна-

ко не очень им пока верили.

Но вот наша избушка в устье Демьянова Ключа и лихоимство, в ней совершенное, по здешним местам неслыханное. Накладку и петлю в кузнице станка Полой мужики сковали, висячий замок в магазине приобрели. И стала таежная избушка уже не просто таежной, но потайной, человеком от человека спрятанной. Однако замок-то не от лесного варначья — от своих людей защита…

На исходе лета, как всегда недоспавшие, вялые, мы поднялись в четыре утра, чтобы плыть на сети. Зябко ежась, потянулись один по одному из избушки. Было светло. Ночи еще только начинались, стремительные, темные, августовские. Ударил первый иней. Все оцепенело вокруг. На белом крыльце избушки начищенными пятаками лежали желтые листья. За избушкой, в кедрачах, звонко, по-весеннему токовал глухарь. Стукаясь о стволы дерев, падали последние подмерзлые кедровые шишки; по всей округе озабоченно кричали кедровки, с озер доносился тоскливый стон гагары, собирающейся в отлет.

Первые проблески длинной осени, первое холодное дыхание коснулось тайги, заплыло в ее гущи — скоро конец нашей рыбалке.

Послышался чей-то короткий окрик, я думал,

папа решил меня подшевелить, заспешил вниз по тропе к берегу и увидел встречь идущих Высотина, папу, увидел и отчего-то не сразу почувствовал неладное, со сна его не воспринял, не испугался. Папа и Высотин у лодки должны быть, собирать весла, багор, иголки для починки сетей, запасные якорницы и всякое добро и приспособление. Кто-то, видать, заплыл или завернул к нам, вот они и вернулись. Отчего-то, правда, растерянно крупное лицо Высотина. Папа в дождевике, полы которого касались земли, мели по мху и по траве, оставляя процарапанную в инее полосу, суетливая походка его как бы подсечена, замедлена — вроде бы он не идет, только дождевик двигается скоробленно, мерзло пошуркивая.

Папа, уставившись в пространство и не моргая, прошел мимо, ни слова мне не сказав. С похмелья бывает такой сердитый и отстраненный мой родитель. Я даже отступил с тропы, пропуская его. Следом за Высотиным и отцом шли двое. Молодой еще мужик, с исцарапанным, щербатым лицом, кустики бровей над светлыми его слезящимися глазами ссохлись от крови. Весь его драный, затасканный облик и различимая под царапинами оспяная щербатость придавали ему свирепый вид. Однако у него была длинная, беззащитная

мальчишеская шея, глаза цвета вешней травы, смешные кустики бровей, расползающиеся губы в угольно-черных коростах — все-все говорило о покладистости, может, даже и о мягкости характера этого человека.

Но именно он, этот парень, держал наперевес одноствольный дробовик со взведенным курком. За ним, хлопая отрепьем грязных портянок, вылезших из пробитых рыбацких бродней, спешил мужик с грязно-спутанной бородой, похожей на банную мочалку, которую пора выбросить из обихода. Глаза его сверкнули из серого спутанного волосья, забитого мушками, комарами и остатками какой-то еды, скорее всего шелухой кедровых орехов. Он давил обувью тропу, внаклон гнал себя в гору, но ускорения у него не получалось — изнурился человек.

Что-то во мне толкнулось и тут же оборвалось, свинцовым грузилом упало на дно: «Норильцы!»

Я недоверчиво осмотрел вытянувшуюся по тропе артель — сзади всех шел Мишка Высотин и почему-то улыбался. Загадочно. Всмотревшись, я обнаружил: улыбка остановилась на Мишкином лице, и ничего у него не шевелится, ни губы, ни глаза, ни ресницы, ноги тащатся сами собой и тащат его, но он их не слышит и не знает, шагает

ли, плывет ли.

Тут я почувствовал, что тоже начинаю улыбаться неизвестно чему и кому, однако шевельнуться не могу. Но тот, с бородою, пройдя мимо меня, обернулся, махнул рукой и обыденно, по-домашнему позвал:

— Давай, давай! Избушку, малый, не запирай! — крикнул он Петьке, совавшему дужку замка в петлю. Никак туда не попадал он. Петька отступил от двери с замком в одной руке и с ключом в другой, понурился — небось ему казалось: если б он успел замкнуть избушку, никто бы в нее не сунулся.

Возле крыльца, руки по швам, стояли уже Высотин и отец. Щербатый, теперь заметно сделалось, недавно бритый парень, отчего лицо его там, где ничего не росло — на носу, по низу лба и на щеках, — было дублено, почти черно; где брито — все в бледном накате. Он встал в отдалении против дверей. Курок у ружья был совсем маленький, откинутый назад — ружье старое, разбитое — чуть давни на собачку и…

Мне стало совсем страшно, так страшно, что все последующее я помню уже плохо и немо. Как будто в глубину воды погрузило меня и закружило на одном месте. Петька теперь уже в руках терзает

замок; засунет дужку в щель — замок щелкнет, ключ повернет — замок откроется. Высотин по команде «смирно» стоит — большой, несуразный; Мишка все улыбается; папа силится что-то мучительно вспомнить, например, любимое пьяное изречение: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам».

Бородатый мужик, заметая наши следы лохмами портянок, вскакивает на белое крыльцо, выхватывает у Петьки замок и кидает его в щепу, накопившуюся возле избушки и протыканную иголками подмерзшей травы. Петька пятится, вот-вот упадет с крыльца, Высотин подхватывает его сзади, поддерживает. Дверь избушки широко распахнута. «Выстынет же», — хочется сказать мне. В избушке шарится чужой человек. Мы стоим подле дверей, и все та же вялая мыслишка: «Ну выстудит же, выпустит тепло!» — шевелится в моей голове. Бородатый выходит на крыльцо, обращается как Пугачев к народу, он чем-то и похож на Пугачева.

— Ружье где? Хлеб?

— Обокрали нас. Ружья унесли, — отвечает четко и внятно папа.

— За хлебом не успели сплавать, — поддерживает его Высотин.

«Что говорит Высотин? Что говорит… Если они поднимутся на чердак? Хлеб у нас там! Он забыл! Забыл! Их казнят!» Тянет исправить ошибку старших, показать чердак. Но мы уже не маленькие — раз Высотин сказал, значит, надеется на нас.

— Весь хлеб на столе, — добавляет Высотин, а на столе у нас осталось полбулки хлеба, закрытого берестой.

Бородатый знаком показывает всем следовать в избушку. Входим. Чинно, будто чужие, рассаживаемся на нарах: мужики — на высотинские нары, мы, ребятишки, втроем — на наши. В избушке притемнено и не так заметно Мишкину улыбку, постепенно превратившуюся в судорогу. Тяжелее и тяжелее делается у него челюсть. Оттягивает и перекашивает в сторону лицо парнишки. Сидим, праздно болтаем ногами. Петька, опершись руками о нары, готовый в любое мгновение вскочить, куда-то броситься, что-то делать.

— Нам на сети пора. Мы ведь на работе, — почему-то гнусаво завел отец. — Говорите, чего вам надо?

— Закурить хотим! — в дверях появляется щербатый парень, прислоняет к косяку ружье взведенное.

Отец протягивает ему кисет.

— Вы что же это? Своего брата?.. — укоризненно качает он головой.

Бородатый сломал уже несколько спичек.

— Волк — брат! — выхаркнул он из бороды вместе с дымом, цигарка, спешно скрученная, мокрая, расклеивается у него во рту, по бороде потек табак.

Парень, оседлав порог, тоже торопливо закуривает, но цигарку делает толково, туго. И видя, что его связчик цигарку свою совсем загубил, отдал ему свою, себе склеил другую, после чего высыпал в карман из кисета весь табак и молча возвратил кисет отцу, зажав в кулак коробок со спичками.

— Еще махорка есть?

Будто по команде мы вскидываем головы — над нашими с папой нарами, на стене висит белый, удавкою перехваченный мешочек — в нем спички, махорка.

— Сними! — приказывает бородатый Петьке. Парнишка, словно харюзок вынырнул из темной воды, схватил белый поплавочек, рванул веревочку-леску с гвоздя.

Щербатый парень не глядя бросил мешочек с табаком в свой холщовый затасканный мешок с веревками, приделанными вместо лямок.

— Разувайся! — приказал бородатый Высотину,

и тот неловко начал утягивать ноги, обутые в новые резиновые сапоги, под нары.

— Да что вы, ребята! Мы ж рыбачим… Мне ж…

— Разувайся! — вдруг замахнулся и ткнул в грудь Высотина бородатый. Петька отшатнулся и взвыл:

— Тя-а-а-а-тяаа!..

Как бы разбив своим выпадом некую, еще существовавшую до сей минуты неловкость, сковывающую его, матерясь в бороду, скаля зубы, бородатый заметался по избушке, принялся разбрасывать постеленки наши, залез под нары, выгреб щепу и крошки сена оттуда, с вешалки Петькину телогрейку рванул, потянул на себя — не лезет, скомкал, бросил, выскреб штаны, рубаху из изголовья нашей постели, быстро на себя натянул, стоял над кучей брошенного на пол тряпья, нетерпеливо перебирая грязными ногами, заранее радующимися теплой сухой обуви.

— Ну!

Высотин бросил к ногам бородатого сначала один, затем другой сапог.

— Подавись! — громко, с пробудившейся ненавистью сказал он, и папа, битый жизнью и людьми больше, чем Высотин, тут же попытался сгладить эту грубость, что-то забормотал при-

мирительное, взялся помогать мне растоплять печку, а что ее не растопить, нашу печку?! Дрова, как порох, бересты сколько угодно, загудела печка, заподпрыгивала. Оба норильца потянулись к ней.

— Портянки!

Высотин размотал портянки и остался на нарах, большой, весь босый, хотя с него сняли покуда всего лишь сапоги и портянки, казался он донага разутым и раздетым. Костистые большие ноги его, вдоль и наискосок перепоясанные бледно-голубыми жилами, выглядели сиротливо, жалко. Бородатый прямо средь избушки сел на пол и с пыхтением обувался. Поднявшись, он пробно потоптался, как дитя, радуясь обнове, притопнул, оскалился, и снова сверкнуло в бороде, зубы у него были молодые, еще не разрушенные, значит, на Севере недавно, оцинжать не успел.

— Ну, чё? Все? Боле у нас брать нечего. Нам на сети надо.

— Не гомони, мужик, сядь! — взяв ружье и устроив его на колени, спокойно приказал щербатый парень Высотину. — Велите одному малому принести рыбы, другому — дров, третьему — раскочегарить печку. Самим сидеть и не рыпаться! Я не конвоир, предупредительных выстрелов

не даю.

— Печка топится. И пуганого не пугай, не зайцы тута, — рыкнул Высотин.

— Хэ, посказитель какой!

— И храбрец… Его бы в Норильск, в забой.

Петька-олух выбрал из бочки, вкопанной в берег, самую отборную, желтым соком исходящую стерлядь, чем привел в неописуемое бешенство бородатого.

— Что за рыба?! Кто такую падлу жрет! Вся вон в каких колючках!

— Уймись! — вскинул руку его сопутник. — Нет ли, мужики, щуки, налима?

— Этого добра навалом!

Петька примчал соленого налимища и остророрылую, величиной с полено щучину, с тряпично болтающимся выпоротым брюхом.

— Вот это жарево! — потирали довольно руки норильцы. — Это привычно. Жиру бы в нее?

— Будет и жир, только рыбий.

— Это еще лучше. Слепнуть от мошки уже начал. Доходим.

— И дойдете. Куды-нибудь…

Они едва дождались, чтоб прокипело в противне. Ели рыбу полусырую, не отмоченную от соли. Ели, да что там ели — жадно глотали куски

рыбы, парень держал ружье со взведенным курком меж колен, и дуло, когда он клонился к столу, утыкалось ему в подбородок, я, да, поди-ко, не один я, все наши ждали и боялись: вот-вот жахнет и разнесет башку парню вместе с непрожеванной рыбой. Ну, тогда бородатому не жить. Высотин одной рукой его задушит.

Брызнул на печке чайник, наш ведерный закопченный работяга, радостно посикал рожком.

— Давайте и мы чай пить, раз такое дело! — произнес Высотин. Надернув опорки, в которых ходили мы после сетей по избе и до ветру, снял с гвоздей кружки и хозяйничал возле стола, словно бы и не замечая никого рядом.

— А ну-ка подвиньтесь, гости дорогие!

— Водочки б к такой-то жарехе! — промычал осоловевший от еды бородатый норилец.

— И бабу наверхосытку! — хитро сощурясь, подхватил мой папа, большой специалист в этом вопросе, и решительно налил полную кружку чаю.

— А чё… А чё… — не в силах выговорить ни слова от хохота, обрадовались норильцы, но кашель перешел в грудной хрип, и гости начали сморкаться и харкать на пол.

Высотин сморщился — в избушке у нас всегда

было чисто.

— В Полое, — кивнул на окно папа.

Норильцы вопросительно уставились на него.

— И бабы, и вино в Полое, говорю, если озадиться, осадить назад в Карасино, тоже найдете.

— Там еще есть сельсовет, энкавэдэшники. Ишь ты, гадюка! — погрозил папе пальцем бородатый норилец.

— Не в Карасино, не в Полое, так в другом месте все равно нарветесь, — угрюмо и уже спокойно заключил Высотин и как бы ненароком внимательно посмотрел в окно.

— Чё? — вскочил норилец с ружьем. — Чё там?

— Да пока ничего…

— А-а, в рот и в… — заругались норильцы, торопясь уходить.

Сбросав недоеденную рыбу в мятый жестяной котел, остатки хлеба, спросив, где соль, насыпали ее и, наказав нам два часа не выходить из избушки — у них тут товарищи по кустам сидят, — торопливо заспешили в поход…

Мы побросали вшивое тряпье и разбитые бродни норильцев в печку. Из трубы повалил жирный дым, в избушке сделалось душно. В большой кружок и в щели печки выбрасывало чадный запах.

Петька нашел в траве, все еще ломкой от инея,

замок и ключ. Мы заперли избушку и спустились к лодке. Высотин в опорках был похож на какую-то нелепую, начатую с ног, но недощипанную птаху. Мужики прятали от нас и друг от дружки глаза, молча спихнули нашу ходкую и легкую лодку, на бортах и на дне которой уже отмяк и потемнел иней. Навесили лопашни, подколотили уключины. Проверив, все ли взяли, молча же, не глядя друг на друга, по реке, с ночи усмирелой и какой-то отчужденной, холодной, с вроде бы отдалившейся от воды белесой землей, медленно плыли мы от берега.

Отплыли мы далеко, когда сделалось видно: по вдавшемуся в Енисей песчаному мысу двигаются две человеческие фигурки, медленно удаляясь. Но вот на горизонте замаячил катерок или пароходишко, фигурки людей замерли и тут же исчезли в прибрежных тальниках.

…Появился у нас крючок на двери избушки, кованый, зацепистый.

Дождливой сентябрьской ночью, когда все вокруг лежало в тяжелой бездонной тьме и только печка в нашей избушке разухабисто ухала, будто играючи одолевала подъем в гору, дверь нашей избушки дернулась и в петле шевельнулся железный крючок.

Мужики рассказывали всякую всячину. Высотин много знал сказок. И что-то как раз жуткое да чудовищное повествовал нам, парнишкам, — мы и орехи перестали щелкать со страху.

Все разом мы уставились на дверь, против которой мелькало огнем устье за лето изгорелой железной печки. И не только крючок, но и темные росчерки щелей было отчетливо видно.

Крючок еще раз слабо дернулся, подпрыгнул в петле, но был он славно загнут — из петли не выскочил.

— Кто? — вполголоса спросили мужики, вытаскивая из-под изголовий топоры, парнишки схватились за ножи — так уж у нас уговорено было: если еще раз сунутся норильцы, мужики становятся по бокам дверей, мы приседаем на пол, и пусть они входят в темную избушку, сколько бы их ни было — мясо сделаем!

За дверью не отвечали и не шевелились.

— Кто? — уже громче повторил Высотин и помаячил нам, чтоб мы не швыркали носами. Конечно же, мы и без того не дышали, и мне, да и Петьке с Мишкой, наверное, от задержанного в груди дыхания нестерпимо захотелось закашлять, кашель поднимался все выше, подходил к самому горлу.

— Пустите, пожалуйста, люди добрые! — послышался за дверью тихий голос, в глуби которого угадывались напряженность и тревога, а по верху скользило вековечное страдание бездомной души.

— Кто ты?

— Беглый я.

— Час от часу не легче!

В печке ворохнулись, рассыпались, затрещали головни. Избушка погрузилась в полутьму, сделалось слышно дождь за стенами, дребезжание составного стеколка в окне.

«Окно! Нас застрелят в окно!»

Печка оживала, начинала махать желтеньким платком из дырявой дверцы, обрастать горящими травинками по бокам и трубе.

— Надо печку залить! — прошептал Мишка и стал подкрадываться к тайнику, стоящему на краю печки, распространяющему горьковатый прелый запах типичных корней, смородинника и зверобоя. На пути к печке Мишку перехватил отец, засунув его себе за спину, в темень, и, как бы ненароком задев о сухую лиственничную стену топором, грубо и в то же время просительно бросил:

— Уходи давай. Уходи!..

— Пустите, добрые люди. Пропадаю, — отчетливо и совсем близко произнес беглый с тем спокойствием, с той горечью в голосе, такая дается лишь людям, на самом деле пребывающим на краю гибели, либо великим артистам. Может, беглый и есть артист? Черт его знает — их там в Норильске, называют, всякой твари по паре.

— Не открывай! — прошелестело разом из трех ребячьих одеревенелых ртов.

Но кто же слушает ребят, тем более в таком крайнем положении!

— У нас уже побывали гости, обчистили, обсняли. Нечего брать… — подал голос мой папа, и в голосе послышалось мне колебание и неуверенность.

— Ходите тут! — поддержал его еще более неуверенным голосом Высотин. — Сколько вас там?

— Один я. Один! — Голос беглого слышался где-то внизу, и не сразу, но мы сообразили, что он от дверной скобы сполз на доски крыльца и лежит под дверью. — Не граб… Не граблю я… не мародерничаю… — голос рвался. — Миром и Богом спасаюсь…

— М-мм-иром, — слабо буркнул Высотин, — знаем мы теперь, каким миром-то!.. — Высотину казалось, должно быть, что говорит он тихо, себе

под нос. Но тот, за дверью, был чуток, расслышал все и что-то хотел возразить, да вдруг разразился долгим, затяжным кашлем, и колени, сапоги ли, может, и голова бились, стучали об дверь. Кашель перешел в хрип, сиплое удушение. Стараясь наладить дыхание, сделать уверенным голос, беглый посулился за дверью:

— Я не х-хэ… их-хэ… ух-д… кх-харр… — Он отхаркнулся и все еще хрипло, но уже отчетливей сказал, преодолевая одышку: — Не уйду, я на чердак, подожгу. Нет другого выхода…

На чердак! А на чердаке-то мешок с хлебом, кедровый орех насыпью и в бочках. Крыша сухая, слеги сухие, береста ворохами запасена, корья полно. Окошко в избушке узкое. Дверь подопрет злодей, не выскочить. Мы, парнишки, может, и… А мужики…

Беглый не торопил нас, давал время обдумать его угрозу, взвесить все. Высотин мотнул головой, отец подвинулся к двери, взялся за крючок. Высотин, распластавшись по стене за косяком, поднял топор.

Вот тогда я до глубины души осознал часто встречающиеся в книгах слова: «Секунды показались вечностью…» Пока отец вынимал крючок из петли, во мне до того все напрягалось, что

где-то в ушах или выше ушей тонко зазвенело, звон становился все гуще, все пронзительней, будто погружался я без сопротивления и воли в водяную беспробудную глубь.

Вынув крючок из петли, отец, как драгоценность, без стука и звяка опустил его на косяк, вдруг изо всей силы пнул дверь и отпрянул в сторону, тоже приподняв блеснувший в темноте топор.

С улицы дохнуло дождливой холодной мутью, устойчивым духом мокрой кедровой хвои и запревающего палого листа.

В проеме двери никто не появлялся. Было пусто, безгласно, недвижно во дворе, и только, воедино соединенная, шепталась беспокойная тайга под ветром, полосами хлестало в стены, дождь лился с желобков тесовой крыши в выбитые и уже полные от капель канавки вдоль завалины избушки. Но звуки струй, слитный шум леса, шорох затяжного дождя, смывающего с деревьев листья, стук капели, падающей с крыши, нам привычны, как привычна бывает тишина в своей обжитой избе, они не мешали нам слышать и узнавать всякое другое движение, даже малейший треск и шорох в ночи.

— Не дурите, мужики, — раздалось под две-

рью, — уберите топоры…

Я крепче сжал деревянную круглую ручку ножа, хотя не знал еще, как это я могу им пластануть человека, если он нападет на меня, почувствовал, что остальные обитатели избушки сжали оружие свое, хотя, как и я, тоже не ведали — посмеют ли рубануть или ткнуть человека, надеялись, что это получится как-то само собой.

На пороге избушки возникло что-то лохматое, темное, перевалилось через преграду, поползло к печи, упало со стоном, с подвыванием возле нее и лишь какое-то время спустя выдало звук.

— За… за… закройте!

Беглый просил закрыть дверь, значит, и в самом деле был один. Закрыли двери, зажгли лампу, подбросили дров в печь.

Возле печки хохлился серой, полуощипанной вороной человек, почти обнявший железную коробку, почти упавший грудью на плоский ее верх. На лиходея он не походил совсем. Под беглецом скопилась и потекла к порогу избушки лужа. От ремков беглеца, от серой матерчатой шапки, даже от волосьев, затянувших лицо, валил пар. Реже, реже, но все еще звучно выстукивали зубы. Не сразу, не вдруг приходил в себя гость; и первое, что увидел и услышал, — чайник, сипящий на

печке. Он прижал к чайнику ладони, но кипятку попросить не смел. Не знаю от чего — от жеста ли этого просительного и жалкого, от рванья ли нищенского, от жалости ли моей природной — пропали во мне страх и злость. Я сунул ножик под постель, взял кружку со стола и, сторонясь беглеца, стал цедить чай из рожка обгорелого чайника.

И пока лилась горячая струя в кружку, беглец не сводил с посудины глаз, а я с него, но разглядеть особенно ничего не мог, лишь большой мокрый нос, как бы отделившийся голым утесом от загустелого чернолесья, крупные, в кистях худые руки да мертвецки усталые, то и дело смежающиеся, воспаленные, иссеченные ветрами зеницы, не глаза, а именно зеницы, как на старой иконе, глубоко завалившиеся в копотную темь.

Я думал, он выхватит у меня кружку, расплескает чай. Но беглец обхватил посудину, будто цыпушку, ладонями и, что-то угадав во мне или поощренный моим поступком, поскреб друг об дружку губами, сплошь покрытыми трещинами и болячками.

— Хлебца!

Я взял со стола краюшку хлеба, заглянул в прикрытый берестой противень — в нем еще

оставались хрящи от стерляжьей головы, крылья, рыбье крошево, да и жижа не была вымакана кусками — из-за дождя и ветра на сети мы не выплывали уже два дня, и аппетит наш поубавился.

«Везет дяденьке!» — отметил я про себя и отнес еду к порогу, сунул под нос беглому как бы недовольно и в то же время думая: так ведь у порога-то нищим подают. Мне отчего-то сделалось неловко, но беглому было не до чувствий и не до условностей.

— Храни тебя Бог, дитя, — молвил он и, рванув зубами кус хлеба, шатнулся, застонал. Коркой поранило ему губы, окровенило десны, догадался я и подал гостю деревянную ложку. Он бережно заприхлебывал жижицу из противня, покрошил туда хлебца, запохрустывал стерляжьими хрящиками.

Ни взглядом, ни словом не осуждали меня мои соартельщики. Они сидели по нарам молча и праздно.

Пришелец быстро справился с едой, сделался совсем недвижим; сидел все так же на кукорках, горбясь у печи, он казался безногим.

— Спасибо, добрые люди! — наконец послышалось от печки.

Мы вздрогнули и пошевелились. Нам казалось, что беглец уснул.

— Не бойтесь меня. Я мирный человек, хотя и был военным.

— И ты нас не бойся. Ложись где-нибудь и спи. Ребятишки в печку подбрасывать будут. Потом ступай с Богом, — отозвался за всех Высотин. — А что сторожились, дак не без причины. Обобрали нас тут недавно, двое…

— Двое?! — Беглец неожиданно резко повернулся от печи и сморщился, должно быть, свет лампы резанул его воспаленные глаза. — Один с оспяным лицом, молодой, вооруженный? Другой бородат, вроде меня, замызган? Злой? Хваткий?

— Оне.

— Живы, значит. Идут. Двигаются… — Беглец помолчал, покачался на кукорках, затем, по-стариковски опираясь о колени руками, поднялся. — Ой, хорошо, мужики, что не затеяли вы противоборства! Лихие это головорезы. Страшные люди. Они б их, — кивнул он на нас, парнишек, сидящих рядком на нарах, — они б и детей не пощадили…

Беглец уже осмысленно, с чувством даже какого-то отдаленного достоинства попросил закурить, затем, если можно, попросил затопить

баню.

— Я ведь понимаю, все понимаю, — пояснил он. — Улягусь тут. Вы из-за меня бодрствовать станете… А я в баньке… Вы меня подопрете — и вам спокойней, и мне безопасней… Снеси дров, милый мальчик, — обратился он ко мне. Пошевелился, поворочался на месте, будто отаптывал себе место, повременил, подумал и глухо, пространственно уронил:

— Пока баня греется, я расскажу вам о себе и о тех двух… Как уже имел честь сообщить вам, в прошлом я военный. Звание мое полковник, — спустя время начал рассказ беглец, неторопливо и раздумчиво, в расчете на длинный разговор, — хотя смолоду пророчили мне сан священнослужителя, но так повернулась судьба, вместо семинарии военное училище… Похлопочите, похлопочите, ребятки, — сказал он мне и Петьке, — я подожду, не буду рассказывать. Вам на будущее следует знать то, что я поведаю…

Пока мы с Петькой таскали дрова в баню и затопляли каменку, беглец успел вздремнуть и совсем уже ободрился, лишь кашлял затяжно, надрывно, но, судя по всему, здоровый был человек, тренированный и стойкий.

— Не случись революции, быть бы мне попом,

приход бы получил, скорее всего сельский, как мой покойный батюшка. Однако же не одна моя жизнь и судьба приняли тогда немыслимо крутой поворот, не я один взорлил, из кандидата в тихого, прилежного семинариста обратился вдруг рубакой-кавалеристом. Самим Семеном Михайловичем замечен был, орденом награжден и определен в военное училище. Затем направлен на Дальний Восток, однажды был ранен в схватке с перебежчиками. Ранение с виду неопасное, однако сухожилие на ноге перебито. В госпитале я получил второй орден Красного Знамени, но вышел оттуда хромым, ни к какой полезной деятельности непригодным, потому как всю молодость провел в седле и обучен был только военному делу.

Какое-то время я болтался без дела, подумывал уж махнуть на одну из новостроек, обучиться там какой-либо профессии и начинать жизнь заново. Но в это время затеялось укомплектование военных округов, и я был направлен в Киевский военный округ, получил там должность в одном из отделов, ведающих военной тактикой кавалерийских подразделений.

Увы, тактика эта, как скоро обнаружилось, со времен Гражданской не менялась, ни у кого не

являлось пока желания менять ее. Холили коней, рубили лозу, лихо скакали с саблями наголо и пели песни: «Никто пути пройденного у нас не отберет, конница Буденного — дивизия вперед!»

В странах Антанты тем временем строились авиационные и танковые заводы, в Германии фашисты взяли власть в свои руки. Тревожно кругом, у нас же в частях все еще идет праздник, песенки да победные речи…

Словом, после инспектирования кавалерийских и взаимодействующих с ними частей я выступил на военном совете с критикой. Меня попросили изложить свое особое мнение письменно, что я и сделал незамедлительно. Тем временем начались летние маневры. В качестве военного советника я был представителем в одном конном корпусе, которому надлежало проделать глубокий рейд в тылы «врага».

Комкор, бывший царский офицер, был человеком с военной выучкой, подкован на все четыре, как говорится, и тактически, и практически, в Гражданскую войну доказал честность свою и храбрость. Но среди помощников его, особенно среди командиров эскадронов, все еще было много народу, умеющего лихо рубить шашкой и кричать «ура», но не привыкшего шевелить

мозгами.

Неразберихи, разброда было уже много, и в начале рейда карты, да и те допотопные, перекалькированные еще с карт империалистической войны, были лишь у командиров соединений и полков, эскадронным карт не досталось. Они особо и не горевали, заверяя, что и по нюху все «зробят як трэба». Но «нюх» у многих уже притупился, да и заданная скорость маневра была уже не дедовская. В первые же сутки мы потеряли уже несколько эскадронов, но времена мирные, война «игрушечная» — не пропадут, решили мы, забыв, однако, что люди всюду навострены насчет шпионов, врагов внутренних и внешних, насчет внезапного нападения. Наши «бродячие» эскадроны, а количество их возрастало с каждым днем, вместо выхода в «тыл врага» угодили на минные поля — маневры были приближены к боевым, мины ставились с запалами. Многие старые рубаки мин и в глаза не видели. Началась паника, потерянные лошади, несколько человек погибло, раненые были, но главное — мы сорвали «операцию». Взаимодействия никакого с танковыми соединениями не наладили, внезапным появлением кавалеристы перепугали танкистов, и те уж кое-где боевыми снарядами палить по

ним принялись…

Командир корпуса, начальник штаба корпуса, начальник политотдела, как и представитель Военного совета округа, были разжалованы и отданы под суд. Троих приговорили к пяти годам, меня за мое письменное «особое» мнение, сеющее безверие в рядах Красной армии, удостоили десяти. Во всем округе, во всей армии вдруг пошла «чистка» и не остановилась, слышно, по сию пору. Много военного люду, затем и гражданского пошло и поехало по этапам — насыпью в вагонах, навалом в баржах.

В Сибирь зимой в вагонах везли, раз в сутки воды давали, об еде и говорить не приходилось. По очереди ржавые вагонные болты лизали — в куржаке они были, обмерзлые, кожа с языков обрывалась.

Весной в Красноярске погрузили нас на баржи, без нар, на голом дощатом настиле, под которым плескалась вода, и повезли на Север. Из «десятки», знаменитой старой баржи, в которой поочередно возили на Север то картошку, то людей, шкипер и охрана лениво откачивали воду, настил заливало, и мы спали тогда стоя, «обнявшись как родные братья». Кормили раз в сутки мутной баландой и подмороженным картофелем. На палубу нас

не пускали, и оправлялись мы в бочки, которые погружены были вместе с нами, под рыбу. Где-то, на какие-то уж сутки, не помню, начался шторм, нас било бочками, катало по утробе баржи, выворачивало наизнанку. Мертвецов изломало, изорвало в клочья и смыло месиво под настил.

Почти месяц шли мы до Дудинки. Наконец прибыли, по колено в крови, в блевотине, в мясной каше, и голый берег Заполярья показался нам землей обетованной, поселок и пристань Дудинка с вихлястыми, мерзлотой искореженными деревянными домишками — чуть ли не раем Господним.

Нас погнали в глубь тундры пешком. На пути мы стали встречать бараки, будки, людей, пестро одетых, которые делали полотно для железнодорожной линии. «Ну, брат, — сказал я себе, — отмахался сабелькой! Не все ломать, надо когда-то и строить...»

В тундре высилась большая гора с белой заплаткой вечных снегов на боку, ниже еще горы и горушки, вот тут, на берегу небольшой речки, меж озер и болот, стояли бараки, много бараков, стояли дома, несколько двухэтажных, один даже с красным флагом на коньке! — это и было началом будущего города Норильска.

Увидел я красный флаг, жилье увидел, людей, огни и, знаете, как-то успокоился даже. Раз так судьбе угодно, буду строить, буду хорошо работать, мне это зачтется, и я освобожусь досрочно. Так было — рассказывали заключенные — на Беломорканале. Вместо пяти лет строили канал два с половиной года, и все оставшиеся в живых были освобождены…

— Да вот маловато их осталось, живых-то, — неожиданно подал голос мой папа — герой-строитель великого канала. — Хотя и построили туфту.

— Что вы сказали? — приостановил рассказ норилец.

— Мало, говорю, живых-то осталось. Там, в камнях и в глине, лежат… Давай, давай…

Гость помолчал, подумал, подлил в кружку чаю, отглотнул.

— М-да. Словом, надо нести свой крест, тем паче крест мой не такой тяжкий, как у людей семейных, пожилых.

Первый и второй год на стройке было терпимо. Зоны общей еще не было. Заключенные будто на выселении находились в бескрайних холодных просторах. Обходились и с топливом — сами его запасали. Нельзя было и на питание жало-

ваться, но разрасталась стройка, наплывало все больше и больше людей, тесно им становилось и в просторной тундре. Уркаганы, бандюги, жулье, рецидивисты начали объединяться и подминать под себя всю здешнюю жизнь, терроризировать население, которое худо-бедно сколотило городок, перекинуло из тундры к берегу самую северную железную дорогу.

Конечно же, цинга, простуды, обвалы в карьерах, метели, морозы уносили людей, но повального падежа все же еще не было. Да где-то и кого-то не устраивали темпы нашего строительства, жизнь наша не устраивала, точнее, обострялась и обостряется международная обстановка, нужна наша руда, нужен металл. Руководство стройки перешло в одни руки. Один свободный человек, как император всея тундры, скотов и людей, в ней обитающих, всем правил. Человек он не простой, а золотой, достойный выкормыш тех, кто его взлелеял и воспитал по принципу: «Лес рубят — щепки летят».

Нормы выработки, и без того высокие, подскочили вдвое. Еда — согласно выработке, отдых — согласно выработке. Никаких активированных дней, никаких болезней и жалоб. На работу! На работу! На работу! Кубики! Только кубики! —

больше никаких разговоров. Строительство жилья было заторможено. Новая больница, уже наполовину построенная, заброшена. В бараках народу — не продохнуть. Кашель, стоны, драки, резня, воровство и лютый конвой: при малейшем неповиновении — прикладом в зубы, за сопротивление — пуля. Отчет один: «за попытку к бегству!»

Куда? Какое бегство? Разве можно оттуда убежать? До Дудинки больше ста километров, до магистрали две с лишним тысячи, а начальник строительства требует продукции, на каждой оперативке брякает по столу: «Нам завезли достаточно человеческого материала, но добыча руды тормозится. Доставленный на всю зиму человеческий материал несоразмерно убывает, и если так будет продолжаться, я из вас самих, итээровцев, вохры и всяких других придурков, сделаю человеческий материал!»

Много людей пало в ту зиму. Но с весны караван за караваном тащили по Енисею вместо убывших на тот свет свежий человеческий материал. По стране катилась волна арестов и выселений, массовых арестов врагов народа, вредителей, кулацких и других вредных элементов.

Не знаю что, но что-то мне подсказывало: будет

на нашей стройке еще хуже и тяжелее. Предчувствие меня не обмануло. Норильским рудникам поступило указание увеличить добычу руды, следовательно, расширить и строительство рудников, довести трудовой энтузиазм до наивысших пределов. «Слышите: песнь о металле льется по нашей стране! Стали, побольше бы стали! Меди, железа — вдвойне!» — взывало радио.

Император всея тундры, я уже говорил, человек непростой, а золотой, умен, изворотлив, да ум у него дьявольский! Как бывший геолог, он хорошо знал палеонтологию, понимал, что «щепки», которые летят в его владениях и падают на землю, не гниют в вечной мерзлоте, бальзамируются, как мамонты, могут пролежать в ней века. Если их найдут потомки? Что о нем, таком знаменитом, орденоносном руководителе, станет история говорить? Ну, может, и не этот, может, более простой мотив им руководил — хоронить в мерзлоте трупы трудно, много людей отвлекается на пустяковое дело с основных работ.

И создал он похоронную команду из людей, крепких еще телом и умом.

Ночью, а ночь у нас всю зиму, подлинней, чем здесь, под Игаркой, мы грузили трупы, вытащенные из бараков, шахт и рудников, на балластные

платформы, присыпали их снегом или тем же балластом, отвозили в Дудинку, здесь перегружали на подводы и лошадьми переправляли на острова-осередыши. Простой, но и иезуитский расчет: вешним разливом острова покрываются водой, и все с них смывается до белого песка. Населения в низовьях Енисея почти нет, то, что есть, из инородцев, переселенцев, зимовщиков, приучены всему не удивляться, помалкивать. Просторы енисейские в низовьях так широки, так разливисты, что растащит батюшка Енисей покойников по бесчисленным низинам, впадинам, по кустам и тундрам, там кого рыбы в воде иссосут, кого птицы расклюют, кого зверьки догложут.

Летом начались побеги. Пробные. Первые. Случалось их мало, и почти все бежавшие погибли в тундре, но часть, хоть и малая, к зиме была переловлена и возвращена, беженцам добавляли пять лет и направляли в мокрые забои. Однако они, эти первые, самые безумные и храбрые беглецы, рассказывали, как бегали, куда бегали, и своим опытом, ошибками учили, как не надо бегать.

Еще зимой я задумал побег, начал к нему готовиться — и это спасло меня от помешательства. Вы помните, какая нынче была весна, длинная,

нудная, рано началась — на позднее навела, то польет, то заморозит. Трупы — количество их за эту зиму неизмеримо выросло — смерзлись, ледяная спайка не распалась под напором воды, и, когда острова объявились на свет Божий, горы трупов, только уже замытые тиной, мусором, издолбленные льдинами, бревнами, остались лежать на месте.

По Дудинке и дальше от рыбаков на катера, с катеров на пароходы, с пароходов по реке пополз и начал распространяться ропот. Поговаривали, что вот-вот нагрянет высокая, чуть ли не правительственная, комиссия.

И она в самом деле нагрянула. Но к этой поре уже все трупы были изрублены топорами, издолблены ломами, кайлами, острова от них очищены. А дальше уж поработал Енисей-батюшка — залил, унес, замыл, заилил все следы преступления.

Я к той поре из похоронной команды был переведен с помощью одного знакомого зэка на пекарню рабочим. Говорили, что несколько человек сошли с ума, но я в это как-то уж и не верю. Похоронной команде давали дополнительный паек за «вредную работу», по булке хлеба давали и осьмушке табаку. Я сам видел, как, усевшись на кучу мертвецов, отупевшие люди ели тот хлеб,

курили махру и не морщились. Да и что им страдать, когда они перевидали такое, что страшнее кошмарных снов и всякого, даже самого больного, воображения.

Наш ученый император хоть не довел дело до людоедства, очень нужна была стране норильская руда, и снабжение, если б его упорядочить — не давать распоряжаться продуктами уркам, вполне бы сносное было, но «бывалые люди» рассказывали, будто на Колыме, на Атке, покойников сплошь закапывали без ягодиц. Ягодицы обрезались на строганину потерявшими облик человеческий заключенными.

У нас похитрее и половчее все было. Опыт Соловков, Беломорканала, Колымы, Ухты, Индигирки успешно перенимался и применялся здесь новаторски. Осенью, уже по первым заморозкам, из всех бараков, санчастей, из больницы разом были вычищены все доходяги, придурки, больные, истощенные зэки — тысячи полторы набралось. Им было объявлено — они переводятся на Талнах, где условия более щадящие, нет пока рудников и шахт, строится новая зона и посильный труд там, почти без конвоя, почти на воле, осуществляется, как в первые годы здесь, в Норильске.

Их вели через тундры, по хрустящим лишайникам, сквозь спутанную проволоку карликовых берез и ползучего тальника. За ними тянулся красный след растоптанных ягод — брусники, клюквы, голубичника…

Воспитанные на доверии к человеку и вечном почитании властей, больные, выдохшиеся люди не сразу заметили, что малочисленный конвой куда-то испаряется, куда-то исчезает, и когда несчастные люди спохватились — ни стрелков, ни собак с ними не было. Этот ценный опыт потом не раз повторялся. И никто никогда уже не узнает, как ушли в тундру и исчезли в ней тысячи и тысячи человек, навсегда, бесследно.

Какой изощренный ум, какое твердое сердце надо иметь, чтобы таким вот образом избавиться от нахлебников, не долбить зимою ямы под эти тысячи тысяч будущих покойников.

Я иногда радуюсь тому, что не стал священнослужителем. Как бы я молился Богу, который насылает на нас такое? За что? Разве мы более других народов виноваты в земной смуте или нас Бог карает за покорность, за слепоту, за неразумный бунт, за братоубийство? Может, Господь хочет нас наглядно истерзать, измучить, озверить, чтобы другие народы забоялись нашего

безверия, нашей беспутности, разброда? Мы жертвы? Мы на заклании? Но, Господь, не слишком ли велика Твоя кара!..

Что-то забилось, заклокотало в груди беглого. Отвернувшись в угол, за печку, он разразился кашлем или рыданием. Приподняв пихтовый веник, долго отхаркивался, сморкался в мусор, за печку и, отдышавшись, перехваченным голосом просипел:

— Простите! Может быть, и не следовало при детях… Но им расти, им жить. Кто-то ж должен знать, что здесь происходило, что мы сотворили. Как героически осваивали Север. Спрячут ведь, спрячут мерзавцы свои преступления. Заметут свои следы. Замолчат. Хотя нет! Не-ет, не-э-эт! Не спрятать, не замолчать!.. Император римский Нерон вон в какие времена жил и творил, но дошел до нашего времени с нашлепкой «Кровавый!». Кро-ва-вый! Хотя за душой его триста, что ли, погубленных душ. По сравнению с тем же начальником нашей стройки, современным императором всея тундры, Нерон этот — дошкольник, октябренок! К-ха-ка-ха!.. Позвольте мне еще табачку, дыхание…

Беглый норилец закурил, покачался возле печки. Я подбросил в нее дров. Окно уже начало

сереть от небесного света, восходящего над тайгой, но все чикали по окну капли, будто гвоздики по шляпку в стекла входили, оставляя светлые, тут же затекающие царапины на окне.

— Утомил я вас. Ложитесь-ка спать и меня спроваживайте в баньку.

— Да нет, — шевельнулся на нарах Высотин. — Какой уж тут сон?! Говори дальше. На сети нам сегодня не попасть. Ветрено.

И как бы удостоверяясь в этом, он глянул в сырое окно, и все мы услышали, как гуднул на крыше ветер, хлестанул замокшей кориной по слеге, сыпко полоснул в стену пригоршней мелкой дроби. По-шаманьи зловеще, пространственно-жутко гудела вокруг нас тайга, соединенная с небом, набитым низкими текущими тучами. Трудно, почти невозможно было представить, что где-то в этом океане, непробудно-темном, в бездонности его и безбрежности, прячутся маленькие, одинокие люди.

Почти без надежды на волю и спасение бредут они и бредут к цели, ими намеченной.

— Мы вышли из Норильска втроем — люди все свои, телом и духом крепкие. Вышли с единственной целью и надеждой — добраться до Москвы, добиться приема у Сталина или Калини-

на, рассказать о том произволе, какой творится на нашей новостройке. Уходили ночью, по одному в глубь тундры, к тайникам, сделанным еще с зимы. Место сбора мы назначили на одном из притоков Енисея. Через несколько дней мы благополучно встретились. У нас был порядочный запас продуктов, что-то похожее на палатку, сшитую из мучных кулей и куска брезента, три топора, ножи и даже половинка пилы. Кроме того, у нас была, хоть и худо скопированная, карта тех мест. Мы должны были выйти на магистраль и вышли бы, я думаю, да беда подстерегала нас на первом же отрезке пути.

Главной задачей нашей было пока что выйти к Енисею и продолжить путь вверх по его течению. Две с лишним тысячи километров! Мы были взрослые люди, понимали, что это такое. Догадывались — не все дойдем, но, может, хоть один дойдет, и то ладно, и то победа. Но предположить то, что стряслось с нами сразу же, никто из нас даже в самые тяжелые минуты раздумий, даже в жутком сне не мог…

Беглый докурил цигарку, смял ее о порожек печки и задумался, глядя на огонек, — он очень любил смотреть на огонь. Привычка уже давняя, самим им не замечаемая.

— На речке мы сколотили плотик и, спокойно погрузившись, поплыли по большой воде, радуясь тому, что порядочное расстояние нам не топать по мокрой и глухой еще тундре, да и находиться будем мы в стороне от всяких патрульных и сторожевых служб.

Плыли день, где погребясь веслами, где шестами подпихиваясь, впрочем, по вздутой весенней реке нас и без того несло бойко. Но нам хотелось скорее, скорее, вперед! И когда понесло нас совсем хорошо, и под плотом заплескалось, забурлило, мы никакого значения тому не придали — по нашей примитивной карте эта почти еще не изученная местность была голой, ровной и безопасной во всех отношениях. Но к реке отклонялся один из отрогов горного хребта Путорана, о котором мы слышали, что он есть где-то, но что так далеко отклоняется, предположить не могли. Словом, на ровной этой, вертлявой речке оказались пороги, и заметили мы их — люди сухопутные — уже тогда, когда и сделать ничего было невозможно. Плот наш закружило, понесло в пороги. Шум и гул стоял вокруг, вода втягивалась в каменное промежье и падала куда-то вниз. Я велел товарищам лечь, схватиться за бревна и сам сделал то же. Но мы не удержались за бревна,

плот наш развалился, рухнул по стене громадной, дымящейся белой пеной, в кипящий котлован. В меня ткнулось бревно, я за него уцепился, и меня закружило по этому глубокому котловану, берега которого отвесной стеной стояли над рекою. Показалось, что под скалою пробкой выпрыгнул наверх окровавленный человек, вскрикнул и исчез. Держась за бревно, я подгребся к тому месту, но ничего там не увидел и сам уже был плох — ледяная вода пронзала до костей.

Тут я вспомнил про Бога — если Он не забыл совсем про нас, грешных Его рабов, пусть обернется лицом к одному из них и поможет ему. Молитва Божья, судьба ли продлили мою жизнь. Меня выволокло на свет белый. Очнулся на каменном приплеске и глаза в глаза встретился с чьим-то пристальным взглядом. Я застонал и сел, от меня отпрыгнул песец, тощий, в клочьях линялой шерсти. Прикормились на человечине здешние зверьки. Этот нюхал и ждал, когда меня можно будет начать.

Я околел бы в ту ночь, если б один из нас не догадался залить варом, залепить древесной смолой по спичечному коробку. Мне удалось развести костер уже в потемках, и не костер — огонек из берестинок, ломаных палочек, ободранных сучьев,

собранных в камешнике. Немного обогревшись, я бродил по приплеску берега и в расщелинах меж камней насобирал плавника, еще сырого, но гореть с подсушкой способного. У костра я обмыслил свое положение, посмотрел, в чем и с чем остался — сапоги, тюремная куртка и штаны, рубаха, белье, вот какая со мной и на мне осталась одежда, даже шапки нет. В кармане куртки пара удочек, иголка с ниткой, воткнутая в отворот карманчика, кусок полуразмокшего сухаря, горсть мокрого табаку и клок раскисшей газеты, которую я тут же принялся сушить.

Всю ночь я напряженно ждал крика, шагов по камням к костру, мне не хотелось верить, что друзья мои погибли. Хоть один должен уцелеть. Утром я двинулся по берегу и обнаружил одного из моих товарищей по несчастью. Он лежал возле воды с перебитыми ногами, проломленной головой и был еще теплый. В кармане его было две удочки, коробок спичек, складной ножик, иголка с ниткой, банка с табаком и кусочек размытого сахара в уголке брючного кармана. Я похоронил товарища в камнях, плотно завалил его плитами, чтобы не съели труп песцы, попросил прощения за то, что оставил его в одном лишь белье, и еще ночь просидел возле порога, ожидая второго

товарища.

За это время я соорудил из рубахи товарища мешок, из портянок сшил что-то вроде шапки, лямки к мешку приделал и, сложив в него сапоги и костюмчик покойного, который я надевал лишь к ночи, двинул сначала по берегу реки, затем на солнце, все ярче с каждым днем разгорающееся. Вдоль реки меня не пустили идти глыбы натолканных льдов, вздувшиеся ручьи и глубокие старицы; остановило вольно сияющей, куда попало бегущей снежной водой.

Через два дня я снова вышел к той же реке, к тому же порогу. Я кружил по тундре, по редким ее островкам, однако не напугался, не приуныл — что-то уже обжитое, притягательное было для меня на этой реке, в этих бездушных камнях, да дрова здесь были, да и находки, так меня радующие, попадались. Легши на холодный камень, я глядел со скалы вниз и сначала увидел надетый на каменья дождевик, затем косяки рыб и под ними зеркально сверкающий предмет — это либо фляга со спиртом, либо котелок, столь мне необходимый. Я мог разбиться, утонуть, схваченный судорогами, но предмет этот должен был достать.

И нырнул. И достал! И что бы вы думали до-

стал? Топор! Я так ему обрадовался, что даже расплакался и сказал себе, что с топором-то я не пропаду, но больше Всемилостивейшему Богу докучать не стану, буду вспоминать забытые уже молитвы и с молитвой да Божьей помощью выйду к Енисею.

Я еще раз попытался углубиться в тундру и еще раз убедился, что весной в тундре не только прямых, но и никаких путей нет — озера, реки, речки заставляют петлять, кружиться.

Впрочем, что это я? Вы ведь лучше меня знаете Заполярье. Опытный человек сидел бы там, где его настигла беда, ловил бы рыбу, сохранял силы, пережидал половодье. А я все шел, все бился и через неделю пути увидел вдали щетинку леса. Не хотелось верить; подумал: вижу тундровые лиственничные лесочки или останцы каменных отрогов — это значило бы, что я сильно отклонился на север и мне уж не достанет сил вернуться даже на стройку, в Норильск. На бессолой рыбе, на прошлогодних ягодах и горьком орехе кедрового стланика долго не протянешь.

Вера моя и помощь Божья укрепили меня — и я вышел к лесотундре, затем зашел в загустелые леса. Да радовался-то я напрасно. Здесь уж оттаял, взнялся в воздух комар. Был он еще квелый,

дымом, замоткой лица можно было от него еще спасаться. Но вот когда пригреет хорошо, что начнется? Боязно об этом даже думать.

Тем временем я уже утратил несколько крючков — щуки, совершенно не знающие страха, понимающие только, что им можно хватать кого и что угодно, их же поймать не смеет никто, разоружали меня. Я стал рыбачить просто и нагло. Поймав две-три сорожины на удочки, насаживал рыбу на жерлицу с проволочной подстраховкой — такие ловушки у нас с зимы налажены были, опускал кособоко шевелящуюся рыбку в глубь озера или речки. Тут же из засады торпедой вылетала щука, где и две, где и три, и, которая проворней, цапала сорожину, мяла ее и старалась уйти в черную корягу или в кисель прошлогодней травы, на ходу заглатывая добычу. Я изо всей силы выхватывал леску — щука оказывалась на берегу, но добычу из зубов не выпускала и долго не могла понять, где она, что с нею произошло и почему оказалась на суше. Если рыбина была не по снасти, я отгонял ее палкой. Случалось, лавливал я и карасей, и пелядку, сигов и даже в одном очень чистом озере с песчаным дном напал на стерлядок, но рыбы до того наелся, что уже не мог на нее смотреть,

жевал, как траву.

Простужен я был уже сильно, начал слабеть. Но тут мне стали попадаться кедрачи, хоть и худенькие, северные, а все же кедрачи — прекрасные деревья. Под ними спать суше, теплее, лапник, орех, пусть и горький, пусть истекший, все же пища. И брусники прошлогодней в лесу больше стало попадаться.

Однажды я обнаружил умирающего оленя. Он лежал в сырой яме, в бурой, размешанной болотине. Он объел вокруг уже все кусты, мох и осоку вместе с корнями, выгрыз землю, выел ее до мерзлоты. В открытом переломе ноги оленя кишели черви, и под кожей прошивали они уже ходы к склизкому облезшему паху. Кости зверя торчали наружу, от него пахло, но, увидев меня, он забился в грязной яме, пробовал взняться, но со стоном наотмашь упал обратно в грязь.

Боясь, что олень испустит дух прежде, чем я ударю его топором, зажмурил в кровь съеденные гнусом глаза и обрушился в ямину.

Я прожил возле убитого оленя несколько дней и пожил бы еще, если б не гнус, набирающий ярость. Из шкуры оленя я вырезал себе подстилку под бок, сделал несколько теплых стелек в сапоги и — главное — намочил и вырезал тонкие сы-

ромятные ремешки, вытянул из ног животного сухожилия, чинил ими одежду, обувь, даже ладился приспособить их в качестве лески. Конечно же, я давно уразумел, что заблудился, утерял всякие ориентиры, от тупости забывал приметы, но не хотел с этим согласиться и все надеялся — вот-вот выйду к Енисею, не миновать мне этой великой артерии, как ее именуют в школах. Но таймырская тундра, дикие леса Заполярья такие великие, что даже Енисей может в них затеряться, человечишко же для таких пространств — мошка, тля, былинка.

Если бы вы — северяне — не ведали, что такое северный лес и тундра, каково в них заблудиться, я бы, может, и рассказал вам об этом. Но вы, я вижу, люди бывалые, и ребятишки у вас не барчуки. Скажу только, что я не раз сожалел о том, что не погиб вместе с товарищами своими там, на пороге, полный сил и веры в будущее.

Не знаю, сколько времени, какие были число, месяц, день, но уже отцвела лесотундра, отпела весна птичьими голосами, самки сели на гнездах, линялые самцы прятались в укрепе. Я брал из-под самок яйца, пил их, если попадались насиженные, пек в огне, догнал и забил палкой несколько линялых куропаток и глухарей. Вместе с пером и

внутренностями я закапывал птицу под костер в землю и, сначала с ужасом, потом почти равнодушно, заглядывал внутрь последнего коробка спичек. Огонь я разводил уже не каждую ночь, только в непогоду. Когда у меня останется последняя спичка, принял я решение, — разведу в последний раз огонь и лягу подле него навсегда.

Беглец прикрыл ладонью глаза, и что-то заклокотало в его горле, мы поняли, что он удерживает в себе крик или плач. Папа протянул гостю кисет. Он ощупью принял его и, закурив, молвил:

— Благодарю вас! Не приведи, Господи, вам, детям…

— Может, вы еще покушаете? — перебил я гостя.

— Нет-нет, спасибо, дитя. Храни тебя Господь, не оскверни, не обозли в это худое время милостивое сердце.

— Может, рыбы соленой?

— Нет-нет, сольцы.

Я подал беглецу берестянку соли, он бережно щепотью взял соли, высыпал ее в рот и замычал от сладости и боли — соль разъедала треснувшие губы, цинготно сочащиеся десны.

— Ах, как нам не хватает сердца! — воскликнул он.

Иссосав еще щепотку соли, он громко, почти клятвенно заверил нас:

— Если я доживу до лучших дней и у меня будет свой угол, я весь его завалю солью. Соль — это!.. Нет, вы не знаете, что это такое, соль! У вас ее много, целые бочки, вы ею сорите. Но не надо, не надо, особенно детям, чтоб они узнали это, испытали наше горе. Борони Бог, как говорят тунгусы… Ах, как нам не хватает сердца! Соль добудем, хлеб посеем, но — сердце!..

М-да, простите еще раз, светает. Не дал я вам спать. Н-но, н-но у меня давно не было и, может, не будет уже таких добрых слушателей…

Не знаю, в бреду или по наитию Божьему я стал чувствовать: в лесу есть еще кто-то. Ни следов, ни кострищ, ни спичечки горелой, но вот чувствую: есть кто-то поблизости — идет следом или кружит возле меня. Нет, нет, нечистой силы я уже не боялся и подумал, что это смерть моя кружит надо мною, сжимает кольца, дышит в меня гнилозубой хворью, тленом, перегорелой душной кровью, хочет избавить меня от мук. Я не то чтоб вовсе не боялся смерти, призрака ее, я еще мог почтительно относиться к жизни, нужной не для одного меня, но для моих уже погибших и погибающих в невиданно страшных застенках,

на каторгах собратьев моих. Если б не это, я бы просто не встал однажды с подстилки из оленьей шкуры, лесные мыши, песцы и прочие зверушки съели бы меня вместе с клочком шкурки — и вся недолга. Но я еще сопротивлялся. С помутневшим уже разумом, до дна почти выпитый комарами, иссушенный, разбитый кашлем, в изожженной и драной одежде я шел и шел. Сколько раз я уже видел Енисей, выходил к нему, умывался, пил воду и плакал от счастья. Но это оказывалось лишь озеро, закрытый водоем, как говорят опять же в школе.

Оглушенный комарами, мокрецом и мошкой, я старался идти ночью, когда особенно глухо и застойно в тайге, когда уж и дышать-то нечем от испарений и гнуса. Днем я находил хоть какой-нибудь обдув и падал на подстилку, я сделался неосторожен и рассеян. Отупев от гнуса, выл в бессилии. Одиночество меня добило — я кричал что-то в небо, грозил ему кулаком.

У меня осталась одна жерлица, удочка вся в узлах, четыре спички, топор и нож. Спал в обнимку с топором, он сделался моим самым надежным другом и спасителем, и я даже разговаривал с ним…

И вот серой, звенящей комаром ночью я увидел

в тайге мелькнувший свет и подумал, что это бред, галлюцинации, стал вслух себя уверять, что отблеск небесный, отражение звезды в воде. Но какие звезды в эту пору, давно уже размыло ночь густыми туманами, солнце полого зависало над пологой тайгой, не закатывалось.

Сначала я побежал, потом пополз и увидел наконец экономно горящий костерок, мягко ступая, я приблизился к огню и спрятался за дерево. Подле костра, на лапнике, тесно прижавшись друг к другу, спали двое. И первого взгляда хватило, чтоб убедиться, что это «наши». Меньше меня были они ободраны, но тоже обросли, одичали, комары над ними клубились. Каков же был я? Страшно было подумать. Я кашлянул и вновь спрятался за дерево. Оба норильца тотчас вскочили, один схватился за топор, лежавший меж беглецами, второй за самодельный ножик. Я коротко им объяснил, кто я такой и почему тут.

— Выдь на свет и остановись! — скомандовали мне и подшевелили огонь. Я вышел к костру и покорно остановился.

— Х-хо-о-оро-ош! — покачали головами незнакомцы и набросились на мой мешок. — Соль? Хлеб? Табак?

Вытряхнув содержимое мешка, они удрученно

замерли. Потом завернули в листья моху, сухого моху с чабрецом, пососали цигарки, и тот, кто был тоньше, моложе, серый одеждой, волосами, лицом и глазами, устало полюбопытствовал:

— Давно блудишь?

Его и звали Серым. Страшный человек. Опытный бандит. Он много раз уходил из мест заключения. В апреле из штрафных бараков ушло трое. Так рано еще никто с нашей стройки не уходил. Рисковые ребята. Но третьего они, видать, уже потеряли. Что ж такого? Нас ведь тоже трое бежало.

Надо ли говорить, как я обрадовался людям, пусть эти люди были Серый и Шмырь, но все равно ведь люди, судьба соединила нас в бедствиях наших, скрепила жизнь побегом и тайной. Серый и Шмырь тоже заблудились. Но шли они упрямо, без колебаний по заполярной тайге, зная с уверенностью, что идут на юг и что поздно или рано выйдут на приток Енисея, а по нему и к самому батюшке Енисею, а там — люди, жизнь, есть где и у кого поживиться, кого пограбить, кого обобрать, вина добыть, с бабами побаловаться.

Но я поторопился радоваться — соединив нас в несчастье, судьба не сделала артельных людей сообщниками ни в мыслях, ни в устремлениях.

Маленькая артель разделилась надвое — в меньшинстве, конечно же, остался я.

Когда Серый и Шмырь отдыхали, я ловил рыбу, малых бескрылых пташек, запасался корешками, травами, варил похлебку в котле, который у этой пары сохранился. Первое время мы ладили. Я уверовал, что с такими бойцами не пропаду и непременно выйду к Енисею, а там не с руки нам быть вместе. Но проходили дни, недели, мы никак не могли выпростаться из лесотундры. Совсем обносились, затощали. Давно была уже очищена от шерсти, выварена и съедена оленья шкура, мы ловили и ели леммингов, белок и даже бельчат, варили грибы — все без соли, без соли! Рты наши скипелись от крови, пахло из нутра нашего падалью. Гнус разъедал лица, руки, шеи до того, что оголилось мясо, пошли по нему язвы. На артель осталась одна удочка и жерлица с обломанным крючком.

Теперь мы рыбачили попеременно. В то время, когда Серый и Шмырь спали, я ловил и варил рыбу, после спал я, они ловили и варили.

Но волчий закон, по которому существовали Серый и Шмырь, скоро дал себя знать — они перестали оставлять мне еду, однако еду добывать и дрова заготавливать заставляли безогово-

рочно. Сами понимаете, после нашей ударной стройки толковать с ними о совести и порядочности — пустая трата слов. Они были крепче меня, лучше сохранились, но я тоже не давал себе окончательно ослабиться, старался, когда связчики спят, найти хоть какое-то пропитание. Меня подстерегла еще одна большая беда — я оборвал последнюю удочку. Уснул с удочкой в руках, клюнула сорожина на короеда, тут же на нее метнулась щучина. Я проснулся от рывка, всполошился, но было уже поздно — хищница вдавливалась в глубину, разворачивала сорожину головою на ход, следом волочился обрывок фильдеперсовой лески, клубилась рыбья чешуя.

Собратья мои убили бы меня, но я сказал, что спрятал жерлицу и не покажу, где спрятал, коли они примутся меня убивать. Кроме того, у меня есть еще две иголки, из которых можно сделать крючки, да из штопора-складника, если его накалить, уду можно загнуть, и еще я придумаю, как ловить петлями птицу и щук, нежащихся на отмели.

Этим я на какое-то время продлил себе жизнь. Но страшное слово «баран» все чаще и чаще достигало моего сознания, хотя поверить в то, что Серый и Шмырь ведут меня с собой, чтобы, когда

вовсе край придет, съесть меня, поверить не мог. Сыспотиха подбирался к связчикам, пытая, куда делся третий их спутник по прозвищу Ноздря. Серый и Шмырь уверяли меня, что, как и мои спутники, утонул он при переправе через реку, но скоро посчитали — таиться им незачем и врать не стоит, никуда я от них не денусь, рассказали, как тащили спички, одна короткая, две длинных. Короткую вынул Ноздря. Он был вечный зэк, опытный ходок, старый вор в законе, игру судьбы принял, как полагается герою современности, не скиксовал, не пикал. Наставил в грудь себе ножик, навалился на него, попросив давнуть в спину. Серый помог ему, облегчил кончину.

Связчики разделали «барана» топором, мясо закоптили на огне и продержались до прилета в тундру птиц. По насту из тундры им выйти не удалось. Поломали лыжи, съели припасы. Дальше предстояли им одна только длинная и одна только короткая палочки — спичками уже не играли, берегли их пуще глаза.

И тут-то явился я. Сам набрел — воистину баран! Безрогий, безмозглый, на заклание чертом посланный.

Однажды ночью Серый и Шмырь вернулись к огню ни с чем. Рыбу и птицу петлей ловить они

не навострились, нервов не хватало, привыкли все брать на шарап. Ягоды еще не созрели, орех был с молоком, птица поднималась на крыло. Питаться в тайге сделалось нечем.

Серый и Шмырь упали возле огня обессиленные. «Ну?» — закрыв глаза, молвил Шмырь. Я понял, что это «ну» означает; не таясь, начал молиться. «Ладно, поспим. Может, морок какой найдет. Видеть эту падлу не могу! Весь в парше!..» — «Опа-алим!» — «Тьфу! — плюнул Серый. — Падаль хавать легче!..» — «У нас и падали нету. Сами скоро падалью сделаемся…» — «Кончай! Покуда не отбросил копыта, дотудова жив! Дави бабу-землю. Спи. Отдохнем — поработаем…»

Серый костью послабее Шмыря, но духом покрепче. Шмырь — он злобой страшен, однако смекалкой не вышел.

Я дождался, когда приутих костер, пока разоспались мои спутники, и, сказав про себя: «Господь вас прости, ребята!» — отполз от огня, вскочил — где и силы еще взялись! — и бросился бежать. Помнится, я даже кричал, мнилась мне за спиной погоня. Помню, когда забежал в густой туман, обрадоваться даже не мог, упал без сил.

Солнце было уже высоко, когда я очнулся и

увидел, что из тумана выпрастывается большая, широкая вода. По песчаному берегу прополз к тихой лагуне, заглянул в воду и отшатнулся: на меня из воды воспаленными, опухшими глазами глядело существо, уже мало похожее на человека.

По большой воде дул ветер, кружились чайки, стаи молодых уток делали разминки, что-то перемещалось — за пологим горизонтом что-то дымило.

«Не Енисей ли это?»

Я сомлел, погрелся под солнцем, отдыхая от тяжкого гнуса, и скоро опять уснул. Очнулся оттого, что меня било и катало по опечку волнами. Соскочил и увидел над водой, в разъеме берегов, темный силуэт. Ничего не мог сообразить, но уже отчетливая мысль бежала, хлестала волной в меня: «Я вышел к Енисею! Я вышел к Енисею! По Енисею идет пароход!..»

Вера в чудо во мне давно истребилась, и пока я не прочел на борту новенького теплохода: «И. В. Сталин», старался не доверять своим глазам. На теплоходе пассажиры, женщины, детишки — кто-то помахал мне рукой. А я не мог помахать в ответ.

Мокрый от волн и слез, я стоял на коленях в

мокром песке, кланялся, молился земле, благодарил Бога за чудо, подаренное мне, — чудо жизни! И верил, в ту минуту верил, что те, на теплоходе, — очень счастливые люди, мне же выпало тяжкое испытание по чьей-то злой воле, по какому-то недоразумению. Я должен, должен дойти до самого главного, самого справедливого человека, чьим именем совершенно справедливо назван этот красивый теплоход. Он выслушает, он поймет меня, он сам в этих краях бедовал в ссылке, сам бежал отсюда и всего натерпелся. Он, и только он, может и должен всех спасти, развеять тяжкую напасть на эту страну, на ее исстрадавшийся народ.

Сидя у почти затухшей печки, гость наш умолк, держа эмалированную кружку в пригоршнях. Через окошечко в избушку сочился нехотя свет нарождающегося застиранного дня. Беглец глянул на окошечко и, допивая из кружки остатки теплого чая, заторопился:

— Ну что вам еще к рассказанному добавить? Серый и Шмырь следом за мной тоже вышли к Енисею, выше меня по течению. Я скоро обнаружил их «следы» — разграбленный чум кето, выехавших на лето рыбачить, за чумом перестрелянные собаки, изнасилованная, растерзанная

женщина. Самого рыбака эти два шакала, очевидно, утопили в реке, парнишку-кето посадили в лодку и оттолкнули от берега — его поймала и спасла команда буксирного парохода. В чуме беглые разжились едой, солью, одеждой. Впрочем, какая одежда у рыбаков-националов, на месяц-два откочевавших из тундры к Енисею. Взяли ружье, то самое, которым вас застращали. К ружью скорее всего уже нет зарядов, и все же хорошо, что вы не связались бороться с ними, — они могли бы запереть вас в избушке и сжечь. Они на «свободе», они добрались до жилых мест и «гуляют». Будут они ходить, огибая большие станки, города, грабить и насильничать до холодов, потом сдадутся. Никакой цели и задачи у них нету. Я шел по их следам. Открыто заходил в станки. Два раза меня задерживали и отдавали в сельсоветы. Оба раза отпускали. Я не ворую, не граблю и намерений своих не скрываю. Меня отпускали с Богом, и я уверен, пройду дальше, чем Серый и Шмырь. Мною движет милость. Я дойду до Москвы, чего бы мне это ни стоило. Память товарищей, страдания людей обязывают меня выполнять долг, может быть, последний и самый главный в моей жизни… Дайте, пожалуйста, еще сольцы!

Беглец в который раз пососал соли и, покачиваясь на корточках возле печки, ровно бы подумал вслух:

— И все-таки не следовало при ребятишках…

— Наши ребятишки в Игарке растут, — отозвался Высотин и прислушался. — Дует? Дует и дует. Не дает нам погода план добрать. Сматываться надо из этой тайги. Нигде покою человеку не стало. Да и ребятишкам в школу пора.

— Да-а, наступает осень! — эхом отозвался от печки беглец. — Спешить надо, не выйду до зимы из Заполярья — пропал.

— Давай, мужик, поспи маленько и уходи. Шишкари иль ягодники из Игарки объявятся — черти принесут, патруль нагрянет — нам тоже несдобровать.

— Да-да, вы правы. Я уйду, уйду. Соли узелок попрошу и хлеба кусочек, да ножницы — дикий волос…

Папа мой сказал:

— Давай! Я умею маленько.

Беглец сел посреди избушки на табуретку, папа повязал его мешковиной и закружился вокруг клиента, защелкал ножницами, однако обычных при этом складных присказок не выдавал.

Я замел волосья в печку.

Высотин бросил в полотняный кошель мешочек с солью, булку хлеба да коробок спичек, кусок сахара и со словами: «Вот… чем богаты», — подал его гостю.

— Благодарствую! Спаси вас Бог.

— Не на чем. Чё-то не очень он нас пасет. Кто знает, что завтра с нами будет?

— Не гневите, не гневите Всевышнего — все под Ним ходим… Не надо так. Не надо без веры жить.

— А где ее, веры-то, набраться? У тебя?

— Да у меня хотя бы. Я ж не терял веры, даже там, на краю гибели, в тундре. Я стремлюсь к справедливости, и Бог мне помогает.

— Ну, ну, стремись. А мы тут, в Игарке, такой справедливости навидались, что некуда уж справедливей.

— Нет, нет и нет, мужики, не победить человеконенавистникам исконную доброту в людях. И сейчас не всех они и не всё сломили. Не всех, не всех. Как ни странно, среди интеллигенции, именно среди той части самых обездоленных, которую тюремные и лагерные держиморды особенно люто ненавидят, находятся люди столь стойкие, что они потрясают своим мужеством даже самых кровожадных мясников. Подумайте сами — почти ослепший от побоев, карцеров,

недоедов, старенький философ-ученый заявляет начальнику лагеря и замполиту: «Я не могу быть арестованным. Это вы вот навечно арестованы…» — «Как это?» — гогочут граждане начальники. «А так вот — сейчас войдет старший по чину, и вы вскочите, руки к пустой голове приложите, а я как сидел на табуретке, так и буду сидеть, продолжая думать то, чего не успел додумать прежде, — о человечестве и о вас буду думать, поскольку есть вы несчастное, заблудшее отродье и нечем вам думать, лишены вы думательного инструмента…»

— Н-да, гладко ты баешь, а мужика-то, крестьянина, они охомутали, извели.

— И все равно доброта и терпение разоружат, изведут злодейство.

— Больно ты разоружил-то Шмыря и Серого.

— Да-а, тут правда ваша. Этих никаким, даже Божьим словом не проймешь. Это уже продукт новой эпохи.

— Да завсегда они были и будут. И, между прочим, тоже отца-мать имели и имеют, верующих, деревенских, может, и пролетарьев — но масть-то идет одна.

— Не дай Бог, не дай Бог, мужики, если Серый и Шмырь да их сотворители начнут миром пра-

вить.

— Конечно, конечно, не дай и не приведи Господи.

— Ну, значит, с Богом! И вали дальше. Вроде утихает. Нам на сети скоро.

В полдень мы выплыли на сети. Хромого в бане уже не было. Спустившись к лодке, мы увидели его, резко припадающего на правую ногу, километрах в двух от избушки. Он шел в направлении станка Полой, правился вверх по реке, к свободе, к заступнику всех обиженных и угнетенных, и далеко, ох как далеко и долго ему было еще идти, добираться до тех мест, где обреталась справедливость. Иней таял, струя над берегом дымку, и скоро хромой заподпрыгивал на сверкающем приплеске, по которому катились козырьки слабеющих волн. Вот он отделился от приплеска, метляком залетал, закружился в синеватой дымке… и — воспарил.

… Его взяли спящего в деревне Кубеково, под самым Красноярском, и вернули обратно, добавив пять лет сроку. Он убегал еще не раз и в один из побегов обморозил ступни обеих ног. Его вылечили и назначили на штрафные работы — в балластный карьер. Убежать из Заполярья больше он не мог, да и бежать из Норильска с

каждым годом становилось все труднее. Город обретал современное индустриальное советское лицо, лагеря, зоны, проволока, охранительные службы с будками, стрелками отделялись от города, укреплялись, вооружались. Строгие конторы в удобных домах, с теплым отоплением, с электроосвещением, с политотделами и подотделами возведены в центре города — все это ладилось, селилось, плодилось прочно и надолго, энкавэдэшники твердо верили — навечно.

Конвоир Зубило, «из бывших», водивший на работу штрафную бригаду, развлекался тем, что пелажного подростка заставлял прыгать с отвесной стены карьера и тут же подниматься обратно. Откос карьера плыл, подросток отчаянно гребся руками, ногами, карабкался, не подаваясь с места.

Нахохотавшись до колик в боках, веселый конвоир бросил подростку конец веревки, помог ему подняться. Но не успел истязаемый сказать: «Спасибо, гражданин начальник», — как тот его столкнул вниз и, клацая затвором, веселился: «А ну быстро наверх! А ну, доходило, резво, резво!..»

«Прекрати!» — резко сказал конвоиру седой, раскоряченно ступающий на обе ноги штрафник по прозванию Хромой.

Бешено белея глазами, конвоир передернул затвор, двинулся на Хромого, но выстрелить не успел. Мелькнула в воздухе кувалда, и на свежо сереющую кучу гравия вывалилась горстка еще более серого парящего ошметья, напоминающая отцеженную опару: из укоротившегося тела конвоира выбуривала кровь, военные штаны потемнели в промежности. Овчарка — верный друг и помощник Зубилы — взлаяла, протяжно заскулила, сорвалась в карьер и через минуту уже чесала в просторную тундру.

Хромой сказал: «Спасибо, братья», — поднял винтовку Зубилы, тремя выстрелами вызвал начальника караула и, не подпустив его близко, прокричал: «Бригада никакого отношения к убийству конвоира не имеет. Я убил его!»

Сделав резкий поворот, Хромой с винтовкой в руках кувыркнулся в карьер.

Начальник караула и запыхавшиеся стрелки подбежали к обрыву карьера и услышали: «Да здравствует товарищ Сталин!» — и следом хрястский от мороза, одинокий, без эха, выстрел.

Дамка

Несколько лет спустя после той памятной и редкой в нынешней суетливой жизни ночи, проведенной на Опарихе, пришла телеграмма от брата, которой просил он меня срочно приехать.

Не сломила его болезнь сердца, он сломил ее. Но беда не ходит одна, привязалась пострашнее хворь — рак. Как только принесли телеграмму, так у меня и упало сердце: с годами я и впрямь стал встревоженно-суеверным, теперь боюсь телеграмм…

В аэропорту старого годами, обликом и нравами городка Енисейска, снаружи уютного, но с тем казенным запахом внутри, который свойствен всем мрачным вокзалам глубинки, в особенности северным, гнилозубый мужичонка с серыми, войлочными бакенбардами и младенчески цветущими глазами на испитом лице потешал публику, рассказывая, как и за что его только что судили, припаяв год принудиловки.

«Что за растяпы судьи! — закатывался мужичонка. — Он же истопником в клубе состоит, а клуб отапливается когда? И дураку понятно — зимой! Считай, на полгода он их наякорил!»

Среди вокзала на замытом полу стояла белая лужа — кто-то разбил банку с молоком. Под обувью хрустело стекло, по залу растаскивалось мокро, и, сколь ни наступали в молоко грязной обувью, оно упорно оставалось белым и как бы корило своей непорочной чистотой всех нас, еще недавно загибавшихся от голода. Модные сиденья, обтянутые искусственной кожей, порезаны бритвочками. Заслеженный задами, пупырился грязный поролон меж лепестков испластанной кожи. В вокзале жужжала мухота, со вкрадчивым пеньем кружился комар, кусал ноги, забивался под юбки женщинам, и которые еще не обрядились в брюки признавали их тут уже не криком моды, а предметом необходимости. По стеклам окон упрямо взбирались и скатывались вниз опившиеся комары. Мальчишка с заключенной в гипс правой рукой левой принялся плющить комарье. По стеклам с одной стороны текли красные капли, с другой — светлые, дождевые. Путь их по стеклу совпадал, где и зигзаги повторялись, но кровавые и светлые потеки не смешивались, не смывали друг дружку, и блазнилась в той картинке на стекле какая-то непостижимая, зловещая загадка бытия.

— Перестань! — Женщина в кирзовых сапогах,

в старой вязаной кофте, отстраненно сидевшая до того в углу, легонько шлепнула мальчишку по здоровой руке, он отошел от окна, покорно сел, привалился к ней. Женщина уложила больную руку мальчика себе на колени, самого придавила плотнее к боку и, глубоко вздохнув, успокоилась.

— Жжжж-и-ве-ом мы весело сегодня, а завтра будем веселей! — объявился в вокзале исчезнувший было гнилозубый мужичонка. Разболтав бутылку с дешевым вином, он начал пить из горлышка, судорожно шевеля фигушкой хрящика, напрягшись жилами, взмыкивая, постанывая. Пилось ему трудно, не к душе, и отхлебнул он каплю, однако крякнул вкусно, потряс головой и возвестил: — Хар-раша, стерва! — И зашелся, закатился не то в кашле, не то в смехе. — Она мне грит: «Подсудимый, встаньте!» А я грю, не могу, не емши, грю. Все деньги на штрафы уходят. Гай-ююю-гав!

И у самолета выкомаривался мужичонка. Докончив бутылку, сделался он еще болтливее, навязчивей, вставил в петельку телогрейки цветок одуванчика, лип к роскошной чернобровой молодухе с комплиментом: «Ваши глазки, как алмазки, токо не катаются!», тыча в цветок, намекал, что он-де жених, присватывается к ней.

— На одну ночь не хватит — замаю! — незлобиво отбрила его молодуха.

У самолета, как водится в далеких, полубеспризорных аэропортах, пассажирам сделали выдержку. Летчики тут утомлены собственной значимостью и, если не выкажут кураж, вроде бы как потеряют себе цену. Взлетные полосы располагались в низине, вокруг аэродрома простирались болота и кустарники. После нудного, парного дождя людей заживо съедал комар. Мужичонку-хохмача комары не кусали по причине проспиртованности его тела — объяснил он и молотил своим наклепанным языком, измываясь над женщинами, — они хлопали по икрам ладонями, сжимали ноги, иные, преодолев стеснение, выгоняли зверье из-под подолов руками.

— Жре-о-оть! Жге-о-оть комар! Умынай зверь, ох, умынай! Чует, где мясо слаще!

— Ты, чупак! Я вот те как шшалкну, дак опрокинесся! — взъелась молодуха. — Нашел где трепаться! Ребятишки малые, а ты срам экий мелешь.

— Молчу, молчу! — Мужичонка плененно поднял руки вверх, истыканные, исцарапанные, неотмытые. — И как с тобой мужик горе мычет?

— Это я с ним мыкаюсь! Экой же кровопивец!

Камень бы один здоровущий всем вам на шею да в Анисей! — И, ни к кому не обращаясь, громко продолжала: — Чё ему! Напился, нажрался, силищи много, кровь заходила, драться охота. Меня бить не с руки — я понужну дак!.. Издыбал, кобелище, измутузил мужичонку. Теперь, как барин, на всем готовеньком в тюрьме — никто такое золото не украдет, и еще передачу требует. Красота, не жись! А инвалидишко в больнице. Вот я и вертюсь-кручусь: одну передачу в больницу, другую в тюрьму, да на работу правься, да ребятенчишка догляди, да свекрухе потрафь... И все заради чего? Чтоб дорогому муженьку, вишь ты, жилось весело... У-у, лягуха болотная! — поперла она грудью на мужичонку, и он, отступая под натиском, закривлялся пуще прежнего, запритопывал, заподмигивал:

— Эх, пить бы мне, пировать бы мне! Твой муж в тюрьме, не бывать бы мне!..

— Побываешь, побываешь! — посулила молодуха и, ослабляя натиск, плюнула: — Обрыдли поносники хуже смерти!

Мужичонка хоть и кривляка, но черту, за которой от слов переходят к действиям, не переступил и с молодухи переметнулся на меня, что-то насчет моей шляпы и фигуры вещал. Я не дал ему разой-

тись. «Заткни фонтан! — сказал. — А то я тебе его шляпой заткну!» Молодуха на меня пристально поглядела. Отягощенная горем, она угадала его и во мне и кротко вздохнула, продолжая шедшую в ней своим ходом мысль:

— Прибрали бы их, этих пьянчужек, шарпачню эту, в како-нибудь крепко место, за ворота, штоб ни вина им, ни рожна и работа от восходу до темна. Это чё же тако? Ни проходу, ни проезду от них добрым людям!

Наконец распахнулась дверца самолета. Чалдоны-молодцы давнулись у лесенки и внесли друг дружку в салон самолета, отринув в сторону женщин, среди которых две были с детьми.

— Экие кони, язвило бы вас! Экие бойкие за вином пластаться да баб давить! — ругалась молодуха, подсобляя женщине с ребенком подняться по лесенке. Довольнехонькие собой мужички и парни с хохотом, шуточками удобно устраивались на захваченных местах, подковыривали ротозеев. Я пропускал женщин вперед — как-никак Высшие литературные курсы в Москве окончил, два года в общежитии Литературного института обретался — хватанул этикету и в результате остался без места. Билет был, я был, самолет был, а места нет, и вся недолга — пилоты прихватили знакомую

девицу до Чуши и упорно меня «не замечали». Я простоял всю дорогу средь салона, меж сидений, держась за багажную полочку, и не надеялся, нет, а просто загадал себе загадку: предложит мне кто-нибудь из молодых людей место, хотя бы с середины пути? Ведь приметы войны заметны на мне, так сказать, и невооруженным глазом, но услышал лишь в пространство брошенное:

— Интеллигентов до хрена, а местов не хватат! Гай-ююю-гав!

Мужичонка помолотил бы еще языком, но в открытую дверь самолета высунулся второй пилот, нехотя поднялся и, медленно приблизившись к надоедливому пассажиру, сказал:

— Будешь травить, без парашюта высажу!..

Пилот прицепил меж сидений неширокий ремень, похожий на конскую подпругу, кивнул мне, предлагая, должно быть, садиться. Я вежливо его поблагодарил. Буркнув: «Была бы честь предложена», — пилот удалился в кабину.

Мужичонка послушно унялся. Куриная его шея, изветвленная жилами, сломилась, голова, напоминающая кормовую турнепсину, закатилась меж сиденьем и стенкой самолета, потряхивалась, стуча о борт.

Пассажиры все тоже задремали. Самолет шел

невысоко, трещал хоть и громко, но миролюбиво, по-свойски, и, когда проваливался в яму и, натужно гудя, выбирался из нее, чудилось какое-то извинительное хурканье и дребезжанье, словно бы он отряхивался на ходу от прилипшего облака, беря новый рубеж в гору.

Я перевел дух — как все-таки липучи, надоедны пьяницы и как стыдно видеть и слышать ерников, в особенности пожилых, мятых жизнью, бездумно выставляющих напоказ свою дурь.

Подкузьмили меня летаки, место заели. Но не бывает худа без добра: самолет почти все время летел над Енисеем, и, стоя на ногах, сколько красот я увидел в оконце! Уроженец горных мест, я и не знал, что по Среднему Енисею простираются неоглядные заболоченные низины с редкими худыми лесами, с буроватыми болотами и желтыми чарусами средь них. Пятна и борозды озер с рябью утиных табунов, с белыми искрами лебедей и чаек возникали под левым крылом в то время, как под правым, гористым берегом красным крохалем бежал навстречу красный бакен и над ним, наклоненные, рыжели утесы или выломы гор, меж которыми по щелям, цепляясь друг за дружку, бежали кверху деревья, желто пенящаяся акация, жимолость, бересклетник и

белопенная таволга. Добравшись до верху, одно какое-нибудь дерево раскидывало там просторно и победно ветви. Поле реки, точно от взрывов мин, опятнанное воронками — кружилась вода на подводных каргах, — было широко и в общем-то покойно, лишь эти вот воронки да царапины от когтей каменных шиверов и в крутых поворотах сморщенная, как бы бороной задетая, гладь только и показывали, что внизу под нами все же не поле, а река, наполненная водой и неостановимым движением. Приверхи чубатых островов опускали стрелы продоль воды, лайды там и сям, отделившиеся от реки светлыми ртутно-тяжелыми рукавами, катились в леса и терялись в них.

Просверки серебра и золота на воде, клочок ярко белеющей пены на горбине реки, скоро оказавшийся теплоходом; песчаные отмели, облепленные чайками, с высоты скорее похожими на толчею бабочек-капустниц; вороны, скучающие над обсыхающим таем, в которых им всегда остается пожива; шалаш, наскоро крытый еловой корою; на зеленом мыске костерок, пошевеливающий синим лепестком дыма, при виде которого защемило сердце, как всегда, захотелось к этому костерку, к рыбакам, кто бы они ни были, как бы ни жили в городу, у реки непременно приветны и

дружелюбны. Вон они глядят из-под руки на нас, маленький рыбак в оранжево-черных плавках перекладывает удилище, чтобы махнуть рукой самолету; даль и близь, вечность и миг — страх и восторг — как все-таки непостижим всем нам доступный мир!..

— Гражданин! Гражданин! — Я очнулся. За рукав меня дергала молодуха. Всю дорогу она сидела, закрыв глаза, уронив на колени крупные красные руки — на сплаве или на скотном дворе работает. — Посиди! — словно в больнице, тихим голосом предложила она, приподнимаясь. — Ноги-то остамели небось?

— Спасибо, спасибо! — придержал я ее за плечо и, чтоб не обидеть отказом, дружески ей улыбнулся: — У меня сидячая работа.

— А-а, — молодуха ответно мне улыбнулась, — в отпуск в Чуш-то или в командировку?

Я сказал ей, зачем лечу, и она опечалилась.

— Знаю я твово брата. Шоферил он в совхозе. Худой сделался, шибко худой. Узнаешь ли?

Бедами и горем точенная, по-женски чуткая, она не стала больше меня тревожить разговорами, снова прикрыла глаза, наслаждаясь редким покоем и отдыхом, а скорее всего страдала, мучилась в себе и про себя.

Гудел, покачивался самолетик, дребезжал железной дверцей. Вдруг его качнуло, ровно бы предоставляя мне возможность увидеть еще раз реку и землю, но уже опрокинутыми на ребро, небо в самом окошке — протяни руку и хватай клочья ваты из облака. Круг завершился, и самолет по наклонной катушке реки заскользил к поселку Чуш.

С воздуха Чуш похож на все приенисейские селения, разбросанные в беспорядке, захламленные, безлесые, и если бы не клок тополей, когда-то и кем-то посаженных среди поселка, не узнал бы я его. Вокруг поселка за речкой, в устье, разжульканном гусеницами, раскинулся, точнее сказать, присоединился к широкой поляне, заросшей куреслепом, сурепкой и одуванчиками, чушанский аэродром с деревянным строением, нехитрым прибором да двумя рядками фонарей-столбиков. На аэродроме паслись коровы, телята, кони, и, когда наш самолетик, зайдя с Енисея, начал снижаться, целясь носом меж посадочными знаками, едва видными из травы, впереди самолета долго бежал парнишка в раздувающейся малиновой рубашонке и сгонял хворостиной с посадочной полосы пегую корову, неуклюже, тяжело переваливающую вымя. Казалось, са-

молет вот-вот настигнет корову, турнет ее под норовисто поднятый хвост, но все закончилось благополучно; и парнишка, и корова, и пилоты, должно быть, привыкли ко всему тут и как бы даже поиграли немножко, позабавлялись.

Из самолета я вышел следом за пилотом, с выверенным форсом приспустившим на правый висок синий картуз с эмблемой, на глаз, глядящий сквозь людей в пространство. Второй пилот волок под мышкой на волю разоспавшегося, ничего со сна не понимающего мужичонку. Он цапался руками за сиденья, заплетался ногами, чего-то бормотал. Пилот вышвырнул его из самолета. Шмякнувшись в траву, мужичонка ойкнул, проснулся, куражливо потребовал головной убор. Пилот пошарил рукой под сиденьем, выбросил мятую кепку мужичонке. Хлопнув ею о колено, мужичонка ткнул кулаком в середку и надел головной убор задом наперед.

По пути с аэродрома мужичонка останавливался возле каждого дома, подробно повествуя, как его судили, сколь отвалили, как достойно, можно сказать, героически вел он себя на суде и как ему славно погулялось в Енисейске в честь такой победы. Около старой дощаной будки караульщиком местной водокачки стояла баба в старом

пиджаке, с мулатски костлявым коричневым лицом. Поджидая мужа, который явно не спешил домой, она сжимала в руке сырую черемуховую палку.

— Дамка! Дамка! Дамка! — кликала она. — Иди-ко, иди-ко, я те чо-то дам!..

Странное такое прозвище мужичонка получил за свой причудливый смех. Один хозяин, услышав тот смех во дворе, заорал, греша на свою дворнягу:

— Цыть, Дамка! Цыть, пустобреха! На кого хайло дерешь?!

Дамка и на белом свете очутился по недоразумению, да и в Чуши тоже. В первом случае мать, обсчитавшись в сроках, зачала его, во втором расписание подвело. Завербовавшись в Игарку на Карскую, Дамка кутил дорогой, пропивал подъемные. В Чуши побежал на берег, за вином, в очереди затрепался, пароход сократил стоянку, и он от него отстал. На местном катере вернулась в Чуш его бедолажная супруга, ни слова не говоря, выхватила полено и дубасила мужа до тех пор, пока не выдохлась. Воткнув полено обратно в поленницу, она еще пнула мужа, села на дрова и стала громко причитать, обсказывая незнакомым людям свою горькую жизнь.

Пестрому населению Чуши Дамка пришелся ко двору — всю жизнь сшибающий бабки, он не мог быть чушанцам угрозой в смысле наживы, он даже дополнял и разбивал своим ветреным нравом и плевым отношением к богатству угрюмый и потаенный сброд. Дамку презирали, но терпели, забавлялись им, считали его, да и всех прочих людей простодырками, не умеющими жить, стало быть, урвать, заграбастать, унести в свою избу, в подвал, в потайную яму со льдом, которая есть почти в каждом чушанском дворе.

Не очень-то подходил поселок Чуш и они поселку, Аким с Колей, люди нервного, но бескорыстного нрава, да было угодно судьбе, чтобы родня Колиной жены, гулевая, нахрапистая, в которой уже двое молодцов-сыновей отбывали срок за поножовщину, оказалась уроженцами именно этого и никакого другого поселка.

Ребятишки-племяши играли возле дома в лапту, узнали меня, бросились было навстречу и остановились в отдалении, нерешительно улыбаясь. Я подошел, поцеловал их в запыленные мордахи, чем смутил обоих до невозможности — эти младые сибиряки к нежностям не приучены. Схватившись за ручку чемодана, они упрямо его тянули, каждый в свою сторону. На окне колых-

нулась занавеска, мелькнуло заспанное и оттого совсем узкоглазое лицо Акима. Он всплеснул руками и, босой, всклокоченный, вляпываясь пятками в куриный помет, вывалился из избы.

— Ёка-лэ-мэ-нэ! Вот дак да! — колесил он мне навстречу и сокрушался на ходу: — Аэропорт одно свое «Не знаем, когда самолет. Не знаем…» Ночь на реке полоскался, ухлопался. На половики прилег и готов… Вот дак встретили гостя! Вот дак да!

— Как Коля-то?

— Увидишь сам.

Коля пробовал подняться с кровати, делал он это чудно: сначала ловил в воздухе рукой конец невидимой веревки, пытаясь ухватиться за него и затем уже подтянуться, взнять себя. Раскидал по свету своих детей папа, развеял, но жесты его, привычки, особенно к вину, не во всех нас, но продолжились. Не поймавшись «за веревку», Коля опал на подушку, прижал к глазам руку, до того исхудалую, что она раздвоилась в запястье.

— Вот… заболел, падла! Видно, помирать…

Многое забудется, уйдет из памяти, но тот детский беспомощный жест, слова, грубостью которых брат хотел пришибить свою беспомощность, унизить болезнь — останутся. И чувство

вины останется, на этот раз особенно острое оттого, что брат моложе меня на десяток лет, я прошел войну и уцелел, в жизни видел много худого, но еще больше хорошего. А что видел он? С девяти лет таскался по тайге с ружьем, поднимал из ледяной воды сети, наживлял на ветру, на холоде переметы, рубил майны во льду, делал то, что не хотел делать наш развеселый папа, — кормил им брошенных детей и потому так страстно, порой слепо любил и баловал он своих ребятишек, словно за себя выплачивая им недополученную любовь или предчувствуя, что жить им в сиротстве, и не повторят ли они его долю, не натаскаются ль по свету, не надорвут ли здоровье, не собьются ли с пути?

Вечером, когда пришли из медпункта ставить наркотический укол, Коля сказал Акиму:

— Идите! Витя Енисей любит. Какой вам тут интерес со мной? — И дрогнул губами, отвернулся — не любил он себя поверженного, слабого. Бегучий, услужливый, он бы сейчас в лодку да по реке нас, встречь волнам и ветру, да на Опариху бы…

На горке, возле магазина «Кедр», от которого спускалась ломаная лесенка к дебаркадеру, собралась молодежь — цвет поселка Чуш. Название поселка мне еще в прошлый приезд пытались

объяснить старожилы: на Оби, невдали от которой берет начало и выходит к Енисею река Сым, местные рыбаки любят есть парную стерлядь — нарежут ее почти еще живую, посыплют солью и перцем да под водку и наворачивают — нехитрое это блюдо называется чушь. Не оттуда ли, не с Оби ли приплыло название? Но чушь здешние жители не едят, они предпочитают малосольную стерлядь. Дальше на север рыбу потребляют и сырую, свежую, почти живую сагудают, говоря по-местному, охотней всего белую: омуля, муксуна, нельму. Название поселка скорей всего произошло от того, что когда-то по границе Сыма была окраина енисейского земледелия и так много водилось тетеревов возле полей, что веснами кипели проталины от дерущихся петухов и слышалось воинственное чуф-фыш, которое издали сливалось в сплошное чушшшшшш! Чушшшшш! Чушшшшш! Как бы там ни было, а имя старинного поселка западало в память сразу и навсегда.

Вверх и вниз по реке поселок отделяли от луговин полей, болот и озер две речки, одна из которых летом пересыхала, другая была подперта плотинкой на пожарный случай и сочилась зловонной жижей. В гнилой прудок сваливали корье, обрезь с лесопилки, дохлых собак, консерв-

ные банки, тряпье, бумагу — весь хлам.

В центре поселка, возле тех самых тополей, которые прежде всего виделись хоть с парохода, хоть с самолета, была сколочена танцплощадка, под настилом которой, наполовину сорванным, клались курицы, и пьянчуги лазили на брюхе под танцплощадку, выкатывали оттуда яйца на закусь. В бурьяне, разросшемся в углах изломанной ограды, окаймлявшей территорию «парка», курицы даже парили цыплят, а были когда-то здесь ворота, продавались билеты на танцплощадку, но ни в горсть, ни в сноп шло дело, никто на билеты не хотел тратиться, руша финансовые устои, парни перемахивали через ограду и перетаскивали за собой партнерш.

Танцы прекратились, обмерла музыка. Крашеные ворота со словами «Добро пожаловать!» кто-то утащил на дрова. Общественная жизнь пришла в упадок. Парк оккупировали козы, свиньи, куры, играли тут ребятишки в прятки; в поздний час под тополями можно было слышать игривые смешочки, страстные стенания, подивоваться разноцветьем нейлоновых гультиков и ослепнуть от непорочной свежести нагих и свободных тел — ночь тут летом хоть и с комарами, но светлая, теплая, располагающая к

грешным вольностям.

Парк с тополями, с дедами-репейниками, с кое-где уцелевшими звеньями ограды, с кругляшом сиротливой танцплощадки, если смотреть с речки, от пристани, был вроде задника декорации. Слева на возвышении яра горбилась тесовой крышей столовая, к которой примыкало здание с мачтой и пучком проводов, протянутых в просверленные дыры, — пристанский пункт связи, огражденный табличкой: «Вход посторонним воспрещен». Однако в комнате пункта связи, запыленной, продымленной, вечно околачивался вольный народ, отставший от теплохода или дожидающийся его, потому что дебаркадер на ночь запирался, шкипер со шкиперихой, блюдя порядок и чистоту, людей с него гнали под предлогом борьбы с бродяжничеством, и весь свет, кроме сигнальных фонарей, выключали, подпуская пассажиров к кассе, в камеру хранения и к весам за полчаса до прихода судов.

Справа, все на том же яру, над выемкой пересохшего ручья, на вытоптанном взлобке, похожем на могильный холм, насупленно темнело мрачное, свиньями подрытое помещение с закрытыми ставнями и замкнутыми на широкую железную полосу дверьми, так избитыми гвоздями, что

можно было принять их за мишень, изрешеченную дробью, — это магазин «Кедр», самое загадочное помещение поселка Чуш. Оно чем-то напоминало закрытую церковь, сумрачную, холодную, глухую к мольбам людским. Однако свежо белеющие на двери объявления, прибитые крупными гвоздями, и мерцающий в щелях свет показывали, что заведение живо и дышит.

Дважды бывал я в поселке Чуш и всего раз сподобился застать «Кедр» открытым, во все остальные времена липли пластами к дверям магазина объявления, смахивающие не бюллетени смертельно больного существа. Сначала короткие, несколько высокомерные: «Санитарный день». Затем приближенные к торговой специфике — «Переоценка». Следом как бы слабеющей грудью выдохнутое: «Учет товаров». После некоторой заминки ошарашивающий вопль: «Ревизия». Наконец исстрадавшейся грудью долго в одиночку бившегося бойца исторгнуто: «Сдача товаров».

Гнилое мрачное здание с крысиным визгом и мышиным писком располагало к делам и мыслям темным, к действиям недружелюбным. Наглухо запертый «Кедр», сносящийся с миром посредством кратких бюллетеней да задней дверью,

загороженной ящиками, всегда жил напряженно. В нем беспрестанно менялись завы и продавцы, прямо из-за прилавка отправляясь за тюремную решетку по причине плутней и лихоимства, зато не менялся товар и равнодушное отношение к покупателю, имевшему наглость иной раз беспокоить местную элиту, в которую давно и прочно зачислили себя работники сельского прилавка, просьбами насчет какого-то стирального порошка, замазки для окон, школьной формы, модной обуви, платья, пальто. Находились даже такие наглецы, что хотели купить зубную щетку и пасту. В Чуши — пасту! Как вот работать с таким народом? Его родитель тележного скрипа боялся, а он, морда чалдонская, пасту требует! Лучше и не работать! Потому-то большую часть вешалок в «Кедре» занимают телогрейки и наряды образца этак сороковых-пятидесятых годов — все старо, пыльно, засижено мухами. Зато самые жгучие новости и сплетни неизменно черпались в «Кедре».

Но сколько радости, сколько бодрости чушанцам от динамика, установленного на крыше пристанского узла связи. Орет он дни и ночи, извещая о движении жизни в стране и по всем земным континентам, тревожит музыкой. Ве-

чером меж «Кедром» и столовой прогуливается молодежь, томясь ожиданием пассажирского теплохода, лелея надежду, что с прибытием его что-нибудь случится, кто-нибудь приедет в гости, может, драка будет. И хотя закон об алкоголизме вступил в полную силу, все точки со спиртным закрыты, местный милиционер лично проверил, точно ли они заперты, все равно много народу под большим «газом». Мужики, пившие на бревнах возле воды, уже посваливались которые. Держался Дамка. Видать, он уже «соснул минуту»; держались Командор и Грохотало. Ну, этих героев разве что гаубицей свалишь. Доносился с бревен, от реки оживленный говор, то и дело раздавалось: «Гай-ююююю-гав!..» — должно быть, Дамка вещал про поездку в Енисейск.

На яру возникла живописная компания. Впереди нее, хлопая пыльными кистями расклешенных штанов, хозяйски уверенно шагала девица в вельветовом долгополом жилете, надетом на оранжевый свитер наподобие спецовки. Приехавшая на каникулы из высшего учебного заведения под родительский кров, смолой или того еще чернее чем-то крашенная особа всех тут подавила своей красотой, дорогим нарядом, умением пить культурно, глоточками вино, заку-

сывая затяжкой дыма. На груди девицы, вкусно сбитой, бросая ярких зайцев, горела золотая, не менее килограмма весом, бляха, и я невольно прикинул: сколько же это соболиных, лосиных, беличьих, горностаевых, осетровых и прочих голов ушло на такую модную справу?

За выдающейся студенткой, словно на собачьей свадьбе, тащились, преданно на нее взирая, чушанские парни, дальше на почтительной дистанции держались местные девчонки, более пестро, но менее ценно одетые. Все курили, смеялись чему-то, а меня не покидало ощущение неловкости от плохо отрепетированного, хотя и правдоподобно играемого спектакля. В динамике на крыше пункта связи какой-то прославленный квинтет иль диксиленд мордовал волшебную украинскую «Вечорныцю», отрывая на мотив ее новомоднейший шлягер: «Ты увидишь, что напрасно называют Север Крайним…»

Девица копытила ногами, бляха подпрыгивала и билась на ее груди. Вся пестрая стайка, подражая кумиру, взбивала пыль, вихлялась, выкрикивая чего-то. На всю эту компанию, в особенности на модную девицу, широко раскрывши рты, не моргая, смотрели ребята старообрядческого рода, толпящиеся в сторонке. Все они были

уловимо похожи друг на дружку, с казачьими кудрявыми чубами, раскосыми глазами северных матерей, в шитых еще на руках сатиновых и шелковых рубахах с поясами. Но и тут кое у кого уж узконосые туфли, где часики с блескучим браслетом, где пестрые носки, а то и редкостные брюки-джинсы проскальзывали. Таежные парни промаргивались на свету, осматривались, принюхивались. Они на танцы еще не горазды, им бы по-ранешнему — зажать цацу в оранжевом-то за баней иль меж поленниц. Да робеют пока, подходы изучают. На глазах вылупаются кавалеры нового помета, жадно тянутся к «передовому опчеству», на ходу с кожей сдирая с себя древние, заржавелые вериги прародителей. «Тяти» еще блюдут устои, но жила-то и в них ослабла, колебнулась старая вера, матершинничать, пить на людях, табак курить сплошь и рядом взялись. Молодому поколению и Бог велел оскоромиться, пристать ко всеобщему движению. Хватит, попятились, поупорствовали и сколько же всякого удовольствия упустили!

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…» — выбрасывал из круглой металлической пасти динамик, а под яром, по берегу, оплесканному мазутом, сплошь замусоренному стеклом,

банками, щепой, обтирочным тряпьем, крепко обнявшись, плелись куда-то мужик с бабой и, не слыша никаких новых песен, во всю головушку ревели: «Я соперницу зарежу и соперника убью!.. А сама я, молодая, в Сибирь на каторгу пойду…»

От Кривляка, из-за Карасинки проступил в ночном мглистом мороке призрак пароходика местной линии, ласково именуемого «Бетушкой».

По лестнице с большим рюкзаком на горбу, с чемоданом и сеткой в руках, вытаращив красиво, в меру подведенные глаза, тащилась библиотекарша Люда. Судя по потугам унести все свое имущество в один прихват и при этом остаться независимой, модно и в то же время со вкусом одетой, не то что это топотящее в пыли кодло, труженица местной культуры покидала Чуш навсегда, отработав послеинститутский «минимум». Ступени на лестнице выломаны с расчетливым коварством — через одну, перил нет. Узкая шерстяная юбка мешала Люде широко шагнуть, обойти же крутик логом не хватило сноровки, запарилась, видать, со сборами.

Народ повсюду замер, ожидая, сверзится библиотекарша с лестницы или нет? Даже Аким заинтересованно приостановился. Еще спускаясь

к реке, я заметил осанистого парня, стриженного сзаду под поэта девятнадцатого века, спереду — под ссыльного раскольника. На груди его висел массивный крест червленого серебра. Парень чистил крест кирпичом, наждачной бумагой и суконкой, но все равно виднелась сыпь вечности, сеево ли человеческих слез, застывшие ли прикосновения губ, молящих о милости. Бесценный крест древних мучеников, донесших его от времен смутных, может, еще первоцарских или никонианских, висел на дешевой цепочке от часов-ходиков.

Парень катал на лодке белокурую похотливую девку — заходил выше дебаркадера, складывал лопашны, перебрасывал с кормы к себе на колени пассажирку и на глазах честного народа шарился губами меж подбородком и воротом цветастой девичьей блузки. На берегу кто плевался, кто причмокивал губами, кто цокал языком. Девица никакого внимания не обращала на народ, все порывистей курила сигарету, острыми ногтями выщипывала изо рта табак, потому что гребец покинул лодку, спеша на помощь библиотекарше. Люда приостановилась, опустила чемодан, сетку и, когда парень приблизился, укушенно вскрикнув, отвесила ему оплеуху ото всей-то душеньки.

— Га-ююю-гав!

— Лихо!

— Браво, Людок! Браво! — На яру заколотила в ладоши девица в оранжевом, и партнеры поддержали воительницу одобрительным гулом и аплодисментами.

— Тварь! Чего изображаешь? — Девица в лодке отбросила сигарету и, взяв руки под бока, закривлялась: — Я н-не лягу под стилягу!..

— Катись! — не то ей, не то Люде крикнул парень и, улегшись на плотик, забросив крест на спину, принялся полоскать водою рот, девку в лодке несло по течению, и она, покинуто хныкая, вразнобой, неумело гребла веслами к берегу. Парень не шел ей на помощь, отплевывал кровяную воду, утирался, искоса наблюдая, как мы с Акимом помогаем Люде внести багаж на дебаркадер.

Забыв поблагодарить нас, Люда грохнула чемодан на весы и обвела берег расширенными бешенством и беспомощностью глазами:

— Да будь он проклят, этот Север, и тот, кто мне его подарил!

— Ну а весы-то чем виноваты? — проворчал шкипер, откидывая скобку и передвигая пальцами по стальной полосе весовой балансир. — Вас тут много, нервных, а мне за инвентарь отве-

чать. — И выдал назидание: — Поставила б мужикам бутылку и не кожилилась бы.

— Занимайтесь своим делом!

«Бетушка» подала сирену. Шкипер, все еще поругиваясь, поспешил принимать чалку. Народ с яра потянулся к дебаркадеру.

Я сидел на бревне, бросал камни в воду и неожиданно услышал позади хруст гальки, затем знакомый голос:

— У вас закурить не найдется?

— Не курю.

— Не курите? — переспросил Дамка, бесцеремонно усаживаясь на одну со мной лесину. — Здоровье бережете или деньги экономите?

Мне с ним разговаривать не хотелось. Мне он надоел еще в Енисейске. Из головы не шел Коля. Лежит сейчас в горнице, оглушенный снотворным, полуспит, полустрадает, но скоро действие наркотика ослабнет, и чем тогда-то помогать парню? Подошел Аким, помогавший Люде грузиться на теплоход и оскорбленный рублевкой, которую она хотела ему сунуть: «Нисе в людях не понимат! В гробу я видел ее рваный…» Аким поздоровался с Дамкой за руку, дал ему закурить. Дамка мотнул головой на меня, Аким ему что-то сказал, и они повели дружескую беседу о разных разностях.

«Бетушка» отвалила от пристани, правясь вверх по Енисею. Из-за того, что всю ночь не темнеет, никому спать не хотелось, народ не расходился с берега, шлялся в поисках развлечений и порой находил их. Дамка развлекался тем, что подкарауливал парочки в гуще тополей, за поленницами, в банях, в кустах и прочих укрытиях, и наторел в шпионском деле до того, что спрятаться от него сделалось невозможно. За докучный интерес парни изволохали Дамку, он вроде бы унялся, но шпионское ремесло оказалось такое неистребимое, душу гложущее, что не было от него покоя, так и тянуло на поиск.

Притерся Дамка к поселку Чуш. Рыбаки охотно брали его с собой — для потехи. И, притворяясь дурачком, показывая бесплатный «тиятр», он между делом освоился на самоловах, схватил суть рыбной ловли, обзавелся деревянной лодчонкой с поношенным мотором, которую продал ему убегавший от власти залетный браконьер. Дамка выбросил два конца и, к удивлению мужиков, стал довольно-таки бойко добывать рыбу и еще бойчее ее сбывать встречным и поперечным людям. На теплоходах, самоходках, катерах, автомашинах, самолетах и вертолетах и на прочем водном и воздушном транспорте догадливые

люди возят «специальный запас горючего», выменивают на него в летнюю пору рыбу, дичину, мясо, зимой — орех, шкурки; расчет всюду натуральный, единица обмена — бутылка.

С судна, идущего по соседней реке, Оби, было изъято больше тонны рыбы, «добытой» с помощью бутылки. Чтобы обыскать это из года в год занимающееся поборами судно и привлечь к ответственности капитана, который разжирел на перепродаже рыбы до того, что уж дачами и автомобилями завалил себя и детей, потребовалась санкция прокуратуры, но до Бога с плоского Приобья высоко, до прокуратуры далеко. И ловят свободно рыбку деляги вроде Дамки летом самоловами, зимой подпусками да радуются удачливой жизни. Между тем до войны таких вот «джентльменов удачи» на Енисее почти не водилось. Тогда рыбозаводы заключали договоры с местными и наезжими рыболовами, выдавали им аванс, ловушки, раз в неделю объезжали с рыбосборочным ботом артельные становища, принимали добычу, снабжали рыбаков продуктами, рукавицами, фартуками, сапогами и прочей спецодеждой. И они-то, эти маленькие, часто из двух всего мужиков состоящие, артели были самым строгим надзором на реке, потому что

хотели добыть больше рыбы, выполнить план, чтобы получить осенью законные премиальные. И организации, ведающие старательским ловом, платили им за рыбу побольше, чем постоянным колхозным бригадам.

Я и сам когда-то рыбачил с отцом и его напарником, Александром Высотиным, в такой вот договорной артели и, сколь ни приглядывался к речным пиратам, сколь ни вел разговоров о нынешних порядках в рыболовецком промысле, убедился в том, что они с облегчением прокляли, кинули бы с радостью темную, рисковую свою работенку, перешли бы за милую душу на законный лов, только чтоб рассчитывались с ними честь по чести, не медными копейками…

Ну а пока на реках торжествует ночной, темный лов. Дамка вино попивает, песенки попевает. Один раз попалось ему тридцать стерлядей, пара килограммов по шести — уж пофартило так пофартило! Главное, рыба почти вся живая. Сонных стерлядей выбросил за борт всего несколько штук. Утомился рыбак, но такая радость на душе — кричать хотелось. Заткнет он бабе своей пасть, заткнет! Она его за рыбалку со свету сводит. Глаза еще не продерет со сна, а уж изрыгает: «Не просыхаешь, мокра стелька! Жись свою и

мою загубил!..» И все в таком вот роде, прямо и вспоминать неприятно. Покуривал Дамка папиросочку, плыл на лодочке, в подтоварнике стерлядочки хлоп да хлоп об доски хвостиками, иные хребтиком скреблись-поцарапывались — живучие, игручие рыбешки, поскорее им на сковородку охота.

Мотор не заведен, самосплавом двигалась лодка, хозяин ее наслаждался природою и пароходика вроде бы никакого не ждал. Налетели на Дамку пауты. В этой местности они с воробьев почти, башки у них вертучие, фосфорные, отвислые зады, как у зебров, полосаты, жалы что железнодорожный костыль, зевни — и он те тут же, пуще путейской бабы, всадит его в спину или еще куда. Кружат над лодкой пауты, гудят военными истребителями, лбы, будто у такси, зеленым светятся.

— На! На! Куси! Куси! — подтравливал зловредное зверье Дамка, протягивая плоскую, с обломанными ногтями руку. Сам себе не веря, паут опустился на кожу. От запаха бензина, от недоверия ли, может, от предчувствия близкой крови зад паута ходуном ходит. «Насосы в ем, паразите, действовать начали», — заметив, как наклонился, оттопырил зад и жадно замер паут,

спохватился Дамка и со всего маху саданул паута — увлекся тот, бдительность утратил — и вот тебе результат — поплыл кверху брюхом, крылом и лапами шевелит, взняться пробует. Хлесь паута какая-то рыбешка — только его, голубчика, и видели! «Взаимодействие сил, — ударился в размышления Дамка. — Природа сама устанавливает баланец меж добром и злом».

На горизонте показался дымок. Под ним, под дымком, силуэт обозначился, с паута величиной. Сладь по нутру рыбака раскатилась, под ложечкой засосало, и такая жгучая истома прошила все тело, ну что тебе перед первым грехом. «Матушка Царица Небесная иль какая еще! Вот они, мгновения жизни, ради которых мокнешь, головой рискуешь, с бабой грызесся!..»

Паут в лодке был не один, их пара была, муж и жена скорей всего. Оставшись вдовой, паутиха-стервоза слетала на берег, за подмогой. Над головой Дамки завертелось, загудело с десяток истребителей. «У-у, контрики! Чего доброго, цапнет который!»

Дамка хватанул заводной шнурок. Мотор «не взял», пукнул, хукнул, выбросил дымок. С третьего или четвертого дерга «схватило», понесло. Дамка за борт лодки поймался — хватит, вывали-

вался уж, ладно, пароход шел, спасательный круг бросил. Вынули Дамку багром из воды матросы да еще пьяным напоили. И распотешил же он тогда пароходный народ!..

Храпит, чадит перетруженный моторишко, форсунки на нем или гайки какие дребезжат. Возьмет и развалится! Что тогда? Но нет возможности щадить мотор, скорее требуется плеснуть на каменку — все в рыбаке спеклось. «Эй, «Вихрем» бы обзавестись! — вздыхал Дамка. — Да где его достанешь? «Вихри» на магистрали продают, чтоб в воскресенье или в заслуженный отпуск трудящиеся могли мигом доставлять красоток на лоно природы и культурно с имя отдыхать».

Душа Дамки млеет от хороших предчувствий, всех ему людей прощать и любить хочется — он перед целью и все ближе исполнение его вожделенных желаний. Шел не теплоход, шел однопалубный кораблик с уютными свежекрашеными надстройками, радио на нем играло. «Начальство! — уважительно подумал Дамка. — По службе куда-то катит. Можно и дирануть — не обеднеют...» С такой бодрой мыслью Дамка заглушил мотор, вынул из подтоварника стерлядку покрупней, встал во весь свой рост, да какой же у него рост-то! Взгромоздился на беседку, чтоб

скорее заметили, и, взявши рыбину за хвост, замахал ею, закричал:

— Э-эй, громадяне-товаришшы! К вам обращаюсь я, друзья мои, со стоном алчущим! Продаю-у-у, чуть не задаром отдаю-у! Эй-э-эй!..

Стерлядь была живая, изгибалась, выбрасывала круглые хваткие губы, топорщилась жесткими плавниками, ровно бы желая улететь.

Дамку заметили, подали ему сигнал, не предусмотренный ни одним речным правилом, но все же на всех наших водах известный — этакое обволакивающее, ласковое подгребание под себя белым флажком. Сблизились, сошлись будто при абордаже: узкая старенькая лодка и беленький кораблик с черным корпусом и деловито-строгой обстановкой на палубе, даже радио не бодрилось, не орали по нему, как под топором. Лишь какая-то нерусская дамочка почти шепотом, на ушко жаловалась, умоляла: «Кондуктор, кондуктор, продай мне билэ-э-эт!» — «А хрена не хочешь? Билэтов нет!» — Дамка всякую песню, пословицу ли мгновенно переиначивал на свой лад. «Да-а, строгий, видать, народ едет, деловой. Геологи, не иначе, а то из министерства какого, с проверкой финансов и дисциплины труда». Дамка внутренне подобрался, построжал.

Лодку прикрепили к кормовому гаку кораблика, рыбака почтительно пригласили в салон. Там его несколько насторожили картинки, прибитые к стенам. На одной картинке катастрофа жизни изображена — завод с трубой на берегу, из него мазут потоком в реку хлещет, осетры, окуни, лещи, судаки кверху брюхом плавают, раззявили рты, испускают дух. «Ах, што делают, сукины дети!» — поскорбел лицом Дамка и обнаружил на соседней картинке своего брата-самоловщика. Осетрина икряной, судя по раздутой пузе, запоролся на крючьях и сдох, но как-то так сдох, что сохранил способность осуждающе смотреть на человека, скорчившегося в углу картинки. От пронизывающего рыбьего взгляда перекосило рожу самоловщика, а рожа-то, рожа — не приведи Господи! Брюзглявая, немытая, нос сизый, глаза мутные — приснится, веруешь — не веруешь, закрестишься. С другого боку картинки человек с остро сдвинутыми бровями, трезвый, на Черемисина, местного рыбинспектора, смахивающий, стоял во весь рост, будто на давнем военном плакате, тыкал пальцем прямо в Дамку: «Браконьер — враг природы. Браконьеру — бой!»

Рыбак поежился и давай позанимательней чего отыскивать и меж этих и других картинок совсем

нечаянно обнаружил, в тетрадную страничку величиной, застенчивый листок, на котором красным и синим написано: «Товарищи рыбаки! Не губите молодь промысловых рыб. Выпускайте ее без повреждений изо всех орудий лова в водоемы. Помните, молодь — основа будущих уловов!» Душа Дамки стронулась с места, он заозирался, наткнулся взглядом на человека, свойски ему улыбающегося.

— Ну и как картинки?

— А мы молодь и не трогам, для будущих оставлям уловов, мы ее берегем! Гай-ююю-гав! — вскинув узкое рыльце в потолок, обитый белым пластиком, залился рыбак. Человек доставал из стола какие-то бумаги, улыбаясь, все еще приветливо качал головой, но уже с грустинкой. «Может, у его жена померла или еще какое горе случилось, а я ржу!»

— Почем стерлядь? — все роясь в столе, поинтересовался незнакомец. Дамка надеялся, как водится, сперва разгонную поллитровку выставят, закуску вроде свежего, редкостного в эту пору в этом краю огурца дадут, потом уж торг откроется. Но ничего не подавали. «Ах, вы так!..»

— Полторы рубли!

— Н-ну, любезный! Везде по рублю.

— Везде по рублю, а у нас полторы! И никаких гвоздей! — Дамка даже сам себе понравился, такой он боевой, такой непреклонный. Во как закалили характер река и природа! Этак пойдет дальше дело, так он, пожалуй, возьмется свою бабу бить, а не она его. И тем стиляжкам, что за шпионаж наказали, по отдельности навешает.

— Это почему же у вас такая дороговизна?

— Моторы худы — раз! — загнул палец Дамка. — Бензин поди достань — два! Рыбнадзор нежит — три! Вино вздорожало — четыре! — И как только помянул про вино, вся спесь разом утратилась, понесло Дамку, затараторил он базарной торговкой, не соблюдая никакой солидности и пауз: — Ангарская пошла от жиру текет баба именинница магазин далеко торговаться недосуг в роте пересохло…

— Постой, постой! — взмолился пароходный человек, отыскав наконец ручку и открывая какую-то книжку. — Пулемет! Чкас! Прошил! Оглушил!..

— У Прасковьи чирьи, у Меланьи волдыри, если дороги стерлядки, хошь бери, хошь не бери! — подхватил к месту бойкую складуху Дамка. — Гай-ююю-гав!..

— Соловей! Баскобайник! — заново обмерил

взглядом Дамку человек. — Ершов! Прямо Ершов!

Дамка вошел в интерес. Не тот ли это Ершов, что оргнабором в краевой конторе ведал? Солидный такой мужчина, некурящий. У него еще жена, не первая, вторая жена на пристани кассиршей работает. Оказался однофамилец Ершов, автор «Конька-Горбунка». Пошел разговор про оргнабор и другие, известные Дамке, организации, в ходе которого он все про свою жизнь рассказал и фамилию выболтнул. Народ в салон набился, слушает, похохатывает. Дамка и рад стараться, жалко ему, что ли, потешить людей, да и не терял он окончательно веру на предмет угощения.

Но приближались к Чуши, и гражданин, так загадочно улыбавшийся, грозно хлопнул по столу:

— Хватит! Повеселились! — и обратился к молодому парню в речной форменке: — Сколько?

— Тридцать голов. Сорок семь килограммов.

— Та-ак! — Гражданин уставился на Дамку, точно генерал в погонах с красной окантовкой. — Нагреть бы тебя на полсотни за каждую голову и лодку изъять. Да за бесплатный спектакль скидку сделаем. На вот, распишись. Жене на именины…

Дамка глянул на бумагу и подавился языком. Первый раз в жизни не мог найти слов. Про-

бовал рассмеяться, давая понять, что и сам он большой хохмач, шутку ценит и понимает, но вместо привычного «гай-ююю-гав» получилось «уй-ююю-у-у…».

— Товаришшы! Товаришшы! — лепетал он в полуобмороке, когда его ссаживали обратно в лодку. — У меня дед красный партизан и отец тоже… заслуженный!.. Товаришшы…

Кораблик, весело попукивая трубой, бросая кругляшки дыма, уходил на север. Лодку кружило течением, несло мимо Чуши, к Карасинке и пронесло вдаль, крутило в устье Сыма, когда востротолая жена Дамки, у которой когда именины, она сама не помнила, уговорила одного рыбака догнать лодку и, если не хватил супруга паралич, если нажрался он до потери руля и лежит на дне лодки, доставить его домой, тут уж она с ним сама разберется!..

Дамка был трезв и до того напуган, что, и доставленный в Чуш, все повторял оконтуженно: «Товаришшы! Товаришшы! У меня дед…»

Жена Дамки напугалась.

— О-ой! Изурочили! Озевали! — закричала. — Это все кержаки, кержаки — ушкуйники болотные!..

Всю ночь отваживалась с Дамкой жена, поила

настоями десяти трав с семи полян. Однако никакие домашние и лесные зелья знахарей и даже святая вода желаемого действия не произвели. Больной перестал, правда, повторять насчет деда и заслуженного отца, но закатывал глаза, трудовой его язык не ворочался, голова не держалась, дело подвигалось к концу.

И тогда жену Дамки те же лесные люди — кержаки, которых она срамила, надоумили испытать еще одно, последнее средство: принести земли из бани, из-под крестом лежащих половиц, разболтать с вином и выпоить, пусть даже насильственно — этак в тайге от веку вызывали в живом теле отвращение к мертвой земле. Дамку от банной грязи выворотило наизнанку. Отравленный лекарями, он уже послушно все исполнял, покорно принял и вареного молока с настоем полыни, уснул младенчески тихим сном и не крутился, как всегда, не ворочался целых двое суток.

Тем временем выяснилось: по Енисею делало пробный рейс судно краевой рыбинспекции, оборудованное по последнему слову техники так, что, если б Дамка не полез самодуром в пасть «рыбхалеям», они бы все равно его изловили и ошмаргали как липку. Старуху «Куру» знали и по

контуру, и по дыму, даже по звуку двигателей в ночное время отличали. Теперь вот пойди поборись с «имя». Жертву рыбнадзоровского террора жалели, успокаивали, пробовали напоить задарма, но жена отстояла Дамку от посягательств.

Скоро, однако, Дамка очухался, снова занялся тайным промыслом, пил, веселился, не хотел платить штраф. Вот и спровадили его в суд, вот и перекрестились наши пути в Енисейске, и появилась у Дамки новая причина для веселых рассказов.

Выжидая время, в сонные предутренние часы Дамка томился бездельем, сдерживался изо всех сил, чтоб не податься в шпионский вояж. Ему хотелось выпить, он пробовал выведать у Акима, не разжился ли поллитровкой на «Бетушке», но тот цыкнул на него, и мы пошли от реки через большой и бедный огород, где только еще набирала цвет картошка, третьим листом топорщились огурцы в срубе парника, чуть мохнатилась морковная гряда, на обочинах жалась к жердям вялая крапива, шли медленно туда, где мучился умирающий брат — тех наркотиков, которые ему давали в местном медпункте, хватало уже только часа на два-три. Надо было думать и решать, где и как доставать лекарство? Дамка сразу из

памяти исчез, забылся, да они, такие люди, только и заметны, когда мельтешат перед глазами. Память не держит их, они улетучиваются, как дым от сырого костра, хотя и густой, удушливый, но скоротечный.

За жердями огорода, за старой дверцей, устало и серо светилась река, на дне которой лежали сотни и тысячи самоловов, сетей, подпусков, уд и путались в них, секлись, метались в глубине проткнутые железом осетры, стерляди, таймени, сиги, налимы, нельмы, и чем строже становился надзор, тем больше их умирало в глуши воды, и плыли они потом, изопрелые, безглазые, застегнутые по вздутому брюху пуговицами плащей, метались по волнам, растопырив грязью замытые крыла и рты, и как охраняющие реку люди, так и воровски на ней действующие браконьеры удрученно качали головами: «Что делается? Что делается? Гибнет народное добро!»

У золотой карги

Верстах в шести выше речки Опарихи в Енисей впадает еще более бесноватая, светлая и рыбная речка Сурниха, на которой когда-то и ограбили Колю с Акимом желны, сожрав у них червяков.

По водоразделу Сурнихи оканчивается горный перевал. Издалека видно бокастую горбину осередыша. Она круто обрезана водой, как бы даже отшатнулась от Енисея, вздыбилась, свалилась осыпным каменным мысом в Сурниху.

Закончившись на виду, перевал продолжается в воде, под ее толщей. Бурливо, раскатисто над ним течение Енисея. Подводные гряды здешние рыбаки называют каргами, на них и в них застревает много хламу, в хламе и камнях лепится всякая водяная козявка, ручейник, жук-водоплав и особенно много мормыша — любимой пищи осетра, стерляди, да и всякой другой водяной твари.

От Сурнихи до Опарихи и ниже их по течению держится красная рыба, и потому в устье этих речек постоянно вьются чушанские браконьеры, которые слово это хулительным не считают, даже наоборот, охотно им пользуются, заменив

привычное слово — рыбак. Должно быть, в чужом, инородном слове чудится людям какая-то таинственность и разжигает она в душе позыв на дела тоже таинственные и рисковые, и вообще развивает сметку, углубляет умственность и характер.

Законы и всякие новые веяния чушанцами воспринимаются с древней мужицкой хитрецой — если закон обороняет от невзгод, помогает укрепиться материально, урвать на пропой, его охотно приемлют, если же закон суров и ущемляет в чем-то жителей поселка Чуш, они прикидываются отсталыми, сирыми, мы, мол, газетов не читаем, «живем в лесу, молимся колесу». Ну а если уж припрут к стенке и никак не отвертеться — начинается молчаливая, длительная осада измором, тихой сапой чушанцы добиваются своего: что надо обойти — обойдут, чего захотят добыть — добудут, кого надо выжить из поселка — выживут…

Вокруг костра сидят рыбаки, распустившись душой и телом перед нелегкой работой, ждут ночи, лениво перебрасываются фразами. В костер, помимо двух бревен, свалены крашеные двери с буквой Ж, старые клубные диваны, шкаф, дороженные тесины — полыхает высоко, жар-

ко. Огонь потеребливает вечерним ветерком, гуляющим над рекою, лица жжет мечущимся пламенем, спины холодит сквозящим из тайги свежаком и стылостью от грязно расползшейся хребтины льда, нагроможденной под урезом яра. Не верится, что около Москвы и по всей почти средней России свирепствует засуха, горят там леса, умирают травы и хлеба, обнажаются болотины, выступают и трескаются илистые донья озер и прудов, мелеют реки, стонет и мрет от зноя живность в полях и в лесу.

В этих местах затяжная весна, по причине которой совершился страшной силы ледоход. Матерый лед на реке удерживали холода, но в верховьях Енисея уже начался паводок. На Красноярской ГЭС сбросили излишки воды, волной подняло, сломало лед. Грозный, невиданный ледолом сворачивал все на своем пути, торосился в порогах и шиверах, спруживал реку, и, ошалелая, сбитая с ходу, вода неудержимо катилась по логам и поймам, захлестывала прибрежные селения, нагромождала горы камешника, тащила лес, загороди, будки, хлам, сор. В лесах и особенно в низком, болотистом междуречье Оби и Енисея по сию пору лежат расквашенные снега. Разлив необозрим и непролазен.

Напрел гнус.

Днем я заходил в прибрежную шарагу, продирался по Опарихе — разведать, как там хариус, поднялся ли? В одном месте, под выстелившимся ивняком, заметил лужицу. Мне показалось, она покрыта плесневелой водой. Я наступил, провалился и упал — комар плотной завесой стоял, именно стоял в заветерье, не тот долгодумный российский комар, что сперва напоется, накружится, затем лениво примется тебя кушать. Нет, этот, северный, сухобрюхий, глазу почти не заметный зверина набрасывается сразу, впивается без музыки во что придется, валит сохатого, доводит до отчаяния человека. В этих краях существовала когда-то самая страшная казнь — привязывать преступника, чаще богоотступника, в тайге — на съедение гнусу.

К рекам, на обдувные горные хребты давно пора выйти зверю, но половодье и снега отрезали все пути в пространственной, заболоченной тайге. Гнус приканчивает там беззащитных животных. Днями продрался к реке сохатый, перебрел протоку, лег на приверхе острова, на виду наезжей дикой артели известкарей. Схватив топоры, ломы, известкари подкрадывались к животному. Сохатый не поднимался, не убегал от них. Он

смотрел на людей заплывшими гноем глазами. В сипящих ноздрях торчали кровяные пробки, уши тоже заткнуты сохлой кровью. Горбат, вислогуб, в клочьях свалявшейся сырой шерсти, зверь был отстраненно туп и ко всему безразличен, лишь тело его и сонно отмякшие глаза чувствовали освобождение от казни, ноздри втягивали не пыльно сгущенный вихрь гнуса, а речной ветер, пробивающий и грязную шерсть, и поры толстой кожи. Только кончики ушей мелко-мелко, почти неприметно глазу трепетали, и по ним угадывалась способность большого костлявого тела воспринимать отраду жизни. Захвостали, забили известкари сохатого — теперь с мясом живут, с обескровленным, полудохлым, но все же с мясом — довольно чебаками и окуньем пробавляться.

На закате я выдернул в устье Опарихи штук двадцать хариусов. Аким искал в кустах имущество, лаялся. Попросил бы чего надо у рыбаков, посоветовал я. «Ё-ка-лэ-мэ-нэ!» — ударил себя в грудь Аким и махнул на меня рукой — что с ненормального возьмешь! Еще когда шли по реке, Аким обронил в воду коробок со спичками. Я предложил подвернуть к рыбакам. Он на меня взъелся: сунься, говорит, к лодке, да еще с незнакомым, да еще с пузатым! Я засмеялся, по-

лагая, что он шутит. Но когда удил, мне мелким показался хариус в устье Опарихи, и я подался за поворот, обнаружил там бородатого мужика — сидит, корабликом хариусов ловит, мирный такой рыболов. По привычке городского, чересчур общительного человека я сунулся поговорить насчет клева, но из кустов вывалился Аким и отдернул меня безо всякой вежливости с берега.

— Ну сё ты везде суесся? — зашипел он. — Кержак рыбачит? Да? Харюзов ловит? Да? Ты и ухи развесил! — Он смотрел на меня, как на первоклашку. — Два его брата в тальниках сохатых свежуют. Трех завалили, кровь выпускают — не текет. Нету крови. Комар высосал. Нисе-о-о-о. На пароходы продадут. Городские хоть се слопают.

Аким нашел спички в железном коробке — коробок этот с выштампованной на нем Спасской башней я дарил когда-то Коле. Эх, Коля, Коля! Братан. Котел и ложки Аким не сумел найти. Жарит хариусов на рожне, морду узкую от жара воротит, от дыма щурится. Вкуснейшая штука — рыба, жаренная на рожне, кто, конечно, умеет ее жарить, чтоб не сжечь хвосты и брюха, а спину рыбы не оставить сырой.

Возле костра собралось четверо ловцов — шел подозрительный катер, спугнул их с самоловов,

вот они и валялись на камнях, пережидали. Пробовали забавляться хариусом, но припоздали, к ночи ближе стало морочно, упало давление воздуха, рыба перестала играть и кормиться, лишь таймень в залуке гонял по отмели чебаков, ахал хвостом всю ночь, будто из дробовика. Кержаки до глухого часа таились в кустах, в первовечернем, густом мороке, на двух лодках ушли к другому берегу Енисея, ткнулись в остров, затихли — прячут мясо в лед.

Опрятный, чисто выбритый рыбак, степенный в движениях, походке и разговоре, по фамилии Утробин, извлек краевую газету и от нечего делать стал читать вслух, бросая усмешливые взгляды на слушателей: «За последние годы многие браконьеры для большей свободы действий стали орудовать по ночам. Это в сильной мере осложнило работу рыбоохраны. Сейчас в борьбу с ними вступили совершенные приборы ночного видения. Вскоре ими будут оснащены все мототеплоходы и катера Енисейрыбвода, радиус действия этих сложных оптических приборов достигает нескольких километров. Так что если ночной браконьер и уйдет от преследования, то внешний его вид, лицо, одежда, опознавательные знаки на моторке, марка мотора и другие

подробности уже будут известны работникам рыбоохраны.

А уходят браконьеры довольно часто. Моторы у них обычно сильные, иногда даже по два на лодке. Попробуй догони!»

— Ехали на тройке — хрен догонишь! А вдали мелькало — хрен поймать! — самодовольно сказал лежавший за костром мужик с яростным костлявым лицом и оловянного свечения взглядом. Он носил прозвище Командор и крутил роман с продавщицей Раюсей.

— Гай-ююю-гав! — залился, задергался ногами, вороша огонь, Дамка.

— Нэ перебивай! — приподнялся на локте закомлистый, грузный и отчего-то надменный мужик.

«Теперь в этих случаях будут выручать приборы ночного видения, — продолжал читать Утробин, — а днем фоторужья, которые тоже появились на вооружении рыбоохраны. С каждым годом увеличиваются и транспортные средства Енисейрыбвода. После ледохода на Енисей и его притоки для несения патрульной службы вышли шестьдесят мощных мототеплоходов, четырнадцать катеров, тридцать пять моторок и более ста дюралюминиевых лодок. Весь флот приведен

в полную боевую готовность. Врагам природы не будет никакой пощады!»

Неторопливо свернув газету, рыбак убрал ее в боковой карман пиджака. Воцарилось глубокое молчание.

— Гоняют, как зайцев, — сказал Дамка, который не выдерживал молчания больше минуты.

— Паразитство! — громко выругался Командор, и взгляд его совсем затяжелел. — «Флот приведен в боевую готовность!..» — почему-то шамкая, передразнил он. — Атомную бомбу изладить на нас еще не додули!..

— Н-да-а-а! Век рыбачили, век рыбы хватало! Нынче губят ворохами, собирают крохами… Э-эх, хэ-хэ-э-э-э-э! Бросать всю эту волынку надо, на юг подаваться, к фруктам. Чё мы тут без рыбалки, без тайги? — спокойно включился в беседу Утробин, хотя говорил он вроде бы всем и для всех, но я-то чувствовал — до моего сведения доводятся соображения.

— Контора пышэ, бухгалтер деньги выдае! — махнул рукой грузный мужик и, распускаясь большим своим телом и напрягшимся было нутром, начал укладываться возле огня, хрустел каменьями, вдавливая их боком и локтями в супесь.

— Это сто за рузье тако? — подал голос Аким. В сложных оптических приборах он не разбирался, зато привычное слово «ружье» на него подействовало крепко.

— Такое! — вскинулся Командор. — Направят на тебя и пронзят!

— Не мают права! — развозился на камешнике и подал голос здоровенный мужик.

— Выживают с реки, с леса! Скоро со свету сживут!..

Разговор возбуждался, переходил в спор, сыпались матюки. А я все пристальней вглядывался в публику, собравшуюся у костра, стараясь ее понять, запомнить, разобраться в ней.

Перво-наперво бросался в глаза Командор, которого я видел на реке еще в прошлый свой приезд. Фамилия его тоже Утробин — распространенная по Енисею, он приходился братом тому рыбаку, который только что читал газету, но решительно ни в чем — ни в облике, ни в характере с ним не совпадал. Когда-то, какими-то ветрами занесло на Енисей уроженца горного Кавказа, и вот из колена в колено выкукливался или штамповался тот неведомый джигит и шествовал в будущее, стойко сохраняя свой яростный облик. От залетной кавказской птицы, скорее всего от беглого

чеченца, приросла веточка к роду Утробиных — у Командора и другое прозвище есть — чеченец. Весь из мускулов и костей, резко, по отдельности везде проступающих, брови в два пальца шириной, черно прилепленные на крутые бугры лба, срослись над переносицей. Из-под бровей с постоянным напряжением и вызовом сверкали резкие глаза, но неухоженный курчавый волос, клубящийся на голове Командора, и чуть размазанные губы, видать, от матери доставшиеся чеченцу, вялые и с лицом его не совпадающие, смягчали облик клешнястого, порывистого человека. Он не говорил, он выкрикивал слова и при этом сек собеседника молнией взгляда, и может, от дикого вида его иль из-за трубки, а то и от должности — он и на самом деле плавал командиром стотонной совхозной самоходки, — вспоминался певец пиратов, флибустьеров и прочей шоблы: «Стоит он высокий, как дуб, нечесаны рыжие баки, и трубку не вырвать из зуб, как кость у голодной собаки!..»

Вечером, когда лодка Командора ткнулась в Опариху и, поддернув ее, он отправился к костру, я увидел мокрый мешок на подтоварнике, в нем скреблись друг о дружку стерляди, все в лодке было разбросано, склизко, необиходно, на

корме к беседке прислонено ружье со стволами, окрапленными ржавчиной. Грех большой трогать чужое ружье, но я не удержался, открыл его, вынул патрон — на меня из медного ободка гильзы отлитым на фабрике зраком смотрела свинцовая пуля. «Для чего ж в тихую летнюю пору с ружьем-то?» — поинтересовался я, вернувшись к костру. Командор дернулся, резанул меня взглядом и тут же заскучал.

— Да мало ли? — молвил он, зевая. — Арестант набежит… Утчонка налетит…

— На яйца утчонка садится.

— Это у вас там она садится, а мы ей тут садиться не даем, у нас, в стране вечнозеленых помидор и непуганых браконьеров…

— Гай-ююю-гав! — угодливо залился, задергался Дамка. И остальные рыбаки откровенно надо мной посмеялись. Аким, улучив момент, снова зашипел на меня:

— Чё ты на них залупаесся? Мотри!..

Командор свалился на спину, закинул руки за голову, недвижно уперся угрюмым взглядом в небо — гложет Командора горе. Сильный, независимый, он не признавал его, не ждал, не думал о нем, и потому оно обрушилось на него врасплох.

Прошлым летом, в эту же пору, в прозрачный

и мягкий день Командор вышел на самоловы. Ветерком чуть морщило воду, но тут же все успокаивалось. Енисей, входящий в межень, уработавшийся, наревевшийся за весну, погулявший во хмелю половодья, довольный собою, убаюканный глубокой силою, широтой и волею, сиял под солнцем. С берега, из лесов, дымчато мреющих вдали, — наносило парким духом болот, холодком последнего снега, в самой уж глухой глуши дотаивающего. Тлен прошлогодней травы, закисающих болот и умершей хвои плотно прикрывало ароматами новоцветья. На смену сыплющимся на угреве жаркам, свернувшейся медунице слепило золотом куреслепа, по оподолью кустов и каменных гряд шел в дудку дедюльник — так в здешних местах по-детски ласково называли медвежью пучку. Воздух что карамелька. Накатывая с берегов, он обволакивал тело под рубахой, приятно его молодил, наполнял радостной истомой, позывал к ленивым и щекотным воспоминаниям: местная белотелая красавица, подсеченная взглядом «чеченца», дула когда-то припухшими губами ему на ноги — сдуру опрокинул ведро с ухой. Теперь «красавица» «дует» его мужицкими матюками. Но что было, то было: сердце, ломящее жжением,

отходило от слабого бабьего дыха, опадал жар снаружи, возгорался внутри, и, невзирая на боль, хотелось сгрести в беремя молодую жену и чего-нибудь с ней сотворить…

– А люби меня, детка,
Покуль я на воле-э-э-э,
Покуль я на воле-е,
Я тво-о-ой… —

затянул Командор, довольный тем, что ветерок такой сладкий подувает, что телу и душе под рубахой хорошо, что красное рыбнадзоровское судно «Кура» укатило в низовья Енисея, вода высветляется, теплеет, стерлядь начинает идти к каргам, а тут ей для забавы самоловчики-красавчики. Играй, дурочка, играй, в жизни все с игры начинается!..

Умеет ли плакать рыба? Кто ж узнает? Она в воде ходит, и заплачет, так мокра не видно, кричать она не умеет — это точно! Если б умела, весь Енисей, да что там Енисей, все реки и моря ревмя ревели б. Природа, она ловкая, все и всем распределила по делу: кому выть-завывать, кому молча жить и умирать. Поиграет крючочками-пробочками стерлядочка, гоп за бочок — и в мешочек! Ребятишкам на молочишко, дочке туфли к вы-

пуску. Дочка — слабость Командора. Все лучшее с лица папы позаимствовала: черные лихие брови, кучерявые темные волосы, пронзительно-острые глаза с диковатым отцовским блеском, а от матери — северную бель тела, крутую шею, алый рот и вальяжную походку. Хар-рашо! Дочь — это очень хорошо! Вот кабы она всю жизнь при доме была, так нет, найдется хлюст какой-нибудь, умыкнет-уманит — закон все той же природы. Что тут поделаешь? Не она первая, не она последняя. Авось попадется хороший парень в зятья, рыбачить вместе станут, выпьют когда на пару.

Какая дивная-а па-агода ды-ы-ы

Распростерла-а-ася-а-а в лу-уга-ах…

Пел и думал Командор все, что ему в голову приходило или что ветром надувало, и в то же время по тетиве самолова перебирался, крючки от шахтары и мусора освобождал. На струе, на стрежи на самолов чего только не нацепляется: тряпье, собачьи намордники, сапоги, туристские панамы и трусы. А то было — ужас вспомнить, — зажали разбойники-инспектора рыбачишек — ни дыхнуть, ни охнуть. Ночью с фонариком приходилось ловушки проверять. В августе темнынь — глаз пальцем коли — не видно, а стерлядь, стерлядь

прет! Азарт, конечно. Вдруг что-то грузно поволоклось, заплавало на самолове. Осетр! Умаялся, унехтался, дергает слабо. Сердце послабело, руки послабели, едва тетиву держат. Перевел дух рыбак, осилился, повел добычу — слаб, слаб осетр, но с таким ловчее управляться. Неуторканный, он те задаст такого шороху! Совсем перестало дергать, тяжело по-прежнему, но не дергает. Вот и всплыло что-то, но не трепещется. «Запоролся осетер! Уснул. Сдох. Ах ты, пере-ахты!..» — Командор осветил фонариком: ба-а-атюш-ки-светы! Утопленник! Зубы оскалил, глазницы пусты, носу нет — рыбой, выдрой или ондатрой выедено… Ладно, нервы в порядке — с перепугу запросто мог вывалиться из лодки — в потемках, среди реки, один! Вот как она, рыбка, достается! Вот он, фарт добытчика! Зажмурясь, отцепил Командор малого — и поплыл тот снова «за могилой и крестом». Неловко все же покойника покойником именовать, да еще утопшего. Малым назовешь, вроде бы и хоронить не обязательно, вроде бы шуткой все обернулось — нечаянно встретились, непринужденно расстались. Однако малый-то уплыл, но смута на душе осталась — нехорошо, не по-христиански он с ним обошелся. Земле надо было предать. Неловкость еще и оттого,

что поверье вспомнилось: «Плывет если по реке утопленник ногами вперед — пару ищет!» А как он плыл — головой? Ногами? Увидь в потемках! Теперь чуть чего тяжелое заслышится на самолове — в сердце колотье, в коленях слабо — опять малый?..

Хы-хмуриться не надо, Лада!
Хы-хмуриться не надо, Лада!
Ды-для меня твой смех – отрада…

— Придумают же! — покрутил головой Командор. — Ладу какую-то! — Но ни песня, ни бодрость духа уже не справлялись с угнетением, наплывающим всякий раз при мыслях о «малом». «Может, выпить для успокоения и полной услады сердца? Краснуха ж прокиснет!»

Как ни зырила, как ни шарила по карманам жена, он все же трояк от нее утаил. «Стро-о-огая баба, зараза! У ей шибко не разгуляешься. Но с нашим братом иначе и нельзя! Вон в поселке одном, сказывают, мужик с бабой как взялися, так все и пропили: и дом, и корову, и лодку с мотором, ребятишек по миру пустили. Мужик мешок картошек на семена за десятку купил, баба за пятерку его загнала, бутылку принесла. Они вместе выпили, мужик бабу бить. Бьет и плачет!

Бьет и плачет! Потом они вместе плакали. Картина! Потом они в алкоголичку подались. Моя туда же, алкоголичкой стращает. Люта баба, люта! Ну да ведь и муженек ей достался! Олютеешь с ним!.. Х-хы-хму-риться не надо, Лада! Лы-лучше «Солнцедару» жахнем!..» — Командор захлестнул на уключину тетиву, подался на нос лодки, к багажнику, распиная на стороны рыбу, банки, барахло всякое. «Солнцедар» лил в рот прямо из горлышка. Есть кружка, котел, ложка — все есть, он рыбак основательный, но из горла как-то удалее пьется, может, и похабнее? Вино без задержки катилось по кишкам, током пробивало все члены и спутанные провода жил.

Выпил — и опять за дело, бодрее на душе стало, работа спорится. Оно, вино-то, хоть и зараза, конечно, однако ж сила в ем содержится могучая. А кругом благодать! Берега по ту и по другую сторону реки зелены, вода вся в солнечных крошках, пароход или костерок вдали дымится, чайки летают. Вот она, радость. Вот она, жизнь! Нет, не понимал он и никогда не поймет городскую рвань: живи от гудка до гудка, харч казенный, за все плати…

— Стоп! Что такое?!

Командор обеспокоенно вытянул шею. Ну точ-

но, лодка катит, нос приподнят, волна крутая по берегу валит. За мысами кроется лодка, жмется к приплескам, в тень от лесов. Значит, отремонтировал рыбинспектор технику, на службу вышел! «У-у-у, зар-раза! Все, все как есть вокруг создано для удовольствия жизни, так на тебе: то комар, то мошка, то рыбнадзор — чтоб не забывался человечишка, помнил о каре Божьей!..»

Командор наклонил голову, будто поддеть кого на кумпол собирался, круче обозначилась на его лице всякая кость. Глаза, и без того холодные, вовсе остыли, зубы до хруста стиснулись. Недопитую бутылку он ткнул в багажник, давай скорее работу делать. Настроение покоя, благодушие, остатки его еще крутились внутри, но вечная тревога, беспокойство и злость спешно занимали в душе свои привычные места, теснились во тьме ее. Однако Командор перебирался по хребтовине самолова без паники, хотя и спешно. Середину самолова прошел, крючки не очень забиты, пожалуй, успеет ловушку досмотреть и обиходить. Работает Командор и в то же время следит за лодкой рыбнадзора, мощности свои учитывает, запас горючего: бачок полон, мотор новый, в лодке один, а тех халеев-то — так по-хантыйски рыбачьих разбойников зовут — в самое место

— двое: рыбинспектор Семен всегда с сынишкой на поиск выходит. Натаскивает иль боится? Натаскивает! Не шибко пугливый Семен, иначе давно б уж помер.

Й-ехали на тройке – хрен догонишь!

А вдали мелькало – хрен поймать! —

рычал себе под нос Командор со злорадной дрожью, не позволяя, однако, особо отвлекаться: допусти оплошность — изувечишься, руки насквозь просадишь крючком — Семен больничный оплачивай! Лодки сближались. Рыбнадзоровская дюралька шла наискосок от берега. Мотор на ней поношен, стар, но пел нынче ровно, бодро, струил серенький дымок за кормою. Перебрали мотор, подлатали рыбхалеи. Командор забеспокоился — не близко ль надзорную власть подпустил? «А-а, знай наших! Счас оне увидят фокус-мокус! Счас я им покажу землевращенье!..»

Бутылка, которая недопитой осталась за сегодняшний день, — третья. Утром с соседом пол-литра белой выпили, закрасив ее крепкой заваркой. Так вот за столом сидели чинно-важно, попивали «чаек». Баба пришла, носом повела — нос у ей, что у сибирской лайки-бельчатницы, — верхом берет! «Чё-то рожи красны?» Тут

что главное? Скорей кати на нее бочку, ошеломляй! «Ты поработай с мое на воде, на ветру, дак у тя не токо рожа красна будет!..» Когда за дровами ходил, из поленницы вынул утаенный на всякий пожарный случай «Вермут», и его «уговорили» до капли, наголо. Не пробрало. Пожрать ладом так и не пожрал, чего-то хватанул на ходу, картошек холодных вроде, прихмелел, вот и охватило удальство, захотелось Командору на глазах рыбхалеев допить «Солнцедар»! Запрокинуть голову и, побулькивая горлом, выпятив тощее брюхо, изобразить артиста. Однако ж тут не театр, тут тебе такой аплодисмент дадут — не прочихаешься. Нынешний браконьеришка что сапер на войне. Только и разницы меж сапером и браконьером, что тому медаль дадут, а этому штраф либо срок.

Шлеп стерлядку за борт — снулая, в слизи уж вся на последнем крючке болталась, прыг на корму, цап за шнур и... «Выр-ручай, отечественная техника! Уноси! Уноси! Рыбхалеи рядом!» С первого рывка мотор сыто уркнул и забормотал под кормой. «Все-таки и мы, когда захочем, умеем кой-что делать», — мельком отметил Командор. Мысль была приятная, утешающая, она начала было развиваться в том направлении, что если-де нам мобилизоваться внутренне и внешне, не

филонить, работать всем дружно, то, пожалуй, этих самых капиталистов-империалистов не только по количеству, но и по качеству уделаем, как мелких. Однако завершить глубоко материалистическую мысль недостало времени — Семен привстал с беседки, рукой движения делает такие, будто огонек гасит иль паута ловит — велит глушить мотор.

«Игровитый ты мужичок, Семен, игровитый! Ну-к чё ж, поиграем!» — Командор вертанул ручку газа, мотор взревел, лодка вздрогнула, понеслась не по воде, по гладкому стеклу-зеркалу и, казалось, вот-вот раскатится так, что оторвется от воды и взмоет в небо. Будто специально для браконьеров мотор «Вихрь» изобретен! Названо — что влито!

Увеличились скорости, сократилось время. Подумать только: совсем ведь недавно на шестах да на лопашнах скреблись. Теперь накоротке вечером выскочишь на реку, тихоходных промысловиков обойдешь, под носом у них рыбку выгребешь и быстренько смотаешься. На душе праздник, в кармане звон, не жизнь — малина! Спасибо за такой мотор умному человеку! Не зря на инженера обучался. Выпить бы с ним, ведро выставил бы — не жалко.

Й-ехали на тройке, та-та-та-та.
А вдали мелькало, тир-тар-рр-рам!..

Несется Командор по речному простору, с ветерком несется, душа поет, удалью полнится, тело, слитое с мотором, спружинено, энергией переполнено, кровь кипит от напряжения, нутро будоражится — смущает его недопитый «Солнцедар». «Ну ничего, ничего. Потом в честь победы его заглотаем!»

Ревут натуженно два мотора на реке, прут лодки в кильватер, со стороны посмотреть — лихачи вперегонки гоняют. Чушанцы обожают этакую забаву. Тонут иной раз, но какое соревнование без риску.

Никаких знаков отличия нет на рыбинспекторской лодке, лишь номер да еще вмятина на правой скуле и бордовая полоса вдоль бортов — у пожарников выпросил краски начальничек, самому-то ничего не выдают, кроме грозных распоряжений, квитанций на штрафы да зарплатишку, какую Командор при удаче за один улов берет. А вот поди ж ты, сколько лет не сходит с должности Семен! Борьба его захватила, что ли? Может, что другое? Может, смысл жизни у него в том, чтоб беречь речку, блюсти закон, заражать

— тьфу, слово-то какое поганое! а его, такое слово, по радио говорят, — заражать, значит, своим примером ребятишек! Им ведь дальше жить, ребятишкам-то. Н-да-а-а, свой человек Семен, но непостижимый. На берегу человек как человек, поговорит, поспорит когда. Выпить, правда, не соглашается — резонно, конечно: выпивка — покупка на корню. Но нету въедливей, прицепистей, настырней типа, как Семен, на реке. Тут он со всеми темными добытчиками нарастотур. Своего родича Кузьму Куклина, царство ему небесное, однова защучил у Золотой карги. Старичок улыбается, десенки дитячьи приветно оголяет, шебаршит беззубо: «Шурин, шурин…», папиросочку из пачки услужливо вытряхивает: «Шурин, шурин…» Семен папироску обратно в пачку ногтем защелкнул да ка-ак врезал Куклину на всю полусотскую! Закачался Куклин: «Курва ты, — говорит, — не шурин!..»

Да-а, криво не право. Напились тогда, базланили, и, конечно, пуще всех Куклин: «Убить йюду, сничтожить!» Но проспались, пораскинули умом: нет, не стоит. Во-первых: все привычки Семена, всю его, так сказать, внутренность насквозь изучили. Нового же инспектора пришлют — изучай снова, приноравливайся к нему, а вдруг он еще

лютей окажется? Семен прижимает, конечно, штрафует, невзирая на лица и ранги, однако сам живет и другим, как говорится, жить дает — то у него лодочный мотор забарахлит, то в собственной груди мотор гайки посрывает либо раненая башка заболит. Глядишь, сенокос приспел, там в огороде убирать надо, опять же заседает в поссовете — депутат, иль на совещание районное, когда и на краевое укатит, решая, как кого ловить. Словом, ничего мужик, хоть и зараза.

Во-вторых: Семен верток, бесстрашен, стреляет куда тебе с добром, на дармовую выпивку не идет — голыми руками его не возьмешь, но и он изнемог, взвыл однажды на собранье: «На фронте так не измаялся, не устал, как с вами! Будь он, этот прощелыжный люд, проклят!..»

Да-а, конечно, тут, в мизгиревом гнезде, не дремай, тут война денно и нощно идет, палец в рот положишь — руку отхватят!

В-третьих-то, в третьих-то и весь гвоздь — за убийство рыбинспектора могут и к стенке прислонить либо такой срок отвалят, что мертвому завидовать станешь!..

«Ой, в лодке-то, кажись, не сын Семена! Нет, не сын! Тот еще тонок шеей и хоть волосенки тоже по моде, как дьякон, отпустил, да парень все

еще в нем не окуклился». Командор приподнялся с беседки, сощурился, будто целясь, заострил зрение — за мотором, подавшись распахнутой грудью вперед, сидел в синем выцветшем кителе слишком уж непреклонный с виду мужчина. Ближе к носу лодки, на скамье Семен в шапке горбился. Хоть летом, хоть зимой всегда он в шапке — голова контужена и пробита, от пластинки, вставленной в нее, мерзнет. «Значит, отвоевался Семен! Сменщика с участком знакомит. Я на глаза попался ненароком. — Тень сочувствия или жалости тронула сердце Командора: — Семен, Семен! Чё ты заработал? Каку награду? Гонялся дни и ночи по реке за такими вот, как я, ухарями, головой рисковал, здоровьишко последнее ухлопал, нервы в клочья испластал. Глянь, по всему поселку дома понастроены, лодки «Вихрями» звенят, молодцы-удальцы вино попивают, песни попевают, а ты сдашь казенную лодку и на реку не на чем выехать, чебаков закидушками таскать с ребятишками станешь. Умная голова твоя, Семен, да дураку досталась. И-эх, повеселить тебя, что ли, на прощанье?»

Командор прибавил газу, зажал под мышкой ручку мотора, прикурил от пучка спичек и обернулся, уверенный, что рыбинспекторская

дюралька осталась за горбиной густолесого острова и можно, обогнув его, выключить мотор, сплыть протокой и спрятаться в заливе либо мотануть в поселок. Но лодка с бордовой полосой по обносу, не слышная из-за гудящего за спиной «Вихря», тянулась вослед, отбрасывая на стороны прозрачные заволоки, оставляя легкую тень за кормой. Командор прикинул расстояние, на остров глянул, и сигаретка выпала изо рта. Он ее попытался поймать, но только подшиб рукой — его гонят километров тридцать. У него и горючее в бачке скоро кончится, и запасная канистра в багажнике, да и бензина в ней литров пять. Надеялся к самоловам «сбегать», пока самоходка тесом загружается. «Возни Семену с мотором не день, не два», — талдычили знатоки, а у него помощник объявился! «Преемник! Мать-распересмать!..» Рекой, да еще вверх по течению не уйти. К берегу прибиваться, в лес бежать? А мотор? А лодка? А стерлядь? А недопитый «Солнцедар»? Да и узнают по лодке, докопаются, с самоходки спишут, штаны спустят… Н-ну-у не-э-эт! Не зря его дочка Командором нарекла! Командор, если он воистину Командор, изловить себя не даст, крушения не допустит! Хищно наклонившись клювом носа встречь речному ветерку, Коман-

дор развернул лодку, заложив такой вираж, что дюралька легла на борт. Оставив позади будто мелом очерченный полукруг, Командор устремился вниз по течению. Лодка прыгнула на круглой волне, ахнула обвально носом, раскрошила бель полосы в сыпучие брызги. Командор жадно облизнул с губ мокро и, нахально скаля зубы, пошел прямо на дюральку рыбинспекторов. Он пронесся так близко, что различил недоумение на лицах преследователей. «Ничего сменщик у Семена, ладно скроен и крепко, как говорится, сшит! Черен, цыганист, лешачьи глазищи в туго налитых мешках глазниц. Да-а, это тебе не хроменький Семен с пробитой черепушкой! С этим врукопашную придется, может, и стреляться не миновать…»

И только так подумал Командор, сзади бухнуло, нет, сперва воду вспороло рядом с лодкой, потом уж бухнуло. «Стреляют!» — Командор утянул голову в плечи, тоска, не боязнь, не страх, а вот именно тоска охватила его, сжала чего-то там, внутри, непривычной болью иль тошнотой — вот когда резиновую камеру надуваешь и она фуганет обратно — точно так же противно бывает внутри, тошно, вроде бы резиновая пыль там все облепит и не смывается слюной. На Обском

водохранилище, сказывал один отпускник, побывавший в Чуши, рыбинспекция не церемонится — хлопнет по корпусу лодки, пробьет ее — и шабаш — вынает за шкирку браконьеришку из воды, как цуцика. «Неуж еще вдарят?» — Командор свел лопатки на спине — спина-то дверь, не промажешь! — безо всяких уже смешочков обернулся и возликовал — заглох мотор у рыбхалеев! Они тоже заложили лихой вираж, а моторчик-то и скиксовал!..

Командор хукнул, кашлянул и грянул на всю реку:

М-мы пой-едем, мы пом-чимся
В надлежа-ащую зар-рю-у-у-у!
Я те Север подарю-рю-у-у-у!

Песню эту новую он слышал от дочки Тайки, она — по радио; вструха девка, от вструха! Только песня-то уж… Глупая, право, глупая! Как это Север подарю? Он что, поллитра? Рубаха? Консерва? У Командора всегда так: чуть успокоится, начинает думать на отвлеченные темы. Иначе тут с ума сойти можно при такой жизни. С одной стороны, работа ответственная, с другой стороны, баба преследует, выпить не дает, с третьей — эти вот, рыбхалеи всякие.

Командор летел вниз по течению, в распахнутые врата реки, к тому самому Северу, который всем охотно дарили и в песнях, и в кино, и наяву, за подъемные деньги, да мало кто его брал. Наоборот, людишки, даже местные, коренные снимались с насиженной земли, уезжали в тепло, к морям Черному и Азовскому, в Крым, в Молдавию, к вину дешевому, к телевизору поближе, от морозов, от рыбнадзоров, от ахового снабжения, от бродяг-головорезов, от рвачей подальше. Берите Север, берите, если надо! Мы тут намерзлись, наплакались, наскучались. «Вот вырастет дочка, выучится, определится к месту, я денег накоплю и тоже к ней уеду, — вдруг порешил Командор, — пусть другого дурака гоняют и стреляют…»

Между тем лодка рыбинспекторов снова вклеилась в след дюральки Командора, бежит себе терпеливо, и хотя мотор на ней старый, двое мужиков в лодке, но когда придет пора заправляться горючим, тут и выявится их верх, тут они его и защучат. Им что? Они, не глуша мотора, бачок дополнят горючим и достанут его. Командор пихнул носком резинового сапога бачок — тяжел, еще поживем! Показался крутой мыс, весь в мелком камешнике. Над ним яр, издырявленный береговушками. В яру ямины выбуханы — человек

залезет. Местные собачонки навострились рыть землю, выцарапывать из норок яйца и птенцов береговушек. «Что в народе, то и в природе, — покачал головой Командор, — обратно борьба!..»

Птички густым комарьем клубились над рекой и заплесками. На мысу ребятня закидушки сторожит — язь пошел. Костры горят, картошки в углях пекутся. Парнишки в нарядных плавках, все справные, веселые, загореть когда-то успели, будто в саже, чертенята! Крепкие парнишки, вольные, гоняют друг дружку, горя не зная, камни в воду бросают, за лески закидушек держатся, рыбеху подсекают. И щипнула сердце Командора тихая зависть: «Вот бы всегда парнишкой быть! Ни тебе горя, ни печали, рыбачил бы, из рогатки пташку выцеливал, картошку печеную жрал…»

Заныло в брюхе. Проклятая житуха! Не помнит, когда летами вовремя ложился, когда нормально жрал, в кино ходил, жену в утеху обнимал. Ноги простужены, мозжат ночами, изжога мучает, из глаз метляки летят, и пожаловаться некому. Бодрясь, хохму, от ухорезов слышанную, повторяет: «Живешь — колотишься, грешишь — торопишься, ешь — давишься — хрен когда поправишься!..» Оно и правда. Вином спасается. А что оно, вино-то? Бормотуха кислая, какое-то пло-

дово-«выгодное», «Солнцедар» и вовсе вредный — его бичи «менингитником» зовут, они, эти бродяги, все знают, сплошь землю исколесили. Иные институты, университеты прошли, гр-рамотные!

Мыс Карасинка с парнишками, с кострами, с собаками, всегда возле них обретающимися, остался за поворотом. Вот-вот откроется устье Сыма — реки, из приобских болот и тайги текущей, в ней скроешься не только с лодкой, но и с пароходом, даже с целым караваном судов, при умении, конечно! — столько на этой пойменной реке островов, заостровок, висок, лайд, приток разных, рукавов, излучин и всякого добра! По левому берегу Сыма, в самом его устье поселок стоит под названием Кривляк. Хорошо стоит, в кедрачах, на высоком песчаном юру, солнцем озаренный с реки, тихим кедрачом от лесной стыни укрытый.

В тридцать втором году шел обоз с переселенцами. Вел их на Север умный начальник, узрел это благостное место, остановил обоз, велел строиться. Для начала мужики срубили барак, потом домишки в изгибе, средь кедрачей, объявились — так и возник на свете этот красивый поселок с нехитрым названием, с работящим дружным людом — час езды от Чуши, но словно из другого

мира здесь народ вышел, и работает по-другому, и гостюется, и поножовщины здесь нету, и рвач не держится.

Там, где стоит Кривляк, под берегом проходит стрежь реки Сым. Большой кривуль надо загнуть, чтобы из Енисея угодить в борозду, версты три, не меньше. Правой стороной уже не пройти. Дрогнула вода, пошла в «трубу», оголились узкие песчаные опрядыши. Малые косы и отмели еще под водой, но мутна вода от волн, гуляющих по мелководью, значит, низка уже. «Обнеси, родимая!» — Командор погнал лодку полукружьем, к Кривляку, и тут как тут выскочила рыбинспекторская дюралька из-за поворота, пошла наперерез. «Э-эх, дурак, дурак! — сочувственно качал головой Командор, думая о кормовом. — Семен прикемарил, должно быть, — изучи местность, нрав реки и всей природы, тогда уж носись сломя голову!»

Уркнул мотор вдогон шедшей дюральки. Снялся с беседки Семен, шатаясь, поспешил на корму.

— Сели-запели! Что и требовалось доказать! — подвел итог своим действиям Командор. Сбросив газ, он поднялся с кормовой беседки, приложил руку козырьком ко лбу. Надзорная власть сидела на мели плотно. Поставив мотор на малые обо-

роты, так, чтоб лодку не сносило и вперед она не бегла, Командор потянулся, передернул плечами — кость застоялась, хрустела. Размявшись, он достал из багажника недопитую бутылку, разболтал ее, зычно крикнул: «Будем здоровы, товаришшы!» — и опорожнил досуха. Бросив бутылку в сторону рыбинспекторской лодки, он еще крикнул: «Двенадцать коп стоит!», и, решив, что такого куража недостаточно, выбрал самую крупную стерлядь, помахал ею, притопывая и напевая: «А-а-ах ты, м-оя дорога-а-а-ая-а, а-а-ах ты, з-зо-ло-та-а-ая!» Торжество быстро его утомило, погоня напряженной была, да и встал ни свет ни заря, вино опять же некачественное пил — нудит под ложечкой, правда что «менингитник»…

Новый рыбинспектор бродил в высоких сапогах, а бродить на опечках вязко. Семен грозил Командору кулаком и плевался, что-то крича. Скука! Командор врубил скорость и повел лодку в мутную, все еще ворочающую пенья, коряги, бревна, неспокойную реку Сым, почти не населенную, вольную. По ней тайги, рыбы, дичи столько, что бери — не переберешь. Да некому брать-то. Разве что браконьеришки осенями запрутся в глубинную таежную дебрю, из которой и сейчас еще тянуло холодом и мшелой, седой

дикостью. Случалось, за лето так и не успевал там растаять снег, раскисший, желтый, он лежал, толсто усыпанный хвоей, крылатыми семенами, чешуей шишек. Затем, где-то уж в августе, его схватывало иньями, крепило первыми заморозками, и далеко до Покрова на леденцовую хрусть ложилась новина. По ней печатается всякий след, как на листе бумаги. Соболишко густо по глухому Сыму ведется, скоро приспеет, пора готовиться к пушной охоте — надо прихватить пяток-другой соболишек на шапку и воротник Тайке, десятилетку закончит, в институт определится — девка видная, что и говорить. При соболях-то, глядишь, кандидата наук какого-нибудь свалит!..

О рыбинспекторах, севших на мель, Командор думать забыл. Его обуревали иные заботы. Но что-то скоблило в груди, покусывало под сосцом с самого утра, и, как он ни отгонял тревогу, она снова и снова подступала, и только схлынуло напряжение погони, прямо-таки закогтила нутро. Как и всякий таежник, он не только доверялся предчувствиям, он их растравлял в себе внешним безразличием, дурашливостью, прикидываясь лихачом, которому все трын-трава.

Верстах в пяти от устья Сыма он зашел в обмелевшую лайду, намазался репудином и, бросив

резиновый дождевик на решетку, упал, зарывшись башкой в воняющую маслом и рыбой телогрейку, надеясь, что сон подавит всякую блажь и тревогу. Спал провально. Проснулся немного очумелый; во рту связало горечью и вонью. Обмакнув голову за борт, он поболтал ею, будто медведь возле пчелиного улья, прополоскал рот, выплюнул муть за борт и, помыв в воде старую банку, зачерпнул холодянки, напился. Посвежело нутро, ум посвежел, сразу вспомнилось про самоходку — нагрузили небось, а капитан дрыхнет.

Вытолкав лодку из лайды, обмелевшей на спайке с рекой, он выгребся из навеса вербача на течение, хотел дернуть заводной шнур, но отчего-то раздумал и поплыл по течению, наслаждаясь предвечерней тишью лесов, редким вскриком птиц. Почему-то грустно снова стало, жалко себя сделалось. Вспомнил: во сне лодка привиделась, опрокинулась, затонула как будто? Уж не хворь ли подкралась? Погибельная лодка к болезни снится. Верь не верь, а иной раз стариковская брехня сбывается. Не рак ли? Что-то нудит, нудит под ложечкой. Грызет, точит неслышно, щупальца по телу распускает. Хватишься, уж весь ими опутан…

— Тьфу! — плюнул Командор за борт. — Допился! «День меркнет ночью, человек — печалью», — с суеверной елейностью пропел он про себя, отгоняя мрачные думы. Знал он, что, если дать им себя одолеть, тогда все, тогда как думалось, так и выйдет. А надо еще дочь в люди вывести — у нее сегодня выпускной утренник в школе, формочку шерстяную наденет, в кудри белый бант вплетет, чулочки капроновые натянет да как пойдет!.. Куда там приезжим стиляжкам! Не нарядом, крепкой сибирской натурой их расшибает Тайка. От любви семейной, от хорошего питанья, от избалованности ль к пятнадцати годам у нее все уже соком налилось, округляться под платьишком начало, и однажды — это в восьмом-то классе! — он у нее записочку в столе нашел — крючки искал, царап — порошок какой-то! Похолодел. Хворает девка, порошки тайно пьет, чтобы его, отца, не пугать. Развернул — записочка! В стишках! «Я помню чудное мгновенье — передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как Гений чистой красоты!»

У Командора аж лоб испариной покрылся: кто же в Чуши по стихам такой мастак? Тужился, тужился, не вспомнил, не знает современную молодежь. Он тогда в обход пошел: по радио,

мол, декламировали что-то насчет мимолетного виденья. Дочка бац ему по рогам: «Стыдно чужие письма читать! Некультурность! Закоснелость! Старорежимные веянья! А стихи эти печальные написал Александр Сергеевич Пушкин! Это-то хотя бы надо помнить!..»

Командор души не чаял в дочери, баловал ее, да и она к нему приветна. Есть у него еще дочь и сын, но словно бы чужие, те дети ближе к матери, и, если прямо сказать, в доме у них два дома, мостиком меж которых умница Тайка. Придет он когда пьяный, ну другой раз забушует — не без того. Тайка как топнет ножкой: «Командор! Право руля!» — это значит, на боковую. И он готов. Злой, тяжелый, неуживчивый, перед нею что ребятенок, не может перечить, и все тут. Понарошке руку к пьяной башке приложит: «Й-есть пр-раво руля!» — бухнется, ноги в дырявых носках кверху. Все кругом готовы его в ступе истолочь, а Тайка говорит ему как больному, чтоб успокоился, возьмется читать «Конька-Горбунка», — где-то достала книжку с картинками. Он того «Конька» почти наизусть запомнил: «Братья сеяли пшеницу и возили в град-столицу. Знать, столица та была недалече от села…»

Хорошо, просто здорово и необходимо знать

человеку, что дома его ждут и любят. Другой раз поздней осенней ночью заявится мокрый, промерзший, как пес, сапоги в сенках снимет, чтоб не бухать по половицам, на тырлах к русской печи крадется, а она, Тайка, из своей комнатушки голос подает: «Это ты, Командор?» — «Я, я, спи!» — «Ну как на вахте?» — «Порядок на вахте».

Чем старше становилась дочка, тем реже зверел Командор пьяный, старался при ней не лаяться по-черному и вообще с годами вроде как отмяк душою.

Жену он заметил еще с реки, возле своей рыбацкой будки. Стояла как-то вся серая, и не сразу догадался — в плаще в сером она. «Чё это она явилась на берег?» — встревожился Командор и, забыв сбросить газ, со всего хода грохнулся лодкой в берег. Жена медленно, вязко подошла к лодке и, остановившись в отдалении, глухо произнесла:

— Носишься по реке, голову сломить можешь…

— Чё? Чё ты?

— Беда у нас. Тайку задавило…

Дальше он уже ничего не помнил: как выскочил из лодки, как бежал домой, одолев береговой крутик в несколько прыжков. Ребятишки — сын

и дочка — прятались за баней, в сенках толпился народ, возле кровати стоял старший брат Зиновий. Он отстранился, увидев Командора. Застыл среди горницы Командор, глядя на дочку, лежавшую на чистом покрывале, в измятой, рваной и грязной форме — вся какая-то скомканная, будто белогрудка-береговушка, из рогатки подшибленная.

— Дочка! Ты чё? Тай! Ты давай, брат, давай!.. — бодренько воскликнул Командор. — Я вот приплыл. На вахте… порядок…

Жена с маху упала на дочку, загребла ее под себя. «Экая копна! Придавила…» — сморщился Командор.

— Доченька! Скажи что-нибудь! Скажи родителям своим…

Командор зарычал, отбросил жену, схватил дочку на руки, затряс, забайкал неумело — он их, маленьких-то ребят, и Тайку тоже, знать не знал, никогда с ними не возился, матерно ругал, если они орали, маральсь и болели. И вот, вытирая мазутной ладонью кровь с лица и шеи Тайки, поднимал ее упавшую птичью головку с косою, болтающеюся вялым, перешибленным пером…

— Чё делаешь-то? Спятил! — очурал его старший брат. Отобрав Тайку, он опустил ее тверде-

ющее тело на кровать, сложил покорные руки на груди, незаметно перекрестился, глядя на богатый ковер, выменянный на пароходе за рыбу. — Совсем олешачились! Возле покойника дикуем...

— Кто? Где? — услышав про покойника, захрипел Командор и бросился в кладовку, выхватил ружье, патронташ. На нем повисли брат, жена, соседи. Всех разбросал. Бегал по поселку, искал погубителя.

По поселку Чуш проходит в день не больше восьми машин, но они давят кур, свиней, собак и людей не меньше, чем сотни автомобилей в ином городе — шоферня на них всегда пьяная. Нажравшись бормотухи, шофер, вывозивший с берега дрова, уснул за рулем, вылетел на тротуар и сбил двух школьниц, возвращавшихся с утренника. Выпускной вечер директриса школы проводить запретила — наезжий люд набивается в школу, приносит вино и нехорошо воздействует в моральном смысле на местное юношество. Тайку ударило о столбик ограды затылком, и она скончалась в медпункте. Подружку ее искалечило. Пакостливый, как кошка, и трусливый, как заяц, знающий нравы родного поселка шофер спрятался за прудом, в хламных кустах, спал в

ожидании милиции и следователя, не чуя оводов, облепивших его рожу.

Не найдя шофера, распалив патроны наудалую, в лес, Командор наладился топиться, бросил с дебаркадера в воду ружье, сапоги, порвал рубаху и прыгнул в Енисей. Едва его вынули — отбивался. До потери сознания поили водкой, судороги с ним начались, пена ртом пошла — пал неистовый чеченец, погас, обмяк, сварился. На похоронах не плакал, не голосил, стоял всему покорный и трезвый, в ненадеванном костюме, в модной мятой рубахе, не зная, что делать, куда себя девать.

Отходил Командор долго, трудно. В одиночестве и в горе не прильнул к семье, еще больше отдалился от нее, почти ненавидя младших своих ребят за то, что они, постылые, живут на свете, а Тайки нет. Дети, чувствуя злобу родителя, на глаза ему старались не попадаться.

Девочка, что угодила вместе с Тайкой под машину и осталась жива, хотя и ходила на костыле, тоже избегала встречи с Командором. «Ты-то чего сторожишься?» — вызывая в себе чувство сострадания к девушке, приветливо кивал ей головою Командор. Однако под спудом сознания давило, грызло: почему конопатая, редкозубая, с наземного цвета волосьем девка жива, а Тайка-красавица

погибла? Почему? От Тайки радость отцу была! От нее бы и дети здоровые да красивые пошли, от этой что уродится? Сор! Дамка еще один…

Так думать нельзя, увещевал себя Командор. Скрутит его за черные такие мысли судьба, покарает, но ничего с собою поделать не мог. Неприязнь к людям, злоба на них заполнила все в нем, расползлась болезнью страшнее рака: он делал то, что было в его силах, — старался как можно реже и меньше бывать на людях, обитал в каюте самоходки, пьяный завывал, мочил слезами портрет дочери, муслил его распухшими губами, когда совхозную самоходку отправляли на зимний отстой, забирался в тайгу, на охоту, срубив на Сыме потайную избушку.

Жена Командора состарилась, сделалась скорбной, бесстрашной, нападала на мужа: если б он не шлялся, не пил, помогал бы растить и доглядывать детей — разве б не уберегли дочку?! Что с нее возьмешь? Она баба, женщина, хоть в крике забывается, отходит, облегчается ее изнывшая душа. Но беда не дуда — поигравши, не выкинешь. Так пусть и она тоже мучается, пусть у нее тоже не проходит чувство вины, не утишается боль.

У Командора, от роду ничем тяжело не болевшего, начало сдавать сердце, поднялось давление от

бессонницы и головные боли раскраивали череп, непомерно тяжело ему стало носить свою душу, словно бы обвисла она и пригнетала Командора к земле, ниже, ниже, того и гляди, вывалится, вся обугленная, ударится оземь, провалится в яму, где в кедровом струганом гробу лежит нарядно одетая, в кружевах, в бантах, в лаковых туфельках светлая девочка, не успевшая стать девушкой, — кровинка, ласточка, ягодка неспелая, смял, загубил ее пропойный забулдыга, сухопутный браконьер.

Рыбак Грохотало

Рыбак Грохотало недвижной глыбой лежал за жарко нагоревшим костром, сотрясая берег храпом, как будто из утробы в горло, из горла в утробу перекатывалась якорная цепь качаемого толпами корабля. Увидев впервые этого уворотня, я подивился его лицу. Гладкое, залуженное лицо было лунообразно, и, точно на луне, все предметы на нем смазаны: ни носа, ни глаз, ни бровей, лишь губки брусничного цвета и волосатая бородавка, которую угораздило поместиться на мясистом выпуклом лбу, издали похожая на ритуальное пятно, какое рисуют себе женщины страны Индии, бросались в глаза. При взгляде на этого окладистого, всегда почему-то насупленного мужика вспоминался старый добрый британский классик: «Увы, лицо джентльмена не было овеяно дыханием интеллекта…» Впрочем, всякие книжные высказывания Грохотало ни к чему, ни наших, ни заморских книг он не читал и читать не собирался. Он и без того считал себя существом выдающимся, обо всем имел свое стойкое суждение.

— Шо? Водку пить нэ можно? — усмехаясь,

возражал он. — Где цэ написано? У газете? Где та газета? Во всих написано? О, то ж тоби правду напышуть? — И поучал, прибавляя грохоту в голосе: — З водки гроши! Зарплату з й-ё маем! Без зарплаты им же ж нароблять!..

Долгий, кружной путь привел Грохотало в сибирский поселок Чуш. Родом он из-под Ровно, из небольшого хлебного сельца Клевцы, куда, на лихую беду Грохотало и всех жителей села, выбитая из ковельских лесов, забралась банда бандеровцев и пережидала время, чтоб угодить под амнистию иль умотать за кордон. Грохотало ни сном ни духом не ведал, что жизненные пути его перекрестятся с путями той истрепанной банды самостийщиков.

Стоявшее на веселом виду, средь полей, садов и перелесков, сельцо Клевцы не вызывало подозрений. Патрульным службам, войску и милиции невдомек, что разгромленные самостийщики отсиживались близ города, жрали самогон, куражились над селянами, пощупывали молодок. Зажатые в щель, они и в самом деле, может, пересидели бы здесь смуту, но однажды в Клевцы пришла воинская машина за картошкой, с нею было два нестроевых солдата, сержант, тоже нестроевой, и шофер с тремя нашивками за ра-

нения и с орденом Красной Звезды. Запившиеся до лютости бандеровцы схватили нестроевиков, истыкали их ножами, привязали веревками к буферу машины, выпустили из бака бензин, согнали селян «дыбиться» и, выбрав самого здоровенного и мирного парнягу, под оружием принудили его бросить спичку.

На огонь, на черный дым, на дух горелого мяса и картошки нагрянул механизированный патруль, окружил деревушку Клевцы. Бандеровцы, пока не протрезвели, отстреливались, затем под дулами автоматов пригнали к пулеметам местных мужиков и попытались под их прикрытием скрыться. Взяли всех. Схватили и Грохотало, который, зажмурив глаза, давил на тугой спуск немецкого пулемета, повторяя: «А, мамочка моя! А, мамочка моя!» — пока его не оглушили прикладом.

Вместе с бандитами на битком набитой машине Грохотало доставили в ровенскую тюрьму. Мучили его допросами, но еще больше мучили «братцы-самостийщики» после допросов в камере — он зажег бензин, палил червоноармейцев, сотворил черное дело, из-за которого столько невинных людей страдает. Самый он главный бандит, выходит, и потому на допросе пусть

назовется главарем банды. Если же не сделает, как велено, «браты» прикинут его шубой или матрацем.

Но на суде Грохотало не стал петлять, чистосердечно все о себе рассказал и миновал «вышки», получив десять лет строгого режима и затем пожизненную ссылку по месту отбытия наказания. Он строил железную дорогу на Севере, не достроил, угодил в поселок Чуш, на заготовку леса. Достукав срок, остался здесь навсегда, даже в отпуск на Украину не ездил, боясь, что недобитые бандеровцы сыщут его и прикончат. Осибирячился Грохотало, однако и по сю пору, увидев в кино родные нивы, услышав родные песни, он мрачнел, терял присутствие духа, напивался и бил свою жену. Жена его, из местных чалдонок, баба боевая и тоже здоровая, оказывала сопротивление, царапалась да еще базланила на весь свет: «Банде-э-эра! Фашист! Людей живьем жег! Теперь надо мной изгаляться!..»

Грохотало заведовал в Чуши совхозной свиноводческой фермой, где был у него полный порядок. Свиньи даже в худые годы отменно плодились, план сдачи мяса государству перевыполнялся, фотоличность зава распирала рамку поселковой Доски почета, начальство хоть и не

почитало его за дурной язык, за грубые манеры, однако не утесняло особо, сквозь пальцы глядело на то, что зав на совхозной ферме ежегодно выкармливал пару добрых кабанчиков для себя — убеждение, что вкуснее сала нет и не может быть продукта, он как привез с собою из Клевцов, так и не менял его. Грохотало не из тех людей, которые запросто меняют свои вещи.

Кроме сала и себя, Грохотало признавал еще гроши, потому был рвачом, и как ему, уроженцу ровенских земель, ни жутко было пускаться на большую воду, он все же обучился ловить рыбу, которую сам не ел, продавал всю до хвостика. Натаскивал Грохотало покойный Кузьма Куклин, знаменитый на всю округу хитрован. Был Куклин хилогруд, маялся животом, с похмелья харкал кровью и потому в помощники выбирал парней здоровых и выпустил из-под крыла своего в полет не одного наторевшего в речном разбое удальца. Само собой, Куклин не был тятей питомцам и сноровку не торопился передавать, наоборот, затягивал всячески обучение, норовил обделить в добыче. Чего не жалел мастер, так это матюков. Большую часть отлупленных природой матюков Куклин всадил в Грохотало, отвел душу. Но все вынес Грохотало и рыбачить выучился. Он

перестал узнавать Куклина сразу, как только отделился от него.

Покойничек Кузьма, качая головой, говаривал «компаньонам»: «Помяните мое слово — погорит это мякинное брюхо, ши-ибко погорит! В нашем деле все свяшшыки друг с дружкой должны быть в спайке, держаться опчеством…»

За терпение, каторжный труд и выдержку Бог был милосерден к Грохотало, скоро он занял место под знаменитой Каргой-Кабарожкой, что против лежащего в траве валуна величиной с баню. В ту морочную осеннюю ночь, когда громадная самоходка нашла носом утлую лодчонку браконьеров, Грохотало вроде бы слышал крик во тьме, но притаился, на выручку своего учителя не пошел.

Подмяв лодчонку и даже не почувствовав удара, самоходка величественно удалилась в ночь. Куклина, как полагают рыбаки, зацепило мотором за плащ и утащило на дно. Так его по сю пору и не нашли. Новый помощник Кузьмы Куклина на обломанном носу лодки пригребся к берегу, и от реки его навсегда отворотило.

Карга, под ласковым названием Кабарожка, на которую многие зарились, да ума недостало завладеть фартовым местом, если идти от

берега малым ходом, находилась на трехсотом отсчете, — как ни таился, ни шептал Куклин, Грохотало тоже догадался считать и сразу нащупал добычливое место. Обзавелся «Вихрем», дюралькой Грохотало — где, как раздобыл передовую технику, никому не говорил. На Севере купить хороший мотор, лодку еще и поныне трудно, а в те годы привозили и продавали их только по блату. Летал на лодке Грохотало, выпятив грудь бочкой, все ему нипочем: и расстояния, и знаменитая Кабарожка, и жизнь.

Дуром валила Грохотало рыба. Он не сказывал, по скольку хвостов брал с каждого самолова, но много, видать, потому что бормотуху совсем пить перестал, перешел на водку, к тому же на экстру. Морда его еще пуще блестела, будто от рыбьего жира, губки полыхали, как у городской уличной девки. Порозом, нехолощеным, значит, боровом, называли его местные добытчики. Глодала их черная зависть, и, когда однажды у лодки Грохотало поднялся шум, плеск и стало ясно, что впялился на его самолов осетр, согласно решили соратники: «Хватит! Надо с этим делом кончать! Пора сгонять хохла с Кабарожки, порезать концы, издырячить дюральку. Рыпаться станет — припугнуть, не подействует припуг, найдется

кой-что поубоистей».

Пока чувство мщения рвало сердца и груди добытчиков, Грохотало, загребастые глаза, в одиночку боролся с матерым осетром. Сгоряча он пробовал завалить его в лодку — силой Грохотало Бог не обидел, хватку нажил. Но как глянул на рыбака «дядек» свиными глазками, как лупанул хвостом по воде — хвост что у аэроплана, Грохотало и осел: одному на стрежи не взять. Благодарение старикану Кузьме Куклину, впрок пошли его научные матюки. Всадив еще десяток уд в тугую кожу осетра, Грохотало обрезал якорницы и попер рыбину на буксире к берегу. На веслах пер, мотором нельзя — тяжелая, сильная рыбина — оборвешь. Осетр между тем очухался, уразумел, куда и зачем его тартают, забултыхался, захлестал хвостом, под лодку уходил, круги вертел на воде. Почуяв брюхом мель, и вовсе осатанился, дельфином из воды выпрыгивал, фортеля выделывал, что циркач. Крючки ломались, капроновые коленца лопались.

Умаянного, в клочья изорванного, на двух крючках уже привел Грохотало осетра на отмель, выпрыгнул через борт, чтоб схватить рыбу под жабры, и опешил: на боку лежала угрюмая животина, побрякивая жабрами, и не жабрами,

прямо-таки крышками кастрюль. На человека рыбина смотрела с коробящим спину, усталым спокойствием. Но Грохотало напугать уже ничем нельзя.

«А-а, батька й-ёго мать!» — заорал Грохотало и, подхватив осетра, поволок его на берег. Почти до обрыва допер, до леса почти, и там, упавши рядом с осетром, валялся на камнях, бил кулаком в зазубренную спину рыбины, в череп бил.

— Га-а! Га-а! Зачепывсь! Зачепывсь! Га-а! Га-а! О то ж! О то ж! — Этого ликованья оказалось мало для взбудораженной души, Грохотало вскочил, забухал сапожищами по камням и все чего-то орал, махая руками.

«Горе крепит, счастье слепит» — такую поговорку не единожды слышал Грохотало. Африканцы тоже предостерегающе изрекли: «Ты ловишь маленькую рыбку, а к тебе подбирается крокодил», но ни про что не помнил в ту минуту ошеломляющего счастья Грохотало. Между тем река очистилась от лодок, добытчики расползлись «по углам», завидев вдали подозрительную дюральку, и, когда, заурчав и тут же смолкнув, в берег ткнулась эта самая подозрительная дюралька и на камни ее подтащил высокий, костлявый мужик с цыганским чубом и крупным лицом,

по которому отвесно падали глубокие складки, Грохотало напустил на себя куражливый вид, полагая, что какой-то наезжий чудак подвернул «подывиться» на «дядька». Тот все еще несогласно лупил хвостом, подпрыгивал, аж камешник разлетался шрапнелью, попадая в морду ликующему добытчику.

Незнакомый человек приблизился к бунтующему осетру, прижал его сапогом, взялся мерить четвертями, Грохотало хотел рявкнуть: «Нэ чипай!», но душевное торжество, предчувствие денег и выпивки, которой он не делился с «шыкалами» — так он именовал остальных браконьеров, приподнимали его чувства, не давали опуститься до пустого зла. Наоборот, нутро подмывало непривычной теплотой, позывало к общению, разговору.

— Вот зачепыв рыбочку-у! — перехваченным голосом сообщил он и от возбуждения простодушно загагакал, почесал живот, поддернул штаны, не зная, что еще сделать и сказать, он принялся трепетной ладонью обтирать с осетра песок, воркуя что-то нежное, словно щекотал, почесывал молочного поросенка.

— Повезло тебе!

— Та уж!.. — скромно потупился Грохотало. —

Уметь трэба. Место знать, — и, мрея сердцем, заранее прикинув, сколько грошей огребет за рыбину, но все-таки занижая вес осетра, дабы получить затем еще большее наслаждение, с редчайшей для него вежливостью поинтересовался: — Кил сорок будет?

Мужчина скользнул по Грохотало утомленным взглядом и нехорошо пошевелил складки рта:

— Ну зачем же скромничать? Все шестьдесят! Глаз — ватерпас! Ошибаюсь на килограмм, не больше.

Грохотало, вышколенный осадной войною самостийщиков, трусливыми их набегами на спящие села, на подводы и машины, битый арестантской жизнью, способный почувствовать всякую себе опасность за версту, если не за десять, встревожился:

— Кто такой?

Человек назвался.

И обвис Грохотало тряпично. Руки, щеки, даже лоб с бородавкой обвяли, жидко оттянулись, и всему справному телу рыбака сделалось как-то неупористо, вроде только одежда и держала его да мешок кожи, а то развалилось бы тело что глиняное, в то же время в нем было ощущение какое-то неземное, словно оторвался он от земли

и несло его, несло, вот-вот должно грохнуть меж холодных камней, и будет он лежать на берегу разбитый, всеми забытый, песком его присыплет, снегом занесет. Вот как жалко стало человеку себя, вот как ушибло его — прошлая жизнь вместилась в одну короткую минуту — все-то тащит его куда-то, кружит, кружит и раз мордой об забор! И все уж в нем кровоточит: сердце, печенки, селезенки, потому что всякая неприятность, всякая душеверть в первую очередь Грохотало несчастного находит. Извольте вот радоваться! Объявился новый рыбинспектор! Переведен из Туруханска вместо Семена. Там его, по слухам, стреляли, да не до смерти. «У-у, й-ёго батьки мать! Не я тоби стреляв...» — попробовал скрипнуть зубами Грохотало, да не было силы на злость, обида, боль бросали на привычное, спасительное унижение.

— Гражданин начальник! Никого нэма... — Грохотало сглотнул слюну, понимая: не то делает, не туда его понесло, но ведь ровенца уж если понесет, так понесет — не остановить. — Мабудь, в ем икра? Поделим. Выпьемо тыхо-мырно. В мэнэ сало е, — ухватился он за последнее средство, — слышь, гражданин начальник!..

— Брысь! — Рыбинспектор сверкнул рысиными

глазами и, положив старую полевую сумку на колено, начал писать.

Грохотало в изнеможении опустился на камень. Сидел, сидел и давай дубасить себя кулачищем по лбу, в то место, где бородавка, словно вколачивал шляпку гвоздя в чурбак, затем начал громко материться, намекая рыбнадзору, что, если он пойдет не с «народом», головы не сносит, здесь стрелки не то что в Туруханске, здесь оторвы такие, каких на свете мало.

Рыбинспектор не удостаивал разговором Грохотало, царапал ручкой и, когда бумагу сунул, не пригласил: «Распишись», лишь ткнул костлявым, давно разрубленным по ногтю пальцем в то место, где злоумышленник обязан учинить подпись. Сунув книгу актов и ручку в залощенную, еще военных времен, полевую сумку, рыбинспектор закинул ее привычным командирским броском на бок, волоком затащил осетра в лодку и, брякнув им о железное дно, оттолкнулся веслом на глубину, отурился на стрежинке, наматывая на руку заводной шнурок.

Почему-то военная сумка вызвала в Грохотало особенную ярость, может, сорок пятый год вспомнился, следователь с сумкой? Может, северный строгий лагерь, где военные сплошь щеголяли

при сумках, может, и ничего не вспомнилось, просто раздирало клокочущую грудь.

— Тыловая крыса! З сумкой явывсь! Мы кроу проливалы!.. — и поперхнулся. Узнает, непременно узнает легавый сексот, свинячье рыло, чью кровь Грохотало проливал. В Чуши ведь как? Сказал куме, кума — борову, боров — всему городу, и с перекоса чувств пошел крыть рыбинспектора почем зря: — Шоб тоби, гаду, тот осетер все кишки пропоров! Шоб ты утонув, сдох, околел! Шоб твоим дитям щастя нэ було!.. — Но опять вперекос слово пошло — слух был: у «гада» никаких детей нет, бобыль он, на войне семью потерял. Такая скотина осетром не попользуется, согласно акту сдаст в рыбкооп.

Да где же, на чем же душу-то разбитую отвести? И как жить? За каким же чертом так надсадно и тяжело отстаивал он себя и эту самую жизнь, к чему перенес столько мук? Отчего клин да яма, клин да яма на пути его? «А, мамочка моя! А, мамочка моя!» — выкашливал Грохотало из своей могучей груди родное, утешительное причитание. Он хотел облегчительных слез, выжимал их из себя, но только ломило сердце, а слез не было, закаменели они в нем, и оттого не приносила облегчения жалоба к давно покойной матери. А

ведь в том же сорок пятом, бывало, только помянет мамочку — слезы потоком.

Опамятовался Грохотало в лодке, на воде, и коли пойдет все наперекосяк, так пойдет — не заводился мотор. Солнце упало за реку, а когда поднял осетра на самолове, солнце в спину и по башке било — сколько времени потерял! В Чуши закроют магазин, и вовсе тогда будет нечем горе размочить. Грохотало так рванул шнур, что клочья от него в горсти остались.

«А-а-а, й-ёго батьки мать!» — взвыл Грохотало и пнул по мотору, пнул и тут же присел, завывая — расшиб пальцы на ноге. Мыча, слюнявя зубами шнур, он грыз его, кусал, стягивая в узел. Сплывавший с самоловов по течению старший Утробин предложил свои услуги.

— Шо? Идить вы!

— Дело хозяйское.

Дамка подскребся на дырявом корыте, советы подает. Каждый рыбак, пусть и скалясь, готов помочь делом и советом, сочувствуют вроде бы, но на самом-то деле рады, что «дядька» у Грохотало отняли. Отринул Грохотало всех доброхотов, веря только в свои силы и на них надеясь. «Шыкалы» врубили моторные скорости и умчались до дому, стремясь застать магазин открытым.

Сплошь лепился на бревнах по бережку деловой народ, обсуждая бурные события текущего дня, своих и чужих баб, современную молодежь, где и до политики доходили, а над берегом разбрызгивался задорный голос северного человека Бельды: «Ты меня еще не знаешь, понапрасну сердце ранишь…», когда, иссушенный зноем, измученный осетром, рыбинспекцией и мотором, в берег бузнулся Грохотало на лодке.

— А магазинчик-то тю-тю! — нанесли ему последний в этот день удар.

Грохотало поднял на поселок налитый горем и ненавистью взгляд — изубытился, пережил такое крушение и остался на суху, а ему так необходимо напиться, размочить душу, обалдеть до беспамятства и в обалдении огрузнуть телом, упасть, заснуть. Грохотало с хрустом сжимал и разжимал кулаки, будто делал гимнастику пальцев, дышал прерывисто, толчками, выбрасывая:

— Щас!.. Щас!.. Щас!.. — Мысль его работала напряженно. — Щас!.. Щас!.. Щас пиду та изволохаю свою бабу, як Бог черепаху, й-ёбатьки мать!.. — наконец вызрело и выкатилось здоровое решение.

Но, получив дурные известия, жена его заранее схоронилась в погребе, и, не сыскав ее, Грохотало схватил топор, изрубил в щепки комод, выбро-

сил в окошко слишком громко, по его мнению, говорящий радиоприемник «Восток». Не проняло. Тогда Грохотало облил бензином дом и пристройки, намереваясь спалить все хозяйство дотла, но уж тут баба его не выдержала, заорала лихоматом в погребе, сбежался народ, миром навалился на зава фермой, с трудом его повязал, и никто потом так и не поверил, что весь погром Грохотало учинил в трезвом виде. «Не может такого быть!» — говорили чушанцы.

В поселке Чуш в тот вечер вообще было неспокойно — плач, визг, бегал с ружьем по улицам Командор, отыскивая погубителя дочери; на другом конце селения крушил домашний скарб Грохотало; на Енисее тонули какие-то байдарочники. Кого вязать? Кого спасать?

Скоро, однако, повязали обоих громил. Практика у чушанцев вязать очень большая — здесь от веку кто-нибудь кого-нибудь гоняет, палит из ружья, рубит, колет, а вот байдарочники вроде бы перетонули, до них руки не дошли, да и чего их сюда несло? Плавали бы где в другом месте, на малых реках.

Прошло два года. Семен на пенсии. Новый рыбинспектор все еще проявляет активность, но реже и реже выходит на поиск, один вовсе

не рискует шляться, натаскивает сына бывшего рыбинспектора. Сходит отпрыск Семена в армию и, пожалуй что, возьмется за рыбоохрану. Тяжело придется — всех и все знает, гаденыш неотмолимый, да еще и сообразительный! Придумал: не гоняться по реке за браконьерами, не имать их «с поличным», а просто-напросто встречать и проверять лодки в поселке.

Девайся куда хочешь, отсиживайся в протоке, хоронись в речках, жди ночи или когда из дому за рыбой придут. Волей-неволей пришлось сбывать рыбу на сторону. Вот и валялись у огонька добытчики, ждали подходящее судно.

Командор предложил нам котел варить уху. Аким сухо отказался. Он отчего-то сторонился Командора, терпеть его не мог и не скрывал этого. Котел, чайник, веревки, спрятанные Колей в лесу, мы так и не сыскали. Сердит Аким, ворчлив, ругался под нос, пошвыривал в лодке барахло. Рыбачки меж тем подваливали и подваливали, прятались с лодками за мысом Опарихи. На приволье сварили ведро стерляжьей ухи, споро хлебали ее деревянными ложками, пили вино кружками и прокатывались насчет алкоголизма — любимейшая тема современности, не переставали изводить Грохотало осетром, но Грохотало

сделался еще громадней, еще закомлистей, его уж не только насмешками — пулей не пробить. Горбясь медвежьим загривком, он сидел отшибленно ото всей компании, по другую сторону костра, на чурбаке, чавкал, пожирая харч. Хлеб он не резал, отхватывал зубами прямо от булки, затем оструцим ножом пластал вместе с кожей кус сала, кидал его в рот, будто дополнительный заряд в казенник орудия, после чего мочалкой сгибал горсть берегового лука, макал в хрушкую соль, затыкал им разверстый малиновый зев и принимался жевать, тоскливо куда-то глядя при этом и о чем-то протяжно думая. «Едо-ок!» — завистливо вздохнул я.

Компания, хлебавшая уху, становилась все оживленней. Мужик в прорезиненной куртке, в вязаной городской шапочке толкнул в бок соседа, кивая в мою сторону — сибиряку обносить ложкой или чаркой людей — позор и наказание.

— Имя нельзя! — уставившись поверх костра, заявил Дамка. На нем шуршала, не гнулась все та же телогрейка, в которой он был и два года назад — от ворота до подола измазанная рыбьими возгрями, местами она уже ломалась. — У их, — указал он вдаль деревянной ложкой, — вступил в полную борьбу закон против алкоголизмы.

Гай-ююю-гав!

Командор, словно вспышкой электросварки, резанул его взглядом, молча подвинулся, потеснил городского, тот старшего Утробина. Аким пожимал плечами, как, мол, хочешь — быть в компании без своей доли он считал зазорным, «своей» я ему не дал купить — больно канительно с ним выпившим. Я вынул из рюкзака хранимую на всякий случай бутылку коньяка и поставил к котлу:

— Вот! Если с нашей долей…

Бутылка пошла по рукам. Ее взбалтывали, смотрели на свет, нюхали, признали баловством расход, лучше бы на эти деньги купить две бутылки водки, но с легким вздохом простили мне такое чудачество, и Дамка услужливо скусил с горла железку, вытащил зубами пластмассовую пробку.

Налили. Выпили. Зачмокали губами. Общий приговор был: ничего, но снова мудро советовано: «Вдругорядь покупать две бутылки вместо одной» — и еще наказано: «Ешь, пей, гостюй, но не продерьгивай». Я обещал «не продерьгивать». Мужики не поверили, однако сделали вид, что успокоились, и повели научный разговор на тему: как платят писателям и сколько процентов

правды они могут допустить в своих сочинениях. Сошлись на пяти процентах. В связи с разочарованием, постигшим добытчиков в оплате нашего труда, вспомянуто было о приборе, сконструированном для ловли браконьеров в ночное время. «Тем, кто выдумывает экую пакость, платят небось больше». И что происходит в миру? Что деется? Сам себя человек доводит до лихих дел, сам себя в тюрьму садит, сам для себя изобретает заплот, проволоку, чтоб оттудова не убежать. «Могилу сами себе роем!..»

— А-ах, растуды твою туды! — изумлялись ораторы философскому открытию.

— Так сё, музыки! — прерывая умственный разговор, хлопнул себя по коленям Аким, возбужденно сверкая глазками. — Гулять дак гулять! — И под гул одобрения принес из кустов «огнетушитель» — большую бутылку с дешевым вином, лихо именуемым: «Порхвей». Вот тебе и Аким! Прихватил тайно от меня бутылку или запасы у него тут?

Командор гонял куда-то на лодке в поздний час. Многозначительно улыбаясь, добытчики намекали — к Раюсе. Продавщица так была «втюримшись» в ядовитого чеченца, что, невзирая на суровый закон об алкоголизме, ночью отперла

магазин и отпустила спиртное, за что крепко ее тиснул Командор, поцеловал и умчался, помня про «коллектив», посулясь, однако, днями завезти Раюсе свежей стерлядочки и потолковать «о личном».

Смех, говор, полное взаимопонимание, почти братство на енисейском берегу. Костер поднят до небес, комаров никто не слышит. Клокочет в ведре уха, скрюченные стерляжьи хвосты летят куда-то ввысь, в пламени, в искрах.

Кто-то силился запеть, кто-то сплясать, но больше целовались и плакали.

— Гул-ляй, мужики!

— Однова живем!

— Ничего не жалко!

— Ради такого вот праздника колеем на реке, под дулами ружейными крючимся!

— Га-ай-ююю-гав! Гай-ююю-гав!

— Э-эх, люби-и меня, детка-а, покуль я н-на в-воле-й… Врезать бы кому по рогам! Душа горит, драки просит!

— И попадешь на пятнадцать суток!

— Да-а, времена-а! Ни тебе напиться, ни тебе потилискаться!..

— Зато кино кажин день!

— Кино? Како кино! Я те вот вмажу по сопатке,

и будет кино!

— Э-э, мужики! Гуляй, веселись, но без драки.

— А чё он?

— Дак я же шутю!

— Шутю-у-у!

У т-тебя в окошке све-ет,

Ат ево покою не-еэт,

В том окне, как на екране,

Твой знако-омай си-и-илуе-э-эт…

— Это чё, силует-то?

— Хвигура!

— А-а.

— А я еще вот чё, мужики, спросить хочу: лани-ты — это титьки, что ль?

— Шшоки, дура!

— О-ой, о-ой, не могу! Ты б ишшо ниже мыслей опустился-а!..

— Поехали, мужики, поехали! Поехали, поехали! С орехами, с орехами! Трай-рай-трай-рай-рам…

И все это время сотрясал воздух, раскатывал каменья по округе рыбак Грохотало, съевший буханку хлеба, беремя луку, пластушину сала. Сон его был безмятежен и глубок. Он ничему не внимал, лишь когда канительный Дамка в пляске

наступил ему на руку или еще на что, остановил на мгновение храп. Сразу сделалось слышно коростеля и других птиц в природе; отмахнул Дамку, точно комара, и пока тот, ушибленный приземлением, взнимался из-под берега, отплевывался, Грохотало снова равномерно заработал всеми своими двигателями, колебля костер, всасывая в себя земную тишь, ароматы цветов, прохладу, изрыгая все уже в переработанном виде вонючим, раздавленным, скомканным. Но вот наступили сбои в могучей моторной работе, раскаты храпа временами замирали совсем, раз-другой Грохотало шевельнул горою спины, простонал вдруг детски жалобно и сел, озирая потухшими глазами компанию, узнал всех, растворил с завыванием красную пасть, передернулся, поцарапал грудь и удалился во тьму. И вот он возник в свете костра, чего-то неся на вытянутых руках. Не сразу, но различили мужики белой курочкой сидящую на пластушине сала пухленькую пластмассовую бутыль.

— Цэ напыток — самогнали! Трэба знычтожить, хлопци, як ворога!

— Х-ха-а! Самогнали, значит?

— Грузинский, стало быть, напиток-то?

— Токо на чушанских дровах варенный!

— Сало, хлопци, тэж трэба зжуваты! А потом Черемисина, й-ёго батки мать!..

— Ай да Грохотало! Челове-эк! А Черемисина сведе-о-ом! И не таких сырыми съедали!..

— Н-не выйдет!

— Чё-о? Кто это сказал?!

— Стой, ребята, стой! Человек же угощает от всего сердца…

— Се-ердца-а-а, т-тибе ни хочется поко-ой-йю-у-у, се-с-ердца, как хорошо на свети жи-ы-ы-ыть…

Крепко выпив, к душе нахлебавшись ушицы, поговорив и даже попев, незаметно ушел домой на лодке рассудительный старший Утробин. Свалился за бревно Дамка и, съедаемый комарами, вертелся там, поскуливая, — тревожен был его сон — снилась ему жена. Обхватив Командора пухлыми лапищами, Грохотало тревожил ночь и округу осевшим от простуд, но все еще великим голосом: «Маты! Маты! Ждэ свого солдата, а солдат спыть вичным сном!..»

По лицу Акима катились слезы. Он с непомерной горестью и любовью глядел на всех, тряс головою, брызгая солеными каплями в костер, выговаривал, как ему казалось, про себя:

— Эх, Колька, Колька! Зачем ты помер? Гулял бы с нами…

В какое-то время затяжелел и Грохотало, забыл про осетра, про Черемисина, про бойкую свою бабу, но про родину, видать, еще помнил и без конца повторял, уронив большое лицо на студенисто вывалившуюся в разрез рубахи грудь: «Маты, маты… Ждэ свого солдата, а солдат спыть вичным сном…»

И подумалось мне в ту минуту, что в словах этих, простых и великих, судьба всех нас, — только то и делают наши матери, что ждут домой солдат, а они спят где-то вечным сном; думать и печалиться мне мешал Командор, он плакал на моей груди и настойчиво просил написать роман про его дочь Тайку. Плакал и городской компаньон, этот уж просто так, от пространственности русской души.

Утром хмурый Аким подгребал жар под ведро с остатками ухи и под чайник. От меня он воротил морду, бросая украдкой взгляды на лодки, повисшие на концах. Туман, редкий, летучий, скрадывал лодки. Они темными пятнышками то возникали, то исчезали вдали. В лесу, в кустах, на травах, на камнях и бревнах сыро. От ледяного хребта, убывающего на глазах, тащило знобкой стужей, льдины оседали, рассыпались со звоном острыми продолговатыми штырями.

На расколотом чурбаке стояла кружка с зельем «порхвей» — лучше не скажешь. Вчера я пригубил из «огнетушителя» — и на контуженой голове вместе с шапкой вроде бы приподнялась и черепная коробка. Отказавшись от «порхвея», я похлебал ухи, попил густого чая, для аромата приправленного смородинкой, и почувствовал себя бодрей.

— Пора и нам на самоловы.

Аким подсеченно дернулся, глянул на меня и тут же принял отсутствующий вид — ох уж эти мне северные хитрованы-мудрецы!

— Поплыли, поплыли!

— Куды поплыли?

— На самоловы.

— А ты их ставил?

Я хмуро ему объяснил, что нет, не ставил и ставить не буду. Но посмотреть на эту хреновину мне позарез необходимо, и пусть он не юлит, я еще в тот, прошлый приезд, когда он смылся с Опарихи, якобы караулить лодку, а после угощал нас стерлядью, купленной «за руп», усек: у него стоит самолов.

— Сто ты, сто ты, пана! — Аким отмахнулся, как от нечистой силы. — Чего с похмелья человек не набуровит! Тихий узас!

Я наседал на Акима все решительней, объяснял, что моя профессия состоит в том, чтобы все знать и видеть. Ошарашил его рассказом, как бывал в кирхах, в православных церквах, даже в мечеть заходил. Заносило меня в морги и родильные дома, посещал милиции, тюрьмы, колонии, ездил на юг и на север, в пустыни и кавказские сады, общался со стилягами и сектантами, с ворами и народными артистами, с проститутками и героями труда.

— Один раз даже в Комитете по кинематографии был.

— Там кино делают? — Аким зарделся, с очень уж обостренной заинтересованностью встретив это сообщение.

«Так бы и треснул!» — глядя на пухом заросшую по желобку шею, озлился я и кивнул на реку:

— С ними на самоловы выпрошусь.

— Зачем тебе самолов? — с невеселой усмешкою и снисхождением молвил Аким. — Иди харюзов удь. Оне, — кивнул он на реку, — управятся и без тебя…

— Харюзы мне надоели.

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ну сто ты будес с им делать? — взвился Аким. — Нету у меня самоловов, нету!

Я протянул ему руку:

— Спорим?

Аким руки моей не заметил, с досадой опрокинул кружку чаю, пнул банку — не успокоился. Хряснул «огнетушитель» о камень так, что брызнуло стекло во все стороны, будто мина разорвалась. Командор висел уже на нижнем конце.

— А не продернес? — сломленно спросил Аким, царапая изъеденное комарами ухо.

— Чего?

— В газетке не продернес? Музыки опасаются…

— Ф-фу-ты! Да на вас никаких газет не хватит! — И чем дальше я ругался, тем оживленней становился Аким. Мигом приволок он из кустов «кошку», веревки, весла, наставляя при этом меня:

— Конесно. Продергивать дак всех, а сё нас однех-то? — и подмигнул мне припухлым глазом. Усадив меня за весла, чтобы сплыть с мели и завести мотор, он показал глазами на ближнюю лодку и приглушенно добавил: — Народ-то, видал?! Тихий узас! Ты уедес, тебя не достать, меня уканают… — Прежде чем дернуть шнурок, Аким в нерешительности помедлил и все же показал руку, которую во все дни этого моего приезда прятал от меня: на запястье швом электросварки бугрился неровный, багрово-синий рубец. — Под

смертью недавно был. Побаиваюсь теперь ее. После расскажу, — рванув шнурок, крикнул он и, развернув лодку, повел ее встречь течению, хлопнув ладонью по борту — знак, чтобы я заткнулся и ему не мешал.

В детстве мне доводилось видеть ловлю самоловами. Тогда ее браконьерской никто не считал, тогда было много рыбы, а рыбаков мало, всякая добыча пропитанья почиталась. И вот предстояло вновь увидеть самый жестокий после битья острогой и глушения взрывчаткой лов рыбы. Аким уделил взглядом ориентир на берег — ставят самоловы и сети без наплавов, найти ловушки на дне широкой и быстрой реки целая наука, и наука сложная. Ориентир, как я догадался, — лиственка с корявым, давно засохшим братним стволом. Только снесло лодку до этой лиственки, Аким врубил скорость, но не полную, и какое-то время на тихом ходу лодки шевелил губами — считал. За двухсотым отсчетом Аким выбросил кошку, стравил веревку, намотал ее на руку. Кошка скребла дно и могла зацепиться за коряжину, за топляк, за камень, но ей надлежало цапнуть самолов. Веревка дернулась, лицо Акима напряглось, он с силой уперся ногами в поперечину лодки и выключил мотор.

— С первого раза! — улыбнулся он и начал рывками выбирать веревку. — Когда дак замаесся…

— Может, это не самолов?

— О-он. Тетива пружинит, — охотно пояснил Аким, — задева рвет. Из лодки вылетис! Плюхнесся, лодку унесет. Цирк!

Лодку давило глубиной, течением и тяжестью самолова. Вода натужно бурлила по бортам и у носа лодки.

Умаянно покуривая, мимо сплывали осмотревшие свои ловушки добытчики. Раньше всех управился и умчался на «Вихре» Грохотало — ждала работа на свиноферме, опаздывать он боялся. Командор, сбрасывая рыбу в мешок, плевал за борт. Аким снова его «не замечал», и, не к нему, а ко мне обращаясь, чеченец известил, ругаясь:

— Прокутили! Из двадцати — семь!

— Чего семь?

— Живых.

— А остальные?

Аким из-подо лба зыркнул на меня — чего вяжешься?!

— Остальные за борт.

— Но они же… — залепетал я. — Народу по Енисею шляется всякого. Выловят, съедят…

— И подохнут к… матери! — харкнул в воду Командор и рванул шнур. — Меньше шляться будут! — Оставляя чистый пенистый след за кормою дюральки, Командор помчался домой, подняв прощально руку в красивом салюте.

Подошел наш самолов на кошке. Давши мне в руки туго натянутую тетиву, Аким приказал очищать с крючков шахтару — так здесь зовется водяной сор, наказывал быть как можно осторожнее — оплошаешь, удой насквозь просадит руку.

Вот и уда. К капроновой крепчайшей тетиве капроновым коленцем подвязана большая, покрытая тонким слоем олифы, круто загнутая уда без жагры, но с острейшим жалом. На изгибе уды коротеньким коленцем прихлестнута пенопластовая пробка. Касания пробки легки, щекотливы. Таких веселеньких «игрушек» на одном только конце четыреста-пятьсот штук. На верхнем по течению конце самолова — становая, тяжелая якорница. К ней прикреплена сама ловушка. Выметанный по течению и местами сдавленный легким грузом, самолов на нижнем конце тоже укреплен якорницей. Бросить самолов в воду, закрепить — полдела. Главное — угадать им в уловистое место, где рыба собирается стаями, нащупать вслепую каргу и струю,

чтобы все время мотались, играли пробки, привлекая «побаловаться» с ними, или, сбитую с карги, катило бы рыбину струей прямиком на занозистые крючки. Сколько рыбы накалывается, рвет себя, уходит в муках умирать или мыкать инвалидный век — никто не ведает. Рыбаки как-то проговорились — верная половина. Но и та рыба, которая уцепилась, сильно испоротая, замученная водой, скоро отдает Богу душу. Уснувшая же на крючке рыбина, особенно стерлядь и осетр, непригодна в еду, — какая-то белая личинка заводится в жирном теле красной рыбы, полагают, что окисление жира происходит от смазанных олифой крючков.

Уснувшую на удах рыбу прежде увозили на берег, закапывали, но раз ловля стала нечистой, рваческой, скорее дохлятину за борт, чтоб рыбнадзор не застукал. Плывет рыба, болтается на волнах, кружится в улове, приметно белея брюхом. Хорошо, если чайки, крысы или вороны успевают слопать ее. Проходимцы, пьяницы и просто тупые мародеры продают снулую рыбу. Загляни, покупатель, в жабры рыбины и, коли жабры угольно-черны иль с ядовито-синим отливом, — дай рыбиной по харе продавцу и скажи: «Сам ешь, сволочь!»

На Акимовом самолове из тридцати двух стерлядей живых девять. С горьким вздохом сожаления Аким отбросил дохлых рыб в нос лодки. Мне так хотелось описать рыбу, бьющуюся на крючке, слепо бунтующую, борющуюся за себя, воспеть азарт лова, вековечную радость добытчика. Нечего было воспевать, угнетало чувство вины, как будто при мне истязали младенца или отымали в платочек завязанные копейки у старушки. Я попросил Акима отвезти меня на берег — чай буду варить, за цветами схожу, луку нарву. Не прекословя, Аким завел мотор, послушно высадил меня на берег.

— Говорил я те, говорил?! Разостроисся только, — тихо сказал он и уплыл досматривать второй конец.

На беду, попался осетришка килограммов на двенадцать, запоролся удами — долго не выплывали на самоловы — похороны, поминки, меня остерегался ловец, после загулял. Когда Аким тащил рыбину через плечо, вдруг с треском оторвался клапан жабры — осетрина, скомканный, прелый, упал на камни, полезли из него пузырем кишки.

— Медведь сожрет, может?

— Нет, не станет, — потупился Аким. — Даже

он, скотина, привычная ко всякой дохлятине, загнется. Такая, пана, отрава в этой рыбе. Тарзан… Помнишь, на Опарихе который остался дурак-то? — приплыл за им. Воет. Оголодал. Налим на уду впоролся. Я и дай Тарзану. — Аким вымыл руки с песком, и мы неторопливо пили чай. — Там вон Тарзан закопан, — после долгого молчания мотнул он головой на заросли тальников в устье Опарихи.

— Прошу тебя, Аким, сними эти ловушки, сними! Иначе я к тебе не приеду.

Сложив пожитки в мешок и в ящичек из-под самолова, Аким снес багажишко в лесную утайку, — мы отправлялись на весь день, удить хариуса, и уже в лесу, на привале, прервал молчание:

— Хошь не хошь, концы сымать придется. Родня покойника наказала: лодку, мотор, снасти сдать в целости и сохранности.

Родственнички! Достойные дети мизгирева гнезда! Много лет Аким, кроме Колиного дома, не знал никакого приюта. Его, этот домишко, и строили они вместе, деньжонки, какие зарабатывал, Аким нес как в свою семью, лодочный мотор, битый-перебитый, ношеный-переношеный, по гайкам перебирал, варил, паял, лодку упочини-

вал, затыкал, смолил, дров на зиму наплавил… Но ушел друг из жизни — и от ворот поворот человеку. Дешево, не по-сибирски мелко начали вести себя за гробом мои земляки, и не только в Чуши.

— Нис-сё-о-о! — бодрился Аким. — Нисё-о. На Сурниху подамся. Новый леспромхоз там открывается. Пять специальностей, пана, имею, нигде не пропаду!

В устье речки Сурнихи вырос поселок. Электричество на улицах светится, клуб возведен, столовая, детсад, жилье, тротуары проложены. Заселение поселка начнется осенью, заготовка древесины зимой, а тут такая невидаль — все готово для рабочих. Везде бы так — сначала условия человеку, потом работу с него спрашивай.

Мои мысли взяли разгон: что, если и древесину здесь станут брать разумно, по-хозяйски, не устраивая мамаева побоища на лесосеках? Приенисейская тайга необозрима, много в ней спелого, перестойного леса, так остро необходимого большому хозяйству страны. И вот, пять, десять лет спустя приехать бы к Акиму в гости, посетить могилу за околицей старого поселка, где под кустом смородины успокоенно лежит рано изработавшийся, много бед и мало радостей повидавший брат, порыбачить на Опарихе, где

рыбачили мы когда-то так памятно, компанией, уснуть под слитный шум кедров и темных елей. Их слышал брат, слышат дети и слышали бы дети его детей.

Царь-рыба

В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе — Игнатьичем. Был он старшим братом Командора и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не отворачивался, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату, при дележе добычи не крохоборничал.

Правда, ему и делиться не надо было. Он везде и всюду обходился своими силами, но был родом здешний — сибиряк и природой самой приучен почитать «опчество», считаться с ним, не раздражать его, однако шапку при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, — не давать себе на ноги топор ронить. Работал он на местной пилораме наладчиком пил и станков, однако все люди подряд, что на производстве, что в поселке, единодушно именовали его механиком.

И был он посноровистей иного механика, любил поковыряться в новой технике, особенно в незнакомой, дабы постигнуть ее существо. Сот-

ни раз наблюдалась такая картина: плывет по Енисею лодка сама собой, на ней дергает шнур и лается на весь белый свет хозяин, измазанный сажей, автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру — и у него огонь во рту вспыхнет. Да нет ее, искры-то, и мотор никаких звуков не издает. Глядь, издали несется дюралька, задрав нос, чистенькая, сверкающая голубой и белой краской, мотор не трещит, не верещит, поет свою песню довольным, звенящим голоском — флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И хозяин под стать своей лодке: прибранный, рыбьей слизью не измазанный, мазутом не пахнущий. Если летом, едет в бежевой рубахе, в багажнике у него фартук прорезиненный и рукавицы-верхонки. Осенью в телогрейке рыбачит Игнатьич и в плаще, не изожженном от костров, не изляпанном, — он не будет о свою одежду руки вытирать, для этого старая тряпица имеется, и не обгорит он по пьянке у огня, потому что пьет с умом, и лицо у Игнатьича цветущее, с постоянным румянцем на круто выступающих подглазьях и чуть впалых щеках. Стрижен Игнатьич под бокс, коротко и ладно. Руки у него без трещин и царапин, хоть и с режущими инструментами дело имеет, на руках и переносице

редкие пятнышки уже отлинявших веснушек.

Никогда и никого не унизит Игнатьич вопросом: «Ну, что у тебя, рыбачок, едрена мать?» Он перелезет в лодку, вежливо отстранит хозяина рукой, покачает головой, глядя на мотор, на воду в кормовом отсеке, где полощется старая рукавица или тряпка, култыхается истоптанная консервная банка, заменяющая черпак, прокисшие рыбьи потроха по дну растянуты, засохший в щели пучеглазый ерш. Вздохнет выразительно Игнатьич, чего-то крутанет в моторе, вытащит, понюхает и скажет: «Все! Отъездился мотор, в утиль надо сдавать». Либо оботрет деталь, почистит, отверткой ткнет в одно, в другое место и коротко бросит: «Заводи!» — перепрыгнет в свою лодку, достанет мыло из карманчика лодки, пластмассовую щетку, руки помоет и тряпицей их вытрет. И никакого магарыча ему не надо. Если пьет Игнатьич, то только на свои и свое, курить совсем не курит. В детстве, говорит, баловался, потом — шабаш — для здоровья вредно.

— Чем тебя и благодарить, Игнатьич?

— Благодарить? — усмехнется Игнатьич. — Ты бы лучше в лодке прибрался, сам обиходился, руки с песком да с мылом оттер. Чисто чухонец, прости Господи! — Оттолкнется веслом Игнатьич,

шевельнет шнурок — и готово дело — только его и видели! Летит дюралька вдаль, усы на стороны, из-за поворота иль из-за острова еще долго слышен голосок, и, пока не умолкнет в просторах нежный звон мотора, полорото торчит рыбак средь лодки и удрученно размышляет: в одной деревне родились, в одной школе учились, в одни игры играли, одним хлебом вскормлены, а поди ж ты!.. «Шшоткой руки! С мылом! Шшотка сорок копеек стоит, мыло шешнадцать!»

И примется хозяин лодки со вздохом наматывать шнур на скользкий от бензина и копоти маховик, с некоторой пристыженностью и досадой в душе на свою неладность, а если прямо сказать — на недоделанность.

Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина, который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата, а был с мозглятинкой — гнильцой самолюбия, не умел и не хотел скрывать неприязни к брату, и давно уже, давно они отурились друг от друга, встречались на реке да по надобности — в дни похорон, свадеб, крестин. Игнатьич имел лучший в поселке дом, неболь-

шой, зато самый красивый, с верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с палисадником под окнами, в котором росла малина, черемуха, цветки ноготки, мохнатые маки и неизвестные здешнему народу шаровидные цветы, корни которых похожи на брюковки. Привезла их из Фрунзе и приучила расти в суровом чушанском климате жена Игнатьича, работавшая бухгалтером на одном с мужем предприятии.

Слух был, что у Игнатьича лежит на книжке семьдесят тысяч старыми. Игнатьич слухи эти не опроверг, болтливую работницу сберкассы, выдавшую «тайну вклада», не одернул, но счет свой перевел в Енисейск. И притихла работница сберкассы, старалась на улице с Игнатьичем не встречаться, если разминуться все же не удавалось, опускала глаза и, торопливо пробегая, навеличивала: «Здрасте, Зиновий Игнатьич!»

У Игнатьича стояло возле Опарихи три конца. Чуть на отшибе от фарватера, чтоб не получилось, как у Куклина, не нашел бы темной осенней ночью лодку нос парохода и не клюнул бы ее. Однако и в сторонке от стрежи дивно брал стерлядей Игнатьич. Младший братан — чеченская каторжная рожа — окружал концы старшего

брата своими концами. Сокрушенно покачав головой, Игнатьич поднимал тяжелые якорницы, переставлял самоловы выше по реке и снова брал рыбу уловисто.

Командор не отступал, давил братца и таки вытеснил его на Золотую каргу, почти «в поле чисто». И отступился, полагая, что теперь-то братец шиш обрыбится. Но на новом месте пошла на самоловы Игнатьича стерлядь, хотя и реже, зато самая отборная, мельче килограмма, считай, не попадалось. И тронуло суеверные души чалдонов подозрение: «Слово знает!» Командор увидел как-то лодку брата, самосплавом идущую по реке, и покажись ему, что старший ехидно усмехнулся. Командор схватил ружье, щелкнул курками. Игнатьич побледнел, подобрался. «Опусти ружье, молокосос! В тюрьме сгною…» — «Не-на-ави-и-ижу-у-у! — взвыл Командор и, отбросив ружье, затопал сапогами, топтал рыбу так, что хрястало под подошвами: — Сгинь! Пропади! Застрелю!..» — «Хар-рош! Ох, хар-р-рош! Ни ума, ни заклику, как говорится! Не зря мать-покойница каялась, что в зыбке не прикинула тебя подушкой…» — Игнатьич плюнул и умчался, не оглядываясь.

Но даже молчаливая фигура старшего Утро-

бина за рулем — вызов Командору, скорготал он зубами, клялся про себя нащупать самоловы очесливого братца и осадой, измором, нахрапом ли выжить его с реки или загнать в такой угол, где ерш и тот не водится.

До войны в низовьях Енисея серединой лета эвенки, селькупы и нганасаны ставили по берегу чумы и ловили подпусками — переметами красную рыбу, наживляя на уды кусочки подкопченных над очагами вьюнов. Очень лакомы, видать, эти кусочки, коли дурило-осетрище хватает их вместе с почти голым крючком. К цевью уд бойе всегда навязывали тряпочки, берестинки, ленточки. Но они везде и всюду любят делать украшения, и на одежду свою нашивают всякую всячину, и на обувь, однако из-за тряпочек этих, из-за нюха ли совершенно верного брали они рыбу центнерами. Наезжие артельщики, по сезонному договору промышляющие рыбу, возле тех же песков или островов паслись, но возьмут двух-трех осетришек, стерляди на варю, и вся добыча. И тогда, переломив стыд и сердце, начинали они притираться своими наплавами к снастям бойе. «Почто так делаш? Рыпы плават мноко. Засем по реке колесиш, засем снасти путаш?» Кочевали с места на место бойе, теряя

дорогое промысловое время, но рыбу брали и брали, а наезжие, тика в тику бросившие переметы туда, где только что рыбачили инородцы, вынали голые крючки.

И таким-то дубакам, как в Чуши рекут наезжих хапуг, уподобился местный житель, исконный рыбак, да еще и руку поднял на человека, да и не просто на человека, на брата, да и не просто руку — ружье! Поселок упивался скандалом, перевещал новость со двора во двор, катил ее колесом.

Жена Командора глаз не казала на улицу.

— Ты чё, совсем уж залил оловянные шары! — наступала она на мужа. — Совсем выполчился! Мало тебе дочери-кровинки! Брата родного свести со свету готов! Давай и уж всех нас заодно…

В прежнее время за такую дерзость он бы искуделил супругу, исполосовал бы так, что до прощеного дня хватило, но после гибели Тайки вызубилась она, потеряла всякий страх, чуть что — прет на него всем корпусом, тюрьмой грозит, глаза аж побелеют, щеки брезгло дрожат, голова трясется — чует баба: свергнут грозный чеченец в самом себе, добивает, дотаптывает, стерва.

И отправился на поклон к брату младший Утробин. Через дорогу плелся, будто через тюремный двор. Игнатьич дрова колол, издали приметил

брата, задом к нему поворотился, еще старательней половинил березовые чурки. Командор кашлянул — брат дрова колет, из-за тюлевой занавески в окно встревоженно выглядывала пухленькая, меднорожая жена Игнатьича в легоньком, кружевами отделанном халатике. Взять бы за этот халат да теремок подпалить — крашеный-то эк пластал бы! Командор сдавил коричневыми лапищами штакетник так, что вот-вот серу из дощечек выжмет.

— Пьяный был дак…

Игнатьич воткнул топор, повернулся, кепку поправил:

— А пьяному, что ли, закон не писан? — Помолчал и словно в школе принялся поучать: — Не по-людски ведешь себя, брательник, не по-людски. Мы ведь родня как-никак. Да и на виду у людей, при должностях…

Командор с детства всяких поучителен переносить не мог, ну просто болел нутром при одной только попытке со стороны людей чего-то выговорить ему, подсказать, сделать назидание. Отволохай, отлупи, рожу всю растворожь, но не терзай словами. И ведь знает, знает характер младшего старший брат, но, видишь ты, в кураж впал и неповинную голову сечет, а кишки пере-

пиливает, перегрызает, можно сказать: «Ну-ка, давай, давай! Ты у нас наречистый, ты у нас громкой! Покажи свою разумность, выставь мою дурь напоказ. Баба твоя ухо навострила. Хлебат всеми дырьями, какие у ей есть, слова твои кисельные. То-то завтра в конторе у ей работы будет, то-то она потешится, то-то потрясут мою требуху, мои косточки служащие дамочки!»

И ведь вот что занятней всего — говорит-то старший брат путем все, в точку. И насчет населения поселка, которому только и надо, чтоб братья в топоры. Потеха! Развлечение! И насчет работы — сымут с должности капитана, коли пьянствовать не бросит. И насчет промысла темного, хитрого, который надо союзно вести, — Куклин-чудотворец завещал, — голимая все правда, но вот вроде как близирничает братец, спектакль бесплатный устраивает, тешит свою равномерную душу, вот-вот и Тайку, пожалуй, помянет. Тогда не вынести Командору — топор выхватит…

Командор скрипнул зубами, махнул у лица рукой, словно кого отлепляя, и скорее домой подался, и тоже взялся колоть дрова на зиму, да с такой силой крутил дерево, что которые поленья аж через заплот перелетали, и кто-то

крикнул с улицы: «Пли!», баба заругалась: «Эко, эко лешаки-то давят! Не рабливат, не рабливат, возьмется, дак и правда што как на войне!..» В работе Командор немного разрядился, отошел, мысли в нем выпрямились, не клубились в башке, не путались, разума не затемняли. «Вечно так и будет, — с каким-то непривычным для него, тоскливым спокойствием решил он, — где-то, на чем-то, на какой-то узкой тропинке сойдемся с братцем так, что не разойтись...»

В студеный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, сшивалась, как нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.

С двух первых самоловов Игнатьич снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, попал он им под самую каргу, а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на гряду самуё не бросить — зависнет самолов, и далеко не сплыть — рыба проходом минует самолов. Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз ост-

рится, нюх точится не сам собою — с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке…

К третьему концу Игнатьич попал затемно, ориентир на берегу — обсеченная по маковку елка, так хорошо видная темной колоколенкой даже на жидком свету, уперлась в низкие, брюхатые тучи, мозглый воздух застелил берег, река, жестяно и рвано отблескивающая в ночи, ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул кошку по дну реки, времени потерял уйму, промерз вроде бы до самых костей, но зато, лишь подцепил и приподнял самолов, сразу почувствовал: на нем крупная рыбина!

Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка, и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которая сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались в воду, клевали острием носа борт лодки — у этих поврежден спинной мозг, вязига проткнута, этой твари конец — с порченым позвоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными жабрами рыба не живет. Налим, на что крепкущая скотина, но как напорется на самоловные уды — дух из него вон и кишки на

телефон.

Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, пела в сторону, и чем выше поднимал ее Игнатьич, тем грузнее, остойчивее делалась, остойчивее упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков — щелкают тогда крючки о борт, ломаются спичками, берегись, не зазевайся рыбак — цапнет удой мясо иль одежду, ладно, крючок обломится, ладно, успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе…

Незавидная, рисковая доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора — подкрадется во тьме, сцапает — сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь — тюрьма тебе. На родной реке татем живешь и до того выдрессировался, что ровно бы еще какой, неведомый, дополнительный орган в человеке получился — вот ведет он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушел, азартом захвачен, устремления его — взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце — все в нем направлено к этой цели, каждый нерв вытянут

в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в левой половине груди живет своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает. Вдали огонек мелькнул, оно уже трепыхнулось: какое судно? Опасность от него? Отцепляться от самолова? Пускать рыбину вглубь? А она, живая, здоровенная, может изловчиться и уйти. Напряглось все в человеке, поредели удары сердца, слух напружинен до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьет тело током, красная лампочка внутри заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»

Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной пороз со свинофермы Грохотало, прошла серединой реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся, музыка на нем играла однотонная, протяжная, на вой метели похожая, и под эту музыку на верхней, слабо освещенной палубе умирали три парочки, плотно сцепившись перед кончиной и уронив друг дружке бессильные головы на плечи. «Красиво

живут, — Инатьич даже приостановил работу, — как в кино!»

В этот миг заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, про парочки, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осетр, большой, но уже умаянный.

За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волока скомканных, умаянных стерлядей, стряхивая их с самолова. «Хватил дурило воздуху. Забусел!» — мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич и увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково

отблескивающий сутунок со вкось, не заподлицо, обрубленными сучьями; крутые бока, решительно означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле, смешанном с дресвою.

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных усов, висящих под ровно сострогнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста — на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.

Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюральки плащи осетра, сточенные, закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костерькой, после — карышем или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку иль на веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида,

ни вкуса в костерьке, и хищнику никакому не слопать: распорет костерька — проткнет утробу. И вот, поди ж ты! Из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На морошке, на козявках и вьюнцах. Ну не загадка ли природы?!

Совсем где-то близко закрякал коростель. Игнатьич напрягся слухом — вроде как на воде крякает? Коростель — птица долгоногая, бегучая, сухопутная и летняя, давно пора ей убегти в теплую сторону. А вот поди ж ты, крякает. На близком слуху — вроде как под ногами: «Не в штанах ли у меня закрякало?!» Игнатьич хотел, чтоб веселые, несколько даже ернические шуточки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, всепоглощающей страсти, от которой поет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло теплыми, прокислыми щами там, слева, где несло дежурство оно, недреманное ухо. Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатьичу зловещей.

«Да что же это я? — поразился рыбак. — Ни Бога, ни черта не боюся, одну темну силу почи-

таю… Так, может, в силе-то и дело?» — Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.

Осетр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему еще пяток — боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в него бьющей воде, пообрывать поводки самолова, взять на типок[1] тетиву, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки.

Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели

---

1 notes: 1

На типок — на разрыв.

решительней. «Сейчас пойдет!» — похолодел Игнатьич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел — одному не совладать с этаким чудовищем. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец — пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на самоловы, поможет. Уж в чем в чем, а в лихом деле, в боренье за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в Заречье капустой, и, пока судно разгрузит овощ, пока совсем не затемняет, Командор к Опарихе не явится.

Надо ждать, жда-ать! Ну а дождешься, так что? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части — с братцем механик увяжется, этакий, на бросового человечишку Дамку похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих?! «Вот она, вот она, дрянь-то твоя и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятиной, стало быть, и вывернулась!..» — с презрением думал о себе Игнатьич.

Кто он сейчас? Какой его облик вылупается? Лучше Дамки, недобитого бандеровца Грохотало иль младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой! Только иным удается спрятать себя, притаиться до поры до времени, но накатывает

случай, предел жизни настигает, как говаривал покойный Куклин, и сгребает всех в кучу — потом одного по одному распределяет на места. Кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирный кусок из общего котла, характер свой на дешевку не разменивает, в вине себя не топит, пути своей жизни не кривит, — у того человека свое отдельное место в жизни и на земле, им заработанное и отвоеванное. Остальное все в хлам, в утиль, на помойку! «Ах, умница-разумница! — усмехнулся Игнатьич. — Все-то ты разумеешь, все-то тямлишь! Игрунчик! Докажи, каков рыбак?» — раззуживал, распалял самого себя старший Утробин.

Чалдонская настырность, самолюбство, жадность, которую он почел азартом, ломали, корежили человека, раздирали на части.

— Не трожь! Не тро-о-ожь! — остепенял он себя. — Не осилить!..

Ему казалось, если говорить вслух, то как бы со стороны кто-то с непритухшим разумом глаголет, и от голоса его возможно отрезветь, но слова звучали отдельно, далеко, глухо. Лишь слабый их отзвук достигал уха ловца и совсем не касался разума, занятого лихорадочной работой, — там

планировались действия, из нагромождений чувств выскребалась деловитость, овладевая человеком, направляла его — он подскребал к себе топорик, острый крюк, чтоб поддеть им оглушенную рыбину. Идти на веслах к берегу он не решался, межень прошла, вода поднялась с осенней завирухи-мокрети, рвет, крутит далеко до берега, и рыба на мель не пойдет, только почувствует осторожным икряным брюхом твердь — такой кордебалет выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки и уды полетят к чертям собачьим.

Упускать такого осетра нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову. Дамке отродясь не попадала и не попадется — он по реке-то не рыбачит, сорит удами…

Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова — больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, богоданную, сказочную, конечно, увидеть, изловить, но и робел. Дедушка говаривал: лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь

разговор! Препоны разорвались, в голове и сердце твердость — мало ли чего плели ранешные люди, знахари всякие и дед тот же — жили в лесу, молились колесу…

«А-а, была не была!» — удало, со всего маху Игнатьич жахнул обухом топора в лоб царь-рыбу и по тому, как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался — угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силы бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль — он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, просто тут, в лодке, дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно.

Вдох, усилие — крепче в борт ногою, тверже упор. Но находившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, комьями земли взорвалась река за бортом, ударило рыбака тяжестью по голове, двинуло на уши, полоснуло по сердцу. «А-ах!» — вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту. «Так вот

оно как, на войне-то…» — успел он еще отметить. Разгоряченное борьбой нутро оглушило, стиснуло, ожгло холодом.

Вода! Он хлебнул воды! Тонет!

Кто-то тащил его за ногу в глубину. «На крючке! Зацепило! Пропал!» — и почувствовал легкий укол в голень — рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность: «Тогда что ж… Тогда все…» Но был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолить не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников изложены в одну сторону: «У райских врат стучаться бесполезно…»

Игнатьич выбил себя наверх, отплюнулся, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в нее и уже по хребтовине тетивы подтянулся к лодке, схватился за борт — дальше не пускало — в ноги воткнулось еще несколько уд спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула становую якорницу, увязывала

самолов, садила в себя крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к ее корпусу, но уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою спины, заостренной мордой, будто плугом, вспахивала темное поле воды.

«Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» — слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в Бога не веровал, над дедушкиными наказами насмехался. И зря. На всякий, ну хоть бы вот на такой, на крайний случай следовало держать иконку, пусть хоть на кухоньке, в случае чего — на покойницу-мать спереть можно было — завещала, мол.

Рыба унялась. Словно бы ощупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт — все живое к чему-нибудь да жмется! Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных в теле удами и крюком-подцепком, она щупала, щупала что-то в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся, показалось, рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его заживо. Он попробовал отодвинуться, перебираясь руками по борту

накренившейся лодки, но рыба продвигалась за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто перепиливала надребье тупой ножовкой и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в раззявленный рот, точно в отверстие мясорубки.

И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло надобно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь — на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет отпуститься от борта лодки! И все! Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему…

«Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» — ловец крепче сжал твердый борт лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться

за такой близкий борт такой невысокой лодки!

Потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнуло ногу рыбака. «Да что же это такое!» — всхлипнул Игнатьич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался: рыба засыпает, уморило ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-вот опрокинется вверх брюхом.

Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему.

Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью, рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву, работала жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Морок успокоительного сна накатывал на человека, утишая его тело и разум.

Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один — медведь, волк, рысь — грудь в

грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет — у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно-сытые глаза — такое-то на свете бывало ль?

Хотя на этом свете все и всякое бывало, да не все людям известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой в глубь реки, будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вон старик-то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду, и с концами. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнет куда…

Однажды он видел утопленника. Тот на дне реки лежал, подле самого берега. Выпал, должно быть, с парохода, почти к суше прибился, да не знал того и сдался. А может, сердце отказало, может, пьяный был, может, и другое что стряслось — не выспросишь. Глаза утопленника, подернутые свинцовой пленкой, пленкой смерти, до того

были огромны и круглы, что не вдруг и верилось, будто человечьи то глаза. Разгляделся Игнатьич, съежился — так велики, так уродливо вывернуты глаза утопшего оттого, что рыбка-мелочишка выщипала ресницы, веки обсосала, и ушли рыбешки под кругляши глаз. Из ушей и ноздрей человека торчали пучками хвосты сладко присосавшихся к мясу налимишек и вьюнов, в открытом рту клубились гальяны.

— Не хочу-у! Не хочу-у-у! — дернулся, завизжал Игнатьич и принялся дубасить рыбину по башке. — Уходи!

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила воду, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, достал подбородком борт, завис на нем. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слыхать.

И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть.

— Ну что тебе! — дребезжал он рваным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе

не предполагал. — Все одно околеешь. — Подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: — Уснешь. Смирись! Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? — И задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: — Бра-ате-ельни-и-и-ик!..

Прислушался — никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытье. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем обескровел. Рыбу повернуло боком — она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не крякали, лишь поскрипывали, будто крошка-короед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.

На реке чуть посветлело. Далекое небо, луженное изнутри луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное сено, почему-то не сметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение.

Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретой слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки

проник наверх.

Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно ночью. Лучше наверх, на небо смотреть.

Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченный или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, теплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же все желтое-то? Безголосое? Лишь звон густеет — ровно бы под каждым стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! — очнулся Игнатьич. — Может, я уж на дне? Желто все…»

Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал — рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь.

«Да уж не оборотень ли это?!»

По тому, как вольготно, с сытой леностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом,

будто закусывая пластиком капусты, упрямое стремление ее быть ближе к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картечины глаз, катающиеся без звука под панцирем лба, отчужденно, однако ж не без умысла вперившиеся в него, бесстрашный взгляд — все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, греховное, человечье есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной.

Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушачьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в плотно западающую щель, то отрыгивающее воду в трубку, рот похож на что-то срамное, непотребное. Чего у него еще было, кроме стремления кормиться, копаясь в илистом дне, выбирая из хлама козявок?! Нагуливала она икру и раз в году терлась о самца или о песчаные водяные дюны? Что еще было у нее? Что? Почему же он раньше-то не замечал, какая это отвратная рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо ее, сплошь в прослойках свечного, желтого жира, едва скрепленное хрящами, засунутое в мешок

кожи — все-все отвратно, тошнотно, похабно!

И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, и не было. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы. На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а сам на реке пребывает, сердце дергается, ноги дрыгаются, кость в теле воет — она, рыба, поймалась, идет! Сколь помнит себя, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой клятой. На Фетисовой речке родительский покос дурниной захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал — некогда. Был председателем школьного родительского комитета — содвинули, переизбрали — не заходит в школу. Наметили на производстве депутатом в поссовет — трудяга, честный производственник, и молча отвели — рыбачит втихую, хапает, какой из него депутат? В народную дружину и в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их, воспитывайте, ему некогда, он все время в погоне. Давят машинами, режут ножами людей, носятся по поселку одичалые пьяницы с ружьями и топорами? Его не достанешь! Ан и достали! Тайку-то, любимицу!..

А-ах ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубиное — всмятку. Девочка небось в миг последний отца родимого, дядю любимого пусть про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали?

Опять дед вспомнился. Поверья его, ворожба, запуки: «Ты как поймать, Зиновей, малу рыбку — посеки ее прутом. Сыми с уды и секи да приговаривай: «Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жану!» Посеки и отпущай обратно и жди. Все будет сполнено, как ловец велел». Было, сек прутом рыбину, сперва взаправду, подрос — с ухмылкой, а все ж сек, потому что верил во всю эту трахамудрию — рыба попадалась и крупная, но попробуй разбери, кто тут тятя, кто тут дядя и кто дядина жена… Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым. «А ешли у вас, робята, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество — не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды — отпушшайте сразу. Отпушшайте, отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье».

Ни облика, ни подробностей жизни деда, ни ка-

кой-нибудь, хоть мало-мальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот другорядь за сегодня вспомнился. Припекло! Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило?

Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий хрящевину башки, желтые и синие жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, оборонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.

Пробил его крестный час, пришла пора отчитаться за грехи.

… Глашка Куклина, девка на причуды и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный осетровый череп приспособить вместо маски, да еще и лампочку от фонарика в него вделала. Как первый раз в темном зале клуба явилась та маска, народ едва рамы на себе не вынес. Страх, как блуд, и пугает, и манит. В Чуши с той поры балуются маской малы и велики.

С Глашки-то Куклиной все и начинается.

В сорок втором году на чушанскую лесопилку пригнали трудармейцев — резать доски на снарядные ящики. Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенантик, из госпиталя. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее, и потекли по Чуши склизкие слухи.

Игнатьич, тогда еще просто Зинка, Зиновий, или Зиновей, как звал его дедушка, за жабры присуху-Глашку и к ответу. На грудь ему Глашка пала: «Сама себя не помнила… Роковая ошибка…» — «Ошибка, значит? Роковая! Хор-рошо-о! Но за ошибку ответ держат! За роковую — двойной!» Виду, однако, кавалер никакого не показал.

Ближе к весне боевого командира из тыла отозвали. Вздохнули мамы с облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка оживляться начала, а то как не в себе пребывала.

В разлив, в половодье, когда ночи сделались совсем коротки и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и по лугам считай что круглосуточно, младой кавалер увел Глашку за поскотину, к тонко залитой вешнею водой пойме, прижал девку к вербе, оглоданной козами, зацеловал

ее, затискал, рукою полез, куда велели мужики, науськавшие парня во что бы то ни стало расквитаться с «изменщицей». «Что ты, что ты! Нельзя!» — взмолилась Глашка. «Лейтенанту можно?! А я тоже допризывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану!»

Как он Глашке про лейтенанта брякнул, она и руки уронила.

Поначалу-то он забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый, в сгармошенных сапогах, орден и значок на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем горит! Это как стерпеть? Как вынести ревнивому сердцу? Трусовато оглядываясь, кавалер сделал то, чему учили старшие дружки: поставил покорную девку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые штанишки, крашенные домодельной краской, с разномастными, колотыми вальком, пуговицами, эти пуговицы и запомнились сильней всего, потому что бедный девичий убор приостановил было пакостные намерения. Но уже хотелось изображать из себя ухаря, познавшего грех, — это придавало храб-

рости мокрогубому молодцу. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчонке коленом в зад, и она полетела в воду. Пакостник с мозгой — место выбрал мелкое, чтоб не утонула часом ухажерка, послушал, посмотрел, как белопузой нельмой возится, шлепается на мелководье девчонка, путаясь в исподине, словно в неводе, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусовато посеменил домой.

С той поры легла между двумя человеками глухая, враждебная тайна.

Отслужив в армии в городе Фрунзе, Зиновий привез с собой жену. Глаха тем временем тоже вышла замуж за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале. Жила Глаха с мужем скромно, растила троих ребят. Где-то в глубине души Игнатьич понимал, что и замужество ее, и вежливое «здравствуйте, Зиновий Игнатьевич!», произнеся которое Глаха делала руки по швам и скорее пробегала, — все это последствия того надругательства, которое он когда-то над нею произвел.

Бесследно никакое злодейство не проходит, и то, что он сделал с Глахой, чем, торжествуя, хвастался, когда был молокососом, постепенно

перешло в стыд, в муку. Он надеялся, что на людях, в чужом краю все быльем порастет, но, когда оказался в армии, так затосковал по родным местам, такой щемящей болью отозвалось в нем прошлое, что он сломался и написал покаянное письмо Глахе.

Ответа на письмо не пришло.

В первый же по приезде вечер он скараулил Глаху у совхозного скотного двора — она работала там дояркой, сказал все слова, какие придумал, приготовил, прося прощения. «Пусть вас Бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезьми высочились. — Глаха помолчала, налаживая дыхание, устанавливая голос, и стиснутым горлом завершила разговор: — Во мне не только что душа, во мне и кости навроде как пусты…»

Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из Чуши, неосознанно надеясь смирением, услужливостью, безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря сказывается: женщина — тварь Божья, за нее суд и кара особые. До него же, до Бога, без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик, — им останься! Не

раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не обманывай. Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Значит, всякому свое, а Богу — Богово! Освободи от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею пакости.

— Прос-сти-итеееее… — не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, изорванно засипел он. — Гла-а-аша-а-а, про-сти-и-и. — И попробовал разжать пальцы, но руки свело, сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. «Не все еще, стало быть, муки я принял», — отрешенно подумал Игнатьич и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся…

Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла — все слилось воедино, остановилось и начало каменеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, боль, муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий,

покойный, и только тот, что так давно обретался там, в левой половине его груди, под сосцом, не соглашался с успокоением — он никогда его не знал, сторожился сам и сторожил хозяина, не выключая в нем слух. Густой, комариный звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы — под сосцом в еще не остывшем теле ткнуло, вспыхнуло, человек напрягся, открыл глаза — по реке звучал мотор «Вихрь». Даже на погибельном краю, уже отстраненный от мира, он по голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанью, хотел крикнуть брата, но жизнь завладела им, пробуждала мысль. Первым ее током он приказал себе ждать — пустая трата сил, а их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут рыбаки на концах, тогда зови-надрывайся.

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откачала ее когда-то из черной, мягкой икринки, баюкала в дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучая в брачные времена, в таинственный час икромета.

Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, на-

щупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду, и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд. Яростная, тяжело раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся волшебную царь-рыбу.

«Иди, рыба, иди! Поживи, сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» — молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу — оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения.

Летит черное перо

Меж речками Сурнихой и Опарихой возникла палатка цвета сибирских угольно-жарких купав. Возле палатки полыхал костер, по берегу двигались туда-сюда люди молодецкого телосложения в разноцветных плавках. Они оборудовали на обдуве стан, мастерили ловушки, бодро напевая: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново...»

Местные браконьеришки досадовали — опять нагрянули туристы-транзисторщики, которым сделались подвластны необъятные просторы любимой Родины из конца в конец. На «просторах» они так резвятся, что за ними, как после Мамаева войска, — сожженные леса, загаженный берег, дохлая от взрывчатки и отравы рыба. Оглушенный шумом и презрением, местный народишко часто бывает вынужден бросать дела свои, детей и худобу, потому как дикие туристы бойки на язык, но знать мало чего знают, уметь совсем почти ничего не умеют, блудят и мрут в тайге — ищи их всем народом либо вынай из реки утопленниками.

На сей раз высадились на дикий берег Енисея не туристы, а деловой народ, одержимый иде-

ей — для себя выгодно и для здоровья полезно — провести заслуженный отпуск. Где-то прослышали городские люди, что в местах чушанских, в стране вечнозеленых помидор и непуганых браконьеров, как называл родные берега Командор, кишмя кишит рыба стерлядь, ловят ее чуть ли не тоннами с помощью примитивной и дурацкой снасти под названием самолов, уды которого даже засечки, по-деревенски — жагры, не имеют. Меж тем стерлядь, по женской дурости, играя с пробкой, цепляется на уды и замирает — бери ее и ешь или продавай, словом, что хочешь, то и делай.

Их было четверо, не старых еще людей труда умственного, конторского — так заключили чушанцы, ревниво приглядывающиеся ко всякому человеку, целившемуся что-либо изловить и унести с Енисея. Всю здешнюю округу чушанцы считали собственной, и всякое намерение пошариться в ней расценивалось ими как попытка залезть к ним в карман, потому нечистые намерения разных налетчиков пресекались всеми доступными способами.

Возглавлял приезжих отпускников картавый мужчина с весело сверкающими золотыми зубами, с провисшей грудью, охваченной куржачком

волос. Связчики в шутку, но не без почтения именовали его шефом, а всерьез — зубоставом.

— Ну, как гыбка, мужички? — свойски хлопая чушанских браконьеришек по плечу, поинтересовался зубостав.

Перед тем как приниматься за самоловы, чушанские хитрованы непременно подворачивали на огонек — покурить, узнать, как протекает жизнь на магистрали. На самом же деле — выведать, что за люд нагрянул, не соглядатаи ли?

Год от года жизнь браконьеришек тяжельше делается: рыбоохрана, особенно из края которая, страсть какая ушлая стала. Аппарат придумала — наставит, и все, что думаешь и собираешься делать, узнает, наука, одним словом.

— Рыбка-то? — шарился в голове чушанец. — Рыбка плавает по дну, хрен достанешь хоть одну!..

— Ну, уж сразу и хрен! Ни хрена-то у нас и дома до хрена! Такие места! — втягивали в разговор чушанца приезжие, угощая сигаретками.

Ощупью подбираясь, тая в глубине насмешку, считая простофилями супротивника и хитрецами себя, чушанцы и отпускники в конце концов уяснили, что союзно им не живать, однако пригодиться друг дружке они могут. Приезжие, не

жалея добра, накачали Дамку и Командора спиртом, и те смекнули, что у одного из молодцов жена или теща работает в больнице, может, кто из них и фершал, и всамделишный зубостав, — золотом вся пасть забита, оскалится — хоть жмурься, — стало быть, стесняться нечего, успевай дармовщинкой пользоваться. Дамка и ночевать остался возле городских, делясь с ними «опытом», хвастаясь напропалую: «Гимзит, прямо гимзит стерлядь, когда ей ход! Да вот не пошла еще. Ждем. Сколько ждать? — Дамка вздымал рыльце в небо и кротко вздыхал: — Тайны природы! Одной токо небесной канцелярии известныя!»

Приезжие терпеливо ждали, изготавливали концы, насаживали крючки, между делом азартно дергали удочками вертких ельцов, мужиковатых, доверчивых характером чебаков, форсисто-яркого, с замашками дикого бандита, здешнего окуня, вальяжную сорогу, которая и на крючке не желала шевелиться, ну и, конечно, ерша, всем видом и характером смахивающего на драчливых детдомовцев.

Пробовали наезжие рыбаки удить хариуса и ленка на Сурнихе и в Опарихе, однако успеха не имели. Комар выдворил их из глушины черноле-

сья. Отпускники бежали с речки так поспешно, что и удочки вместе с лесками там побросали. Удочки немедля отыскали местные рыбаки и смотали с них редкостную жилку под названием «японская».

Чушанцы уже изрядно пообобрали отпускников: чего выцыганили, чего потихоньку увели, так как наезжие держались вольно, разбросав имущество вокруг стана, по берегу, а глаз чушанца всегда и все, что худо лежит, немедленно уцеливал, натура не позволяла через бесхозяйственно лежащее добро переступать.

Время шло, двигалось. Браконьеришки подолгу висели ночами на концах, но утешительных известий не приносили — стерлядь, да еще ангарская, которая «в роте тает», не шла.

Принялись отпускники чебаков и другую черную рыбешку вялить на солнце. Полный рюкзак набили. С пивцом ее зимой да за дружеской беседой — ах, Господи, Боже мой! Вот еще стерлядочки дождутся, центнерок-другой возьмут — больше не надо, не хапуги, половину реализуют, половину по-братски меж собой разбросают, покоптят, ящичек железный, коптильный, так и быть, подарят этим дремучим людям.

Спиртик меж тем подошел к концу. Дамка и

следом за ним Командор отвалили от палатки, повыгоревшей на солнце и уже не полыхающей жарком. Всякие иные чушанцы тоже утратили интерес к приезжим.

«Значит, стерлядь пошла и охламоны таиться начали!» — осенило отпускников, и они поскорее выметали три самолова. Чтобы не потерять их, наплава повесили, все же опыта нет, вслепую ловушки не найти. Зато самоловы у приезжих рыбаков — не самоловы — произведения искусства! Пробки крашены в разные цвета, чтоб видней было рыбе. Коленца навязаны, правда, как попало и разной длины, вместо якорниц каменюка. Да в этом ли суть? Стерляди, раз она такое игривое дитя, главное — пробка, яркая, пенопластовая, современная, не та, что у чушанских аборигенов, — у них пробки еще доисторической эпохи, когда бутылки закупоривались не железной нахлобучкой, а корой какого-то дерева, чуть ли не из Африки завозимого.

Глядя на такие роскошные ловушки, местные браконьеришки пожимали плечами, охотно соглашались: «Конешно, конешно! Где нам? Те-о-о-ом-ность…» Что правда, то правда: дремучестью веяло от этих людей, болотным духом на версту несло.

За сутки на три конца попал пестрый толстопузый налим, живучий, он долго не давался в руки. Четыре уды кто-то оторвал, еще четыре поломал.

— Осетг-звегюга! — тщательно обследовав самолов, корни обломанных уд и рваные коленца, дрожащим голосом объявил шеф. Артелью решено было переставить самоловы на самый стрежень — как и всем малоопытным рыбакам, им мнилось — чем дальше в реку, тем больше рыбы.

Поздней ночью отпускники закончили трудную работу по перестановке ловушек, подвернули к стану, там их Командор поджидает.

— На фарватер не лезьте! — предупредил он и отчужденно добавил: — Под пароход ночью попадете! По реке лишка не рыскайте. Закрестите наши концы — на себя пеняйте! — и выразительно поглядел под ноги, возле которых лежало у него ружье со стволами двенадцатого калибра. Сказал и рванул на дюральке в Чуш. Волна за лодкой бодрая двоилась, в носу лодки, под завязку полный, хрустел, шевелился мокрый мешок, по-ранешнему — куль.

Примолкли отпускники — уж больно бандитская харя у джигита. Но шеф на то он и шеф, чтоб силу и дух в коллективе поддерживать, много-

значительно сощурив глаза, проговорил:

— Так-так-так! — и стукнул кулаком себя по колену: — Темнит, загаза! Есть тут место. «Золотая кагга» называется. Усечем — боится! Гужьем запугивает, хамло! О-о-ох и наглец! Пока спигт пил — дгуг тебе и бгат, не стало спигту — вгаг!

Лето в середину валило, теплынь, солнце! Прямо за палаткой, вдоль пышной оборки прибрежных кустов, пучки, как какие-нибудь зонтичные растения в джунглях Амазонки, вознялись высокущие, мохнатые, лопушистые! В широко цветущих зонтах дремали шмели и бабочки, на них охотились пичуги, суетились, выбирая из гущи соцветий мушек, тлю и всякий корм детям. Марьин корень дурманом исходил по склонам берегов, лабазник в пойме речки набух крупкой, цвел молочай, дрема, вех, бедренец и всякий разный дудник, гармошистые листья куколя, все время бывшие на виду, потухли в громко цветущем дурнотравье, и все ранние цветки унялись, рассорив лепестки по камням берега. Ароматы голову кружили. Теплынь! Нега! Э-эх, девочек не прихватили! Да какая с девочками рыбалка? Блуд один. Бог с ними. Вот наловят стерлядки, накоптят, навялят и такое в городе устроят!..

Будет, все будет. Надо верить и надеяться. А

пока вечерком таскали окуней, ельцов и чебаков, жарили их по-таежному, на рожне, попросту сказать, на сучках, ели где сырое, где обугленное — не очень-то вкусно, зато экзотично. Поели, запели: «Й-я лю-ублю-у-у тебя, жизнь!..» Сладостные предчувствия, накатывающие на человека во время цветения природы, сулили нечто необыкновенное, томили, словно в юности, накануне первого свидания. И только комары — наказание человеку от природы за его блудные дела и помышления, не давали полностью отдаться природе и насладиться ею до конца. Они даже в палатку набивались, проклятые. Не раз сшибали отпускники палатку со стояков, норовя кулаком попасть в эту махонькую скотинку, способную довести человека до нервных припадков.

Утром, под прикрытием легкого парка, дымящегося над рекой, отпускники выплыли на концы с предчувствием удачи и сняли трех стерлядей — засеклись какие-то дуры. Посчитав, что начался ход ангарской стерляди, они решили отметить первую удачу ухой, с дымком и коньячком, утаенным от алчных чушанских самоедов.

Когда я читаю либо слышу об ухе с дымком, меня непременно посещает одно и то же не очень радостное воспоминание, как одноглазый мой

дед Павел лупил меня палкой за уху, пахнущую дымом, потому что дымом она может пахнуть только по причине разгильдяйства: из-за сырых и гнилых дров, да еще когда котел в ненагоревший костер подвесишь иль зеворотный повар не закроет варево крышкой. И уголь бросают в котел вовсе не для вкуса — опять же по нужде — березовый уголек вбирает в себя из пересоленного варева соль, очень маленько, но вбирает.

Однако Бог с ней, с кухней и с ее секретами. Уху во всех землях и краях варят со своей выдумкой, а где и с фокусами, хотя и мудрить-то вроде не над чем и незачем.

Отпускники не варили уху — священнодействовали. Ознобно дрожа от предчувствия редкостной еды, один из приезжих рыбаков потрошил стерлядь, другой навешивал круглый, наподобие военной каски, котел на таганок, в котором белела картошка и луковки да сиротливо плавал лавровый лист и черный перец горошком, непременно горошком — от молотого, по их разумению, не тот вкус. Двое рыбаков настаивали под яром коптилку, для начала, в порядке опыта, «зарядив» ее чебаками, чтобы после, когда хлынет стерлядь, не терять времени.

Сварив уху, отпускники бережно водрузили

котел на плоский камень, расположились в братский круг, сдвинули чаши.

— За осетга! — возгласил шеф и хряпнул благородный напиток, не звездочками — арабскими закорючками, будто золотистыми осами, облепленный. Не успел шеф занюхать напиток и, благоговея, черпнуть ушицы ложкой, как увидел летящую по реке дюральку. — Вот ведь охламоны, — шлепнул себя шеф по голой ляжке, пришибив попутно слепня, — вот козлы! Выпивку чуют, будто слепни кговь! — и, бросая битого слепня в огонь, велел спрятать бутылку.

Лодка не минула их, ткнулась точно против стана. К костру, разламывая хрустящие ноги, приблизился незнакомый чернявый мужик с неулыбчивым костлявым лицом и командирской кожаной сумкой на боку. «Харюзятник! Комаров идет кормить на речку», — по сумке заключили отпускники.

— Здравия желаю! — сказал приезжий и стрельнул приметливым глазом в котел. Усевшись на камень, он перебросил сумку на живот, добавил: — Приятно кушать!

— Спасибо! — сдержанно отозвались рыбаки. Приглашать незнакомца к столу не стали — хватит с них, потравили выпивки и харчей

«самоедам».

Потирая ладонью поясницу, незнакомец оглядел где и как попало разбросанное имущество, чуть задержал взгляд на новой лодке, на «Вихре» и поинтересовался бесцветным, как бы даже больным голосом:

— Это ваши концы висят под наплавами?

Переглянувшись меж собою, отпускники насторожились. Но шеф развеял в прах настороженность решительным и едким ответом:

— Они вашим мешают, да?

Незнакомец не отозвался. Он выскреб из огня уголек, заложил его в изожженную трубку и, забыв уголек там — для вкуса — догадались горожане, тем же бесцветным, несколько даже удрученным голосом молвил:

— Думаете, без вас здесь рвачей недостает?..

— Ну, ты это… подбирай выражения!

— Люди из самого краевого центра, видать, образованные, — покачал головой незнакомец, — и сразу «ты»! Небось в городе блюдете себя. Здесь, значит, все можно? Красть, грубить, распоясываться. Тайга, темь, начальства нету…

Зубостав скривил презрительно губы, обращаясь к своей бригаде:

— Видали! И здесь воспитывают! — и сурово

спросил: — Ты сколько сегодня выжгал, охламон?

У незнакомца дернулся рот, беспомощно и горько задрожали веки, но губы тут же сжались, резче означив отвесно стекающие к подбородку складки, худая рука крепче стиснула трубку.

— Щенок! — сказал он тихо. — Где ты служишь, кем руководишь, не знаю и знать не хочу, но слюни следовало бы тебе утереть, прежде чем допускать до руководящего-то дела! — и вдруг решительно, по-чапаевски взмахнул рукой, будто сгребая всю компанию с берега: — А ну вон, к чертовой матери с реки! Чтоб ни духу, ни вони вашей здесь через час не было!.. — и уехал, за мыс Опарихи с лодкой зашел.

— Н-ну, бгатцы-ы! — опомнившись, развел руками шеф. — Уж какого нагоду в зубопготезном кгесле ни пегевидал, но с такой поганой пастью...

— Дать ему надо было, чтоб на лекарства всю жизнь работал!..

— По виду, он и так на уколах живет.

— Наркоман?

— Ладно, если наркоман. Что, как рыбинспектор?

— Егунда! Испектога здешнего я знаю. Семен,

инвалид войны. Миговой мужик…

— Значит, снова самоед! Ну мы ему…

Незнакомец вернулся точно через час. На берегу все как было, так и есть: барахло повсюду; сытая пьяная артель в тенечке спала, и слепни ее доедали.

Распинав шефа, незнакомец сказал:

— Вам чё говорено было?

Зубостав на него пялился, ничего со сна не понимая. Наконец продрал глаза, возмутился:

— Опять ты! Ну-ну, знаешь… всякому тегпенью… Счас я гебят подыму, мы тебе устгоим…

— На, нюхай! — к заспанным глазам зубостава поднесли удостоверение, костром и рыбой пахнущее. Поморщился зубостав: до чего все тут одинаково пахнет! И два раза прочел, не понимая со сна, что читает: «Рыбинспекция, Черемисин, рыбинспекция, Черемисин». — Внял?!

Шеф засуетился, отыскивая курево, — правы были ребята. Смываться следовало, пока дядя добрый…

— Будите своих соратников. Подымайте из воды концы. Я тем временем картинку вам на память нарисую, — объяснил Черемисин. — Не понимаете человеческих-то слов, сопляки! Себя только уважаете! Так я вас еще и законы уважать

научу!..

Зубостав заюлил, пробовал извиняться, коньячку предлагал, намекал, что, если надобность в больнице есть иль в лекарствах, — всегда пожалуйста. Черемисин, у которого посинели губы, — сердце, видать, сдает, брезгливо и горько скривился:

— Фамилия? — нацелившись в книгу актов дешевой шариковой ручкой, сверкнул он цыганскими глазами. Шефу сделалось одиноко, запрыгала мыслишка придумать фамилию. Но Черемисин — тертый-перетертый тип — угадал это нехитрое намерение: — Соврете — под землей сыщу!

Скоро все было закончено. «Картинка» в трех экземплярах нарисована, один, самый мутный экземпляр — истерлась копирка у рыбинспектора, много работы — был обменян на двести двадцать пять рублей штрафа. На всю катушку выдал Черемисин: по пятьдесят рублей за каждый самолов, по двадцать пять за каждую стерляжью голову, да еще и наставление в добавку бесплатное:

— Чтоб не тыкались! Чтоб помнили: земля наша едина и неделима, и человек в любом месте, даже в самой темной тайге, должен быть человеком! — въедливо, по слогам повторил, подняв

кривой, от трубки рыжий палец: — Че-ло-ве-ком!

Стоя по команде «смирно», отпускники безропотно внимали речи рыбинспектора Черемисина.

— У нас денег нету, — пролепетал один из рыбаков, бережно держа в руках «картинку», — рыбой надеялись прожить…

— Лодку, мотор продадите, — подсказал Черемисин, — на штраф, на похмелье хватит, да и на дорогу еще останется…

Так и сделали отпускники, мотор продали, лодку продали, пили с горя на дебаркадере и пели, но уже не «Я люблю тебя, жизнь», все больше древнее, народное.

Пили-пили, пели-пели, сцепились ругаться, разодрались, выбросили шефа-зубостава с дебаркадера в Енисей. Он был пьяный и утонул бы, да, на его счастье, в ту тихую вечернюю пору катались по реке приезжая студентка в оранжевом свитере с местным кавалером, крашенным под старинный медный чайник. Доморощенный чушанский битла, чего-то блаживший на английско-эвенкийском наречии, отложил гитару, поймал за шкирку шефа и подтянул его на лодке к суше. Дальше шеф полз уже сам, клацая золотыми зубами, завывая, горло его изрыгало

мутную воду.

Чушанские браконьеришки, праздно расположившиеся на берегу с выпивкой, — новый рыбинспектор держал их на приколе, — наблюдая, как корежит приезжего человека «болесь», сочувственно рассуждали:

— С постного-то хеку да сразу на ангарскую стерлядь!.. Како брюхо выдержит?

— Гай-ююю-гав!

Я б забыл эту скорее грустную, чем веселую историю, поведанную мне бывшим фронтовиком Черемисиным, но от дурашливой пакости до мерзкой жестокости — шаг в общем-то меньше воробьиного, и я продолжу рассказ о том, как пакость и забава могут перерасти в немилосердное избиение природы.

За несколько дней до отъезда в Сибирь, по вызову брата, я прочел в центральной газете статью о том, как два школьника изловили в ботаническом саду Московского университета нарядного жирного селезня и свернули ему голову. Уже будучи в Чуши, еще раз удосужился слышать о том несчастном селезне по радио. Шел радиосуд над злоумышленниками. В присутствии знатных людей, артистов, ученых и, конечно, родителей их секли словесно. Вспомянуто было, и не раз,

как потерявший облик московский кирюха увел из зоопарка доверчивого лебедя и употребил его на закуску.

Из парнишек, учинивших злодейство, едва ли который наложил на себя руки — они нынче не очень-то боятся радио и всякого там общественного суда, скорее всего буркнули: «не бу бо», и все, но вполне допускаю мысль, что родители, которые посовестливей, послабже духом, могли и занемочь, шутка ли — срамят на всю страну, общественность Москвы поднялась за селезня, как всегда дружно, всколыхнулись пенсионеры.

Не противник я воспитывания людей с помощью газет, радио и других могучих средств пропаганды, но после того, как нагляделся на браконьеров в Сибири, оплакивание селезня мне кажется барственно-раздражительной и пустой болтовней.

И кабы распоясывались, злодействовали только одни бродяги да рвачи! На Оби, в Нарымском крае, электрик, вызванный починить проводку в доме работника местного правосудия, обнаружил на чердаке больше сотни убитых и подвешенных «обветриваться» лебедей. На лебедятинку потянуло зажравшегося служителя северной Фемиды, да и пух лебединый ныне в большом ходу и цене

— модницы приспособили его на зимние муфты и всякие другие наряды, что не мешает им, глядя на балетного умирающего лебедя, ронять под печальную музыку Сен-Санса горькие слезы — ранит их искусство.

Пролет гусей на том же Енисее часто совпадает с ледоходом. Подранки сплошь «перетягивают» через заберегу, падают на прососанный водою и туманами лед, становятся добычей ворон, растираются льдинами. Патроны здешние мужики заряжают все еще по старинке, на глаз: горстью, меркой, отпиленной от старой гильзы, либо чайной ложкой. О том, что у бездымного пороха короткий срок действия, многие охотники не ведают. «Шшалкат, понимаешь, по костям, слышно, как шшалкат, гусь колыхнется, понимаешь, и летит! Порох худой стали делать, шибко худой. Раньше, бывало, за сто сажен саданешь — мячиком катится… Может, и ружье заговорено».

Вокруг Чуши выследили и перебили охотники воронов — редких таежных птиц-санитаров: если кровью ворона, по поверью, смазать стволы ружья — порон хороший будет…

Я нарочно рассказал чушанцам о погублении московского селезня и о суде над злоумышленниками.

— Делать-то нечего, вот и болтают чево попало, — было общее заключение.

— Дурак он, селезень-то! Зачем сял в Москве? Суда бы летел, — поддразнивая меня, сказал Командор.

Есть зоопарки, пруды, заказники, заповедники, где птица, зверушка и всякая живность существует для того, чтобы на них смотрели, изучали, а то ведь от таких орлов, как они, детям голая земля достанется, пояснял я.

— Чё на них, на птиц-то, дивоваться? Птиц стрелять надо! Варить. Дети в телевизор их глядят пусть.

В этих словах не только злая усмешка, кураж, но и напоминание: деды и прадеды добывали дичь круглый год, выбирали яйца из гнезд, ловили линялого гуся в тундре, лупили уток-хлопунцов, еще не ставших на крыло, ладили петли и слопцы на глухаря, самострелы на лося, оленя и медведя и привыкли жить по самонравному закону: что хочу, то в тайге и ворочу!

Кто, как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе? На Севере люди не готовы повсеместно к бережливому промыслу. Да мы сами-то готовы ли? Пощупайте себя за голову — на ней шапка

из ондатры, или из соболя, или из белки, гляньте на вешалку — там шубка из выдры, пальто с норковым, куньим или хорьковым воротником, муфточка и шапочка снежной белизны из натеребленного лебяжьего пуха. А всегда ли это добыто трудовыми, промысловыми, не рваческими руками?

Промысел — работа тяжелая, и те, кто добывает пушнину в тайге и в тундре, этим живут, это их способ существовать, зарабатывать на жизнь. И не о них речь.

Осень тысяча девятьсот семьдесят первого года по всей России выдалась затяжная. И в Сибири — неслыханное дело! — почти до декабря не было снега. На пустынную таежную реку Сым хлынула никем не учтенная, нигде не зарегистрированная орда стрелков, не признающая никаких сроков и правил охоты.

Начавшись в Приобской низменности, через тысячу с лишним километров Сым спокойно сливает свои желтоватые, торфом отдающие воды с Енисеем. Встречь Сыму с приенисейской левобережной низины течет к Оби, в Нарымский край, река Тым. Он чуть длиннее Сыма, полноводней — так вот два брата «в одном вагоне в разные стороны едут!» — природа поровну распределила

воды, богатства и дары свои. Справедлива, мудра, терпелива наша природа, но и она содрогнулась, оглохла в ту осень от грохота выстрелов, ослепла от порохового дыма.

На лодках, с бочками горючего, с ящиками боеприпасов, с харчами в багажниках двинули налетчики вверх по Сыму, в глушь молчаливой тайги. Нет на Сыме ни инспекторов, ни милиции, никакого населения, но охотники все равно врозь правятся, боясь друг дружки, крадутся по реке, норовя разминуться со встречной или обгонной лодкой, сворачивая в протоки, за островки, лайды.

Когда-то были на Сыме станки, деревушки и промысловые пункты, но рыбаки и охотники держались жилого места до тех пор, пока твердо стоял на земле крестьянин-хлебопашец. Крестьянин — он не только кормилец, он человек оседлый, надежный, он — якорь жизни. Земли по побережью Сыма и Тыма непроходимы, болотисты, однако же так пространственны, что любой человек тут найдет себе подходящее место хоть для пашни, хоть для огорода, о промысле и говорить нечего. Беломошные сосновые боры, чистые кедрачи шумят малахитовым морем, роняют шишку наземь, сорят ягодой, преют грибом;

лебединые озера, журавлиные болота, рыбные речки, ледяные кипуны — все полно пушным зверем: белкой, соболем, колонком, горностаем, непуганой боровой птицей.

Военное лихолетье коснулось и таежного Сыма. Снялись с него, ушли на Енисей колхозники. За ними потянулись осторожные промысловики, завершают уход еще более осторожные и потаенные старообрядцы. А тайга, особенно северная, без человека совсем сирота, да и таежные богатства ох как нынче нужны. Разве дело, что сельское, таежное и всякое население стало кормиться из магазина, а не с лесной кладовой, не с поля, не с огорода?!

Само собой, ребятишек и таежных надо учить, без грамоты ныне и лесному человеку некуда податься. Хлеба, картошек, сахаришку, мотор, лодчонку, всякий припас и провиант промысловику лучше самому запасти и купить в заготпушнине или в рыбкоопе, не ждать, когда прибудет на кунгасе всем примелькавшийся, всем до смерти надоевший чванством и «умственностью», лишь на Севере обитавший, «полномошный» человек под именем Захар Захарыч или Иван Иваныч. Малограмотный, языкастый мужичонка с лукавыми глазами, суетливым характером и липкими рука-

ми, которого так забаловали лесные люди, что он сам себя иванил-навеличивал. Пережив целую эпоху, сменив множество названий: приказчик, кооператор, завхоз, экспедитор, зав. базой, зам. нач., пом. нач., он, в общем-то, облика своего и нрава не переменил, все тот же плут и хват, и как шарился по Северу, будто по темному чердаку, еще при царе Горохе, так и продолжал здесь шариться до последних лет.

Но не пировать больше «полномошному» человеку средь таежных просторов, не творить безалиментно ребятишек в любезно перед ним распахнутых избах и чумах, не сидеть куражливо в красном углу, вещая разные «важнеющие» известия «по секрету».

«Неуж, как при царе Лексее, ишшо дальше в леса уходить придется?» — таращил порченные трахомой глаза старообрядец-отшельник. «Н-ну, покуль не трогайся. Покуль держись насиженного места. Если политицкий накал не ослабнет и ихние верх начнут брать, я дам знать...» — «Дак на тебя токо и надежда, милостивец! Токо тобой и живы. Ты уж не оставь нас. Коли нечистые двинут — сигналь! Сымемся. Уйдем. Бог милостив!..» — «Вот это ты зря! Каки милости? Какой Бог? Никакого Бога нету!..» — «Што ты, што ты,

радетель! — махал руками насмерть перепуганный таежник. — Ты хоть учена голова, но Бога не гневи! Ты уедешь, а нам с Богом оставаться, так што помилосердствуй!..» — «И-эх! — мотал головою огорченный «начальник». — Пню молились, двумя перстами крестились, ни черта со времен царя Лексея не переменились!» — и переходил к вопросам «мировой политики».

Тут уж не то чтоб перечить, кашлянуть люди боялись, дабы не пропустить ни слова. «Германец меня беспокоит главным образом, — озабоченно вещал «полномошный» человек. — Конешно, бит он, крепко бит, однако ж затаился, змей, помалкивает. А об чем помалкивает, поди узнай!..» — «Да-а, — тискали, терзали кулаками бороды староверы и громко крякали, — ситуяция! В тихом-то болоте оне, нечистые-то, и хоронятся...» И встревоженно интересовались: «Если, к примеру, нехристь какой двинет на Расею, дак дойдет ли до Сыма иль на кыргызе остановится?» Кыргызами таежники и по сю пору называют всех людей нерусского происхождения.

«И-эх! — снова впадал в удручение высокоумный гость. — Я имя про Фому, они мне про Ерему! Темь болотная...»

Выдавая охотнику положенный по ордерам

припас и принимая от него пушнину, «полномошный» человек напускал на себя вид небывалого благодетеля: «Первым сортом беру из исключительного к тебе уважения, — и, словно отрывая от сердца, вынал из заначки новое ружье: — Никому ни-ни! С самой Москвы достал, с особых фондов! У меня, брат, всюду рука!..» — «Да, Захар Захарыч! Да век за тебя молиться…» — «Вот сапоги! В таких сапогах пока ишшо токо маршал Ворошилов ходит, ну еще какие ответственные лица, а я уж добыл! Припас, опять же! С припасом нонче ой-ей-ей! На оборону бережем. Коли пороху вдосталь — никакой враг не страшен. Норма кругом, фонды режут и режут, обстановка чижолая, холодная война разгорается и разгорается… Но тебе, как другу…»

Млел доверчивый трудяга-промысловик от таких почестей и особой доверительности к нему. Мешком валил Захар Захарычу шкурки, мясо, орех, а то и щепотку золотишка, «нечаянно» в кипуне найденного, — умасливал «отца-радетеля», и не ума ему, что ружья и сапоги давно есть в каждом городском магазине, черным порохом воистину еще при царе Лексее из фузей палили, остерегая отечество и престол, а за обман, обмер и обвес полагается Захар Захарычу тюрьма от

той самой власти, которою он козырял и которую представлял собою. Дело и впрямь не раз кончалось тем, что исчезал «таежный бог» — Захар Захарыч в неизвестном направлении лет этак на десять. Но вместо него тут же являлся Иван Иваныч — прозывались-то они по-разному, но молва про них хоть и тихая, да одинаковая по тайге катилась: «Где такие люди побывают, там птицы петь перестают…»

Но все это в прошлое откатило.

Обзавелся таежный человек мотором, дюралевой лодкой. Надо на промысел — два-три дня, и он на месте, в старой своей потаенной избушке. Семья же в поселке Чуш, на берегу Енисея, можно сказать, в центре культурной жизни, где ходят пароходы, самолеты летают, ревет бесплатно радио день и ночь, в клубе каждый вечер кино показывают, вино в магазинах хоть какое. Изба — не то лесное горе, слепое, под еловой корой. Изба, как у всех добрых людей, с окнами на три стороны, с верандой, с холодильником, с диваном и ковром. Говорят, к концу пятилетки и телевизор в Чуш проведут. Вот бы дожить. Самый бы дорогой телевизор купил и каждый день кино бесплатно смотрел. Тятя, поди-ка, в гробу переворачивается — не зря же он во сне является,

черным перстом грозит, губами синими шевелит — проклинает. Аж в поту холодном проснется старообрядец, осенит себя двуперстным крестом, да и живет во грехах и мирском смраде дальше. «Что поделаешь, культура наступат. Не можно дальше дикарями в лесу жить. Пусть хоть дети свет увидают…»

Катит промысловик по Сыму в глубь тайги, орешки пощелкивает, скорлупу за борт плюет. Все переулки и закоулки на реке он знает. В кармане, завязанный в целлофановый мешочек, договор на промысел у него хранится и всякий прочий документ. В лодке припасы, харчи, одежонка на зиму и, прости, Господи, прегрешения вольные и невольные, этот, как его, понеси лешаки, мудрено называется — транзистор! Дорогущий, холера! Девяносто с лишним! Коня в старое время на экие деньги купить можно было. А что делать? Как ни рыпайся, не устоишь против культуры, хуже чумы навалилась окаянная!

Старовер и всякий другой таежный промысловик идет на Сым, как домой, хозяином идет, никакой пакости и разбоя он в тайге не учинит. А вот мухота эта, «шыкалы» — как их Грохотало именует, пьяницы, барыги, почуяв дармовую наживу, лиха для прут на Сым. Все они работают,

деньги получают на производстве да норовят еще и от природы урвать что возможно, выкусить с мясом кусок — валят бензопилой кедры, бьют круглый год соболя, увечат зверя и птицу. Вон впереди грохот открылся, торопливый, заполошный — так промысловик никогда не стреляет. Так разбойник стреляет, ворюга!

Осень — бедствие боровой птице, особенно глухарю. От людей бедствие, от самых разумных существ, как их назвал радиотранзистор. Осенью боровая птица, глухарь в первую голову, вылетает на берега рек собирать мелкую гальку, которой перетирается хвоя, почки и другая лесная пища. Без этого «струмента» птице не перезимовать. На притоках Сыма, в глубине тайги и болот камешничок редок. Случалось, в зобу птицы и в пупке золотишко находили вместо гальки, и потому жены охотников никогда не выбросят пупок и зоб «без интересу», непременно его распластнут и посмотрят, чего в нем? Камешник, да еще особый какой-то, глухарю, видать, самый подходящий, белеет на обмысках, косах, осыпях по Сыму. Десятками собираются глухари — таежные отшельники по берегам. Глухарь здесь крупный, осанистый. «Как страусы!» — говорят чушанцы, видавшие страуса на переводных картинках и

в кино. Бьют глухаря не только на Тыме и Сыме, по всем большим и малым рекам нашей страны бьют, и вот результат: на Урале и Северо-Западе России его, считай, уже прикончили. В центре же России, где еще великий наш песнопевец слышал, как за Окою «плачут глухари», — их давным-давно нет.

Что уж говорить про Север?!

«Меньше сотни птиц за выезд не берем!» — хвастался мне охотник на Нижней Тунгуске, вполне нормальный охотник-любитель, вполне нормально хвастался, ну, как мы, городские рыбаки, иной раз загибаем безгрешно: «Три окуня — лапти и десяток сорог по полкило!..»

Идет лодка, приглушив мотор, нагло идет, прямо на мыс, на птиц. Вытянув шеи, стоят бестолковые птицы, глазеют. Хлесь! Хлесь! — по ним из четырех стволов. Раз-другой успеют охотники перезарядить ружья. Стволы дымятся от пальбы, горячими делаются, птица не опасается, не улетает. Иной глухарь подпрыгнет на камнях от хлесткой дроби, иной на сук взлетит, но чаще бегством спасается. Тех, что убегают в зажердь или в кусты валятся, охотники не преследуют, не подбирают — некогда, на следующем мыске вон еще табун глухарей темнеет! Вот если соболишко

обозначится, в урман мотанет — другой вопрос, за тем и побегать можно. Соболя развелось много — браконьеры распустили слух: «Соболь белку приел. Баланец нарушился», — и вроде бы как дозволение самим себе выдали — бить соболя в любое время года, выкуневший, не выкуневший — хлещи!

Говорилось уже, что здешние охотники заряжают патроны по старинке, на глазок. Пыжи бумажные, моховые, редко войлочные. Сотни рублей просаживают на вине, копейки экономят на припасе. От плохих зарядов ружья живят, рон худой, птица уходит подранками в лес и в муках гибнет. Хорошо, если осень выдастся непогожая, стремительная. Декада-полторы — и убирайся с реки, иначе вмерзнешь в лед. Но и за короткий налет «охотники» тучами гробят птицу.

— До того достреляются осенесь, пана, что озверели, верис — нет, озверели! — ахал Аким, вспоминая прошлогоднюю охоту. — Ровно змеевец всех поразил, кости у всех поточил. Из-за рузья, из-за лодки, из-за припасов, из-за харчей могли убить! Вот как разошлись! — и добавил совсем уже пораженно: — Я сам, понимаес, наблюдать за собой начал: сють сто, хватаюсь за рузье…

Аким запамятовал, что я на войне был, в пекле окопов насмотрелся всего и знаю, ох как знаю, что она, кровь-то, с человеком делает! Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице, и мимоходом, играючи, проливают кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жутью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря.

Была уже середина лета, а вокруг чушанского пруда с прошлого года траурным венком лежало черное перо — осенью местная заготконтора принимала глухарей по три рубля за штуку, потом по рублю, потом вовсе перестала принимать, не было холодильника, стояло тепло и морось, перестали летать самолеты.

Птица сопрела на складе. Вонь плыла по всему поселку. «Товар» списали, убытки отнесли на счет стихии, глухарей навозными вилами грузили в кузова машин и возили на свалку.

Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки; и как вздымался ветер, сажею летало над поселком Чуш черное перо, поднятое с

берегов обсохшего пруда, летало, кружило, застя белый свет, рябя отгорелым порохом и мертвым прахом на лике очумелого солнца.

Часть вторая

Уха на Боганиде

Весна в изломе. Вот-вот перейти ей в короткое быстротечное заполярное лето, да отчего-то медлила, тянулась весна, и когда истаяла, утекла в озера и реки, людей шатало от голода.

По дымящейся сизым паром, мокрой тундре брел парнишка в больших изодранных бродняx, часто наклонялся, обирая с кочек и со мха-волосца, зеленого зимой и летом, прошлогоднюю, перемерзлую клюкву, почти уже вытекшую. Лишь кожица осталась да тлелые семечки в клопом смявшейся ягоде. Парнишка распрямлялся, чтобы сунуть в рот клейко слипшийся в ладони катышек ягод, и стоял какое-то время зажмурившись. Из глаз сыпались искры, голову обносило, перед лицом, не потухая, яркими, разноцветными кругами каталась радуга, на уши давило, и под грудью, в клубок свитая, путалась, душила липкая нитка тошноты.

На обогретом, с боков заголенном серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое перо, хотел побежать скорее — может, сова или песец задавили линялого гуся, косточки да остались от него, но сапоги, хоть в них и было толсто

подвернуто, хлябали, вязали ноги. Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо листьев у цветка были крылышки, тоже мохнатые, два крылышка в слабом, дитячьем пере, и мохнатый, точно куржаком охваченный, стебелек подпирал чашечку цветка, в чашечке мерцала тоненькая, прозрачная ледышка.

Солнце, выпутавшееся из густого меха зимы и поднявшееся уже высоко над тундрой, вдавливало всякое растение в мягкий ворс тундры, загоняло в заросли стлаников, смахивало к озерам, в поймы рек. А этот цветок дерзко стоял на обдувном холме, где не отошла еще, лишь отпотела тонкая корочка земли, питая робкие, паутинно-тонкие всходы мхов, нити сухоросной травки, серенькиx, как бы вымороженных до погибельной сухости кустиков голубики. Один лишь цветок жил на холме уверенно, вызывающе, не прячась в благостное затишье, дерзко выйдя навстречу зазимкам, ветрам и студеным мокромозготникам, таким частым тут в весеннюю пору.

Цветок караулил солнце. Коснувшись ледышки, солнечные лучи собирались в пучок, будто в

линзе, и грели маковку, тоже укутанную в мохнатую паутинку на дне чашечки цветка. Льдинка подтаивала, оседала, шире распирая празднично сияющие лепестки цветка, будто створки ворот, и тогда чашечка, почти выворачиваясь живым зевом, подставляла маковку солнцу, а льдинка оборачивалась в светлую каплю, освежая и питая собою цветок и назревающее в нем семя. До ухода солнца, до самой последней секунды заката цветок дышал теплом светила, поворачивая вслед ему яркую головку, после чего лепестки, с исподу отепленные шерстью, сразу плотно закрываются, грустно опадает головка, но внутри цветка, под лепестками, не кончается неприметная работа. Жилкой вонзившегося в мерзлоту корешка цветок вытягивает влагу, дышит и обращает свое дыхание в зеркально-тонкую, прозрачную льдинку, которая утром снова поймает и соберет в пучок лучи солнца.

Из утра в утро, изо дня в день идет невидная миру работа, пока не созреет маковка. И когда поблекнут, трагично свернутся и опадут лепестки, сухо треснет, обломится былка стебелька, уронит наземь погремушку-маковицу, ветром ее покатит по тундре, соря черненькой пыльцой семян.

После Аким не мог вспомнить, нашел он изо-

рванного гуся или какую другую еду? Вроде бы нашел, глодал сырую кость, облепленную пером и мохом, да, может, это было совсем в другую весну — почти ежегодно в опарно-набухшую тундру, по которой не пройдешь, не проедешь, на реку, запятнанную раскисшим льдом, не выплывешь, голод гнал его на поиски хоть какой-нибудь пищи, и случалось подбирать поедь песца, сов и лис, случалось и отбирать ее у них — и все это забылось, смололось в памяти, слилось с другими детскими воспоминаниями, стало кусочком жизни, однако цветок, тот стойкий цветок тундры, приручивший само солнце, жил и цвел в памяти отдельно от всех воспоминаний, потому что где-то и в чем-то оказалась схожей жизнь Акима и северного цветка с трудно запоминающимся, из-за моря привезенным названием. Дальше на север, ближе к морю росло таких цветков столь много, что пустынные равнины после первого теплодува охватывало кратким, но таким ярким заревом, что слепла всякая другая растительность и сама земля недели две сияла, зажмурившись от собственной красы.

Родился и рос Аким на берегу Енисея в поселке Боганида. Десяток кособоких, до зольной плоти выветренных избушек, сплошь однооконных, с

амбарными крышами, затянутыми толем, хлопающим на ветру; среди избушек — плавающий в болотине дородным гусаком барак — вот, пожалуй, и весь поселок, если не считать еще в берег всунутую, закопченную баню с испрострелленной дверью; за нею тесовый сарай на песчаном приплеске, с надписью, сделанной мелом по двустворчатым воротам: «Рыб. пр. пункт», за бараком внаклон стоящую желтую будку без дверей; пару дровяников, забытого кем-то или выброшенного волною железного корпуса катера, выводка дощаных и долбленых лодок, болтающихся возле берега на якорях; стола длинного, дощатого, на стояках и тагана под артельные котлы.

Есть еще пароходная свистулька над бараком, приспособленная вместо радиоантенны, градусник, прибитый высоко над окошком, чтоб не достали ребятишки, обломок якоря, подвешенный ко второй, забитой для тепла, двери барака, в сердечко которого бьют, если пожар, или на собрание надо, или кто заблудился в тундре; и еще турник стоит между бараком и желтой будкой. Для ребятишек он высоковат, а мужики до того упехтывались на рыбачьих топях, что едва добирались до нар, и никакой им турник не надобен был.

Больше ничего приметного в Боганиде не было, ни деревца, ни даже зарослей кустов; мох содран и вытоптан, по весне проткнется там-сям серенькая осока, которая на озерном лове сильно царапает мужикам ноги, особенно тем, что с клячем лазят по прибрежной шехре, аремникам и кочкам. Но всходы осоки — еще мелкие, беловатые — выедают захудавшие за зиму собаки, так что выживали в поселке лишь пушица, реденькая жалкая лебеда, коневник с кисточкой ржавых семечек, гусятник, обмирающий от заморозков, да наползающий из тундры багульничек, и застенчивым, больным румянцем розовели по кочкам звездочки дивной ягоды — княженицы.

Место для поселка выбирали люди, которые жить в нем не собирались. Увидели на бассейновой карте удобные для рыбной ловли плеса, разведали богатые тони и заслали сюда людей. Те тоже не морочили себе голову житейскими заботами. Они вообще были свободны от каких-либо забот: что сказано делать — делали, где велено жить — живут, что выдано есть — едят. И название поселку никто не придумывал, оно произошло само собою, от речки, которая впадала в Енисей, и от рыбацких песков, что от веку звались боганидинскими.

Метрах в двухстах от поселка, не дальше, чтобы лишка с тяжестью не таскаться, возникло кладбище — спутник всякого человеческого прибежища. Открыл его безвестный человек, по весне выброшенный половодьем на берег. И поначалу бойко шло тут дело, споро густела чаща пирамидок и крестов, тесанных из плавника. Но скоро люди научились бороться с цингой, наторели плавать на лодках и кунгасах, реже выпадали за борт, не лазили дуром по тундре, в бараке извелась пьянь и блатняки. Артельная работа объединила людей, заставила приспособиться к жизни, сообща питаться, стирать и сушить одежду, мыться, починяться, обогреваться и даже развлекать себя. Кладбище заметно хирело, зарастало, пирамидки и кресты выталкивало из земли мерзлотой, и не валяться же им зря! Выпали, значит, не нужны они больше ни земле, ни тем, чей прах стерегли, в печку их — хорошо горят, выветрились до звона.

Взъерошенной пеной со всех сторон катились на кладбище волны белого мха, облепленного листьями морошки, хрустящими клубками багульников, окрашенного сеянцем брусники и сизой гонобобелью. Меж низких бугорков и по закраинам кладбища путалась, извивалась мелколистая карликовая березка, таловый стланик,

зимами у этих зарослей кормилась куропатка. Акимка ставил силки, и попавшие в петлю птицы громко колотились о фанерные с надписями дощечки от ящиков из-под папирос, пряников, вермишели.

Летами по кладбищу высыпала сильная морошка, будто рыба какая, заплыв сюда в половодье, выметывала комочки желтой икры; продолговатая, в ноготь величиной голубика зазря осыпалась на могилы. Ягоды на свежеземье вызревали раньше, чем во всей округе. Акимка крепился, крепился и, не выдержав соблазна, поел однажды могильных ягод, после целый день пугливо вслушивался в себя — скоро ли помирать начнет? Что-то даже ныло и остро колотилось в середке. Но скоро он ввязался в домашнюю работу и про смерть забыл.

После без страха кормился ягодами с кладбища вместе с поселковыми собаками. Мать пугала Акимку, страсти ему всякие про кладбище сказывала, но парнишка ничего уж не боялся, он и братишек с сестренками таскал за собой на кладбище.

Детям так полюбилось чистое, всхолмленное место, что они выводком паслись здесь, ползая меж могил до поздней осени, до первых стуж.

С кладбищенского бугорка далеко вокруг видно: песчаные приплески у воды, полого расстеленные; выше — чуть подбитые валом, ближе к подмытым ярам — сплошь в ступеньках. Песчаная коса отлога, до блеска промытая водой, зализанная волнами, сплошь утыканная вешалами для сушки неводов, спокойно, лениво вытягивается от мыса реки. По вешалам будто нанизанные на рожень белые комья — то рядами сидели и дремали чайки; по косе бегали, кормились кулики, пурхались в песке щуры, гуси выползали из крепей тундры, сторожкой стаей рассаживались в отдалении, ходили валко возле воды, выбирая подбитую к обмыску рыбью мелочь, козявок каких и нежные травяные корешки.

Никакой другой земли, никаких других станков и жилищ Акимка до поступления в школу не видел. Он родился в Боганиде и нигде не крестился, даже записан ни в какую книгу не был. Вольно родился от русского человека, который поколотился на Севере, подзашиб деньжонок и исчез навсегда, оставив матери Акима еще одного ребенка, как потом выяснилось, Касьянку. Отца ихнего Касьяном звали — пояснила мать. Записываясь в школу, Акимка повеличал себя Касьянычем, но говорил он неразборчиво, зажимая

звуки, и его записали Хасьянычем. Хасьяныч так Хасьяныч — какая разница?

Мать, узнав об этом, закококала болотной курочкой, руками захлопала, будто школьница на празднике, и повторяла свое любимое «Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!».

Мать рано стала носить детей — его, первенца, Акимку, прижила на шестнадцатом году. Мужик Касьян, рассказывала она, подарил чулки и платок, сладкими пряниками угощал, красным вином. Ну как такого хорошего человека не полюбишь? Она и полюбила его, приголубила, совсем не думая о том, что из приятной такой шалости получится ребенок, человек! И когда опросталась в бараке и ей показали завязанного в узелок, сморщенного, извивающегося дитенка с голыми деснами, слепо склеенными чем-то белесым глазами, она недоверчиво, даже как бы и брезгливо фыркнула: «Фу, какой Якимка, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Мой, сто ли? Не мо-озет быть!..»

Почему не может быть, почему — Якимка? Где она такое имя слышала, отчего оно ей в голову пришло? Поди у нее узнай! Мать была и осталась девчонкой-подростком по уму и сердцу. Обижать пробовали бабы, прозвать ее ветренкой — не прилипло, потому что мать не понимала обидно-

го смысла этого слова, и ее обзывать перестали, и вообще ее никто потом и никогда не обижал, бабы помогали ей, чем могли, мужики тоже помогали и ласкали. Быстренько образовался табунок детей в Боганиде. «Чьи?» — спрашивали мимоезжие люди. «Рыбацкие», — смеялась мать. «Наши!» — подтверждали рыбаки.

Артель, обеспечивающая рыбой большую северную стройку, не оседлая. Народ в ней почти каждую путину менялся. Оставались постоянно на месте бригадир, приемщик, радист и пекариха, она же кастелянша, завхоз, ворожея, акушерка, всем мать по возрасту и нраву, матерщинница и плакса — Афимья Мозглякова. За что-то еще до войны она отбыла срок, застряла на Севере и все грозилась куда-то податься, плюнуть тут на все. Но Север, он вяжет человека, пожалуй, еще крепче, чем юг. Там люди, как бы все разом получив: тепло, блага, человеческую скученность, — лениво мнут свои дни в тесноте и довольстве. Здесь, отравленные волей, редколюдьем, самовластьем, все время ждут каких-то перемен, томятся сердцем по другой жизни, и всегда есть возможность капризно подразнить себя и других тем, что вот возьмет он, вольный человек, и махнет туда, на юг, к фруктам, к теплому морю; эта возможная,

но чаще всего так в мечтах и изношенная, вторая благостная жизнь шибко поддерживает северных людей в их нелегкой текучей жизни, крепит их дух и стойкости им добавляет.

На всполье, в урез берега, мужики вкопали низкую однооконную избушку, мало чем отличающуюся от бани. В этой, всегда почти темной избушке, на обширных нарах и топчане, приткнутом к печи, сваренной из толстого железа «пароходными людьми», копошились, ревели, питались, играли и росли ребятишки — Акимкины братья и сестры. Мужики приносили стирать белье, что-нибудь упочинить или зашить. Поначалу мать ничего не умела — ни стирать, ни шить, ни варить. Но «заставит нужда калачики есть», говорили ей пословицу, и хотя она не знала, что такое калачики, помаленьку да потихоньку захомуталась в семейную упряжь, однако так и не смогла до конца одолеть трудную науку — бороться с нуждой. Чему учить ее не надо было, так это легко, беззаботно и весело любить ребятишек и всех живых людей. Даже в самые голодные зимы она не желала смерти детям, да и сама мысль о смерти, как избавлении от бед, мучений и нужды, не приходила ей в голову, оттого, наверное, и падежа в семье не было.

Ребятишки, прозванные «касьяшками», росли вольно, без утеснений и досмотра. Самой для них большой заботой и радостью было дожить до весны, до солнца, до тепла, до рыбы, до ягод, да и вся Боганида ждала весну как милосердие Божье. Запертое в сырой, удушливой избушке, до трубы скрытой в забоях, отшибленной от остального мира снегом, много месяцев зимогорило семейство, ребятишкам казалось — годов! И наконец-то! Которые в лохмотьях, которые и вовсе голопупые, грязные, выбирались детишки на свет из пропрелой, вонькой норы.

Ослепленный ярким светом, задохнувшийся обжигающе свежим воздухом, выводок ребятни не прыгал, не ликовал. Протирая красные, слезящиеся глаза кулачишками, дети недоверчиво осматривались, открыв рты с кровоточащими от цинги деснами, подставляли живительному теплу блеклые лица, вытягивали ладошки под солнце. Голова у них кружилась, ярким светом резало глаза, они лепились на завалинке, подобрав под себя ноги, чуя ослабелым темечком живительное тепло, улыбались и подремывали, которые покрепче, тоже бледные, с засохшей на губах кровью, ковыляли на ослабелых ногах к высокому еще, первой, вольной водой вздутому

Енисею и не умывались, а щупали его ладошками, и от живой, целительной воды начинало трепыхаться в них сердчишко, они, повизгивая, брызгались и пробовали смеяться.

Мать приносила ножницы, стригла ребят, будто овец, прямо на берегу. Ветром подхватывало и уносило в воду сплошь почти смоляные, черные волосья. Лишь двое первенцев, Акимка и Касьянка, волосом удались в отца — неведомый Касьян гнул северный, проволочно-толстый волос своей крепкой, видать, породой.

Нагрев бочку воды, мать мыла ребятишек. Они боязно ахали, ревели от мыла, царапали сами себя ногтями. Мать, сверкая белозубым, широким ртом, только и успевала повторять: «Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ну, да ё-ка-лэ-мэ-нэ!» А обиходив ребятишек, и сама залезала в бочку, взвизгивала, коснувшись голым телом воды, похохатывала от щекотки, когда Касьянка терла ей таловым вехтем спину. Обобрав с себя накопившиеся за зиму грязь и гнус, касьяшки потом смело уже ходили в артельную баню.

Причесав на пробор коротко стриженные волосы, мать доставала с полки наперсток красной помады, слюнявила ее, подводила губы, надевала мятое платье морошкового цвета, коричневые

чулки, туфли на высоких каблуках, косынку с голубями и нерусскими буквами — и становилась такая нарядная, что и не верилось, будто эта вот беспечная, чем-то и в чем-то чужеватой ставшая девушка — их, касьяшек, мать! А она, дурачась, еще и на каблуках крутнется: «Хоросо?»

Как не хорошо! Промытые волосы отливали воронью, перышки бровей, как бы вдавленные в лоб, придавали лицу какую-то детскую незавершенность и безвинность; круглое плоское лицо оживляли две надщечные продолговатые косточки со слабым румянцем, и глаза с вечной тихой печалью северного человека, всегда погруженные в себя и в какую-то застарелую тоску, о землях ли благостных, с которых вытеснили их завоеватели в далекий полуночный край, о людях ли, которые жили до них и будут жить после них. Никому еще не удалось объяснить эту вечную печаль северян, да и сами они объяснить ее не умеют, она живет в них, томит их, делает кроткими добряками, которые, однако, при всей простоте и кротости никогда и никому до конца открытыми не бывают и жизнь свою, особенно в тайге, на промысле обставляют если не таинством, то загадочными, наезжему человеку непонятными обычаями и ритуалами.

У матери мать была долганка, отец русский, но вот поди ж ты, переселилась в нее материнская тайна, печалит глубь ее взора, хотя глаза глядят — смеются. Мать ощупывает ребятишек, щекочет их, барабу всякую несет — всем в избушке весело — перезимовали!

Непривычных самим себе, легких, чистых, несколько даже чинных, мать выпускала ребят на волю, и, взявшись за руки, во главе с белоголовой Касьянкой, брели дети за поселок и речку Боганиду, рассыпались по коричневому от прошлогодней гнили берегу и в истлевших ворохах намытого мусора, в валиках скатанного мха, старой осоки отыскивали едомую траву, острые всходы дикого лука, бледные листики щавеля, выпрыски тальников и, морщась от боли, шатающимися, кровоточащими зубами жевали, жевали зелень. Иногда им везло, они находили гнезда куликов, чаек, трясогузок, выбирали из них яйца и тут же пили их, не утаивая друг от дружки добычу. Домой они являлись не с пустыми руками, каждый нес зажатый в кулачишко пучок мягких и жидких еще перьев лука и отдавали старшей женщине, хранительнице очага — матери — с застенчивой, гордой молчаливостью добытчика.

Рыболовецкая артель прибывала в Боганиду

еще по снегу, готовила снасти, конопатила и смолила лодки, наводники, делала весла, чинила рыбоприемный пункт. Киряга-деревяга-рыбоприемщик, очнувшись от спячки и загула, принимался руководить, стучал деревяшкой, гоголем летая по поселку, и отдавал распоряжение за распоряжением, но его, как всегда, никто не слушался.

Празднично улыбаясь, напевая, что на язык взбредет, наряженная, напомаженная, красивая мать отправлялась в барак подписывать «тогомент», наниматься на сезон резальщицей и подручной Киряги-деревяги. Теперь жизнь семейства наладится, мать станет все лето получать деньги, принимать рыбу, с Кирькой ругаться.

Изо всех избушек незаметно проникали в барак ребятишки и с ходу взлетали на широкущую, неуклюжую, зато жаркую печку. В ней пекли на всю артель хлеб, варили еду, сушили обувь и одежду, лечили простуду.

Будут пить в бараке, на гармошке играть, плясать и целоваться. Акимка с Касьянкой уж не пропустят праздника, они давно на печке. Лежат под потолком, в табачном дыму и пыльной духоте ребятишки, слушают гармошку, передразнивают пьяных, ждут, когда им сунут пряников

или конфет, хохочут, подпевают, подсвистывают. Аким с Касьянкой восхищенно наблюдают, как, косолапя, отплясывает мать, широко открыв рот, махая руками, будто в лодке, когда волна, и, не зная в общем-то никаких плясок, дробит и дробит каблуками по замытым серым половицам, чтоб громко получалось, и, поспевая за Мозглячихой, выкрикивает частушки. Но частушек она тоже ни одной не знала и потому лишь повторяла, ошеломленная весельем: «Мой миленок! Мой миленок!..»

Выбившись из сил, мать тыкалась на нары и доверчиво, свойски припадала кому-нибудь из артельщиков на плечо, что-то говорила ему, сверкая белью зубов, обмахиваясь косынкой, крутила головой, притопывала ногами, высвободив их на короткое время из тесных туфель, и по губам ее можно было угадать: «Мой миленок! Мой миленок!..» и «Ах, хоросо! Ну до сё хоросо, ё-калэ-мэ-нэ!..» Не зная, куда себя деть, что сделать с собой, кому раздарить душу, переполненную счастьем, она крепко-крепко и благодарно обнимала за шею артельщика, целовала его обляпанными краской губами и, тут же отпрянув, игриво и застенчиво закрывала ладонями разгоряченное, сияющее лицо.

До поздней ночи стонали и хлопали барачные половицы, сбитые с гвоздей, хряпали ладони о сапоги, ревели мужики кто чего мог. «Зачем не все время так? — думал Акимка. — Зачем зима? Кому она нужна? Может, ее не будет больше? Может, уж последний раз она приходила? Поди-ка последний. Вон как тепло в бараке и на улице, как веселы, как дружны артельщики. Зимой все по-другому. Люди молчаливы, угрюмы, живут всяк по себе, думают о своем, ругают зиму, Север, собираются уехать куда-то».

Под утро, разувшись еще у дверей, мать тихонько прокрадывалась в избушку. Акимка, что гусенок в гнезде, всегда мать слышит. Подняв голову, он гусенком и шипел:

«Ты сё так долго? Опять ребенков делала?» — «Маленько делала, — хмельно смеялась мать и, сладко зевая, валилась на топчан. — Весна, сыносек! Весна! Весной и птицы, и звери, и люди любят друг дружку, поют, ребенков делают. Вот вырастес, тоже мал-мал погуливать станес! Сё отвернулся-то? Сё отвернулся? Ис, какой он застенсивай! Весь в меня!» — и с хохотом щекотала Акимке брюхо.

Ну чего вот ты с ней сделаешь? Ладно уж, Касьянка подросла, помогает маленько. Но самое

главное спасение в том, что в Боганиде еще с войны сохранился обычай: кормить всех ребят без разбору бригадной ухой. Выжили и выросли на той ухе многие дети, в мужиков обратились, по свету разъехались, но никогда им не забыть артельного стола. Да и невозможно такое забыть. Это ж праздник, всегда желанный, каждодневный, от самой ранней весны и до поздней осени продолжающийся, и, как всякий праздник, он всегда в чем-то неповторим.

Далеко еще до вечера, до того часа, когда появятся из-за песчаной косы лодки и крутолобый, носатый неводник, а малый народ Боганиды весь уже на берегу, наизготовке, ждет терпеливо и молча рыбацкую бригаду. Иногда забудутся ребятишки, примутся играть, бегать и вдруг разом уймутся, притихнут — кабы не прозевать самый радостный миг — появление первой лодки. Поодаль лежат собаки. Они тоже ждут рыбаков, сосредоточенно, серьезно ждут, не грызутся в этот час.

Выводок касьяшек как есть весь печется на прогретом песке под незакатным солнцем. Трех братьев, которые еще ходят без штанов, Аким выносил на закукорках, сваливал их в песок. Вместе с другими кривоногими, щелеглазыми

ребятишками пурхаются малые в песке, сыплют его горстями на головы, хохочут — щекотно им. В Боганиде никто никогда не прячется в тень, здесь все лезут на обдув, на солнце, и люди, и животные — меньше комар донимает, греет пуще, намерзлись, наслеповались за зиму-то, хватит.

Под водительством Касьянки подружки ее, девчонки разных возрастов и калибров, обливают водой длинный тесовый стол, поставленный на три опоры. Стол сооружен возле самой воды, врос опорами в песок. Касьянка строго распоряжается, ведет себя настоящей привередливой хозяйкой и старательней всех трудится. Сперва она скоблит тесины бутылочным обломком, затем еще веником с песком шоркает, после уж мокрым вехтем драит. Гладок, чист артельный стол, все черные мухи с тесин спорхнули, никакой им тут поживы не осталось, хочешь не хочешь, лети к избушкам. Но там собаки все подмели, если муха зазевается, они и ее, щелкнув зубами, отошлют к себе в середку, да еще и облизнутся.

Стол вымыт, пятнисто просыхает. Притоптанная подле него земля подметена, тряпки и голики в воде выполосканы. Деловитая Касьянка занялась ребятами, которому нос выдавливает, которых со словами: «Погибели на вас нет,

окаянных!» — волокет к воде, обмывает, которому деревянного коня подведет, которому чечу, игрушку то есть, чаще всего куклу, из сучка резанную, тряпицей повяжет, которых приласкает, которым поддаст — у Касьянки всегда полно забот, она порядок любит.

Акимка наколол дров. Ребятишки, что постарше, рядком их сложили под огромный таган с двумя навешанными на него железными коваными крючьями, величиной с печную клюку. Чтобы время шло скорее, Аким еще работу искал и нашел. Вымытые им самим еще вчерашней ночью котлы — один на пять ведер, другой на три — под чай, принялся еще раз протирать вехотью и песком, мало ли что, может, мухи котел засидели. Зараза! Касьянка, без нее уж никакое дело не обойдется, почти вся в котел забравшись, шлепается в нем, наводит блеск, напевая тихонько: «Далеко-о-о-о из Калы-ымского краю шлю, маруха, тебе я привет…» — нахваталась в бараке девчушка всякой всячины. Котлы привезены с магистрали — в баню, для тех, что строят самую большую железную дорогу на Севере. Но в баню котлы не попали, понадобились в Боганиде, и их приспособили под варево. И сколько вкусной еды переварено, перекипячено в этих котлах! Попа-

дали в котлы и гуси, и утки, и олешек, случалось, в него заныривал. Скольких людей насытили, оживили, напоили, силой налили и взрастили эти котлы!

Касьянка управилась с делом, вскинула лохматую голову, которая чудом держалась на дудочке ее тонкой шеи, всмотрелась в даль, вслушиваясь при этом напряженно. Кругом все замерли, не дышат — Касьянка самая уловчивая на ухо.

— Е-е-э-э-эду-у-ут! — облегченно, со взрослой, бабьей радостью выдохнула она, расслабляясь всем телом.

— Идут! Идут! Идут!

Ребятишки, а за ними собаки с лаем, бросались бежать по чисто вымытому приплеску, оставляя на нем следы, распугивая чаек, навстречу рыбакам. Дети запинались, падали, собаки похватывали их за ноги и рубашонки, те с хохотом отбивались от них. Старшие ребята, сдерживая порыв, оставались возле стана, у них дела.

На скорую уж руку Касьянка еще раз ополаскивала свежей водой колокольную глубь котла. Уронив посудину набок, парнишки выливали воду и, продев в проушины котла железный лом, тужась, багровея, перли чугунную посудину к тагану, вздевали на крюк. Тем временем Ка-

сьянка торопливо обихаживала себя, мыла руки с песком, ломаной гребенкой собирала в кучу беленькие жидкие волосенки, форсисто их подвязывала отцветшей косынкой и снова, ругаясь и ворча на «нестроевую команду»: «Погибели на вас нету! Навязались-то на мою головушку!» — той же вехоткой, которой обихаживала котлы, оттирала руки и лица малышей. Поплясывая от боли и жжения, малые изо всех сил крепились, не хныкали, Касьянка делала дело, ворча, раздавая шлепки направо и налево, не забывала, однако, вытягивать шею, будто сторожкая линялая куропатка на ягодниках.

— Токо-токо Стерляжий мыс прошли, — с досадой роняла она, — и чё скребутся, спрашивается? Лентяи, ох лентяи пошли мужики! Имя бы токо вино жрать да блудничать. Никуда оне больше не годятся!..

— Чё ты понимас? — возражал ей Акимка. — Рыбы много! Тяжело. А ты, музыки, музыки…

— Ну, если рыбы много, дак тогда конешно… — милостиво соглашалась Касьянка.

К рыбоприемнику — в нем, как в конторе: счеты с костяшками, зеленая книжка квитанций, даже календарь на стене есть, еще весы, ящики, много ящиков, бочки с солью, носилки с железной сет-

кой, чаны с тузлуком, в который бросают рыбу, если за ней долго не приходит катер с большой стройки; к рыбоприемнику этому, отделенному от артельного стола расстоянием, иначе мухота одолевает едоков, гремя ключами, подвешенными к поясу, гребся приемщик Киряга-деревяга — большой человек.

Низовской енисейский уроженец, он в войну из снайперской винтовки бил фашистов «токо в башку!» — заверял Киряга-деревяга. Один раз он ночь напролет просидел на железнодорожной водокачке, немчуры нащелкал — счету нет! Однако шибко околел наверху — ветрено и морозно было, шла зима сорок второго года. Торопился утром Кирюшка скорее в землянку, попер непротоптанной дорожкой, напрямки, через заснеженное поле. Ему махали флажком, орали, но он, остяк дурной, упрямый, никого не слушал. Скорее «домой», скорее, чтобы отогреться и показать винтовку, всю в зарубках на прикладе — столько с водокачки он фашистского воронья нахряпал. Да увидел проволочки в снегу, к проволочкам печатки мыла привязаны. Зачем мыло в снег набросали? Больших денег на базаре мыло стоит. Война! «А-а, — догадался, — немецкий самолет мыло вез фрицам умываться, по нему из зенитки

наши как дали, так все мыло и высыпалось!» Кирюшка решил одну печатку мыла поднять, чтоб тоже умываться по утрам, да только собрался наклониться, зацепился большим валенком за проволоку, и тут ка-ак ахнет! «Глаза узкие, косые, нисё перед собою не видят, токо в бок широко глядят, голова совсем не соображала — заколела на водокачке, и об одном голова только думала: скорее до землянки добежать, горячей каши поесть, водки выпить, иначе бы он остановился и подумал: какое мыло? Зачем и кто бросит тако дорого имуссество?»

Оторвало Кирюшке не только ногу до колена, но и повредило то, что не надо. У Кирюшки и раньше борода не шибко росла, а после госпиталя он совсем голый лицом сделался. Еще до войны Кирюшка учился в игарской совпартшколе, грамоту знает. С грамотой, даже если у тебя деревянная нога и другая нога без пальцев и вся начинена железом, которое ходит, шевелится в ней, не дает спать, — все равно не пропадешь, начальником будешь. Да вот беда, хворает часто рыбный начальник, нарывают на побитых ногах красные шишки, и криком кричит тогда Кирюшка, бабы льют ему спирт в рот, чтобы оглушить боль. Один раз выкатился из него осколок. Кирюшка его

всем показывал — маленький, на уголь похожий осколочек. «Может, последний?» — с надеждой в голосе спрашивал Кирюшка.

Кроме того, что Киряга-деревяга является завом рыбоприемного пункта, он еще депутат Плахинского поссовета, возит оттуда почту, показывает кино, когда праздники или выборы, и говорит речи на всех собраниях.

— Я сё могу! — бил себя в грудь кулаком Киряга-деревяга.

— Кое сё, да не сё! — поддразнивали его бойкие бабы-резальщицы.

Киряга-деревяга, если пьяный — в слезы иль с кулаками на народ, когда трезвый — бацкал дверью пункта и уходил жаловаться Касьянке. Касьянка больше всех людей понимала и жалела Кирюшку. «Ребенков делать, — говорила она, — всяк дурак сумеет. Тут и ума никакого не надо, а вот кино показывать или речь сказать — пущай попробуют. Тут их нету! А орден красный! А медаль, на которой танк нарисован, «За отвагу» называется, у них есть? А значок с красным флагом, гвардейский, весь в золоте! Он красивше еще ордена! А грамота — благодарность, самым главным генералом написанная: «За уничтожение метким огнем врагов социалистической

Родины!» Это у них есть?! Да ничего у них нету. Оне только лаяться, табак курить да водку жрать мастера. Ни стыда, ни совести! Поучились бы у грамотного человека уму-разуму! Повоевали бы с его! Кровь попроливали бы за Родину! Как только язык поворачивается? Чирей бы имя на такой поганый язык, вот бы ладно было!..»

— Хасьянка! — оглушенный потоком собственных заслуг и добродетелей, тряс головой Кирюшка. — Сто со мной сотворили проклятые фасысты? Я бы твоим отцом бы-ыл…

Касьянка зажимала тряпицей бывшему боевому снайперу нос, сморкаться ему приказывала, и он, что дитенок, сморкался, подставлял лицо, чтоб девочка утерла ему слезы. Обихаживая Кирягу-деревягу, Касьянка заверяла, что он и так им все равно что отец, даже еще лучше. И она, Касьянка, никогда его не бросит. Сделается Кирюшка-фронтовик старый и совсем больной от ран, она его обшивать, обмывать и кормить станет.

— Ой, Касьянка! Ой, глупая! — закатывалась мать, тыча пальцем в Кирягу-деревягу. — Он оте-ес? Совсем ты маленькая девоська, нисё, нисё в семейной жизни не разумес!

Киряга-деревяга не соглашался, лез в спор:

— Хасьянка пускай девочка, а ума больше, чем у тебя, ветренки безголовой…

Спустившись на берег, Киряга-деревяга уединился в рыбоприемник, где у него было уютно: на стене, ровно в клубе, висела Почетная грамота, плакаты с нарисованной рыбой и консервными банками, стенгазета под названием «За ударный лов» — нарисовал ее один приблудившийся в Боганиде вертлявый парень, от коллективной работы он увиливал, заботился лишь о культурном досуге артели да обжучивал рыбаков в «очко», раздевая до порток. За пакостное дело: уманил маленькую девочку заезжего охотника-эвенка на кладбище, пытался надругаться — был люто бит и отправлен под надежную охрану.

Широко распахнув дверь рыбоприемника, так, что на стенах шевельнулись плакаты и Почетная грамота, на столике в углу распахнулась книжка с накладными и сдунуло на пол черный листок копирки, Киряга-деревяга хозяйски-придирчиво осмотрелся и, тюкая деревяшкой по настилу, сделал один-другой проход, проверяя вверенное ему «помессэенье».

— Хасьянка! Акимка! Ко мне! Бегом! — строго, точно полковник в кино, затребовал он. Касьянка сорвалась и не побежала, прямо-таки полетела

на длинных птичьих лапках к большому начальнику. Аким фыркнул, пожал плечами, давая понять ребятам, что никакой ему не указчик Киряга-деревяга, однако тоже последовал в рыбодел. Строго и важно осмотрев ребят, как бы оценивая взглядом, можно ли доверить такому народу ценности, Киряга-деревяга достал из-под стола берестянку с солью, баночку с лавровым листом и перцем-горошком.

— Припас берегите, не валите горстями-то! — строго наказывал большой начальник. — Когда иссё плавлавка придет?

— Без тебя знаем! — бойко отшивала большого начальника Касьянка.

Обнажая коричневые от табака зубы, Киряга-деревяга грозил ей пальцем:

— Шибко много говорис, однако!

— С вами, с мужиками, не говори да не следи, дак и толку никакого не будет…

Киряга-деревяга обезоруженно махал рукой:

— Иди ус, тараторка! А ты, Акимка, в рыбоделе мети! Стобы как зеркало!

— Поменьше соли на пол бухайте! Зеркало тогда будет…

— И этот туда же! Ну никакого почтенья к старсым! — взъедался Киряга-деревяга и, вы-

валившись на берег, глядел своими, все еще снайперски зоркими глазами вдаль.

— Вот и насы! — извещал он с облегчением.

И тут же из-за мыса одна за другой появлялись низко осевшие от груза лодки и неводник. Вставали они, грузные, далеко от берега. Артельщики, разламываясь, нехотя перешагивали через борта лодок в мелководье, тащили лодки за уключины и борта ближе к берегу, чтобы недалеко рыбу и сети таскать. Навстречу, разбрызгивая холодную воду, спешили помощники-парнишки, кто во что одетый, тоже хватались за борта, вытаращив глаза, помогали вроде бы тащить, на самом же деле волоклись за лодками, заплетаясь в одежонке и больших обутках, рушась в воду, плюхаясь в ней и взвизгивая от обжигающего холода.

— Куда лезете, чертенята косопузые! Испростынете к дьяволам!

— Нис-сё-о-о-о!

Ноги ломит, пальцы судорогой сводит, сердчишко заходится, но все равно суматошно, весело на берегу парнишкам, удаль хочется показать и старание, а главное, скорее заглянуть в лодки, сколько поймано рыбы, выведать.

— От, хорос-ссо-о-о! — сдержанно сообщают они друг дружке. Орать и прыгать нельзя — от

северян-промысловиков взято спокойствие, притворное равнодушие к добыче, иначе сглазить, озевать можно удачу, потому-то с ненавязчивым, взрослым достоинством парнишки лишь мимоходно интересуются допрежь Киряги-деревяги, который стоит в стороне и, как положено большому начальнику, в колотухе не участвует, марким трудом себя не унижает. — Кака седни шла рыба, товариссы? Таймень, нельма, муксун или красна?

Рыба на виду. Здешний малец с люльки ведает ее по виду, по вкусу, по названиям, ребята постарше и приемную цену, и сортность, и мерность рыбы знают. Но такой уж в Боганиде укоренился обычай: как бы ни устали артельщики, как бы и чем они раздосадованы ни были, на ребятишек сердца не держат, радуясь их радости, возбуждаясь их шумом и колготней, они не большому начальнику, а им, малым людям, охотно, вперебой докладывают, какая шла сегодня рыба, где попадалась лучше, где хуже, и что задевы ни одной не угодило, сети целы, работа шла без сбоев, как по маслу. В заключение бригадир или дежурный артельщик, сдвинув шапчонку на нос какому-нибудь мальцу, извещал:

— Не-эльма, ребятушки, на ваш загад впута-

лась! Небольшенькая! Коло пудика!

Тут уж где выдержать? Кто подпрыгивал, ремками тряхнув, кто в ладоши ударял, кто цокал языком, а Касьянка хвалила:

— Ну и мужики у нас! Ну и рыбаки! Нигде больше таких фартовых нету!..

Начиналась разгрузка рыбы. Киряга-деревяга вступал в роль, форменным полковником делался, командовал напропалую. Никто его, конечно, не слушал, потому что и без него всем известно, чего кому делать. Но большой начальник все равно метался по берегу, дырявил гладкий приплесок кругляком деревяги, ронял кепку, махал рукой, показывая, куда чего и в чем нести.

Дежурный артельщик сдачей рыбы не занимался. Он сразу же отделялся от бригады, разжигал приготовленное под котлами кострище. Быстро, бездымно брались огнем натесанные щепки. Лизнув желтым языком сахарно-белую щепу, пламя отемняло торцы поленьев и начинало с треском их разгрызать, протачиваться по щелям. Минуту-другую дежурный сидел на корточках, забыв про свою службу, устало смотрел в огонь, дотягивая цигарку, затем встряхивался и заглядывал в налитые водой котлы, в одном из которых плавали листья лавра и по дну черным крапом темнел

перец, отчетливо видный в не растворившейся еще горке крупной соли, — пробная порция приправ; заправка и доводка ухи до полного вкуса произойдет после.

Вывалив из корзины на приплесок еще живых, но уже вяло пошевеливающихся стерлядок, дежурный крепко зажимал голову крупного, пьяно бунтующего налима и через жабры вынимал крылато развернутую, медово-желтую печень, по-здешнему — максу. Большой начальник, принимая рыбу, «не замечал» тряпично просевшие, сморщенные, только что вроде бы разрешившиеся родами, пузы пятка налимов — нарушение, конечно, без максы налим никакой цены не имеет, но поперек артели не пойдешь, артель — сила. Управившись с мелочью, дежурный цеплял нельму за крышку жабры, волок ее, сорящую по песку серебром чешуи, в воду и острым ножом тонко прочеркивал нежно-белый упругий живот рыбины.

Аким и все парнишки постарше сортировали рыбу, стараясь не наступить и, не дай Бог, плюнуть на невод — уловистость снасти испортишь, — и краешком глаза наблюдали, как обстоит дело с ухой, чего в нее попадет сегодня, и, переглядываясь меж собой, показывали боль-

шой палец, заметив, какую дородную нельмищу полосует дежурный. Отрезав из-под нежного подкрылка свежий, соком истекающий кус, дежурный артельщик иссекал его на полене в кубики, раздавал мальцам вместо сладости, и те охминачивали за обе щеки свежую рыбу так быстро и жадно, что на губы их выдавливался жир.

Забулькало, заворковало в котле, аж в костер сплеснуло. Огонь приутих, зашипел и тут же воспрянул, треснул, приподнялся, достал выпуклое дно котла, уперся в него гибким исходом и раскрылся ярким цветком, в середке которого темнела маковица чугунного котла. Ребятишки, которые босые, совсем еще хилоногие, облепили огневище и кто в него сучок, кто щепочку совал, стараясь посильным трудом заработать себе еду и даром греясь большим артельным огнем.

Всякий народ перебывал в Боганиде, но не было случая, чтоб кто-то погнал ребят от костра, укорил их дармоедством. Наоборот, даже самые лютые, озлобленные в другом месте, в другое время, нелюдимые мужики на боганидинском миру проникались благодушием, милостивым настроением, возвышающим их в собственных глазах. Конечно, артельщики маскировались и

грубоватой шуткой, и незлобивым ворчанием, но ребятишки — зверята чуткие, их не обманешь, они понимали, что все это просто так, для куражу, что дяденьками овладело сердечное высветление; оно приходит к человеку, который делает добро и удовлетворяется сознанием — он еще способен его делать и не потерян, значит, для семьи, для дома, для той, другой, утраченной жизни. Понимая некоторую стесненность ребят — как-никак нахлебники, артельный народ всячески старался занять малый народ делом.

— Луку! Хто за луком!

И ребятишки со всех ног бросались к лодкам, в носу одной из них находили беремя дикого луку, завернутого в плащ, — возле Боганиды лук выщипывали, выводили еще с весны, и рыбаки привозили его с дальних тоней.

— А хто же у нас тут главный по соли? — оценивающим взглядом обводил дежурный благоговейно замерших ребятишек. Каждый хотел бы быть главным по соли или хоть по перцу, но не смел высунуться наперед других связчиков, лишь ел дежурного взглядом, безгласно крича: «Я! Я! Я!» — Н-нет, товаришшы дорогие, мужики удалые! — разводил руками дежурный. — Соль, перец — дело тонкое, жэншыне только и под-

властное! Куда-а нам против Касьянки? Она и в работе удала — с огня рвет, и посолит, как отвесит, чика в чику, на всякий скус... — Передав берестянку с солью ног под собой не чувствующей белобрысой девчушке, дежурный отстранялся от котла, как бы сняв с себя всякую ответственность, переложив тяжкий груз на другого, более сведущего в сложном поварском деле, человека, определив себе и «мужикам» работу грубую, менее почетную — вычерпывал с парнями воду из лодок, обирал шахтару, соскабливал и смывал с подтоварников рыбью чешую и слизь, прополаскивал фартуки, рукавицы, рыбацкую спецовку.

— Да не забредайте глубоко-то, не забредайте! Испростынете! Кто лечить будет? — строжился дежурный, а то и бригадир, остепеняя в раж вошедших парней. Да куда там! Чем больше им говорят, тем пуще они хлобыщутся в воде, напропалую лезут в нее — у берега-то мутно, чешуя, рыбьи потроха, возгри, сукровица сгустили воду и супесь на заплесках.

Получив ответственное поручение, Касьянка становилась до того важной, что покрикивала и распоряжалась у огня пуще, чем Киряга-деревяга в рыбоделе: чтоб огонь держали — давала указание, чтоб руку не подтолкнули и вообще

не мешали, не путались бы под ногами. Самый уж разнестроевой карапуз — мальчишка по прозвищу Тугунок, и тот был захвачен трудовым потоком — старательно резал лук оструцим ножом на лопатке весла, выпустив от напряжения белую соплю на губу. Сестренка Тугунка, погодок Касьянке, припасла котелок, держала его наготове, чтоб, как наступит пора, растирать в нем максу с луком, не бегать, не искать посудину. Очень это важный период — заправка ухи: обваренную максу вынимали черпаком, кидали в котелок и перетирали вместе с луком. Желтую, парящую жижицу затем вытряхивали обратно в котел, и дивно сдобренная, без того валящая с ног сытным ароматом уха обмирала в котле, словно тронувшееся сдобное тесто, готовое в любой миг полезть через край от силы, его распирающей, и полной вызрелости.

К бурно закипевшему котлу, по которому гоняет лавровые листья и в середине кружит белопенную воронку, завихряя в ней горошинки перца, мелкие угольки, серые лохмоты отгара и комаров, дежурный прет в корзине вычищенную, вымытую, расчлененную рыбу. Из корзины торчит лунно отблескивающий, раздвоенный хвост огромной нельмы, трепещут и хрустят еще о

прутья крыла стерлядок, буро светится нарядный таймененок. Попробовав черпаком еще пустое варево на соль и удовлетворенно подморгнув Касьянке, напряженно ожидавшей в сторонке приговора, дежурный с плеском вываливал в котел рыбу. Только что бушевавший, булькающий котел охватывала дрема, переставали кружиться по нему, плескаться в его гулкие, щербатые бока вспененные волны, обрезало пенистую воронку, видно делалось накипь, кольцом очертившую посудину изнутри, — как ни три, как ни мой старый чугунный котел, в порах его всегда остается скипевший жир.

Какое-то время смешанно, кучей покоится в котле рыба, чуть только пошевеливает ее из-под низу и нет-нет вышибет наверх блестку жира. Поначалу россыпью катаются кругляшки жира по просторам котла начищенными копейками, но варево со дна пошевеливает и тревожит все сильнее, все напряженней. Вот уж один-другой кусок плавкой нельмы с крылом или жировым плавником приподняло, перевернуло; уха начала мутнеть, облачком кружиться, наливаться горячей силой — блестки жира в пятаки величиной, в рубли, расплавленным золотом сплошь уже покрыли варево, и в посудине даже что-то

тонко позванивало, словно выплавленные капли золота падали на звонкое чугунное дно артельного котла. Первым наверх выбило широкий, крылатый хвост нельмы, трепыхнула плавником пелядка и тут же сваренно уронила его. Всплыл, выгнулся дугой тайменёнок с сонно распахнутым ртом и занырнул обратно; выбросило, закружило стерляжьи остроносые головы. И пошел рыбий хоровод! Куски рыбы, белые, красноватые, с прожелтью, с плавниками и без плавников металась по котлу, переворачивались, выпрыгивали пробками и оседали на дно. Лишь матово отливающий хвост нельмы стойко еще держался над котлом, но и он завядал, сворачивался.

Варево подбрасывало нагоревшим огнем, вертело, гоняло бурунами, и сам котел и крюк над ним содрогались, будто вскачь неслись, позвякивали железом, и бодрое клокотанье возбуждало, веселило и подгоняло артельный люд, занятый колотухой. Кипит работа на берегу! Лишь собаки лежат в стороне. Глянет кто на них — они хвостами повинно шевельнут, что, дескать, поделаешь, нам никакой работы покудова нету, а есть тоже хочется.

Сортная, несортная, белая, черная — разбрасывает Аким с парнишками рыбу по ящикам и

носилкам, споро работает, аж вспотеет весь и, незаметно от людей, нет-нет да и кинет какой-либо собачонке прелую сорожину, чебака, щуренка, окунешку иль налима, разжульканного сапогом. Собака лапой прижмет подачку, покажет зубы налево и направо — не зарьтесь, мне дадено, и, стараясь негромко хрустеть, пожирает рыбу.

И вот дохнуло по берегу ароматом свежья, легким еще, но уже выбивающим слюну, а как растерла Касьянка максу, бухнула приправу в котел и уха вспухла, загустела, впитывая жир и луковую горечь, куски рыбы как бы изморозью покрылись, и рыбьи головы сделались беззрачными, таким плотным запахом сытного варева, допревающего на тихом жару, опахнуло людей, что ребятишки сплошь задвигали гортанями, делая глотательные движения, и не отрывали уж глаз от плавающего поверху, белого, на большую осу похожего, пузыря нельмы — лакомства, которым дежурный, если захочет, поделится с ними. Втягивая воздух носами, артельщики орали друг дружке: «Башка кружится, вот как жрать захотелось!», «Духом валит с ног!», «Шевелись, шевелись да к ухе подвались!» — поторапливал бригадир.

— Рыбе перевар, мясу — недовар! — попробовав

варево из черпака, подмаргивал истомившимся, сидящим вокруг котла ребятишкам дежурный. — И молодцы же мы, ребята. — Дежурный чуточку думал и, как бы отчаявшись, махал рукой, поддевал и вышвыривал из черпака в протянутые ладошки самого малого старателя — Тугунка — нельмовый пузырь.

Тугунок, утянув белый шнурок в ноздрю, подбрасывал пузырь с ладошки на ладошку, дул на него вытянутыми губами и бойко начинал им похрустывать, будто репку грыз, а ребятишки завистливо смотрели на него, у которых накипали слезы на глазах, но дежурный и сам, осоловелый от запашистого варева, не давал горю места, удало распахнув телогрейку, засунув два пальца в рот, оглашал залихватским свистом берег и еще блажил во всю глотку:

— Навались, у кого деньги завелись! Хлебать уху, поминать бабушку глуху!

— Пора, пора! — откликнулись рыбаки. — У голодной пташки и зоб на боку…

Быстро, бегом, подначивая и подгоняя друг дружку, заканчивали артельщики сдачу рыбы и все разом, большие и малые, мыли руки с песком. Серыми мышатами лепились по краю заплеска ребятишки, ловили красными лапками воду — к

позднему, вечернему часу делалось холодновато, но комар все густ, подышать, вволю поплескаться все не дает, а так охота, отмыв руки, поплескать на лицо, поскидывать спецовки и рубахи да обмыться до пояса, сладко при этом завывая, покряхтывая, да разве зараза долгоносая даст! Выбредая из воды, рыбаки откатывали голенища резиновых сапог, отсыревших изнутри за день, — в самый раз разуться бы, дать отдохнуть ногам, да опять же тварь-то эта, комар-то, в кровь искусает.

— Шевелись, шевелись, мужики! — торопил дежурный. — Уж солнышко на ели, а мы все еще не ели!..

— Любимая весть — как позовут есть! — устало, но складно пошучивали рыбаки.

— Гнется с голоду, дрожится с холоду…

На ходу зачесывая волосы, у кого они успели отрасти, и приволочась к столу, рыбаки не садились — валились на скамьи, вытягивали ноги и какое-то время оглушенные, разбитые сидели, не шевелясь, не разговаривая и даже не куря.

В это время, рассыпавшись по берегу, молодые силы, которые еще на иждивении, отыскивали миски, чашки, котелки, переданные им старшими братьями, уже зарабатывающими себе

хлеб. Посуда старая, потрескавшаяся, ложки разномастные, большей частью своедельные, попрятаны в кочах тальников, под настилом рыбодела, за камешником, за бревешками — у каждого едока своя ухоронка и своя очередь к котлу.

У Тугунка очередь первая. Он и в самом деле похож на табунную, больше пальца не вырастающую, серенькую цветом, но вкусную рыбку — тугуна. Крепко держит Тугунок горбушку хлеба, огрызенную кругом, и деревянную, тоже погрызенную ложку, в другой руке за губу он держит эмалированную, испятнанную выбоинами и трещинками, миску, доставшуюся от брата, который сидит за столом среди артельщиков и снисходительно следит за меньшаком, и по лицу его бродит улыбка — тень воспоминаний, горестных и легких. Старшему ведомо, отчего так показно и гордо держит Тугунок на кедровую шишку похожую краюшку хлеба — не съел, уберег, поборол соблазн, всем своим видом гордо заявляя: «А у меня свой хлеб!»

«Свой хлеб» — подмога артели, облегчение, пайку выдают в Боганиде мукой. Мозглячиха стряпает артельщикам хлеб в бараке, все остальные пекут по своим избам, кто как умеет.

Касьяшкам муки хватает на неделю-две: дымятся лепешки на плите, заваруха в чугуне клокочет, оладьи, блины на сковороде шкворчат в рыбьем жире — ешь не хочу! Заходи, кто хочет, «угоссяйся!». Потом шабаш — зубы на полку.

Мать касьяшек снова не показывается на волю — есть на то причина, все знают какая, понимают, отчего выслуживается Касьянка, ломит изо всех сил Акимка и почему касьяшки лепятся в хвосте очереди, отводят глаза от людей и от хлеба, который ребята хранят тоже кто где: кто в кармане, кто под рубахой, кто в кошелке. Касьяшкам и той братве, что не держат выть и ополовинивают, а то и вовсе съедают пайку, заждавшись с тоней бригаду, надо отделять хлеба; вздыхал бригадир, но куда же денешься, на рабочего человека — дело, на голодного — кус.

Тугунок, будто язычески молясь, тянулся обеими руками вверх, ростиком он ниже артельного котла, в руках миска. Киряга-деревяга пробовал возражать, все, мол, должно быть, как в кочевом роде, в северном стойбище: в первую голову к еде, особенно когда горячую оленью кровь пьют, должен подходить охотник — самый нужный в становье человек, затем парни, после старики и бабы — бросовый народ. Киряге-деревяге втол-

ковали: здесь, мол, тебе не полудикое становье, здесь бригада, и бригада советская, между прочим. В советской же державе всегда и все вперед отдавалось и должно отдаваться детям, потому что дети есть наше будущее. Заткнулся Киряга-деревяга и, хоть был большим начальником, еду с тех пор получал вслед за детьми, однако всегда поторапливал, поругивался, поскрипывая нетерпеливо ремнями — креплениями деревяшки; дело в том, что артельщики перед едой, перед ухой выпивали по стакашку, и у Киряги-деревяги горело и дымилось не только нутро, но вроде бы и деревяшка, да приходилось ждать, и он ждал, побрякивая котелком, надраенным Касьянкой.

Сказавши: «Эх, и муха не без брюха!» — дежурный кашевар делал черпаком крутой вираж в котле и вываливал в миску Тугунка кусище рыбы. Руки малого проседали под тяжестью, от забывчивости снова вытягивался из носа к губе шнурок.

— Держи! Крепче держи! — подбадривали Тугунка связчики из терпеливой очереди.

— Не уси усёнова! — выталкивал строптивый работник напряженным шепотом и обмирал, дожидаясь второго захода в котел, — дежурный черпаком поверху снимет запашистого навару с

плавающими в нем лохмотьями максы, лука и жира, скажет, опрокидывая черпак над миской:

— Н-ну, фартовай парняга! Н-ну, фартовай! Вся как есть вкуснятина зацепилась! Поешь, поешь, парень, рыбки, будут ноги прытки! Следушшый!

Задохнувшийся от запаха ухи и оттого, что «вся ему вкуснятина зацепилась», напрягшийся темечком — не запнуться бы, не упасть, Тугунок мелконько перебирал ногами, загребал песок драной обувкой, правясь к артельному столу, а руки ему жгло горячей миской. Но он терпел, не ронял посудину с едой, ожиданием которой свело, ссудорожило все его, еще не закаленное терпением, жиденькое, детское нутро. Рот мальчишки переполнился томительной слюной от зверушечьего нетерпения скорее хватить пищу, захлебнуться обжигающим варевом, откусить кус хлебушка… Темнеет у малого человека в глазах, немеет нёбо, и липкая слюна не держится во рту — скорее, скорее к столу, но так жжет руки миской, так жжет — не удержать! Ой, не удержать! Уронит! Сейчас уронит!.. Отчаяние охватывает мальчишку, слезы застят глаза, вот-вот уронит он наземь миску и сам с нею грянется…

— Дай уж донесу!

Касьянка! Затем в Боганиде и есть Касьян-

ка, чтоб всем вовремя пригодиться и помочь. Семенит за Касьянкой Тугунок, заплетается в собственных кривых ногах, и кажется ему, про себя, молчком умоляет:

— Не расплессы! Не расплессы!..

Поставив миску с ухой на стол, Касьянка пристраивает малого на скамейку, выдавливает ему нос в подол и суровое дает наставление:

— Ешь, не торопись! Да покуль горячо, хлеб не стрескай, потом пусту щербу швыркать…

Тугунок мычит что-то согласное в ответ, а сам уж хлеб кусает, скорее ложкой в миску и тянет дрожащие, от напряжения потом окропленные губы встречь ложке, дует, дует на варево, не видя и не слыша уже ничего и никого вокруг. Всех малых препроваживала и определяла за столом Касьянка, всем давала хозяйские наказы не спешить и не смолачивать хлеб наголо. Котелок Киряги-деревяги, фронтовой еще, мятый, Касьянка всегда без очереди подносила и самого большого начальника определяла за столом меж ребятами и бригадой.

— Спирт-то разом не вылакай! — и ему суровый давала наказ. — Опять, не поевши, свалишься. Ты помаленьку: выпей, похлебай, выпей да похлебай…

— От кому-то зынка попадется! — обводил застолье взглядом Киряга-деревяга. В голосе его любовь напополам с неподдельным изумлением. — Ротный старсына!

— Да, братва, зачем не подождал я жениться? Касьянку-официантку засватал бы!

— Будет шелепать-то, будет! Пейте, ешьте, уработались! — Легкая, беленькая, порхала по берегу Касьянка от котла к столу, от стола к котлу, что метляк, что птаха малая, и уж после, когда все были у дела, все заняты едой, оглядев застолье заботливым взглядом, тыкалась девчушка с краю стола, ела торопливо, но опрятно, готовая в любой миг вскочить, поднести чего иль выполнить чью просьбу.

Блюдя поначалу сдержанность, и старшие, и малые парнишки расходились в еде, слышался перестук и бряк ложек о посуду, швырканье носов — теплый дух еды расплывался по нутру малых работников, оставшихся наедине с собою, со своей посудинкой, и хоть ложка узка, да цепляла по два куса, и дело спорилось.

Мужики подбадривали малых застольными присказками: «Какой человек ни есть, а хочет есть!», «Ешь, братва, наводи шею!», «Мельница — водой, а человек силен едой!», «Ешь чира до-

сыта, будет чирка боевита!», ну и всякое тому подобное, что в других местах при детях запретно было бы молвить, в Боганиде звучало обычно. Отдельной застольной шуткой, от которой никак не могли удержаться рыбаки, шло в прокат слово «уха» — уж такое это слово, что со всеми другими словами само собой вяжется.

— Дети кругом, — укоризненно качала головой Касьянка, указывая ложкой на малышей.

— И дамы! — Бригадир подмигивал артельщикам, выставлял на стол пузатую аптечную бутыль со спиртом. — Ну, мужики! Как говорится, без хлеба не работать, без вина не плясать. Пей перед ухой, за ухой, после ухи, уху поминаючи!..

Короткое оживление за столом, сдержанный хохоток. Алюминиевая кружка от едока к едоку по кругу шла, опорожнив которую рыбаки кто крякал, кто лишь кулаком рот утирал, кто заедал, хрустя луком, кто и присказку, опять же к месту, мол, чай-кофий не по нутру, была бы водка поутру. Но уже шутки и разговоры дряблые какие-то, через силу вроде бы говорились — делу время, потехе час, пора и за ужин.

Бригадир и за кружку брался последним — сидел он у торца стола хозяином-отцом, его заботы сперва о семье, потом о себе. Киряга-деревяга вы-

тягивал шею — убывал, на глазах убывал спирт из пузатой бутылки — что как не достанется? Бригадир, потомив большого начальника, подсовывал ему стеклянную банку из-под баклажанной икры, брякал об нее алюминиевой кружкой.

— Здоров буди, снайпер! — говорил и, обведя полукруг посудиной, кивал головой: — Всей честной компании!

— Кушайте на здоровье! — хором откликались малые боганидинцы, уже отогревшиеся, приободренные едой.

Бригадир пил, размеренно гукая кадыком, затем сплевывал под ноги, шумно выдыхал и, прежде чем хлебнуть ухи, разок-другой шевелил ее ложкой, словно бы взбадривая варево.

Кашевар хотя и сытее князя бывает, однако ему тоже пришел черед определиться к столу и, сказавши насчет того, что нельма сегодня попалась нагульна, навариста и еще: «Рюмочка — чок, катись в роточек!» — и он наваливался на еду.

Никаких больше разговоров. Бригада ужинает. Венец всех дневных свершений и забот — вечерняя трапеза, святая, благостная, в тихую радость и во здравие тем она, кто добывал хлеб насущный своим трудом и потом.

Той порой собаки, подобравшие всю бросовую

рыбу с приплесков, незаметно вползали под стол и, по сапогам, по запаху ли отыскав своего малого хозяина и друга, тыкались мокрыми носами в колени, намекая насчет себя. И так уж повелось в Боганиде: добросердечность, объединившая людей, переметывалась и на животных. Малые едоки роняли под стол кости, рыбьи крылышки, высосанные головы; поймав подачку, собаки притаенно похрустывали, а рыбаки делали вид, будто никакой вольности не замечают.

Сулили уединенному поселку Боганиде повальный мор, поножовщину. Как ужиться простодушному северному человеку с теми, которых от веку именуют страшным словом «бродяга», а то и «арестант». Киряга-деревяга, пока вместе с бригадой столоваться не начал, называл артельщиков пугающим словом «элемент». Но простодушие ли северян, дети ли их вольные и доверчивые ко всему живому развеяли жуткие предсказания, работой на Боганиде дорожили, и, если какая нечисть затесывалась в бригаду, намереваясь взять ее блатным нахрапом, заразить ленью, картами, воровством, его били смертным боем, как того «культурника», и он или приспосабливался к боганидинскому укладу жизни, или отбывал из поселка.

— Как уха, работники? — обязательный вопрос каждого дежурного кашевара. И на вопрос этот первым должен откликнуться голова застолья — бригадир. Раскрасневшийся от еды и спирта, вольно распахнувший рубаху на груди, где средь путающегося волоса всосалось несколько комаров, он великодушно возвещал:

— Не зря говорится — добрый повар доктора стоит!

— Брюхо что гора, доплестись бы до двора! — вклинивались в разговор артельщики. Малые, сморенные едой работники, пусть и разрозненно, тоже хвалили кашевара, едва уж ворочая языком:

— Очень хоросо!

Мужики закуривали. Над столом вздымался такой густой и плотный дым, что комары жались к земле, забивались под стол и там набрасывались на собак. Тугунок и вся мелкая братия начинали клевать носом в посудину. Под столом ловкая лайчонка вежливо облизывала в бессилье уроненную ложку, полагая, что ее затем и опустили, чтоб облизать. Разок-другой не корысти ради, от признательности уж собачонка и руку дружка своего лизнет. Мужики кто во что горазд прокатываются над малыми.

Касьянка сгребала в кучу меньших, кого подгоняя, кого волоком, распределяла по домам — уснут на берегу, попробуй утащи — тяжелые после ухи пузаны, а на улке не оставишь — комар.

Акимка не давал себе рассолодеть за столом. Он собирал со стола посуду: ложки в ведра, миски, котелки, чашки в кучу и, прибавив из котла горячей воды, нес ведро в лодку. Смешав в ведре горячую воду с холодной, он неторопливо мыл посуду, ополаскивая ее за бортом, жмурился, сыто поикивал. Дежурный тем временем снимал с крюка котел и отставлял в сторону. На дне котла оставалось два-три черпака ухи с разваренной рыбой, с густо влипшими в нее горошинами черного перца, и, вывалив остатки ухи в емкий медный котелок Киряги-деревяги, Касьянка подсовывала посудину на дотлевающие угли костра и кидалась помогать брату обихаживать посуду. Вехтем из жесткой осоки и талого корья оттирала она жирное нутро котла с песком, отдувая с лица комаров и жидко спадающие на лицо волосенки, напевая под нос: «Шлю, маруха, тибе я привет».

«Откуда такая крепость, такая неугомонность в этой худенькой девчонке?» — дивился Аким, с трудом одолевая ватно его обволакивающий сон.

Все ее погодки, парнишки и девчонки, тяжело отпыхиваясь, спали уже по своим, дымокурами прокопченным, избушкам, а эта суетится, возится да еще и поет, правда, совсем уже тоненько, на исходе сил, но поет. Акимка молча отымал у сестры вехоть, выталкивал ее из лодки, и она покорно тащилась в гору, за нею, опустив хвосты и уши, сонно волоклись псы, они тоже наработались — подбирали кости, крошки возле стола, вырывали чего возможно друг у дружки, вступали в схватки с жадными, но более верткими и ухватистыми птицами — чайками.

Напившись густого, бодрящего чаю, артельщики развешивали невод, сетки, приканчивали текущие дела и отправлялись в барак, где к этой поре жарко натапливалась русская печь — для просушки одежды. Радистка, она же ворожея и мать всему здешнему народу, как по возрасту, так и по нраву, Афимья Мозглячиха, доложившая в «центр» о наличии рыбы на участке, о сохранности людей и инвентаря, давала мужикам возможность посидеть в своей каморке, покурить, послушать новости или музыку, посудачить о том о сем, да и отправляться на покой — завтра снова тяжелая работа на воде.

А завтра — оно вот, скоро, совсем уж скоро

выродится из сегодня, чиркнет по мутному, живому от комаров окошку барака первым лучом солнца, выпутавшегося из лоскутья туманов, застеливших тундру; отсыпаться, чинить сети, конопатить лодки, мыться в бане — это уж во время оддорной, так коренные жители называют ненастную погоду, когда на реку не выплыть, а пока горячая страда — на реке, как и в крестьянском поле, летний день год кормит.

Какое-то время еще торчал в рыбоделе Кирята-деревяга, тукал ногой по настилу, попыхивая трубкой. Распаленный спиртом, он выхвалялся перед резальщиками, которые спустились из поселка по холодку, на малом комаре пороть и солить рыбу:

— Семь фасыстов пришыби иссё, и мне бы героя дали! И сто меня потассыло не тем путем?..

— Пьяный поди-ко был? — заводили Кирягу-деревягу женщины.

— Пьяный? Сто говорис-то? Сообразас? Снайпер на линии огня как огурсик долзен быть! Когда с огневой придес, тогда, позалуста, выпей, отдыхай!

— Ну дак вот и торопился!..

— Куда?

— Огурчиком-то закусить!

— Аа-а, толковать с вами, серамно сто с пленными! То да потому, то да потому! — отчаивался Киряга-деревяга и сурово наказывал: — Мотрите, стоб сё тут было, как в больнице, систо!

— Да иди уж, иди, начальник, намес комля чайник! — прыскали резальщицы.

Киряга-деревяга плевался:

— Сто за народ! Сто за народ, понимас! — и бросками вышвыривал себя в гору — так зовется на Богаииде, как и на всякой иной земле, берег, подмытый ступенями, дышащий мерзлотой.

На горе Киряга-деревяга грустно замирал, глядя куда-то, вспоминая о войне, о фронтовых друзьях. Душный пар от мерзлой земли чем далее в тундру, тем дремней сгущался, вбирал в себя пространства, низкую пестренькую растительность, смешивался с туманами озер и рек. Густой пеленою заволок, укрыл и недвижную, на правое плечо скособоченную фигуру бывшего снайпера, с медалью, прицепленной к телогрейке.

Аким выплескивал из неводника воду, выскребал шахтару, рыбью шелуху, потроха, укладывал на место подтоварники в лодке, составлял к рыбоделу весла, подколачивал топором уключины, пережидал, когда отправится на отдых дежурный. Тот не заставлял себя долго ждать,

почесываясь, широко зевая, интересовался:

— Все вроде бы прибрали?

— Сё!

— Я пошел тогда?

— Ступай, позалуйста, пана!

Взглядом проводив дежурного к бесплотно плавающим в сереньком мороке избушкам Боганиды, Акимка с облегчением переводил дух, забирал берестянку из-под соли, в которой серел кусочек хлеба и рыбы, отделенной им с Касьянкой, поддевал на руку дужку старинного котелка с теплой еще ухой и, неслышной тенью проскользнув мимо рыбодела, где пластали рыбу и трепались резальщицы, спешил к избушке с вывалившимся из углов простенком, подпертым с берега.

Заслышав осторожный скрип двери, молча, всякий раз молча мать тенью приподнималась на нарах и, ровно бы боясь обмануться в ожидании, напряженно следила за Акимкой. Он ставил на печь котелок, зажигал в немазаной плите щепье, заранее собранное на берегу, следил, как разгорается огонь. Берестянку с рыбой и корочку хлеба не глядя совал себе за спину, в сумрак избушки, и всякий раз пугался холодных, ищущих рук.

— Захворала?

— Не-е. Сё мне сделается? — стараясь придать голосу беспечность, отзывалась мать и, шебарша, принималась выбирать из берестянки рыбу. С откровенным детским причмоком обсасывая косточки и пальцы, мать ворковала: — Якимка хоросый! Якимка настояссый сын! Тай пох торовья! Тай пох… — и эти вот заискивающие, неловкие, унижающие взрослого человека слова опрокидывали все в Акиме.

Прибитый униженностью матери, он, не глядя на нее, с грубоватым мужским превосходством плевал в огонь, приказывал не трепаться, есть, пока дают. Мать послушно и виновато затихала, мотая головой, хорошо, мол, хорошо, молчу, только не гневайся, кормилец. По природе не грубый, Аким тут же исправлял положение, вспоминая поговорку боготворимого бригадира: «Дома ешь, чего хочешь, а в гостях — что дают!» — и чуть слышно ободрял:

— Кушай, кушай! Ребенка кормить надо. Ребенок-то нисё не понимат, ему дай ись, и все.

Смиренно швыркала мать подогретую уху из котелка, экономно прикусывая хлебца, вздыхала, будто оленуха. «Никто не ведает, где бедный обедает», — усмехался невесело Аким, а мать, боясь сказать еще чего-нибудь невпопад, молча

протягивала ему котелок и, трогая его руку суетящимися, заискивающими пальцами, давала понять, что вот и согрелись ее руки, вся она согрелась.

— Па-а-аси-ибо, сыносек! — удаляющимся голосом нежно пела она и, шаркнув по стене рукою, опадала в глубь избушки, в постельное гойно, свитое из старых оленьих и собачьих шкур. Выковыряв из кучи лохмотьев керкающего, почти задохнувшегося ребенка, мать сперва выцарапывала из ноздрей и рта младенца изопревшую шерсть от шкур и совала в слепо ищущий зев недоразвитую грудь. Вздрогнув поначалу от жадно, по-зверушечьи давнувших десен и в ожидании боли, заранее напрягшаяся мать, почувствовав ребристое, горячее нёбо младенца, распускалась всеми ветвями и кореньями своего тела, гнала по ним капли живительного молока, и по раскрытой почке сосца оно переливалось в такой гибкий, живой, родной росточек.

И Акимка, и Касьянка так же вот начинались, так же слепо, так же жадно искали грудь, а сейчас вон Акимка у печки сидит — хозяин. Касьянка к матери приткнулась — греет ее боком — дети, живые люди. Покоем и тихим счастьем охвачено сердце матери и тело ее, ей хочется еще раз

сказать «спасибо!» старшему и всем-всем, кого она знает, потрогать рукой Касьянку, дотянуться до гладких, прохладных щек всех ребятишек, прогнать с них комаров, но ее начинает кружить, нести куда-то на качкой лодке, и она, еще слабая от родов, отдается чуткому материнскому сну, уплывая в густую от запахов глубь избушки.

Акимка все как-то угадывал, чувствовал, а понимая и чувствуя, снисходительно матери прощал. Кто-то ж должен был прощать ее, бесхитростную, далеко не умеющую глядеть и много думать не приученную. Дождавшись, когда мать отвалится на край топчана, простонет освобожденно и уронит руку, поддерживающую грудь у рта младенца, Аким подходил на цыпочках, укутывал мать, осторожно клал ее руку на бочок ребенка, сгонял со щеки Касьянки опившегося комара и решал, замерев над спящими: не развести ли курево? Но ребенок же в доме маленький, задохнется, да и сил у него уж почти не было, усталость долила его.

Хриплая, посапывающая, царапками ногтей заполненная темь избушки манила своим теплым, сонным раем. И, стоя средь избушки, он начинал отдаляться от себя и ото всего, что есть вокруг, но все же пересиливал сон, заставлял перешагнуть

порог, ежась от мозглой сыри, собирать щепу и плавник по берегу, выскребал из сердцевины сутунков гнилушки, тер их на табачном сите и, этим же ситом провеяв, ставил банку с порошком к топчану матери — подсыпать ребенка — сопреет малый до костей в облезлых от псины шкурах. Еще бы моху надрать, насушить и тоже подсунуть к топчану матери, но такую работу уже догадывалась исполнять сноровистая Касьянка.

Много, ох как много нужно человеку, чтобы жить и существовать на этом свете.

Погоняв веником по избушке комаров, сгрудив младших ребят потеснее, Аким устраивался на краю нар, чтобы не посваливались которые на пол, и едва успевал донести до изголовья щеку, засыпал каменно, бесчувственно. Но через час-другой какая-то сила, ему непонятная и многим детям вообще неведомая, заставляла его очнуться, оторвать прилипнувшую к постели голову, прислушаться.

Спит семья. Ребятишки спят — братья и сестры. Мать спит. Новый маленький человек спит. Как всегда, крадучись, мать неделю назад сходила в бригадный барак к Мозглячихе, опросталась там благополучно и виноватая вернулась с узелком домой. «Что сделаешь? Ребенок на свет живой

явился, дак пусть и живет», — гаснущим проблеском мысли успокаивался Аким во сне, наяву ли, видя бригаду и тесный ряд малышни за длинным тесовым столом, и успевал еще улыбнуться: «Вырастет и этот коло артельного котла!»

И до позднего утра, до нескорого пробуждения бродила по лицу парнишки улыбка.

Все кончилось однажды и разом.

Стройку дороги, которая через все Заполярье должна была пройти, остановили.

И опустела Боганида.

Мать ездила в Плахинский рыбоколхоз, писала «тогомент», получала сети, спецовку, аванс. Она привезла конфет, пряников, халвы, нарядные бусы и ленты, погремушку на резинке, поясок с медной бляшкой Касьянке, а себе кругленькие часы, которые ребятишки тут же утеряли, уронив в щель пола. Кроме погремушки, самому маленькому человечку привезена была интересная лопотина: чулки, штаны и рубаха — все вместе! Добро накопится, куда и вытряхивать, неизвестно. Обувь, одежду, одеяла, белье — потом, в другой раз сулилась мать приобрести.

Началась рыбацкая работа. Издали она кажется простой, легкой и веселой. Две осени плавал Аким с матерью. Плавал, значит, ловил плавной сетью

муксуна, сига, омуля, селедку, чира, пелядь.

Летом рыбачить ничего, хотя в затишье, меж ветродувами одолевает комар, но летом светло, приходится ловить рыбу ставными сетями и подпусками, плавают с августа, когда начнутся темные ночи.

Первое время Акимка не мог нарадоваться свободе и тому, что он сам зарабатывает хлеб себе и семье, помогает матери. Тот, первый, август выдался погожим, тепло еще было, день большой, ночь маленькая. Успевали сделать две тони, изнурения в работе не знали. Мать сидела с веселком на корме, покуривала, плевала за борт. «Ой, люли, моя малина, распрекрасная калина…» Касьянка опять же подцепила песню и обучила мать. Акимка сердился, когда они тянули про «маруху», блатная, говорил он, песня, поганая, за нее из школы прогонят Касьянку. Вот они, чтоб угодить «старсему», и выучили про калину.

Касьянке через месяц ехать в школу-интернат. Ей два платья на пароходе в лавке купили, ботинки и лыжный костюм, большой, правда, мужицкий, но Касьянка вырастет, и он ей будет в самый раз. Аким отправится в школу, когда кончится рыбацкая путина, пока же надо работать, кормить семью. Ребятишки жарят печь

в избушке, ждут не дождутся брата с матерью, встречать артельно на берег вываливаются — совсем недавно так вот, гамузом встречали бригаду. Что сделалось? Куда все делось? Народу в Боганиде душ полторы-тарары, ребятишки поразлетелись с отцами-матерями, одним лишь касьяшкам некуда подаваться. Закрыли дорогу — черт с ней! Век дороги не было в Заполярье и еще пусть век не будет. Но рыбу-то, рыбу-то ловить зачем бросили? Рыба — не дорога, она всегда и всем нужна.

Приспел, не заставил себя долго ждать первый утренник, оглушил инеем гнус, искрошил мелкую траву, на свет выпросталось всякое тыкучее растение с мохнатым семенем, стало сорить на землю пухом, на кустарниках засветилась листва, до красноты ожгло бруснику в тундре, посыпалась остатная голубика, черника, раскисла поздняя морошка, княженица уронила в кочки последние мелкие ягодки, листья багульника свернулись туже в трубочки. По озерам, на обмысках и островах тронуло горчичной сыпью тальники, заклубились над рекой птичьи стаи, выжатые из озерных и болотных крепей намерзающей утрами коркой льда, которую днем ломало ветром и солнцем. Начищенное до белиз-

ны лоскутьем летних туманов, солнце полорото пялилось с высоты на тундру, объятую краткой и дивной красой. Ясное, не опутанное липкими мокрыми сетями, как озерный круглый карась, солнце еще пригревало в полдень, пусть исходным теплом, да все же грело, но там, где солнцу надо замкнуть дневной круг, легкая дрема примаривала светило, и день ото дня оно провязало глубже в тину дальних болот. Кем-то растребленный птичий пух все плотней окутывал его, и в мякоти пуха оно долго нежилось утрами и возникало почти над головой, заспанное, ленивое.

Выбросив крестовину и выметав сеть, рыбаки рассаживались по местам: мать на корму, Аким за греби. С вечера можно еще плавать в рубахе и пиджаке, ночью — в телогрейке, к утру плащ приходилось надевать. Легонько пошевеливая веслами, Аким удерживал линию наплавков сети вкось по слабому течению и представлял, как там, в глуби воды, чуть помутневшей от морока первых ночей, вышли и пасутся на песках, словно птицы на ягодных полянах, косяки муксуна, чира, пеляди, омуля. Гладкими заостренными мордами рыбы тычутся в песок, выбирая мормыша, личинок поденка, жучка-плавунца, осыпавшихся на дно комаров, тлю, мохнатых ягодных бабочек и

всякую козявку, сбитую на воду ветром и холодом. Жирует рыба перед зимней полусонной жизнью. Если блошка, козявка, червячок какой не захочет, чтоб его съели, зароется в песок, в жидкий слой наносного ила, рыбы тревожат дно кто крылом, кто хвостом, кто поддевает песок нижней губой, будто лопатой: муть, супесь пропускают через жабры обратно в реку, козявке же иль червяку через гармошку жабер не проскочить. Прямой ей путь в ненасытную, чуткую рыбью пасть. Еще козявка лапки не сложила, не смирилась с судьбой, еще брыкается в тесноте рыбьего чрева, а уж пошла работа на перевар, выделился сок, который мигом размягчает и рассасывает не только мягкопузую козявку, но и кость — ракушку, мелкий камешек, словом, варит рыбье брюхо, что богданидинский артельный котел. Касьяшки-варначье с досады раскололи его камнями.

Эх-ха-ха! Ни котла, ни бригады, осень надвигается, за ней зима подкатит, она тут резвая, не временит в пути, навалится — держись! Сроку ей половина года, когда и больше, а там весна, совсем не красна, зато голодная.

Не давая ходу тяжелым мыслям, Аким насильственно заставлял себя думать дальше, о том, что происходит не в миру, не на свету, а в воде, под

лодкой. Там, внизу, следом за большой рыбой, вспахивающей дно реки, будто пашню — Аким видел пашню в кино, — теснятся косяки тугунка, ельцов, селедок и этого рванья, шпаны-то водяной — ерша, про которого опять же бригадир так славно и складно сказал: «Ухи из ерша съешь на копейку, хлеба расплюешь на рупь!» Подбирает мелкота все, что плывет следом за плотными косяками строгой, жирующей рыбы, и, обнаглев, иной ершишко затешется меж чиров иль муксунов, выхватит из губатого рта рыбины вьюнка или козявку, та покосится на нахала, гляди, дескать, я терплю, терплю да и ахну хвостом! И бывает, рассердится вальяжная, косячная рыбина, мотнет мордой, шарахнет хвостом — тучи мелкоты тогда, взрябив водяное поле, метнутся кто куда, высыплются на отмель, забрыкаются по опечкам, а их чайки цап-царап, цап-царап! У этой пташки не зазеваешься, она настороже днем и ночью и век голодная, нутро у нее, как решето, — всякий корм насквозь просеивается без задержки. Только вот влетела белым метлячком живая мулявка в визгливое горло и сей же миг выпала из-под хвоста известковой кляксой. «Ваших нет!» — говорили картежники в боганидинском бараке. Чайка ярким клювом

перья чистит, холит себя, дородную. Сварливая птица, неспокойная, жадная, а улетит — пусто без нее на реке, будто в нынешней Боганиде. Вот перестала чиститься чайка, приподнялась на розовых лапках, толкнулась, взлетела, хвать рыбину с воды, больную, поврежденную ли, поверху полоскалась рыбина; чайка — санитар, чайка реку чистит, рыбий род крепит, выедая слабую и заразную тварь, мальков на отмелях пежит, физкультуру им делает, осторожности учит.

Катятся мысли Акима, катится сеть по чистому песчаному дну. Дрогнули ряды поплавков в серединном урезе сети, засуетились поплавки, запоныривали и огрузли — большая рыбина втяпалась, может, осетр, может, таймень, может, и нельмища. Пришла нельма, пришел осетрина или таймень-бандюга на отмель, затесался в толпу косячных рыб, толкается, корм из-под носу выгребает да еще норовит схватить зеворотную рыбину, какая ему по глотке, а того не видит, что, пока шухер наводил, будто блатняга в клубе, по песчаному дну, вкрадчиво побрякивая костяными кибасьями, наползла сеть, и облачком колышущийся подбор коснулся паутиной ниток наглой морды. Не понимая, что это такое посмело мешать ему жрать и развлекаться, тряхнул мор-

дой разбойник и почувствовал на крышках жабер петлю ячеи — сразу в панику. Хищник любит сам хапать, но чтоб его ловили — ему не по сердцу.

Тягу хотел задать, рванулся изо всей дурацкой силы. Верток, силен хищник, но на месте ему не развернуться, непременно его вперед бросит, значит, дальше в сеть. Рвать ее, пластать противную, удушливую возьмется, забушует, завозится и вдруг отяжелеет, повиснет в сети, увлекая тетиву и наплавки в глубину.

Косячная рыба спокойна, нетороплива, пятится перед сетью, не переставая кормиться, — не хочется ей покидать кормные отмели, шевелиться лень — ожирела. Сеть подсекает нижней тетивой косяк, сгребает его, будто овощ в мешок.

«Так-то вот! Не зевай! Кто-нибудь кого-нибудь все время имат и ест!..» Боганидинская тоня четыре версты. Чего только не передумаешь, пока проплывешь ее с сетями по тихому, едва заметному течению. И нет на этой тоне лодок, словом перемолвиться не с кем. Осталась в Боганиде Афимья Мозглякова — караулит имущество: матрацы, койки, одеяла, невод да всякий разный инвентарь. Еще Киряга-деревяга остался. Слух есть, скоро и они уплывут в поселок Чуш. Тамошний рыбкооп примет по акту инвентарь

и определит Афимью с Кирюшкой на работу. Что будут делать касьяшки на Боганиде — ума нет! Мать думать так и не научилась. Болтает вон ногой за бортом, дымит цигаркой, щурится блаженно и поет все одно и то же, про малину да про калину.

В начале сентября накоротке, но буйно вспыхнет тундра и сделается сплошь облитой раскаленным металлом — это разгорится мелкий, черствый листок на карликовой березке, на голубичниках, тальниках. Скромным ситчиком зарябят болота, на которых багульники будут держать окорелый продолговатый лист до больших холодов, а потом потемнеет, отмякнет тундра, и сразу же сделается голым-голо, всюду проплешины выявятся, выступят серые камни, сухие кусты, хламье мхов, паутина сопревшей травы, лишь ярче, пламенней загорится от брусники беломошье и угаснет уже под снегом.

В предчувствии недалекой зимы справит скромная северная земля свой последний в году праздник, обмерев от собственной красоты на неделю-полторы. А потом как бы пробно шевельнет ее легким ветром, выдует искру из громадного костра, покружит ее и загасит. Ветер станет набирать силу, загустеет искровал, заполощется

яркий, короткий листобой по широкой земле, и в полете, в круженье угаснет северный листок; на земле, не догорая, он сразу остужается, прилипает к моху, и становится тундра похожа на неглубоко вспаханную бурую пашню. Но земля еще дышит, пусть невнятно, а все же дышит прогретым за лето недром, и несколько дней кружат над тундрой, надо всем неоглядным раздольем запахи увядающего лета, бродит пьяная прель гонобобели и водянки, струят горечь обнажившиеся тальники, и трава, редкая, северная трава, не знающая росы, шелестит обескровленным, на корню изжившим себя стебельком.

Вдали, где берега Енисея зависают над бездной, все гуще порошатся сумерки. Оттуда, с севера, с полуночных мест наплывает, полнясь в пути чугунной тяжестью, долгая ночь. Глядя в не сомкнувшийся пока, но уже заметно сблизившийся створ берегов, все лето двумя длинными, зелеными отводками враставших в светозарное небо, Аким ощущал, как всасывает его, мать, лодку, сеть с крестовиной и все, что есть вокруг них, та, пока еще далекая, но ниже и ниже нависающая, тяжелая наволочь. Стонали чайки, плакали гагары, сбивало в кучу птиц, катало их с места на место. То рассыпая широко, то сжимая

вдохом вроде бы. Беспокойством охваченные птицы ввергали в беспокойство и все вокруг. Скоро-скоро начнет отжимать холодами табуны на юг, дальше и дальше от родных гнездовий. А пока возле табунов стояли на песках, высоко подняв головы, сторожевые гуси; хлопали мягкими лопатками клювов лебеди, прощупывая донный ил, выбирая из него еду; по приплескам на долгих ногах за кем-то гонялись не ведающие горя, всегда хлопотливые и вроде бы хмельные кулики; растревоженно клохтал в кустах куропан, ему никуда улетать не надо, однако все равно неспокойно. Водой кружило все гуще сыплющихся мошек, мотыльков. Пена кружилась в курьях, уловах, по заплесьям. Тесто пены протыкали, теребили из-под низу рыбы — начался ход туруханской селедки и редкого уже на Енисее омуля. Гуще, стайней сбился на кормных отмелях муксун, ближе к ямам покатились чир и сиг. В такую пору можно и нужно плавать круглые сутки. Но не на службе, не в конторе, не у заводского станка Аким с матерью, эка беда, лишнюю тоню не сделают, три-четыре центнера рыбы не поднимут — ее ловить не переловить!

Переглянутся меж собой сын с матерью, да сразу и поймут друг дружку. Мать табанила

веслом, поворачивала лодку, Акимка подгребался лопашнями к бережку. «Ах, Самара-короток! Ниспакойная я, нис-па-ко-ойна-я й-я-а-а, ус-паккой-ой ты мин-ня-а-а…» — выбирая на уху рыбу, напевала мать, и хорошо у нее получалось.

После ушки и чая рыбаки отдыхали, нежились на песке, возле огонька, всхрапывая безмятежно и вкусно. Ни комара тебе, ни мошки, ни слепня, и солнышко еще нет-нет да и порадует теплом. Аким просыпался раньше матери, выплескивал воду из лодки, стараясь не стучать веслом, подскребал шахтару совком, крестовину в лодку заносил, крюк и все, что нужно на тоне. Пора бы и сеть набирать, да жалко будить человека. Спит у костерка мать, улыбается чему-то. Снова и снова дивуется парнишка тому, что эта вот женщина или девчонка в мокрых бродешках, в заправленных за голенища мужицких брюках, поверх которых платьишко, увоженное чешуей и рыбьими потрохами, взяла вот и произвела его на свет, дурня такого! Подарила ему братьев и сестер, тундру и реку, тихо уходящую в беспредельность полуночного края, чистое небо, солнце, ласкающее лицо прощальным теплом, цветок, протыкающий землю веснами, звуки ветра, белизну снега, табуны птиц, рыбу, ягоды,

кусты, Боганиду и все, что есть вокруг, все-все подарила она! Удивительно до потрясения! Надо любить мать, жалеть ее и, когда она сделается старенькая, не бросать, отблагодарить добром за так вот просто подаренную жизнь…

Но матери не суждено было стать старенькой. Весной она ездила в Плахино, за Акимом и Касьянкой, получала деньги в колхозе, пировала в клубе после собранья, пряталась на берегу с мужиками. Летней порой она тайком выпила из консервной банки черный порох, смешанный с паяльной кислотой, — так научили ее многоопытные плахинские женщины: «Семеро по лавкам! Хватит! Без артельного стола дай Бог этих голодом не уморить, и кто будет возиться с восьмым?» И мать соглашалась с женщинами: «Конесно, конесно, Касьянке и Акиму школу хоть бросай. Без грамоты они на реке вечно будут колеть. С грамотой же Касьянка в воспитательницы детского сада выйдет или портнихой научится. Акимка заменит Кирюшку, рыбным начальником поступит».

Перед тем как пить изгонное зелье, мать зарыла в землю гнилую ногу павшего оленя, положила под порог нитку с иголкой, а приняв питье, полежала на топчане, шепотом повторяя: «Помяни,

Господи, сыны эдемские во дни Иерусалимовы глаголящие: и стощайте до основания его», — этим словам ее тоже плахинские женщины научили, но она их не смогла все запомнить, и грамотная Касьянка записала говорку на бумагу и, где мать забывала, помогала ей по записке.

Ребенок, по счету восьмой, из матери ушел. Какой он был, куда и как ушел — никто не видел. Мать пожила смирно сколько-то дней, потом, как бы отшибая от себя горе, тряхнула головой: «Нисё-о-о-о!» — и первое время, как и прежде, шуточки шутила, ребятишек просмеивала, табачок покуривала, но все как бы вслушивалась в себя, и тень вечной, северной печали меркла во тьме глубоко запрятанного страха, и все чаще мать хваталась за поясницу и, обмерев, спрашивала: «Ой, сё зэ это тако со мною?..»

За лето мать одряхлела, согнулась, окосолапела, как старая медведица, румянец давно погас на ее щеках, глаза подернулись рыбьей слизью, на ветру из глаз текло, и белая изморозь насыхала, крошилась из беспрестанно дрожащих уголков подглазниц. «Нисё-о-о, пройдет!» — уверяла она себя и ребят, но уже не улыбалась при этом, и голос ее был тускл, и взгляд отгорелый. Забросила она курить табачок, перестала петь,

после и разговаривать, ела через силу, слабея на глазах. Набирая сеть, она вдруг закусывала губу до крови, роняла тетиву, наваливалась на остро затесанную кокору носа лодки животом и что-то выдавливала из него. Лицо ее черное, глаза ее, ввалившиеся не в глазницы, а словно в искуренные трубки, подавались наружу и из черненьких, смородиново поблескивающих, становились, как у русских баб, светлые и большие. «И-и-и-ий!» — визжала мать. Ребятишки, глядя на нее, кричали со слезами: «Мамоська, не надо! Мамоська, не надо!»

Преодолев что-то в себе, сломавшись в пояснице, мать ползла на корму лодки, брала весло и, пока сплывали к тоне, выла одиноко и страшно: «О-о-о-ой! О-о-о-о-ой!..» Но страшней воя было, когда мать пыталась вспоминать наговоры, шевелила изгрызенными до мяса губами: «Утверди и укрепи… как на той сыро-матерной земле, нет ни которой болезни, ни ломоты, ни опухоли… О-о-ой! — сотвори, отвори… укрепи жилы, кости, бело тело… О-о-ой! Не могу, Якимка! Не могу больше! Сто зэ ты смотрис, сыносек? Помоги своей мамоське, ради поха!»

Изморная погода дождями, снеговой мокретью отделила двух рыбаков от всей остальной земли

и людей, зови — не дозовешься, кричи — не докричишься! Затерянные в безбрежье подросток и больная, изувечившая себя женщина привидениями лепились в лодке — один в лопашнях, другая на корме. Аким везде за мужика, он и под кибасья, под нижнюю, тяжелую тетиву становился, сети на вешала таскал, он и рыбу выгружал, он и лодку на бечеве с тони к избушке поднимал, до того изработался, измок, простыл, что все в нем резиново пошамкивало, хрустело. Изнуренно, неподатливо выбирал двустенную, крупноячейную, сажен на сто, сеть, рыба в которую путалась уловисто, но не было уже от этого радости, только боль в руках, сведенных холодом и треснутых от мокра, да тупая тревога на сердце: «Что будет дальше? Что?»

И тревогу, и всякую боль старались оглушать спиртом. Поначалу питье вышибало слезы из глаз, прожигало от горла до кишок, рвало в клочья живот, но куда денешься, надо греться, чтобы работать. Втянулся, привык к спирту Аким, а у матери питье вдруг начало выливаться обратно, она потрясенно вытирала подбородок, глядела на руку, на парящий, побелевший от спирта дождевик и побито, недоуменно таращилась на сына, о чем-то спрашивая его взглядом.

Аким сердито, как ему казалось, на самом деле в ужасе отвернувшись, промаргивался на ветер. Ничем он не мог помочь матери. Надо было работать, рыбачить, план они не добрали. Что получат после путины? Сколько? Чем кормить семью? Во что одевать? Неужто пропасть им всем в одичавшем поселке Боганида, на пустом, бездорожном берегу? Раздражение и жалость, отчаяние и тревога терзали парня, хотелось порой изматериться по-мужицки: «Ну што? — сказать матери. — Гулять, плясать да ребенков делать хорошо было? Чего теперь вот нам делать?!»

Больной человек, обостренно все чувствующий, из подростка в старушку перешедшая мать старалась искупить вину терпеньем и стараньем в работе. Держась за борт лодки, она перебиралась к подтоварнику, стояла над сетью в дождевике, в мокрых верхонках, закусивши в губах плач и вой, механически перебирала тетиву. Но хватало ее уже ненадолго, она часто роняла подбор иль останавливала движенье рук, словно бы заснув над сетью, и тогда «старсый» всаживал в нее яростный взгляд, и не взгляд, прямо сказать, острогу. Она подхватывала сеть, суетливо перебирала руками, но рыбу вынимать из мокрых ячей уже не могла, не гнулись пальцы и поясница не гнулась,

как наклонится — голова ее передолит, и она ткнется носом в мокрый, шевелящийся от рыбы, ворох сети, притаилась вроде бы, играет, но глаза под лоб закатываются, и все шепчут, отмаливают беду изорванные в клочья губы: «На ретивом сердце, на костях ни которой болезни, ни крови, ни раны… как больно-то мне. О-ой-е-е-о-оой!.. Един архангельский ключ меня… твоя… сохрани, коспоть, сохрани и помилуй, хоросынький ты мо-ой!..»

— Се молотис языком, неверующая дак! — сердился Аким и тут же укрощал себя. — Господь, он русский, а у тебя мать долганка!

— Пох один, сыносек, сказывали зэнсыны, — смиренно ответствовала мать, опустив страданием испеченные глаза. И хоть не до конца, хоть отдаленно, до паренька доходило: чтобы матери выжить, надо ей во что-то верить, надеяться на помощь. Она привыкла ко всегдашней помощи от людей, но люди разъехались из Боганиды, и некуда было деваться, надо тревожить Бога, да шибко, видать, провинилась перед Ним мать, много нагрешила, и Бог не поворачивался к ней милосердным ликом.

Пришел день, когда мать не смогла выйти на тоню, свалилась окончательно. И тогда, страшно

матерясь и дрожа от гнева, старший загнал в лодку двух братьев-парнишек — жрать рыбу могут, значит, и ловить ее годятся.

За хозяйку и сиделку в доме оставалась Касьянка, исхудавшая до того, что вроде насквозь светилась под кожей каждая в ней косточка. От недосыпов, от непосильной работы у нее кружилась голова, шла носом кровь и, как у взрослых изработанных женщин, ломило руки. Аким знал, что и неугомонная Касьянка вот-вот занеможет и тогда всем пропадать.

Встречь уже отлетающим табунам птиц пришел с верховьев катер, на нем приплыла за инвентарем — имуществом Афимья Мозглячиха, попроведала касьяшек, оглядела мать, в бреду шепчущую: «никакой болезни… ключ един… ни раны, ни ломоты…» — и покачала головой:

— Отгулялась, дева. Смертные в тебе ключи открылись. В больницу край надо, — и увезла мать на катере обратным ходом, сказавши, что за остальными касьяшками приедут из колхоза.

Уж по шуге обстановочный пароход «Бедовый» сбирал с реки бакены, выключал перевалки и привычно подвалил к Боганиде — за рыбой, думали касьяшки. Но по крутому, скользкому трапу, держась за деревянные ребра, задом вперед спус-

кался человек с такой знакомой, засаленной до черноты деревяшкой, и, когда оказался на берегу, загреб, сколько его рук хватало, ребятишек и, тычась голым, мокрым лицом в жестковолосые головы, повторял, давясь слезами: «Сиротоськи вы, сиротоськи!» — с горя, с вина, от простуды ли голос Киряги-деревяги засадился, и слышалось только: сы-сы-сы — так что ребятишки и не разобрали, чего он говорил и почему плакал.

Быстро скидали касьяшек на «Бедовый». Радостно им было куда-то плыть из запустелой Боганиды, носились по палубе, играли, смеялись. Аким с Касьянкой хотя и унимали ребят, стараясь проникнуться горем, но у них тоже ничего не получалось — привыкли жить без горя и загляда вперед, да и слово «смерть» не вязалось с их матерью, невозможно было поверить, что вот была она, их мать, и почему-то, как-то ее не стало? Такой человек, как ихняя мать, может видеться только живой.

Киряга-деревяга увез Касьянку в ремесленное — учиться дома мазать, белить и красить. Всех остальных касьяшек сельсовет из Плахино отослал самолетом в енисейский детдом. Лишь Аким задержался, затаив мечту пристроиться на славный пароход «Бедовый».

Зиму он проколотился в городском интернате, на казенном довольствии, учился так-сяк, больше времени проводил не в школе, а в затоне, добровольно и бескорыстно помогая вымораживать и ремонтировать «Бедового», занимательную историю которого, а также его нрав и все на вид суровое и невзрачное судно досконально изучил. За трудолюбие, за преданность речному делу команда полюбила подростка, и он без «Бедового», с ранней весны и до осени выполняющего главную на реке задачу, уже не мыслил своей жизни. Прямо вслед за ледоходом мятое, кореженое, битое, тертое суденышко бесстрашно перло по реке на север, засвечивая сигнальные щиты по берегам, соря по воде красными и белыми бакенами, и пока «Бедовый» не произведет эту работу, никакого, по разумению Акима, пути по реке не было и быть не могло. Оттираемый льдом, последним покидал реку «Бедовый», собирая уже истрепанные, штормами побитые бакены с облупившейся за лето краской, и, случалось, не успевал улизнуть в затон, вмерзал где-нибудь в нежилом месте в лед, однако пароходные люди не покидали родное судно, выкапывали в берегу землянки, стерегли «Бедового», вымораживали изо льда, наводили на нем марафет, какой воз-

можно, подновляли название и рубку краской, драили рупор, машину, руль, помещения, поднимали пароход на деревянные катки и с помощью пароходных же лебедок, будто быка на аркане, затаскивали его в отбойное место иль в залив, в неходовую ли протоку, словом, туда, где не раздавит судно ледоходом.

Самым большим начальником по путевой обстановке на «Бедовом» был Парамон Парамонович Олсуфьев, человек совершенно неприступной значимости и такой внешности, что посылать его работать на другие суда, особенно на пассажирские, было невозможно — он бы всех пассажиров распугал своим видом и особо голосом. К нему-то и ткнула команда подростка, заранее, впрочем, решив его судьбу, но чтобы Парамон Парамонович подверг новичка «экзаменту», какому каждого из них он когда-то непременно подвергал.

— Что ты можешь, человек? — выкатив глаза из-под бровей, словно дули из рукавиц-лохмашек, проскрежетал грозный начальник.

— Сё могу! — пискнул Акимка, невольно повторив хвастовство Киряги-деревяги и еще больше оробев от этого.

Кривя налимью губу, Парамон Парамонович

выдохнул воздух, что пароходный котел.

— Ха! — и ткнул пальцем в поленницей лежащие на берегу газовые баллоны. Аким догадался: изделие это ему следует нести на «Бедовый». Нести так нести. Он подставил правое плечо. Пароходные люди, пряча смех, опустили баллон в шестьдесят пять кило на паренька и прекратили всякую работу, ожидая потехи.

Аким шел по трапу, с удивлением, затем с ужасом чувствуя, что баллон с каждым шагом становится тяжелей, давит его сильнее, и отчего-то краснеет небо, река, солнце, пароход «Бедовый», люди красными кузнечиками подскакивают, сыплются в красную реку…

На середине трапа Акима начало кренить в красно зияющую бездну, и только сознание ответственности, боязнь за несомую штуковину, крашеную, с блестящим вентилем, с картинкой, изображающей пожар, — дорогая поди-ко! — удерживали его на ногах, падать, так вместе, нельзя потоплять такую красивую, дорогую вещь — за нее с начальника, Парамона Парамоновича, взыщут… Где-то, уже в полете, в воздухе Аким был подхвачен, поставлен на ноги.

И когда рассеялось красное облако, увидел хохочущий народ и себя, стоящего в обнимку с

баллоном.

— Запомни: все может один только Господь Бог! — поучительно подняв палец, рокотал довольнехонький начальник. — А что, погибая, баллон не упустил — свидетельство в твою пользу.

По снисходительным словам и по тону Парамона Парамоновича Аким заключил, что дела его вроде бы складываются благоприятно, надежда, чуть теплившаяся в нем, крепла, а когда супруга начальника, такая же большая, дородная, только волосом светлая, покормила паренька рыбным пирогом и, слушая про его жизнь, жалостно ширкала носом, совсем непохожим на мужнин «руль»: «Тихая ужасть! Это тихая ужасть!» — Аким окончательно поверил: экзамен он выдержал и на «Бедовом» закрепился.

Не учеником, не салагой — полноправным рабочим был взят Аким в обстановочную команду и зарплату получал со всеми наравне. Чтоб не одиноко ему было среди взрослых и не хватался бы он за надсадную работу, чего Аким все время норовил делать, по ранешной жизни в Боганиде ведая: хлеб надо отрабатывать хребтом, Парамон Парамонович принял еще одного подростка, и нигде, ни в чем, ни в колпите, ни в премиях, ни в

каком другом довольствии, их не ущемлял, кроме выпивки.

Сам Парамон Парамонович крепко пивал и после запоя искупал застарелую вину перед человечеством поучительной беседой о своем «пагубном» примере, обличал себя, казнил: «Я б счас, юноши-товарищши, при моем-то уме и опыте где был? — Парамон Парамонович надолго погружался в молчание, выразительно глядел ввысь и, скатываясь оттуда, поникал. — Глотка моя хищная всю мою карьеру сглотила!..» Пытаясь воздействовать на подростков, отвлечь их от дурных привычек, начальник не жалел денег на культуру, постоянно обновлял судовую библиотеку, при первой возможности отпускал их с борта на танцы и в кино.

В низовьях Енисея и летом бывают затяжные, дикие шторма, что уж говорить об осени? Сечет снегом, хлещет водой через борт, согрев же, как и на боганидинской тоне, один — спиртяга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное, рыбы, дичи, ягод на борту всегда навалом, а уж дружбы, согласья в работе и отдыхе — хоть отбавляй. На всю катушку раскрутят душу истосковавшиеся по суше речники. Девчонки откуда-то возьмут-

ся. В шестнадцать лет оскоромился Акимка, а оскоромившись, вспомнил, как мать ему грозила пальцем, щуря смоляные глазки: «Весь в меня посол!..»

Боганида, Боганида! Не отболела она, помнилась хорошо, худое все забылось, да и было ли оно, худое-то — сравнивать не с чем. Однажды проходили Богониду днем. На пустынном, зализанном волнами берегу ни следочка. Тощими кустами, шерстью травки и моха волосца сросся с тундрой родной берег. Ушли в землю избушки поселка, дурная, могильная трава на них занялась, чернобыльником зовется. Откуда-то занесло пух кипрея и цепкое семя крапивы, никогда здесь не росших, сено, наверное, на барже возили, вот и остались семена, лежали, пока не дождались запустения. Крайняя избушка, в которой Аким вырос, жили его братья, сестренки и мать, исчезла — весной ее своротило ледоходом, заволокло песком яму, прелые гнилушки растащило по тальникам. Артельный барак проломился в спине, хрустнул скелетом, опал, выдавив окна, ощетинившись обломками теса; за выпавшей стеной барака, закрещенная балками, белела русская печь. В будке Мозглячихи пестрая штукатурка обнажила под собой ромбиками набитую лучину. Не от

хлопающей серой толи, не от двух столбов турника, не от хлама и травяной мглы, а от упрямой белизны печки, все еще не сдающейся, хотя и покинутой, сжалось сердце в Акиме. И еще при виде будки — незаметная, стыдливо упрятанная прежде, выперла она на глаза, главным сделалась сооружением, и на нее, издали видную, правились суда. Над развалинами барака стойко торчал пароходный свисток, изображавший антенну, волосьями спутались, хлестались на ветру огрузки проводов; в песке видны два пенька от артельного стола, и на них, поджав лапки, стояли молчаливо две чайки. Чуть выше в кудри седой травки под названием редодед лемехом впахался ржавый обломок чугунного котла.

Все эти мелочи Аким отмечал мимоходно. Он не отрывал, не мог оторвать глаз от белым экраном мерцающей в глуби пустого барака печки и видел картинки недавнего детства. Здесь, на этом берегу, от весны до зимы гоношился артельный народ, полковником гремел Киряга-деревяга, училась жизни и песням беловолосая Касьянка, варилась уха в бригадном котле, за длинным дощатым столом изо дня в день, из года в год властвовало артельное дело и слово, и за спинами взрослых, рабочих людей, точно в заветрии теплого барака,

вырастали самодельные касьяшки и все другие дети. На белой печке, используемой вместо экрана, худой человек подкрадывался убивать собаку Белый Клык, и мать не выдержала: «Вы се зэ, музыки, смотрите?!» — закричала и бросилась отбивать собаку. Но мать, известное дело, дитем всегда была. Гулыпой — ненец, взрослый мужик, охотник, приехал на оленях из-под Сопочной карги в гости, на печку-экран с ножом бросился, увидев медведя. А праздник — начало путины! Разве забудешь мать в морошковом платье, с голубой косынкой на плечах? Закрой глаза, и слышно, как, гремя половицами, сорванными с гвоздей, откаблучивает она, прикрывая рот косыночкой, а на косыночке порхают голуби, и то исчезает, то появляется слово «мир», и не надо ломать голову, что оно означает; мир — это артель, бригада, мир — это мать, которая, даже веселясь, не забывает о детях, блестящими глазами отыщет их, навалом лежавших на русской печке, подмигнет им, и хоть они малые, им тоже хочется скатиться с печи, затопать, запрыгать, забрякать половицами, кого-нибудь обнять, стиснуть, подбросить в небо — мир и труд — вечный праздник жизни!

Аким не хоронил мать в землю и не мог по-

хоронить ее в душе. Он потихоньку верил, что однажды пристанет к берегу колхозного поселка, а там, на камне, мать в морошковом платье, с больничным узелком в руке, — его дожидается. «Якимка ты, Якимка! — скажет. — Сё же ты так долго плаваш? Я уж прямо вся изождалась!» — и потому в ответ на предложение Парамона Парамоновича пристать в устье речки Боганиды, навестить станок — какая ни на есть родина, на кладбище, может, кого попроведать, задрожал губами и тонко, с провизгом закричал:

— Никто здесь не жил! Никто не похоронен! — и, звякая, сбежал по железным ступеням в машинное отделение, где он всегда хоронился, если смутно становилось на душе.

Больше Парамон Парамонович не предлагал останавливаться возле Боганиды. Приложив бинокль к глазам, подолгу глядел он туда, где был и стерся с земли поселок Боганида, развалился, уполз с подмытого берега и барак, бревна, тес растащило половодье по опечкам и островам, место, где дымил трубами станок, заглушило бурьяном, раззявленной пастью вниз упала желтая будка, мерзлотой вытолкнуло последние кресты на кладбище, бугорки могил стащило в кучу, сровняло кореньями кустов, и исчезли оба столбика от

артельного стола, только острый клин чугунного котла торчал из супеси, но и за ним насыпало ветрами землю, по бугорку взбиралась травка, заслоняя собою и этот предмет.

«Оно и верно что, — шумно вздыхал Парамон Парамонович Олсуфьев, роняя на грудь бинокль и углубляясь в пространственные размышления: — Время стронуло людей с отстоя, плывут они по волне жизни, и кого куда выбросит, тот там и укореняется. А раз человека стронуло с места, сорвало с якоря, понесло, стало быть, нечего об суше терзаться...»

Однажды напомнила о себе письмом Касьянка: «Касьянова Агафья Акимовна» — написано было на конверте. Чудно! Отчеством имя брата сделала! А пусть. Красиво даже как-то звучит — А-ки-мов-на! Из письма Аким узнал: Касьянка выучилась на маляра, работает на строительстве близ самого города Красноярска.

«Касьянка, она толковая, она нигде не пропадет! — умилился Аким. — Как-то другие братья и сестры? На кого учатся? Кем работать будут? Хорошо бы встретиться». Желание возникло и тут же ушло, и Касьянке на письмо Аким не ответил — никогда писем не писал, и времени не было, да и не нуждался он в то время ни в ком и ни в чем.

Но какой-то змеина взял и опять разрушил так хорошо налаженную жизнь Акима — придумал цельнометаллические бакены — самозажигалки. «И что им там, в центрах, делать больше нечего, как тревожить и гонять человека с места на место? — негодовал Аким. — То дорогу строить остановили и Боганиды не стало, семья рассеялась, то на вот тебе — бакен переменили!»

«Бедовый» таскал баржонки с рыбаками на Север, затем выходить в просторы совсем не смог, догляду нет, одряхлел, возил уж реденько местный груз, дошел до отвозки заводских отходов, но больше стоял, уткнувшись лбом в берег, как водовозная кляча, и выходили пары из него последние во все дыры и щели. Как-то увели «Бедового» на буксире в затон, и больше он на воде не появлялся. Слышно было, разрезали его на металлолом.

Весною, когда другой пароход с другим человеком во главе ушел в низовья Енисея ладить автоматическую обстановку, старого речного бродягу Парамона Парамоновича Олсуфьева хватил удар. Он лежал громадной недвижной тушей на просевшей до пола больничной кровати, упрятав глаза в лохмашки, не шевелился, не разговаривал, налаживался помирать. Аким,

поступивший на курсы шоферов, приносил ему дорогой компот «Ананасы». Учтиво посидев возле безмолвного речника, поправив на нем одеяло и мимоходно дотронувшись до волосатой, слава Богу, все еще теплой руки, паренек, роняя халат, пятился из палаты, бросался во двор больницы и безутешно плакал за поленницей.

Богатырский человек все же перемог смерть, устоял, но все моряцкое с себя продал за бесценок на базаре, обрядился в какой-то серенький, тесный костюмишко, в кепчонку, сплюснувшую его голову до все еще грозных бровей, совсем на лице этом неуместных без форменного золотоцветного картуза.

Бухая себя кулаком в грудь, Парамон Парамонович заявлял, что с воды сходит он навсегда. Навсегда! На целину поедет сады садить и овощи, надо, так хлеб сеять и убирать станет, дороги гатить, нужники чистить, но не покорится! Аким не совсем понимал — кому не покорится Парамон Парамонович, но все равно такой порыв потрясал: «Се-олове-ек! Ка-а-акой селовек погибает для флота!»

— Мы, старые водники, нигде не затеряемся! — уверял Акима, а может, и себя Парамон Парамонович. Аким улавливал: побаивается он

отрываться от Енисея, подпору ищет. И со всей бы душой сделался подпорой такому редкостному человеку Аким, да робел-то еще больше, казалось: там, за Енисеем, совсем другая планета, и люди там другие, и ходят они по-другому, и едят другую пищу, и говорят на другом языке.

Словом, как ни горько было Акиму, проводил он Парамона Парамоновича Олсуфьева с супругой, которая столько лет мамкой ему была, на неведомую, героическую целину и скоро получил оттуда письмо, довольно бодрое, с некоторой, правда, долей смущения, в нем запрятанного: Парамон Парамонович сообщал, что в Казахстане тоже есть река под названием Иртыш. «Енисею, конешно, далеко не родня, однако плавать по ней можно, хотя бы шкипером на барже…»

«Вот и ладно! Вот и хорошо!» — поняв, что человек устроился пусть на тихую, но все же на речную работу и успокоился буйным сердцем, порадовался Аким, тоже успокаиваясь. Сам он к той поре работал уже шофером на самосвале, сделался по одежде и привычке каждодневно бегать в кино и на танцы совсем городским человеком, однако часто выходил и на берег реки. Летнюю белую ночь насквозь, бывало, просидит на траве, уткнувшись подбородком в колени, глядя в те го-

лубые пространства, куда уходила великая река Енисей. Дальше было много рек, речек и озер, а еще дальше — холодный океан, и на пути к нему каждую весну восходили и освещали холодную полуночную землю цветки с зеркальной ледышкой в венце.

Поминки

Тем летом Аким работал в геологическом отряде на притоке Нижней Тунгуски Ерачимо. Числился водителем вездехода, а вообще-то слесарил, гонял движок, был мотористом насосной станции, лебедчиком, заправщиком буровых долот, словом, всего и не упомнишь, кем он был и какие работы выполнял. Сам о себе он скромно сообщил: «На самолете, пана, ессе не летал. Надо попробовать. Говорят, ниче особенного, толкай рычаг вперед, тяни назад, как поперечную пилу...»

Помогал Акимке в разнообразных и необходимых в разведывательной работе делах парень не парень, мужик не мужик, хотя было ему уже за тридцать, и весь он Север прошел, по имени Петруня.

С Петруней делил Аким хлеб и соль пополам и в добавку отборные матюки, которые они всаживали поочередно в вездеход, совершенно расхряпанный, раздерганный, работавший на одной нецензурной брани и могучем железе. Им, этим рукотворным «железным конем», Аким с Петруней били дороги в лесу, очищали «фронты

работы», вытаскивали севшие в болотах машины, один раз вертолет из болота выволокли. Но, надорванная болотными хлябями и тайгой, доведенная до инвалидности работавшими на ней летучими забулдыгами, машина была в таком состоянии, что чем дальше в лес, тем чаще смолкал ее бодрый рык и останавливалось наступательное движение.

Пнув «коня» в грязную гусеницу, сказав, что это не техника, а какой-то «тихий узас», водитель с помощником отправлялись требовать расчет. «Договорчик заключили? Денежки пропили? То-то», — никакого расчета им не давали.

Аким, дрожа голосом, кричал: «Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Как так, понимас?» Петруня рвал на себе рубаху, пер татуированной грудью на начальство, уверяя, что он никого и ничего не боится, потому что весь Север и плюс Колыму освоил, но сломлен ими не был. И вообще судом его не застращаешь: после суда его пошлют вкалывать тоже в экспедицию, только в другую, где руководители поразворотистей, у них не забалуешься, и определят его на машину, может, даже на новую, если нет машин, он киномехаником заделается, не киномехаником, так бурильщиком, не бурильщиком, так коллектором, не коллекто-

ром, так стропальщиком, не стропальщиком, так лебедчиком, не лебедчиком, так…

На «ура» Петруню не взять и не переорать — это знали все руководители и потому давили главным образом на Акима, который судов побаивался, никогда и ни за что не привлекался, в кутузках не сиживал. Начальство же всякое он почитал и жалел. Кончалось дело тем, что Аким хватался за голову, восклицал: «Удавлюся!» — возвращался к «коню», чтобы трудом и изобретательностью вдохнуть в его хладное железное чрево жизнь и повести за собой по новым трассам и дорогам боевой отряд разведчиков земных и всяких других недр. Петруня ругался на всю Эвенкию, обвиняя Акима в бесхарактерности, уверял, что при таком поведении он долго на этом бурном свете не протянет, но напарника не покидал, понимая, что тут, на Ерачимо, они как передовой отряд на войне — друг друга предавать не имеют права.

… Устав от ругани, криков, проклятий, ковырялись водитель с помощником в машине, мирно уже помурлыкивая старинную песню здешнего происхождения: «Вот мчится, мчится скорый поезд по туруханской мостовой», и неожиданно услышали плеск, шлепанье, сопенье, подняли

головы и обмерли: саженях в двухстах, не далее, стоял в речке лось, жевал водяные коренья, и с его дряблых губищ, с волос, висюльками вытянувшихся, и со всей изогнутой, горбоносой морды капала вода, неряшливо валилась объедь.

Аким пал на брюхо и пополз к лагерю — там у него ружье, расшатанное, опасное с виду, но еще способное стрелять. Разведчики недр, узнав, в чем дело, ринулись было полным составом за Акимом — затощали на концентратах, консервированном борще и кильках в томате, жаждали мяса, но больше зрелищ. Аким приказал боевому отряду, состоявшему в основном из недавно освобожденного элемента, ложиться наземь и не дышать. Лишь Петруне не мог отказать Аким в удовольствии посмотреть, как это он, его, так сказать, непосредственный начальник, друг и товарищ по боевому экипажу, будет скрадывать и валить зверя.

Надо сказать, что жизнь зверя, в частности лося, по сравнению с тринадцатым годом в здешних краях совсем не изменилась. На Калужском или Рязанском шоссе добродушная зверина могла себе позволить шляться, норовя забодать «Запорожца» или другую какую машину, либо являться в населенные пункты и творить там беспорядки,

на радость детям и местным газетчикам, которые тут же отобразят происшествие, живописуя, как домохозяйка Пистимея Агафоновна метлой прогоняла со двора лесного великана, норовившего слопать корм ее личной козы.

В отдаленных краях, подобных Туруханскому или Эвенкийскому, лося гоняют, словно зайца, норовят его употребить на приварок себе и на корм собакам, другой раз на продажу и пропой. Оттого сохатые в здешней тайге сплошь со старорежимными ухватками, всего больше надеются на слух, нюх да на резвые ноги, а не на охранные грамоты.

В последние годы покой сохатого нарушился, правда, не только по окраинам страны, по непролазным ненадзорным дебрям, всюду нарушился, не исключая лесов и околостоличных. Все тут законно, все образцово организовано. Заранее приобретаются лицензии, заранее определяется район, где не только водится зверь под названием сохатый, но и скотинка под названием егерь, падкая на дармовую выпивку, столичные сигаретки и свеженькие анекдотцы. Облик и сущность подобного холуя, как известно, определил еще Некрасов, и он в сути своей не изменился, стал лишь изворотливей и нахрапистей. «За стулом

у светлейшего, у князя Переметьева я сорок лет стоял. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал, напитки иностранные из рюмок допивал…»

Честный, уважающий себя егерь для охотничьих набегов, как правило, не используется. Он с позором прогонит из лесу хоть какое высокое лицо, если оно для забавы проливает кровь, пусть и звериную.

На трех-четырех «газиках» прибывают вооруженные до зубов любители острых ощущений — охотниками нельзя их называть, дабы не испакостить хорошее древнее русское слово, а на опушке уж снежок отоптан, костерок разведен, чаек какой-то редкостной пользительной травкой (чаще всего обыкновенными прутьями малины) заправлен. «Чаек-то, чаек! — чмокают наезжие. — А воздух! А снег! Разве в городе увидишь такой белый?» — «Эх-х-ха-ха, дохнешь природой, морозцем подивишься, и вот как стиснет ретивое, как потянет вернуться к родному крестьянскому крыльцу, зажить здоровой, трудовой жизнью…» — «Да-а, и не говорите! Родная земля, — она сильней магнита любого!..» — «Да что там толковать? Еще Пушкин, а он-то уж в жизни разбирался, гений был, четко и определен-

но выразился: «Хотя разрушенному телу все одно где истлевать…» — точно-то не помню, забылось, ну, в общем, мысль такая, что на родной-то земле и почивать любезней!..»

Словесная околесица эта — своего рода лирическая разминка, отдых души перед настоящим, опасным и захватывающим делом. Для бодрости духа и сугрева выпили по стопочке, егерю стакан подали. Хлебнул в один дых, облизнулся по-песьи, в глаза глядит, только что хвоста нет, а то вилял бы.

— Потом, потом! — машут на него руками небрежно. — Нажрешься и все испортишь!

Егерь понарошку обиду изображает, в претензию ударяется, он-де свое дело и задачу понимает досконально, к нему-де и поважней лица заезжали, да эких обид ему не учиняли и авторитет не подрывали. И катнется лихо на лыжах егерь к заснеженным лядинам, где дремлет вислогубый лось с табунком. Сморенные чайком и стопкой наезжие стрелки которые на лабазы позабирались, которые по номерам стали.

И застонал, заулюлюкал тихий зимний лес, красной искрой из гущи ельников метнулась сойка, заяц ополоумел, через поляну хватил, сороки затрещали, кухта с дрогнувшего леса посыпалась,

зверобои передернули затворы многозарядных карабинов с оптическими прицелами, подобрались телом, напряглись зрением. Шум и крики несутся из оскорбленного дикой матерщиной девственно чистого зимнего леса, и вот на поляну, тяжело ныряя в снег, качая горбом, вымахал перепуганный, отбитый от табуна, затравленный, оглушенный зверь и стал, поводя потными боками, не зная, куда бежать, что делать, огромный, нескладный, беззащитный, проникшийся было доверием к человеку за десятки охранных лет и вновь человеком преданный. Мокрыми поршнями ноздрей лось втягивал, хватал воздух — со всех сторон опахивало его запахами, коих средь чистоплотных зверей не бывает, — перегорелой водки, бензина, псины, табака, лука. И замер обреченно сохатый — так отвратительно, так страшно пахнущий зверь никого и ничего щадить не способен: ни леса, ни животных, ни себя. Ни скрыться от него, ни отмолиться от него, ни отбиться, давно уже он открытого боя в лесу не принимает, бьет только из-за угла, бьет на безопасном расстоянии. Утратилось в нем чувство благородства, дух дружбы и справедливости к природе, ожирело все в нем от уверенности в умственном превосходстве над нею.

Выстрелы! Бестолковые, лихорадочно-поспешные, чтоб выхвалиться друг перед другом, и наконец один, не самый трусливый и подлый, выстрел ударил пулей в большое сердце животного, изорвал его. Зверь с мучительной облегченностью рухнул на костлявые колени, как бы молясь земле иль заклиная ее, и уже с колен тяжело и нелепо опрокинулся, взбил скульптурно вылепленным, аккуратным копытом, в щели которого застрял мокрый желтый мох, ворох снега, хриплым дыхом красно обрызгал белую поляну, мучаясь, выбил яму до кореньев, до осеннего листа и травки.

Катятся с лабазов зверобои, бегут по снегу, вопя, задыхаясь и завершая какой-то, ими самими определенный ритуал или насыщая пакостливую жажду крови, разряжают в упор ружья в поверженное животное.

… Однако отвлекся я, да еще в такой ответственный момент, когда молодой и очень азартный человек, обдирая колени и локти о коренья и валежины, порвав комбинезон и отпластав карман куртки, движется к цели, чтобы добыть лося на еду работающим тяжелую работу людям.

Выглянув из-за своего разутого, раздетого «стального коня», боевой его экипаж обнаружил,

что сохатый не дожидался их, на месте не стоял. Он брел по речке, жрал траву и по всем видам скоро должен был удалиться в мелкую заостровку, которая кишела мулявой — гальянами. Геологи иной раз забредали туда, поддевали рубахой либо полотенцем муляву-лапшу, варили ее, пытаясь разнообразить пищу и расширить «разблюдовку» — так в отряде просмеивали свое меню. Трава в заостровке росла худая, от мути грязная, мохнатая. Сохатый бросит жировать, подастся на свежье, а то и вымахнет на берег и уйдет «домой» — что ему, большому, свободному, ходи куда захочешь, а ты вот попробуй его сыщи в таком широком месте, в такой захряслой, мусорной тайге, сплошь забитой валежником, веретьем и хламом.

Аким пошел прыжками от дерева к дереву. Петруня за ним, но Аким передвигался бесшумно, заранее уцепившись глазом, куда поставить ногу, Петруня же хотя и пытался быть тише воды, ниже травы, укротить в себе шумы, запереть воздух, не трещать сучками, не раскашляться не мог, не получалось, и все тут. Это уж всегда так, когда из всех сил стараешься не закашлять, непременно закашляешь и наделаешь шуму. Аким решил погрозить Петруне кулаком, обернулся — и чуть

было не подкосились у него ноги — соратник его неузнаваемо преобразился: волосы вздыбились, рожу, черную от мазута, охватило чахоточным жаром, страстью пылало лицо, дожигало глаза, сверкающие беспощадным и в то же время испуганным пламенем. И понял Аким: Петруня, хоть и отбывал два раза срок за буйные дела, на самом деле человек кроткий, может быть, даже добрый, однако извилистые пути жизни все далее уводили его от добродетели.

Задушенно выбухав кашель в ладони, Петруня вопросительно глянул на связчика и покрался, как ему мнилось, кошачьи осторожно. Однако по мере приближения к цели совершенно перестал владеть чувствами, воспламенялся в себе самом, ноздри его шумно сопели, обсохший рот пикал чем-то — икалось от перенапряжения.

Аким знаком приказал Петруне остановиться — никуда уже он не годился. Сглотнув слюну, Петруня согласно кивнул головой и упал под дерево в мох. Аким успел еще мимолетно подумать: не утерпит ведь, идолище, следом потащится! Но было ему в тот миг не до соратника; переключив все внимание на зверя, не отрывая взгляда от сохатого, он катился на спине по сыпучей подмоине на берег, подобрался на карачках к приплеску

и запал в таловой коряге, выбросившей пучки лозин.

Стоя средь речки, сохатый поднял голову, подозрительно вслушивался, дышал емко, и речка тоже вроде бы дышала: сожмутся бока — убудет брюхо, и из-под него с чурлюканьем катнется вода, набрякнет тело зверя, раздуется — и вода, спрудившись, обтекает волосатую тушу, щекочет в пахах, опрядывает грудь, холодит мышцы под шерстью. Губа сохатого отвисла, глаза притомлены, но уши стоят топориком, караул несут. Дрогнули, поворотились раковинами туда-сюда и снова замерли. Ни один мускул зверя не шевелится, глаз не моргнет, губа подобралась, чует сохатый чего-то.

Для верности надо бы еще скрасть зверя саженей хоть пяток — больно запущенно, раздрызганно ружье, тот же Петруня бегал пьяный за народом, жаждая уложить кого иль напугать, но его начальник — «зук» тертый, заранее спрятал патроны, и Петруня с досады саданул прикладом о ствол дерева. Какое ружье выдюжит такое обращение? Пусть даже и отечественное, тульское, из всего, как говорится, дерева и железа сделанное.

Вверху зашуршало, покатились комочки, засочился струей песок, стягивая серые лоскуты мха.

«Петруня, пентюх, крадется! Спугнет зверя...» Аким взвел курки, поднял ружье к плечу, отыскивая мушкой левую лопатку лося, под которой, темный от мокра, пошевеливался завал кожи, как бы всасываясь внутрь и тут же вздуваясь тугим бугром — мощно, ровно работало звериное сердце.

Задержав дыхание, готовый через мгновение нажать на спуск, Аким вздрогнул, шатнулся оттого, что сверху, вроде бы как из поднебесья, обрушился на него крик и не крик, а какой-то надтреснутый звук, словно повдоль распластало молнией дерево, и в то же время это был крик, сырой, расплющенный ужасом. Не слухом, нет, подсознанием скорее Аким уловил, после уж уяснил — кричал человек, и так может кричать он, когда его придавляет насмерть деревом или чем-то тяжелым, и сам крик тоже раздавливается, переходит в надсадный хрип не хрип, крехт не крехт, стон не стон, но что-то такое мучительное, как бы уж одной только глубью нутра исторгнутое.

Выскочив из таловых сплетений, Аким успел еще с сожалением заметить, как, взбивая перед собой воду, пароходом пер по речке сохатый к мелкой заостровке, в мохнато клубящуюся на

торфяной пластушине смородину и дальше, в загородь перепутанного черемошного веретья.

Не опуская курков, с прилипшими к скобам ружья пальцами, Аким вымахнул на яр, в редкую, пепельно-мглистую понизу суземь, неприветно лохматую от сырых корост, сучковатую, ровно бы подгорелую, чуть лишь подсвеченную снизу мхами. В ельнике он углядел копошащегося лохматого мужичонку — тот что-то рыл и забрасывал чащей. На мужичонке не было обуви, весь он злобно взъерошенный и в то же время торопливо-деловитый — что-то потайное, нечистое было в его работе. «Беженец! Уголовник! На Петруню напал…» — Аким шагнул за дерево, не спуская глаз с мужичонки, чтобы из укрытия направить на него ружье: «Руки вверх!», а дальше уж что получится, может, и стрелять придется. Нога, осторожно прощупывая податливый мох, коснулась чего-то круглого, жулькнувшего и сама по себе отдернулась, испугалась, и прежде чем Аким глянул вниз, ноги отбросили и понесли его невесть куда — на белом мхе, свежо обляпанном красной потечью, лежала человечья голова с перекошенным ртом и выдавленным глазом.

«И-и-и!» — вместо крика выдыхивалось икание из горла Акима, но и этот звук засекся — обернув-

шись, мужичонка оказался медведем, задастым, крепким, со слюняво оскаленным желто-клейким ртом. Прикопанная, закиданная чащею добыча марала еще кровью мох, и по знакомой мазутной спецухе Аким узнал: медведь прятал скомканный, обезглавленный труп.

Они смотрели друг на друга неотрывно — зверь и человек. И по глубоко скрытому, но сосредоточенному отсвету звериного ума, пробившегося через продолговатые, тяжелым черепом сдавленные глаза, Аким уловил: зверь понимает, что натворил, знает, какая должна его за это постигнуть кара, и, чтобы спасти себя, он должен снова напасть или уйти, скрыться. Уйти нельзя — человек держит ружье, и его, зверя, трусость опамятует человека, придаст ему смелости. Пока не в себе человек, пока он ошеломлен, надо повергнуть его в еще больший испуг, затем ударить, свалить. «Р-р-рах» — выкатил зверь из утробы устрашающий рокот. Но человек не сдвинулся с места, не закрылся руками, не отбросил ружье, он вдруг взвизгнул: «Фасыст! Фасыст!» — и, поперхнувшись своим же криком, сипло и даже устало спросил:

— Што ты наделал? Што наделал?

Зверь ждал крика такого, что он загремит по

всему лесу, и от крика того, в котором вместе смешанные ужас и отчаяние выдадут страх, поверженность, в нем возбудится отвага, злобная ярость. Но слова, даже не сами слова, а тон их, глубокая боль, в них заключенная, озадачили его, он на мгновенье остыл, вздыбленная шерсть опала, пригладилась, что-то в нем шакалье, пакостливое появилось — и самый бы раз повернуть, сбежать, но зверь уже молча, неотвратимо катился к человеку. Разгорающаяся в нем ярость, предчувствие схватки и крови сгустившимся огнем опаливали звериное нутро, слепили разум, спружинивали мускулы. На загривке и по хребту зверя снова поднялась подпально-желтая шерсть. Медведь сделался матерей и звереистей от уверенного, парализующего рыка, переходящего в устрашающе победный рев.

Аким выставил ружье, словно бы загораживаясь им, и, немея телом и умом, с изумлением обнаружил, что в этого, вроде бы огромного, ощетинившегося зверя некуда стрелять. Некуда! Лоб, в который так часто всаживают пули сочинители, узок и покат — пуля срикошетит от лба, если не угодить в середку. Морда зверя узкая, с черным хрюком, но этой вниз опущенной мордой и узким лбом медведь сумел закрыть грудь.

Возле морды, выше ее, пружинисто катались, бросали зверя вперед могучие, как бы напрямую соединенные с телом, лапы, закрывающие бока, и только горб со вздыбленной шерстью да кошачьи хищно выгнутая спина доступны пуле, но, если не попадешь в позвоночник, тут же будешь сбит, смят, раздавлен…

Рвя мягкие, неподатливые путы, связывающие руки и ноги, преодолевая себя, Аким ступил за дерево, опять угодил ногой в голову и опять шарахнулся оттуда, мимоходно отгадав: здесь, за деревом, медведь скрадывал лося, но набрел Петруня, сам набрел, сгодился…

«Давай, давай!» — как бы поощряя зверя, Аким шагнул навстречу. Зверь сразу притормозил, приосел на толстый зад — он не готов был к ответному нападению, — он видел, точно видел: человек хотел отступить, спрятаться за дерево, человек боялся, он мал ростиком, косолап, бесцветен, что болотная сыроежка, а зверь мохнат, вздыблен, отважен, свиреп. И вот человечишка попер на него, на хозяина тайги, и зверь не выдержал, затормозился, приосел, хапнув чего-то ртом, лапами, и тут же пружинисто выбросился вверх, всплыл, и одновременно зверь и человек поняли, кто из них проиграл. Разъемист, широк

сделался медведь, слева, под мышкой пульсировал, кучерявился пушок, рокот, катавшийся в нем, слабел, утихал, словно из опрокинутой железной тачки высыпался остатный камешник. Поднявшись на дыбы, показав глубокую, бабью подмышку в нежной шерсти, медведь означил свое слабое место, сам указал, куда его бить, и, поправляя оплошность, он, как ему чудилось, рявкнул устрашающе, на самом же деле по-песьи ушибленно взлаял и, уже расслабленный, не бросился — повалился на человека.

И тут же встречь ему харкнуло огнем, опалило пушок под мышкой, проткнуло раскаленным жигалом сердце, рвануло, потрясло все тело и хрустнувшие в нем кости. Заклубилась темнота в ненасытном чреве, повернуло позвонки, мелькнуло, закипело перед глазами красное и зачадило отгаром крови, чадом забивало мощный дых, застило взгляд, зверя повело на зевоту и сон, отмякло туловище, лапы, все отделялось, погружая его куда-то в пустоту. Сопротивляясь этой пустоте, не желая в нее валиться, медведь с не звериным, скорее с коровьим мычанием взмахнул лапами, зацепил что-то и последним проблеском сознания, глаз ли, захлестнутых красным, утихающим ли, сверхчутким нюхом уловил

ненавистный запах, ощутил холод ружья. Торжествующим ахом, остатками непобедимой злобы он еще возбудился, попробовал взняться, бросить вверх когтистые лапы и разорвать, испластать ими косолапенького, бесцветного, что гриб-васюха, человечишку и околеть вместе с ним.

В броске настиг его последний вздох, перешедший в судорогу, от которой тряхнулась, мучительно сжалась и тут же распустилась могучая туша и начала сморенно успокаиваться. Еще подрагивали, пощелкивали друг о дружку черные, как бы наманикюренные яркой краской когти, трепетала шерсть под правой подмышкой, из-под левой все еще ключом выбивало кровь, и пока она выбуривала, клокотала, не угасали у зверя глаза. Ярость, вековечная к человеку ненависть горели в них и после, когда кровь иссякла, вяло уже сочилась по шерсти, сгущаясь клюквенным киселем, так и не погасло то пламя ненависти, его не унесло в смертный мрак, оно закаменело в зрачках. В полуоткрытые глаза медведя ровно бы кинуло ветром щепотку перетертой дресвы, засорило их незрячестью, но зла не убило.

Все еще подрагивала, трепетала чуть заметно шерстка в беспомощной, глубоко вдавленной подмышке зверя, а когти уже перестали щелкать,

скрючило их, и оскалились желтые, землей и красной кровью испачканные зубы.

«Все!» — не веря себе и не воспринимая еще полностью того, что произошло, подумал Аким и ощутил не ликование, не торжество, а жуть от того, что видел, что совершилось, попятился, загораживаясь руками, открещиваясь от всего этого, и внезапно услышал себя: «Ы-ы-ы!» — выплясывали губы, слабели колени, а рот, словно бы подковами заклепанный сверху и снизу, и язык в нем не шевелились, не могли крикнуть, позвать людей. Крик тяжелой болванкой выкатился тогда лишь, когда он снова натолкнулся на обезглавленный труп Петруни, шарахнулся от него и чуть не запнулся на тушу медведя, плавающую в темно-красной луже.

Аким полоумно топтался, вертелся на месте, точно запертый, окруженный со всех сторон смертью. Но вот ноги совсем ослабели, и он упал лицом в холодный мох, ожидая, как сверху сейчас навалится на него мохнатое, мокрое, липкое чудовище.

В глубине хламного леса всегда прохладно, от прохлады стоит недвижная сырь, не роса, росы тут не бывает, а пронзающая живую душу сырь, жаркой порою обертывающаяся паром. И она,

эта уже предосенняя, знобкая сырь, обволокла, стиснула покрытое испариной тело Акима, заключенное в просторный комбинезон. Аким приподнял голову, поискал взглядом зверя — все правда, все как есть, зверь никуда не девался, как лежал на спине в какой-то дурашливой позе, прижав лапами ружье к груди, так и лежит. Аким утер рукой губы и почувствовал на них соленое. Пальцы его, темные от мазута, под ногтями и на козонках были в крови. Только теперь он обнаружил, что правая рука рассажена с тыльной стороны до кости, и как была в кулаке, так и слиплась — мимолетно, последним махом успел все же зверина достать охотника.

Взнятый с земли злостью и стыдом за свою слабость и страх, Аким вывернул тонкую елку, ее корнем зацепил ружье за ремень и резко дернул, забыв, что в одном стволе ружья заряд, а курок ружья поднят. Лапы медведя шатнулись и выпустили ружье. Схватив ружье и разом получив от всех страхов освобождение, Аким закричал, заплакал, ломал ногти, выдирал из патронташа заряды и бестолково, мстительно бил в упор поверженного зверя, пулями, дробью, картечью, но тот уже ко всему был равнодушен, ничто его не тревожило — ни боль, ни злоба, ни ненависть,

лишь вдавливалась лункой шерсть в том месте, куда угадывал заряд, смоляно дымилась жирная, толстая шерсть, вонькая жидкость, повалившая из пробитой брюшины, глушила запах подпалины.

На крик и грохот прибежали люди. Отбросив ружье, Аким схватился за голову и упал, лишившись чувств, как потом он объяснял, от потери крови, на самом же деле — от «тихого узаса».

При жизни своей Петруня доставил множество хлопот всяческим людям и организациям, но то, что произошло после его столь оглушительной и редкостной смерти, превзошло все мыслимые пределы. Будь такая фантазия природы и проснись Петруня хоть на час, подивись вниманию, ему уделенному, он бы, возможно, так зауважал себя, что и жизнь свою, и поведение пересмотрел бы и в корне изменил.

Человек обезглавлен! «Кем?» — докапывался молодой, очень бдительный и настырный следователь, первый раз попавший в тайгу да еще на такое «редкостное» дело.

«Зверем». «Бывает, бывает, в следственной практике и не такие чудеса бывают», — поигрывая помочью, то ее оттягивая, то со щелком ее отпуская, соглашался следователь, но попросил

все же изолировать водителя вездехода в отдельную палатку и вход снаружи застегнуть.

Томимый одиночеством, бездельем и страхом, Аким ожидал своей участи — налетевший вертолетом, строгий, в себя углубленный человек в красивой форме устанавливал доподлинность злодейства и всем в отряде задавал вопросы, пугающие своей видимой простотой и оголенностью! «Были ль у водителя столкновения с помощником? Не угрожали ль они расправой друг другу? Давно ли соединили их жизненные пути? Судился ли раньше водитель и если судился, то по какой статье?»

Медведем следователь почему-то не интересовался, на шкуру только глазел. Шкура в отемнелых пробоинах, ровно в потухших звездах, распялена меж дерев. В ней копошилась, прилипая к жиру, лесная тля, работали мураши, черные козявки и вялые мухи. Туловище медведя, тоже все пулями издырявленное, с неоснятыми лапами, привязанное проволокой за камень, болталось в речке, и то, что стрелок укрыл медведя в воде, палил в него в момент происшествия много раз, поверженного и опрокинутого, вселяло особенную подозрительность. Заверения водителя о том, что палил он в зверя не зная почему и в реку

его бросил «отмокать» — не вонял чтобы псиной, потом его сварят и съедят — пусть помнит, как на людей бросаться, — укрепляло следователя в догадке: он имеет дело с матерым преступником, «работающим» под простачка.

Водили подследственного к роковому месту, становили с незаряженным ружьем за дерево, просили повторить «маневр», мерили рулеткой расстояние от дерева до дерева, соскабливали ножиком кровь с белого мха, подобрали бумажные пыжи, а пыжи были из письма одной Петруниной зазнобы, и тут же возникла новая следственная версия — женщина! Вот путь к разгадке преступления! Во веки вечные женщина была и не перестала быть причиной неспокойствия в миру, отправной точкой ко всем почти злодейским преступлениям, она и вино — вот яблоки человеческого раздора.

Ах, если бы знал да ведал зверобой, куда заведет его и следователя письмо той грамотейки — буфетчицы из аэропортовской столовой города Туруханска, он бы плюнул на письмо, войлочные бы пыжи купил, сэкономив на вине.

Да, все мы задним-то умом богаты…

Долго снимали медведебоя фотоаппаратом и кинокамерой на месте схватки со зверем. Аким

робко попросился надеть чистое и причесаться, раз снимают «на кино», однако ему строго велено было выполнять задание и «не темнить», отчего он совсем смешался, стал путать «маневры» и так сельдючил, что невозможно сделалось разобрать слова.

Да и как не смешаться! Ладно, его снимают. Но и пыжи снимали, все клочки собрали, сложили и до лабораторного, тщательного анализа совершили предварительное фотофиксированье, как выразился следователь.

«Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! — трясся Аким. — Засудят! Как есть засудят! Спорили с Петруней, ругались, случалось, и за грудки брались. Ружье у него у пьяного отымал… Ой, пропал я, пропа-а-ал!»

А тут еще час от часу не легче — к палатке приставили с его же, Акимовым, ружьем рабочего, который был большой пройдоха, много путался по свету, называл себя путешественником. Чего ни хвати, все этот путешественник знал, и в шутку, всерьез ли — не поймешь, уверял подконвойного, будто снимали его на «художественное кино», теперь станут показывать во всех клубах схватку человека со зверем-людоедом. Самого же медведобоя за туфтовые показания

забарабают лет этак на десять, чтобы осознал свое поведение и не морочил бы голову ни себе, ни людям, а то и к стенке поставят.

Потрясенный горем, подавленный следствием, Аким всему уже верил, и насчет кино тоже. С тех пор он все фильмы смотрел с тайной надеждой узреть себя, подивиться самому и чтоб люди подивились, как он сражался со зверем и какой пережил «тихий узас» от этого. Потому так заинтересованно и отнесся он к моему сообщению о том, что довелось мне побывать в Комитете по кинематографии: хотелось ему выведать, неизвестно ли хоть там насчет «его» картины, — природная застенчивость мешала ему спросить об этом меня прямо.

Слава Богу, остался Аким изображенным лишь в следственном деле, которое было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. Руководство экспедиции сулилось даже объявить Акиму письменную благодарность за проявленное мужество во время исполнения служебных обязанностей, но не успело по причине безобразного разгула, устроенного в помин Петруниной души. Акима и «путешественника» собрались выгнать с работы за дезорганизацию производства, но сезон подходил к концу, рабочие рассчитывались са-

ми собой, писать же порицание им в трудовую книжку было некуда — исписаны книжки и на корочках. Кроме того, кто-кто, а Аким-то уж к безобразиям совершенно не склонный. Он, когда напьется, всех только целует, горько плачет и трясет головой, будто все, последний раз он гуляет, доконала его жизненка, и он не просто гуляет, не просто лобызает побратимов, он прощается с людьми и с белым светом.

Но пока закончилось следствие, пока дело дошло до поминок, натерпелся Аким, настрадался. Обиженный подковыристым следователем, подавленный гибелью помощника, который час от часу становился дороже ему и ближе, обессиленный пережитым страхом и бессонницей, лежал медведебой в палатке, застегнутой снаружи, глядел в ее измазанный давлеными комарами конус и хотел, чтобы кровососы съели его заживо, потому и репудином не мазался.

Если же комары с ним не справятся — редок и вял сделался гнус, в тайге заосенело, порешил Аким ничего не есть, не пить и умереть с голоду, — он на смерть шел, единоборство со зверем принял, а его под «рузье»! Это как понимать и вытерпеть? Никакого интереса к жизни он не испытывал, считал все связи с нею оборванными.

Отдавшись провидению, подводил «пана» итоги жизни, бабки подбивал — как в получку выражались разведчики недр.

«Петруня какие-то дни до аванса не дожил и месяц, меньше месяца — до расчета!» — осенило Акима, и тут же охватило его беспокойство: вот он уморит себя голодом, его в землю закопают, а получка кому достанется? Он мантулил, комаров кормил, борщи ржавые ел, вездеход чуть не на себе в дебри таежные волок — и вот, здорово живешь! — его кровные, горбом добытые гроши кто-то прикарманит! Не-ет! Дудки! Надо или подождать умирать, или написать записку, чтоб отчислили деньги — месячную зарплату, полевые, сезонные, северные — в детдом. Где-то, в каком-то детдоме обитают братья и сестры, может, им на питание деньги сгодятся…

Вспомнив братьев и сестер, Аким растрогался: «Э-эх, Якимка ты, Якимка! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!» — в горькие минуты всегда ему вспоминалась мать, и слезливое чувство любви, вины ли перед нею совсем его в мякиш превращало, жалостно ему становилось, спасу нет. Сложив крест-накрест руки на груди, Аким отчетливо представлял себя покойником и, страстно жалея себя, дожидаясь, чтобы еще кто-нибудь его пожалел, протяжно и

громко вздыхал, всхлипывал, чтоб за палаткой слышно было. Две слезы из него выдавились и укатились за уши, щипнуло кожу, давно не мытую, разъеденную комарами и мазутом. И зачем его мать родила? — продолжая думать про мать, недужился Аким. — Взяла бы и кого-нибудь другого родила — не все ей было равно, что ли? И тот, другой, его братан или сестренка жили бы себе и жили, работали, мучились, боялись следователей, а он, Якимка, посиживал бы в темноте, наблюдал со стороны, чего деется в здешнем месте, и никакого горя не знал бы. А то вот живет зачем-то, коптит небо дорогими папиросами в получку, махрой в остальные дни. Даже в Красноярске ни разу не бывал, не говоря уж про Москву. Вон караульщик-то, зубоскал — земной шар обогнул на торговом флоте, в Африке, в Индии был и еще где-то, змей и черепах, срамина, ел, вино заморское, сладкое пил, лепестками роз закусывал, красоток разноцветных обнимал!..

А этот самый разнесчастный Якимка и со своей-то, с отечественной, красоткой не управился, позору нажил: позапрошлой осенью плыл в дом отдыха, на магистраль. Народу на теплоходе мало, скукота, никто никуда уже такой порой не ездил, у него отпуск после полевого сезона,

хочешь не хочешь, поезжай куда-нибудь деньги тратить культурно. В первый же день заметил он слонявшуюся по палубе девку в летнем плащике, зато большой алой лентой со лба перевязанную, в брючки-джинсы одетую, с накрашенными ногтями, и туфли на ней — каблук что поленья! — ходить неловко, зато нет таких туфлей ни у кого на теплоходе. Тоскливо тоже и холодно девке. Она улыбнулась Акиму: «Хэлло! Парень!» — и щелкнула пальчиками, требуя сигарету. Он угостил ее сигаретой, огоньку поднес, все как полагается. Она прикуривает и не на огонь глядит, а на него, и глаз, синей краской намазанный, щурит не то от дыма, не то подмаргивает. Сердце захолонуло! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Все лето в тайге, на мужиках, истосковался по обществу, и тут вот она, девка, ра-аскошная девка, и живая, подмигивает. Ясное дело, никак тут нельзя теряться. Аким повел себя ухажеристо, танцевал под радиолу на пустынной, обдуваемой холодным ветром корме теплохода, положив партнерше голову на плечо. Она его не чуждалась, легла тоже ему на плечо, мурлыкая грустную, душу терзающую и куда-то зовущую песню на нерусском языке. Сумела и грустную историю про себя вымурлыкать: училась — это уж по-русски — на артистку, главную роль по-

лучила в картине знаменитого режиссера, но настигла ее роковая любовь, и улетела она со знаменитым полярным летчиком на Диксон, а там у него жена… «Ла-ла, ла-ла-ла, даб-дуб-ду… А-ах, скучно все, банально все! Душа замерзла! Согрей ее, согрей, случайный спутник, звездою прочертивший темный небосклон…» — слова-то, слова какие красивые да складные! Сдохнуть можно! А девка взяла да еще и ухо ему куснула, он и совсем обалдел, тоже хотел ее укусить за что-нибудь, но не хватило храбрости, надо было выпить. Торопливо бросив «С-сяс!», Аким, грохоча сапогами, бросился вниз по лестнице, забарабанил в окошко кассы, выхватил горсть денег, сунул их в дыру, умоляя поскорее дать билеты в двухместную каюту, ринулся в ресторан, растолкал прикемарившую возле самовара официантку и вытребовал в каюту вина, апельсинов, шоколаду, достал из котомки вяленой рыбы.

Девка закатывала глаза, царапалась, где попало, кусалась, завывала: «Л-люби меня! Люби меня страстно и жгуче, мой дикий кабальеро!..» Ну, дали они тогда шороху! И до того разошелся Аким, до того потрясла его девка своей горячей любовью и в особенности культурными словами, что решил он с нею расписаться, как только при-

станут в Красноярске. Хватит, похолостяковал, позимогорил!

Проснулся — ни девки, ни денег, ни котомки! Главное дело, пиджак забрала, в рубахе оставила. Осень же на дворе, сама в плащике звону дает, понимать должна!..

Уткнулся Аким в чей-то спальный мешок, провонявший потом, репудином, дымом, и дал волю чувствам, охмелел вроде бы, хотя во рту другой день маковой росинки не было. Друзья-то, соратники-то, очески-то эти ходят, варят — чует же носом пищу, охотник же — нюх у него будь здоров! Да и посудой звякают, тоже слышно. Конвоир за палаткой все шуточки шутит, так и подмывает рвануть из палатки и вмазать ему между глаз. Эх, люди! Для них хотел сохатого добыть, угасающие силы чтобы поддержать, такого человека стравил, и за ради кого? Тьфу на всех на вас! Простодырый какой он все же, Якимка этот! Ко всем с раскрытой нараспашку душой, а туда — лапой! То его оберут, то наплюют в душу-то…

Выплакался Аким, легче ему стало. Жалостью все еще подмывало изнутри, но и высветляло опять же нутро-то, будто солнышком, после затяжных дождей восходящим. К людям Акиму хотелось, про Петруню поговорить, поглядеть,

как он там? Или помолчать вместе со всеми. С народом и молчится совсем не так, как в одиночку. Он это еще с Боганиды ведал. И только подумал Аким о людях, только ощутил потребность в них, под чьими-то сапогами хрустнула трава, треснула щепка, кто-то скреб по брезенту ногтями, расстегивая палатку.

«Неуж опять допрашивать?» — Аким притаился в спальном мешке, закрыл мокрые, заплаканные глаза плотно-плотно и даже вознамерился всхрапнуть.

— Эй, слышь! Аким! — кто-то дергал за спальный мешок. — Иди, попрощайся с корешом…

Над обрывом речки, во мшистом бугре могилка, белеющая обрубками корней, со свесившимися с бруствера кисточками брусники и уже бесцветными, будто жеваными, листьями морошки. Некрашеный гроб косо стоял на сырой супеси и на рыжих комках глины, выкайленных с нижнего пласта. Непривычно нарядный, прибранный, в белой рубахе с синтетическим галстуком на шее, смирно лежал в гробу Петруня. Волосенки, за сезон отросшие, зачесаны вверх, обнажили чистый, незагорелый под шапкой лоб, даже баки косые кто-то изобразил покойнику — в отряде есть на все мастера. Руки Петруни в заусеницах,

в неотмывшемся мазуте — с железом имел дело человек, голова пришита рыбачьей жилкой ноль четыре, шов под галстуком аккуратный, почти незаметно, как исхрястал человека зверь, и весь Петруня хороший… Только темные, точно нарисованные царапины от когтей и глаз, закрытый подпально-красным осиновым листом, похожим на старинный пятак, смазывали торжественную красоту церемонии, не давали забыться, притягивали и пугали взгляд — все правда, зверь, схватка, гибель человека — все-все это не сон, не байка про страсти-ужасти, которые есть мастера в отряде так рассказывать, что ночью заорешь и вскочишь. Давило в груди, стыдно сделалось Акиму за свои мысли, слезы, да и за все его недавнее поведение там, в палатке, — человек погиб, человека, его друга и помощника, зверь лютый изодрал, изничтожил, а он комедию ломал, лахудру какую-то вспомнил, себя жалел, тогда как Петруня-то вон, бедный, какой весь искорябанный, изжульканный…

Кто-то Петруне запонки свои блескучие в рукава вдел, штиблеты на микропоре отдал — видно носки штиблет из-под полотна, полотно из нутра палатки выдрано, и хотя его мыли в речке, сажа, пятна да комариные отдавыши заметны. Нет

чтобы увезти человека в Туруханск, похоронить честь по чести, с оркестром, в красном гробу… Вечно так: работаешь — всем нужен, подохнешь — сразу и транспорту нету, и горючее кончилось, и везти некому.

А может, ребята не отдали? Ребята хорошие собрались в отряде, много пережили, все понимают, зря он на них бочку-то катил, оческами обзывал — нашло-наехало. Отдай покойного, кто его там, в Туруханске, хоронить будет? Кому он нужен? Увезут из морга на казенной машине, в казенном гробишке, сбросят в яму, зароют — и все, кончен бал! А тут кругом свои люди, горюют, о собственной кончине каждый задумывается, иные вон плачут, жалея покойного и себя.

Аким не заметил, как сам завсхлипывал, заутирался забинтованной рукой, его дернули за полу куртки: «Тихо ты!..» Начальник говорил речь:

— … Пробиваясь сквозь таежные дебри, продвигаясь вперед и вперед по неизведанным путям, к земным кладам, мы теряем наших дорогих друзей и соратников, не боюсь сравнения, как героических бойцов на фронте…

«Хорошо говорит! Правильно!» — Аким слизнул с губы слезу, и ему снова захотелось умереть, чтобы о нем вот так же сказали и чтобы Парамон

Парамонович с целины приехал, и Касьянка, может, прилетела бы…

Его подтолкнули к гробу. Не зная, что делать, Аким глядел на руки Петруни, и оттого, что они, эти руки, были в мазуте, гляделись отдельно, виделись живой плотью — окончательно не воспринималась смерть. Аким вздохнул, послушно ткнулся лицом в лицо друга и отшатнулся, ожегшись о холодную твердь; словно в чем-то пытаясь удостовериться, торопливо тронул руки Петруни, они, как вымытые из берега таловые коренья, были тверды, безжизненно шероховаты и тоже холодны. Так это все-таки всерьез, взаправду! Нет Петруни! Петруню хоронят!

Акиму захотелось кого-то о чем-то спросить, что-то сделать, наладить, вернуть — не может, не должно так быть, ведь все началось с пустяка, сохатого черти занесли, он, Акимка, хотел его стрелять на мясо. Петруня увязался посмотреть — любопытство его разобрало. Ну и что такого? Охоту посмотреть всем интересно, чего особенного-то? И вот, столько изведавший, под смертью ходивший человек так случайно, нелепо, не всерьез как-то…

Но ничего уже не надо говорить и поправлять. Когда Аким протер все тем же испачканным

мотком бинтов до слепоты затянутые мокретью глаза и распухшие губы, он увидел старательно, умело работающих людей. Словно выслуживаясь перед кем, угождая ли, они вперебой закапывали узенькую земляную щель и уже наращивали над нею продолговатый бугорок.

Аким повернулся и побрел бесцельно и бездумно в тайгу. Ноги приволокли его к вездеходу, он постоял возле машины, тупо в нее уставившись, чего-то соображая, и вдруг стиснул зубы, без того бледный, с завалившимися щеками, он побелел еще больше — ему нестерпимо, до стона, до крика захотелось вскочить на машину, затрещать ею, погнать вперед и конем этим железным неумолимым крушить, сворачивать все вокруг, поразогнать все зверье, всех медведей, коих столько развелось в туруханской тайге, что сделано отступление от закона, разрешено их тут, как опасных зверей, истреблять круглый год. Но машина разобрана, картер вскрыт, рука изувеченная болит — куда, зачем и на чем он двинет? Кроме того, товарищи-друзья хлопотали насчет поминального ужина.

Опытный начальник отряда выставил от себя литровый термос со спиртом, выпил стакан за упокой души рабочего человека, забрал планшет,

молодую практикантку с молотком на длинной ручке и увел ее в тайгу — изучать тайны природы.

Разведчики недр оживились, забегали по лесу, застучали топорами, котлами, взбодрили очаги, забалтывая на них консервированные борщи, кашу-размазню. В отдалении, чтоб «падла эта» не воняла на добрых людей, Аким в отожженном от мазута ведре на отдельном костре варил медвежатину, и плыли ароматы по редкому лесу, вдоль речки Ерачимо и даже дальше, может, до самой Тунгуски, потому что в варево медведебой набросал лаврового листа, перца горошком, травок, душицы, корешков дикого чеснока. Из ведра опарой поднималась рыжая пена, взрываясь на головнях, она горела, шипела, издавая удушливый чад.

Приподняв заостренной палкой темно-бурый кусок мяса, Аким отхватил лафтачок, снял его губами с ножа и, гоняя во рту медвежатину, обжигающую нёбо, смотрел вверх, словно бы к чему-то там прислушиваясь или собираясь завыть. С усилием протолкнув в себя пробку недожеванного мяса, медведебой вытаращил глаза, и по выражению его лица прочитывалось, какими кривыми путями идет по сложному человеческому нутру

горячий кус этой клятой, не к душе пришедшейся зверятины.

— Небось гайку легче проглотить? — спросил «путешественник», на которого Аким сердился и разговаривать с ним не хотел. Спросил он вроде бы просто так, от нечего делать, но из глубины все того же сложного человеческого нутра пробился интерес.

— Недоварилось, — не глядя на бывалого «путешественника», подгребая в кучу головни, увеличивая силу огня, отозвался Аким.

— Как ты жрешь? — вздыбился вдруг практикант из Томского университета Гога Герцев. — Он человека хотел слопать! Он людоед! Он и сам ободранный на человека похож! А ты, вонючка, лопаешь всякую мразь! Тьфу!

Аким знал много всяких людей, давно с ними жил, работал, изучил их повадки, как выразился в местной газете один наезжий писатель, под названием очеркист, и потому не возражал практиканту, — молод еще, да и напарницу его в лес увели, мучайся, угадывай вот, зачем ее туда увели?

— Сто правда, то правда, похож. У медведя и лапы точь-в-точь человечьи, токо у передней лапы прихватного пальца нету, — миролюбиво

согласился с практикантом Аким и хотел продолжить объяснения, но подошла пора поднимать печальную чарку за Петруню, чтобы в молчаливой строгости и скорби осушить ее до дна.

Выпили, дружно принялись закусывать крошевом из ржавых килек, кашей, борщом. Меж тем в ведре, закрытом крышкой от тракторного цилиндра, допрела на угольях медвежатина, и Аким, выворотив из ведра кусище, кивком головы показал связчикам на ведро, но они все отвернулись, и пробормотав: «Не хотите, как хотите!», зверобой по-остяцки, у самого носа пластал оструцим ножиком мясо и, блаженно жмурясь, почмокивая, неторопливо, но убористо уминал кусок за куском, с хлебом и соленой черемшой.

Первым не выдержал «путешественник»:

— Ты это… с черемшой-то зачем мясо рубаешь?

— Зырно.

Изобразив рукой, чтоб Аким отчекрыжил и ему кусочек медвежатины на пробу, «путешественник» покривился, словно бы над ним совершалось насилие. Аким, поглощенный чревоугодничеством, мурлыкая от удовольствия, лопал мясо, ни на кого не обращая внимания. И пришлось «путешественнику» делать вид, что лезет он за этим самым мясом, преодолевая

брезгливость, и, видит Бог, старается не для себя, досадно морщился, даже плюнул в костер «путешественник», на что Аким, захмелевший от еды и выпивки, заметил: «Доплюесся, губы заболят!» Выудив из ведра кусище мяса, по-дамски жеманясь, «путешественник» снял его губами с лезвия ножа. Работяги плотно обступили костер, наблюдая. Изжевав шматочек мяса и проводив его во чрево, «путешественник» сузил глазки и, глядя вдаль, о чем-то задумался, потом заявил, что жаркое напоминает по вкусу опоссума или кенгуру, но пока толком он еще не разобрался, и отхватил кус побольше. Радист отряда, человек нотный, плюгавый, вечно тоскующий по здоровой пище и толстым бабам, тоже отрезал мясца, но заявил при этом: едва ли пройдет оно посуху.

Намек поняли. Дружно выпили по второй кружке, и как-то незаметно работяги один по одному потянулись к Акимову костру, обсели ведро с медвежатиной.

— А что, если прохватит? — засомневался радист.

— С черемшой, с брусникой да под спирт хоть како мясо нисё, акромя пользы, не приносит, — успокоил товарищей Аким и, напостившись в палатке, напереживавшись без народа, ударился

в поучительную беседу: — Медвежье мясо особенное, товариссы, очень пользительное, оно влияет на зрение, от чахотки помогает, мороз какой хоть будь, ешь медвежатину — не заколес, сила от медвежатины, понимас, страшенная…

— По бабам с него забегаешь! — хохотнул кто-то.

— Я имя серьезно, а оне…

— Ладно, ладно, не купороссья, тем более что баб в наличности нету.

— А-а… — начал было радист, собираясь брякнуть насчет практикантки, но его вовремя перебил «путешественник»:

— Вот ведь святая правда: век живи, век вертись и удивляйся! Белый свет весь обшарил, но медведя токо плюшевого видел, по глупости лет пробовал ему ухо отгрызти, выплюнул — невкусно.

Пошла беседа, разворачивалась, набирала силу гулянка, поминки вошли в самый накал. К закату следующего дня от медведя остались одни лапы в темных шерстяных носках. Братски обнявшись, разведчики недр посетили, и не раз, могилу Петруни, лили спирт в комки, меж которых топорщились обрубки корешков, паутинились нитки седого мха, краснели давленые

ягоды брусники. Каждый считал своим долгом покаяться перед покойным за нанесенные ему и всему человечеству обиды, люди клялись вечно помнить дорогого друга и отныне не чинить никому никакого зла и неудовольствия.

Аким и выспался на могиле Петруни, обняв тесанную из кедра пирамидку. Выспавшись и разглядевшись, где он, несколько устыдясь своего положения, зверобой скатился к речке, ополоснул лицо и подался к почти затухшему костру, вокруг которого разбросанно, будто после нелегкой битвы, валялись поверженные люди, и только трезвый и злой Гога Герцев сидел на пеньке и чего-то быстро, скачуще писал в блокноте.

Из Туруханска в отряд вылетел налаживать трудовую дисциплину начальник партии. Зная, с кем имеет дело, он прихватил ящик с горючкой, и когда вертолет плюхнулся на опечек средь речки Ерачимо, единого взгляда начальнику хватило, чтобы оценить обстановку — силы отряда на исходе, поминки проходят без скандалов, драк и поножовщины — люди горевали всерьез.

— Послезавтра на работу?! — приказал и спросил одновременно начальник партии. Всякая личность, ездящая и тем более летающая по туруханской и эвенкийской тайге, была разведчикам

недр известна, и они пронюхали: в вертолете таится ящичек, и дали слово — в назначенный начальником срок выйти на работу и от чувств братства хотели обнимать и даже качнуть хорошего, понимающего человека, но начальник прямиком через речку стриганул к вертолету, машина тотчас затрещала и метнулась в небо.

Как посулились, вышли на работу в назначенный день, не сразу, но разломались и, вкалывая от темна до темна, наверстали упущенное, к сроку отработали район, снялись с речки Ерачимо, вернулись в Туруханск, и те, кто остался в отряде, на следующий сезон уже работали другой участок, на другом притоке Нижней Тунгуски, еще более глухом и отдаленном, под названием Нимдэ.

Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске, он нарочно сделал отворот, долго шарился по мрачной речке Ерачимо, пытаясь найти место, где стоял и работал когда-то геологический отряд. Но сколь ни бегал по речке, сколь ни кружил в уреме, следов геологов и могилы друга найти не мог.

Все поглотила тайга.

Туруханская лилия

Наконец-то побывал я на Казачинских порогах! Не проплыл их на пароходе, не промчался на «Метеоре», не пролетел на самолете — посидел на берегу у самого порога, и он перестал быть для меня страшным, он еще больше привораживал, поднимал буйством какую-то силу, дремлющую в душе.

Я знавал пору, когда входивший в порог старикашка «Ян Рудзутак» верст за десять начинал испуганно кричать заполошными гудками и до того доводил команду, сплошь выходившую на вахту, в особенности пассажиров, что средь них случались обмороки, и своими глазами видел я, как било припадком рыхлую бабу и голова ее гулко брякала о железный пол парохода. Публику всю в ту пору с палубы удаляли, да она большей частью и сама удалялась, залазила под койки, под бочки, хоронилась в узлах, в поленницах дров, которыми пароход забивался до потолка. «Рудзутак» хоть и числился «скоростной линией», отапливался дровишками и, случалось, из Игарки в Красноярск прибывал на десятый или двенадцатый день.

Конечно, и тогда уже попадались ухари, которым ничего не страшно на этом свете. Они лаялись с командой, желая стоять грудью наперекор стихиям, глядеть на них и презирать их, а удаленные с палубы иной раз с применением силы парни и девки, в особенности же ребятишки, пялились в окна, расплющив о стекла носы.

Когда мне первый раз в жизни довелось проходить Казачинские пороги, я спрятался на палубе под шлюпку и, как там не отдал Богу душу, до сих пор понять не могу.

Берега к порогу сужались каменным коридором, воду закручивало, вывертывало вспученной изнанкой, от темени скал река казалась бездонной, ее пронзало переменчивым светом, местами тьму глубин просекало остриями немых и потому особенно страшных молний, что-то в воде искристо пересыпалось, образуя скопище огненной пыли, которая тут же скатывалась в шар, набухала, раскалялась, казалось, вот-вот она лопнет взрывом под днищем суденышка и разнесет его в щепки. Но пароход сам бесстрашно врезался плугом носа в огненное месиво, сминал его, крошил и, насорив за собою разноцветного рванья, пер дальше с немыслимой скоростью и устрашающим грохотом.

Кипело, ахало, будто тысячи мельниц одновременно гремели жерновами, лязгали водосливом, бухали кованым вертелом, скрипели деревянными суставами передач и еще чем-то. Глохли, обмирали в камнях всякие земные краски, звуки, и все явственней нарастало глухое рокотание откуда-то из-под реки, из земных недр — так приближается, должно быть, землетрясение.

Лес по обоим берегам отчего-то сухой, да и нет лесу-то, веретье сплошь, пальник черный. И они, эти полуголые берега, крутились, земля кренилась, норовя сбросить все живое и нас вместе с пароходом в волны, задранные на грядах камней белым исподом. Пароход подрагивал, поскрипывал, торопливо бил об воду колесами, пытаясь угнаться за улетающей из-под него рекой, и на последнем уж пределе густо дымил трубою, ревел, оглашая окрестности, не то пугая реку и отгоняя морочь скал, не то умоляя пощадить его, не покидать, и в то же время вроде бы совсем неуправляемо, но вертко летел меж гор, оплеух, быков, скал, надсаженно паря, одышливо охая. Что-то чем-то лязгнуло, брякнуло, громыхнуло, ахнуло, и шум поднялся облаком ввысь, отстал, заглухая, воцарилась мертвая тишина. «Все! Идем ко дну! Не зря бабушка мне пророчила:

«Мать-утопленница позовет тебя, позовет...»

Но пароход не опрокидывался, никакого визгу и вою не слышалось. Я выглянул из-под шлюпки. Порог дымился, бело кипел, ворочался на грядах камней уже далеко за кормою. Ниже порога, смирно ткнувшись головою в камни берега, как конь в кормушку, стояло неуклюжее судно с огромной трубою, с лебедкой на корме, и с него что-то кричали на «Рудзутак». Из недоступной нашему брату верхней палубы голосом, сдавленным медью рупора, капитан «Рудзутака» буднично объяснял: «Зарплату не успели. Не успели. Со «Спартаком» ждите, со «Спартаком».

Разговор про зарплату всех пассажиров разом успокоил.

Пароходик с лебедкою под названием «Ангара» был туер. Он пережил целую эпоху и остался единственным в мире. Трудились когда-то туеры на Миссисипи, на Замбези и на других великих реках — помогали судам проходить пороги, точнее, перетаскивали их через стремнины, дрожащих, повизгивающих, словно собачонок на поводке. Туер, что кот ученый, прикован цепью к порогу. Один конец цепи закреплен выше порога, другой ниже, под водой. И весь путь туера в две версты сверху вниз, снизу вверх. Однооб-

разная, утомительная работа требовала, однако, постоянного мужества, терпения, но никогда не слышал я, чтоб покрыли кого-нибудь матом с туера, причин тому ох как много случалось: то неспоро и плохо учаливались баржа или какое другое судно, то оно рыскало, то не ладилось на нем чего-нибудь при переходе через пороги, в самой страшной воде. Сделав работу, туер отцепит от себя суденышко, пустит его своим ходом на вольные просторы, в которых самому никогда бывать не доводилось, и пикнет прощально, родительски снисходительно.

Ныне в порогах трудится другой туер — «Енисей» — детище Красноярского судоремонтного завода. Он заменил старушку «Ангару». Ее бы в Красноярск поднять, установить во дворе краевого музея — нигде не сохранилось такой реликвии. Да где там! До «Ангары» ли?

Почти нагишом сидя на песчаном лоскутке берега, слушая шум воды, размышлял я о всякой всячине, но, сколь ни копался, прежних ощущений в себе не мог возбудить, и порог мне казался мирным, ручным, раздетым вроде бы. Ах, детство, детство! Все-то в его глазах нарядно, велико, необъятно, исполнено тайного смысла, все зовет подняться на цыпочки и заглянуть туда,

«за небо».

Казачинский порог «подровняли» взрывчаткой, сделали менее опасным, и многие суда уже своим ходом, без туера, дырявят железным клювом тугую, свитую клубами воду, упрямо, будто по горе, взбираются по реке и исчезают за поворотом. «Метеоры» и «Ракеты» вовсе порогов не признают, летают вверх-вниз без помех, и только синий хвостик дыма вьется за кормой. Туер «Енисей», коли возьмется за дело, без шлепанья, без криков, суеты и свистков вытягивает «за чуб» огромные самоходки, лихтера, старые буксиры. Буднично, деловито в пороге. По ту сторону реки пустоглазая деревушка желтеет скелетами стропил, зевает провалами дверей, крыш и окон — отработала свое, отжила деревушка, сплошь в ней бакенщики вековали, обслуга «Ангары», спасатели-речники и прочий нужный судоходству народ.

Шумит порог, оглаживая, обтекая гряды камней, кружатся потоки меж валунов, свиваются в узлы, но не грозно, не боязно шумит. И судно за судном, покачиваясь, мчатся вдаль. Вон из-за поворота выскочила куцезадая самоходка, ворвалась в пороги, шурует вольно, удало, не отработав по отбою к правому берегу, от последней в пороге

гряды, где крайней лежит, наподобие бегемота, гладкая лоснящаяся глыбища, и вода круто вздыбленным валом валится на нее, рушится обвально, кипит за нею, клокочет, сбитая с борозды. Порог, и выровненный, чуть обузданный, никому с собою баловаться не позволяет. Стотонную самоходку сгребло, потащило на каменную глыбу. Из патрубка самоходки ударил густой дым, по палубе побежал человек с пестрой водомеркой. Ставши почти поперек стремнины, самоходка, напрягаясь, дрожа, изо всех сил отрабатывала от накатывающей гряды, от горбатого камня, который магнитом притягивал ее к себе — пять-десять метров, секунды три-четыре жизни оставалось суденышку, ударило, скомкало, как мусорное железное ведро, и потащило бы ко дну. Обезволев, отдало себя суденышко стихиям, положилось на волю Божью. Его качнуло, накренило и, кормой шаркнув о каменный заплесок, выплюнуло из порога, словно цигарку, все еще дымящуюся, но уже искуренную.

— Там не один дурак лежит и обдумывает свое поведение, — присев по-хозяйски к нашему огню и вытащив из него сучок на раскурку, сказал незаметно и неслышно из-за шума порога приблизившийся к нам пожилой человек. Прикурив,

он по-ребячьи легко вздохнул, приветно нам улыбнулся, приподняв с головы старую форменную фуражку речника, и продолжил о том, что в порогах покоятся забитые камнями, замытые песком удалые плотогоны, купчишки в кунгасах добро стерегут, переселенцы-горемыки, долю не нашедшие, отдыхают; определился на свое постоянное место разный непоседливый народишко.

— А больше всех там нашего брата — бакенщика покоится…

Моложавое лицо с прикипелой обветренностью, на котором спокойно светились таежным, строгим светом глаза, мягкое произношение, когда слова вроде бы не звучат, а поются, свойское поведение — как будто всю жизнь мы знали друг друга, вызывали ответное доверие к этому человеку, рождалась уверенность — где-то он и в самом деле встречался. Есть люди, что вроде бы сразу живут на всей земле в одинаковом обличье, с неуязвимой и неистребимой открытостью. Все перед ними всегда тоже открыты настежь, все к ним тянутся, начиная от застигнутых бедой путников и кончая самыми раскапризными ребятишками. Таких людей никогда не кусают собаки, у них ничего не крадут и не просят, они сами все свое отдают, вплоть до души, всегда

слышат даже молчаливую просьбу о помощи, и почему-то им, никогда не орущим, никого плечом не отталкивающим, даже самая осатанелая продавщица, как-то угадав, что недосуг человеку, подаст товар через головы и никто в очереди не возражает — потому что они-то, такие люди, отдают больше, чем берут. Попиливают таких мужей за простодырство жены, и они, виновато вздыхая, делают вид, будто ох как правильно все говорится и ох как раскаивается муж перед женою, ох как ее слушается. На фронте, в санроте не раз случалось — такой вот отодвигается, отодвигается в сторонку, уступая очередь в перевязочную более пробойным людям, считая, что им больнее, а ему еще терпимо, и, глядишь, догорит скромняга в уголке церковной свечкой. Совсем на другой реке такой же вот человек утонул недавно, уступая место на опрокинутой лодке тем, которые казались ему слабее, а был болен сердцем и, спасая других, ушел под воду без крика, без бултыханья, боясь собою обременить и потревожить кого-то.

Душевно легка, до зависти свободна жизнь таких людей. И как же убиваются жены по скоро износившимся, рано их покинувшим, таким вот простофилям-мужьям, обнаружив, что не умевший нажить копейку, постоять за себя, с

необидчивым и тихим нравом мужичонка был желанней желанного и любила, оказывается, она его, дура, смертно, да ценить не умела.

Мы пригласили Павла Егоровича — так назвался наш гость — разделить с нами трапезу. Он не манежился, выпил водочки, утер губы и с бережной, праздничной отрадой разговелся кружочком огурчика и редиски, сказавши, что свежей зелени нынче еще не пробовал. Вежливо поблагодарив за угощение, он посулился порадовать и нас ответно: «Да куда же это годится — гости пробавляются чаем на Казачинских-то порогах!»

Я увязался за Павлом Егоровичем и скоро узнал, что приехал он сюда в двадцать шестом году из Пермской области. Жил я тогда в Перми, и когда сказал об этом Павлу Егоровичу, он от такого сообщения опешил, уставив на меня зеленовато-хвойные глаза:

— Ну, не зря молвится — тесна земля, тесна.

— А вас-то, вас-то какими же ветрами занесло сюда?

— Нас-то? — Павел Егорович окинул сощуренным взглядом Казачинский порог, и я догадался — он его «не слышит», не то чтобы вовсе не слышит, он привык к нему, как мы привыкаем к

часам-ходикам, к мурлыканью кошки — обжито слышит, понимая голоса камней, различая их, отделяя гул порога в разнопогодье, во время высокой воды, в меженную пору и в осень, когда река расшита седовато-голубой стежью, и скатившийся на глуби хариус лениво теребит эти стежки, выбирая из них корм, и нет-нет жахнет хвостом редкий уже здесь таймень.

— Вырос я невдалеке от Чернушки, речку в нашем селе к середине лета коровы выпивали, — заговорил Павел Егорович, — а вот почему-то на воду меня тянуло, на большую. Должно быть, в кровях запутался моряк! — Он прервался, помолчал, не отрывая глаз от порога и от заречной протоки, огнувшей каменный островок с пучком изветренного, голого леса на макушке. По окружью островка внахлест лежали смытые деревья, по-за порогом, ниже его, на берега тоже столкало много хламу, он горел, растекаясь сизым дымом вдоль реки, по обе стороны которой то разбродно, то в одиночку, то кучно, то волнисто уходили вдаль хребты, хмуролесье, блестели игольно останцы, с которых бурями и огнем смахнуло растительность, однако у подножия хребта, в веселой пестрине кружились хороводы осин, березняков, боярышника, жимолости,

проталинами стекали по каменистым склонам заросли дикой акации. — И потопал я пеши по стране, — продолжал Павел Егорович с легким выдохом, — молодой, силой не обделенный, рубить-пилить еще в зыбке наученный. До Анисея дотопал!

«Пермяк-то, солены уши, совсем очалдонился, Енисей по-нашенски зовет!»

— Хошь верь, хошь нет, притонал я к Анисею, глянул — и все во мне улеглося. «Здесь, Павел, — сказала душа, — здесь твоя пристань!» По Анисею матросом ходил и, как попал сюда, обалдел: «Их, ты, батюшки мои! Неуж такое наяву может быть? Надо остановиться!» — Павел Егорович не отрываясь смотрел на порог, слушал его, а я догадался, что удивление его не кончилось, что невозможно привыкнуть к этакой красотище, надивоваться ею. И только теперь уразумел, отчего умирающие в подпорожье старики просили выносить их на волю перед кончиной. Бабы ворчали: «Не опостылел те еще Анисей-то? Ухайдакался на ем! Руки-ноги он те искорежил…»

Должно быть, хотелось человеку верить, что там, за гробом, во все утишающейся тьме продлится видение родной реки. А может, звала, толкала его к реке потребность удостовериться,

что за его жизнью продлится жизнь, нескончаем будет бег реки, рев порога, и горы, и лес все так же непоколебимо будут стоять, упираясь в небо, — сила полнит силу, уверенность в нетленности жизни помогает с достоинством уйти в иной мир.

— Всю жизнь проработал я бакенщиком. Теперь надобности в нас нету…

Большими алыми погремками цвели в Казачинских порогах бакена-автоматы. Осиротела, задичала деревушка на правом берегу, пустеет и Подпорожная, на левом. Подались отсюда кто помоложе, но, родившиеся под шум порога, до последнего часа будут они слышать его в себе, и, пока видят их глаза, все будет катить порог перед взором вспененные валы, клубиться голубым дымом брызг, неостановимо биться на каменьях, тороситься горами льда в ледостав, грохотать, пластая и круша земные тверди в ледоход, и засосет в груди под ложечкой, когда уроженец Подпорожной вспомнит осеннюю ночь, скребущихся на деревянной скорлупке-лодчонке ко крестовинам бакенов двух маленьких, отважных человеков — деда и внука. Хруст коробка, хранимого у сердца в нагрудном кармане, просверк спички, один, другой, отчаянье — не раздобыть,

не вздуть огня, не засветить погасший бакен, и рев, торжествующий рев порога кругом — ни берега не видно, ни суши, а работу делать надо. Не раз, не два за ночь из теплого избяного уюта отчалит бакенщик в ревущую бездну ночи, к погасшему сигнальному огню, и светились они во тьме, в дождь и в непогоду, в снежном заволоке и при ураганной дуроверти.

Помня еще старенькие, ламповые, бакены, я дивился вслух искусству и мужеству здешних речников. Павел Егорович только пожимал плечами: чего, мол, такого особенного? Надо было, вот и работали, пообвыкли, а когда я сказал ему, что, возможно, в детстве на «Рудзутаке» или еще на каком пароходе проходил меж бакенов, им засвеченных, он на минуту задумался и, кротко вздохнув, вымолвил:

— Ничего хитрого, жизнь большая произошла…

Подняли вентерь — узкий, длинный, плотно вязанный. Стоял он в расщелине, жерлом открытый течению. Ниточную ловушку забило слизкой плесенью. Попался один усатый пескарь, совсем не премудрый на вид, замученный до смерти течением. Павел Егорович брезгливо вытряхнул воняющую рыбеху из вентеря. Пескаря покрутило

за бычком и выбросило на струю. Там его сцапали чайки, принялись с визгом драться, уронили рыбешку, потеряли и, успокоившись, затрепыхались над нами, ожидая еще подачки. Павел Егорович выколачивал из вентеря плесневелую слизь — все в пороге и сам порог забрызганы грязью, похожей на коровий помет.

— Гэса, — пояснил Павел Егорович, — Гэса правит рекой: часом вода подымется, часом укатится. Дышит река, берега не успевают обсыхать, а дрянь эту, сопли эти слизкие, тащит и тащит…

Второй вентерь стоял опять же в каменном коридорчике с ровно стесанными стенками и ловко вовлеченным в него потоком.

— Шшэли эти не природны, — охотно пояснил Павел Егорович, — их люди изладили. Вдревле грели камень огнем, лесу возами сжигали. Камень от жару трескался, его расшатывали, по многу лет долбили клиньями — всякая семья себе место лова проворила. Ну а на моем веку аммоналом подсобляли, однако без толку не пластали каменья. Его, камня-то, хоть тут и гибель, мешат он вроде бы, но рвать лишку нельзя, заголятся верхние шивера, река несудоходная сделается. Порог регулирует реку. Регулировал, по правде сказать. Теперь Гэса всем правит…

В третьем вентере болталась пара дохлых ельцов и до синевы избитая, скомканная сорожонка.

— Вот дак попотчевал я вас рыбкой, гости дорогие! — Павел Егорович разжал руку с тремя жалкими рыбками, поглядел на добычу, качая головой, и шлепнул их в воду. Оставив вентери на камнях, он молча взнялся на измолотый высокой водою яр, по бровке которого курчавился брусничник.

Мы обмылись водою — купаться нельзя — величайшая в мире ГЭС держит такую толщу воды, что она не прогревается, температура ее почти постоянная зимой и летом. Чалдоны невесело шутят: если охота купаться, валяй в Заполярье!

По заведенной привычке вытащены на берег лодки, загнаны в затоны суда и суденышки, но, всеми покинутая, окутанная морозным паром, безглазо и безгласно мается река в тяжелом полусне, меж изморозью покрытых берегов — ни души на воде, ни души на берегу, лишь полоснет по громадам скал, замечется тревожно огонек браконьера, промышляющего рыбу острогой, и тут же поглотит его непроглядная мгла, да продырявит нежданно волглую муть где-то в вышине, ровно в преисподней, один-другой огонек — это

в горах пробираются машины, в морозное время круглые сутки вынужденные светить фарами. Плывут и плывут по измученной реке, кружатся рыхлые коросты шуги, где-нибудь в затишке, украдкой смерзнутся в забережку — реке хочется остановиться, успокоиться, покрыться льдом.

Нет и никогда уже не будет покоя реке. Сам не знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, заарканить природу. Да природу-то не переиграть. Водорослей, которые в народе зовутся точно — водяной чумой, развелось полторы тысячи видов, и они захватывают по всему миру водоемы, особенно смело и охотно свежие, ничем не заселенные. В одном только Киевском водохранилище — факт широко известный — за лето накапливается и жиреет пятнадцать миллионов тонн страшного водяного хлама. Сколько скопилось его в Красноярском водохранилище — никто не считал.

…Обожженные ледяной водицей, выползли мы на солнце, на гладкий песочек, намытый меж бычков, и собрались вздремнуть под шум порога, как увидели спускающегося по яру блекло, но все же не без довольности улыбающегося Павла Егоровича.

— Вот, — разворачивая тряпицу, сказал быв-

ший бакенщик, — соседу в сетчонки три штуки попались. Одну кой-как выцыганил.

Мы быстренько сварили из стерлядки уху.

— Вы ешьте, ешьте! — отсовывал от себя рыбу Павел Егорович. — Мы ее тут перевида-али! — похвалился он и ложкой показал на другую сторону Енисея, на нижнюю гряду порога. — Там есть две ямы, и на зиму в них «залегала» красная рыба. Вот прямо как поленья, друг на дружку, — пояснил он. — Сторожа ставили с ружьем, чтобы никто не пакостил на ямах. Каждой семье перед ледоставом разрешалось сделать два замеса неводом. Два — и шабаш! Но брали рыбы на всю зиму. Сами хозяйничали на реке, сами ее блюли, жадюг не жаловали.

Нет теперь красной рыбы на тех ямах ни летом, ни осенью. Сошла она с порога, укатилась в низовья Енисея и на Ангару, плесень согнала ее, капризную, к грязи непривычную. Лишь реденькие стерлядки добредают до порога по древнему зову природы. На туере «Енисей» в колпите каша, казенный борщ, жареная ставрида, хек вместо стерлядки.

— И в наш поселковый магазин бычков в томате привезли, — вздохнул Павел Егорович, — и эту, как ее? Вот уж при жэнщыне и сказать неловко,

бледугу какую-то. На Енисей — бледугу! Чем же мы дальше жить-то будем?

«И этот про «дальше»! Все-все печемся о будущем! Головой! А руками чего делаем?..»

Замолк Павел Егорович, загорюнился и я, не стал ему рассказывать про его родину, Урал, которому прежде всех и больше всех досталось от человека, про ржавые и мертвые озера, пруды, реки, про загубленную красавицу Чусовую, про Камское водохранилище, где более уже четверти века мучается земля, пробуя укрепиться возле воды, и никак не может сделаться берегом, сыплется, сыплется, сыплется.

Кто будет спорить против нужности, против пользы для каждого из нас миллионов, миллиардов киловатт? Никто, конечно! Но когда же мы научимся не только брать, брать — миллионы, тонны, кубометры, киловатты, — но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?..

Ревел порог. Шумел порог, как сотню и тысячу лет назад, но не плескалась, не вилась в его струях, не шлепалась на волнах, сверкая лезвием спины, стерлядь — живое украшение реки.

...И отправился я за тысячу верст от Казачинского порога, на Нижнюю Тунгуску, где, по слухам,

нет еще враждебных природе мет человека. Лишь бросится в глаза, что на много сотен километров берега Енисея купаются в розовом разливе медовой травы — кипрея, средь которого торчат карандашиками небогатырского сложения северные леса, вьется кислица, кустится малина, таволожник, волчья ягода, веретье и жердинник — по всем видам палеж, но для пожаров слишком уж широки эти убитые пространства, непосильно продраться огню средь запаренных болот, обсеченных распадками речек, хлесткими потоками и надзорно нависшими сверху осередышами — хребтами с вечным снегом на горбу, оградившими беззащитную тайгу.

Есть, оказывается, кое-что посильнее огня — лесная тля, древоточцы, разные червяки, гусеницы, и среди них самая ненасытная, неостановимо упорная — шелкопряд. Это он сделал опустошительное нашествие на сибирские леса, сначала в Алтайском крае, затем перешел, точнее, хлынул широкой, мутной рекой к Саянам, оставляя за собою голую, обескровленную землю, — поезда буксовали, когда гнойно прорвавшийся нарыв лесной заразы плыл через железнодорожную сибирскую магистраль. Усталый, понесший утраты в пути паразит затаился в Саянах по распадкам

малых речек, незаметно развешивал паутинные мешочки на побегах черемух, смородины, на всем, что было помягче, послаще и давалось ослабевшим от безработицы пилкам челюстей. В мешочках копошились, свивались, слепо тыкались друг в дружку, перетирая свежий побег, зелененькие, с виду безобидные червячки. Подросши, они в клочья пластали паутинное гнездо и уже самостоятельно передвигались по стволу, бойко подтягивая к голове зад, и там, где неуклюже, инвалидно вроде бы проходил, извиваясь, гад, деревце делалось немым, обугленным.

Окрепнув, паразит уже открыто двинулся на леса, сады, дачи и палисадники. Я своими глазами видел, как сын старого друга нашей семьи, лесничего Петра Путинцева, Петр Петрович сидел в нарядном, что у маршала, картузе лесничего в ограде родимого кордона, на Караулке, под мертвыми черемухами, а вниз и вверх по речке, опаляя черным пламенем низину и косогоры, поедая осинники, вербу, ивняки, пробуя уже и хвойный лес, от поколения к поколению набирающий силу, двигался молчаливый враг, нарывами повисая на беспомощно притихшем лесе, в котором бесились, хохотали самцы-кукуши, крякали ронжи да хлопотливо трещали

веселые сороки — только эти птицы у нас могут есть мохнатую гусеницу, и кому горе, а им пир!

Не думал, не гадал я, что враг этот доберется аж до Осиновского порога и двинется по Подкаменной и Нижней Тунгуске, все-таки гусеница начиналась когда-то на юге, но там у нее есть противники, с нею борется сама природа. Здесь же, в северных краях, и раздетых, ошкуренных лесах лишь кипрей полыхает в середине лета — спутник бедствующих российских земель, прославленный в народе под названием иван-чай. Кипрей создан природой укрывать земную скорбь, утешать глаз. В гущине своей храня теплую прель, он яркими, медовыми цветами манит пчел, шмелей, мелкую живность, которая на лапах, в клюве иль к брюшку прилипшим занесет сюда семечко, обронит его в живительное тепло и влагу, накопленные кипреем, и оно воспрянет там цветком, кустиком, осинкой, елочкой, потеснит, а после и задавит, уморит кипрей, и погаснет растение, отдавши себя другой жизни.

Мудрость природы! Как долго она продлится?

Туруханск ликом смахивает на природу, его окружающую. Изломанный на краюшки крутым яром, оврагами и речками, он живет настороженной жизнью: найдут ли геологи чего в здешних

недрах? Найдут — процветать городу и развиваться. Подкузьмят недра — хиреть ему дальше. Но чего-нибудь да найдут, не могут не найти — район на восемьсот длинных верст распростерся по Енисею, поперек же, в глубь тайги сколь его, району? «Мерили черт да Тарас, но веревка в здешних болотах оборвалась…» «С самолета кака мера? — спорят таежники. — С самолета верста короче».

В устье Нижней Тунгуски, на стыке ее с Енисеем, и стоит Туруханск — село Монастырское, а в пушной торговле — Новая Мангазея — его прошлые названья.

Сама Тунгуска отгорожена от Енисея громадами скал, которые заслоняют собою все, что есть дальше, за их стеной, за оснеженными вершинами. Река шатается меж утесов, осыпей, оплеух, вода катится, то вбирая лодку в разлом и круговерть, то вздымает ее на горку и шлепает, шлепает по дюралевым щекам. Лодка щепочкой рыскает, катается из стороны в сторону, со вмятины на вмятину, с бугорка на бугорок, не шибко слушается руля и не очень-то подается вперед.

Но минешь пятнадцать-двадцать километров, и все успокаивается, даже скучно становится: скалы, нагромождения утесов, отвесные стены серой

и рыжей луды, ребристо иль гладко уходящей прямо в глубину, тискающие реку с боков, — все это, постращав человека, испытав его нервишки и характер, отступает.

Там, впереди, конечно, всего еще будет — река больше двух тысяч верст длиной, по ней если плыть, натерпишься и навидаешься всяких диковин: и порогов, и унырков, и колдовских проток, в которые, сказывала одна туруханская переселенка, как угодишь, то можешь и закружиться.

Кому-то в тридцатые годы понадобилось переселять людей из Ербогачона в Туруханск, а из Туруханска в Ербогачон. От Ербогачона плыли на сплотках. «В Туруханске, — сказали переселенцам, — сдадите лес, за него выплатят деньги, начнете строиться, обживаться». До Туруханска дошло всего лишь несколько семей, побила плоты Угрюм-река, растрепала в шиверах и порогах, утащила в унырки. Женщина-переселенка видела распятого на скале мужика, волосатого, нагого — вершиной бревна поддело его и приткнуло к камню, и когда спала вода, он остался вверху — борода треплется, широкий черный рот кричит из поднебесья, кости рук раскинуты, будто не пускал мужик людей дальше, видя с высоты погибельное устье реки.

Рассказывая о том страшном пути по Тунгуске, и тридцать лет спустя опасливо озиралась переселенка, вытирая согнутым пальцем глаза: «Заташшыло плот одинова в слепое плесо, день носит по кругу, другой, третий — не пристать к берегу, не выбиться, сил уж никаких нету. Пятеро детей на плоту, есть нечего, помощи ждать не от кого — раз стронули людей с места, сдвинули одних туда, других сюда на погибель — какая уж помощь? Лег тогда мой хозяин на плот, ребятишкам велел лечь и кричать в щели меж бревен: «Спаси нас, Господи! Или покарай! За грехи людские!» Но он у меня из иноверцев был, он иконы из дому повыбрасывал, стало быть, молитва не в кон. И тогда по ихнему, по языческому способу молебствие изладил: нащепал лучины, велел жечь ее и по очереди бросать в воду. У младшенького сынка лучинка упала крестиком и не гаснет. Хозяин всем велел лечь головой ко крестику, руки сделать крестом и повторять: «Вода, лиху не насылай! Ветер, ветер, пробудись, о полуночь обопрись, в полудень подуй, наши души не минуй…» Ну, много чего он там выл-городил — и помогло! Верховичок потянул, на реку выташшыл».

…Я смотрю на такую простенькую после бурного устья реку и невольно думаю о красивой

эвенкийке, каких до войны не встречал. Косолапы они прежде сплошь были, курносеньки. Эвенкийка сидела на бревне возле туруханского дебаркадера, в радужном японском платье. С одного бока ее кособочился ровно бы в помоях выкупанный мужик со шрамами на лице и на голове, с половиной пальцев на руках — появился на севере сорт людей, до того истаскавшихся по баракам, зимовьям, пристаням, что уж ни возраста, ни пола их сразу не определить; с другого бока вроде бы вместе со всеми и в то же время как-то врозь сидел и сосал мокрый окурок эвенк в развернутых до пахов резиновых сапогах.

Перед троицей на камнях стояла бутылка дорогого коньяку, захватанный грязными руками стакан. Время от времени не отрывающая взгляда от чего-то, ей лишь видимого, девушка-эвенкийка ощупью брала бутылку, наливала в стакан коньяку, медленно его высасывала, доставала из пачки зубами сигарету, властно хватала руку соплеменника, прикуривала от его цигарки, отбрасывала руку и снова вперивалась во что-то взглядом. В глуби светящихся тоскливой темью глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта древняя печаль, вызывала необъяснимую тягу к женщине, хотелось узнать, о чем думает, что

видит она там, за белыми вершинами гор, и «об чем гуляет».

Первым умом, тем, что сверху, я разумею: пьяница и потаскушка она, эта неожиданно красивая северянка в моднейшем платье, которое она сбросит, как только платье начнет ломаться от грязи, и напялит на себя новое. Вторым умом, наджабренным, но еще острым, и не умом, нет, а вечным мужицким беспокойством я ощущаю зов этой свободной красавицы.

На другой день, сидючи на берегу Нижней Тунгуски, возле удочек, изъеденный комарами, я мучился, вспоминая северную красавицу — кого же, кого она мне напоминает? И внезапно открыл: да ее, вот эту реку, Нижнюю Тунгуску, которая, догадываюсь я, всю жизнь теперь будет звать, тянуть к себе молчаливой печалью. Одетая в каменное платье, украшенная по оподолью то тяжелыми блестками алмазов вечной мерзлоты, то жарким пламенем цветов по берегам — бечевкам, то мысом, вспененным пушицею, лужком, поляной, галечными заплесками, угорело пенящимися потоками, выдравшимися из хламной зябкости лесов, всем, что растет, живет, звучит и успокаивается ею, будет помниться подвидно-печальная Угрюм-река.

Выше ее, над тайгой, над болотными марями, то ближе, то дальше, то ниже, то выше призрачно белеют дальние хребты, куда в эту пору уходит, уползает, бежит всякая живая тварь, спасаясь от гнуса. Лишь мы с Акимом остались на съедение комарам возле потока, дымчато курящегося, опьянелого от дикой воды. Палатка наша оранжевого цвета стала желто-серой, даже грязноватой. На ней, чуя живую кровь, сплошняком налип комар. Он не дает есть, спать, думать, жить. Когда обогреет солнце, не выносящий тепла северный гнус, дитя мерзлой земли, западает в траву, и шевелится тогда, шипит седая трава по прилескам. Аким куревом вытравил из палатки комаров, застегнулся на «молнию», сидит, не дышит, слушает слитный, металлический звон над собою, время от времени кличет меня в укрытие и, не дозвавшись, роняет: «Ну, как знас! Пропадай, раз чокнутай, дак!»

У меня есть флакончик «дэты», на мне надета штормовка, под нею костюм, белье, я крепко замкнут, завязан, зашпилен, и все-таки комары находят чего есть: веки, ноздри, губы, запястье под часами, голову сквозь башлык. Но я столько лет мечтал посидеть на северной реке, половить непуганую рыбу, послушать большую тишину

— мне уж не попасть на Север, годы и здоровье не пустят, так что ж, бросать все, попуститься, сдаться из-за комаров?

Хариус и таймень прошли в верха Тунгуски, разбрелись по ее студеным притокам, заканчивался ход сига. Но все же изредка брал местный, становой хариус и ленивый, любящий вольно погулять хвостовой, не стайный сиг. И как брал! Удочек у меня развернуто две — длинная и короткая. Рыба берет почему-то на одну и ту же, на длинную, заброшенную ниже потока, шумно врывающегося в тугие, надменные воды Тунгуски. Груз на удочке — всего две картечины, иначе замоет, затащит снаряду песком. Вода в потоке чище слезы, но все же с кустов, с лесу какая-никакая козявка, блоха, гусеница падают, из-под камней или песка букашку иль стрекача вымоет, и потому хариусы и сиги чутко дежурят в устье потока, шпаной бросаются на корм.

Я жду поклевки крупной рыбы — в такую даль забирался неужто зря? И вот леску длинной удочки потащило по течению вверх, затем резко повело вглубь, в реку. Жидкий конец удилища заколотился, задергался, изогнулся вопросительным знаком.

Я взялся за удилище.

Пяток хариусов и четырех сижков-сеголетков я достал — те брали не так. Напружиненное мое сердце подсказывало: «Клюет дурило!» Я спешно вспоминал сечение лески, нет ли узлов, жучин? Леска без изъянов, все привязано прочно, крючок крупный, удилище проверено на зацепах. Чего же сиг медлит? Хитрован или дурак? Зажал червя за конец и ждет, когда я рвану и подарю ему наживку, которой осталось у меня по счету?

Была не была! Без подсечки, тихонько я стронул удочку с места, в ответ удар — едва удержал удилище! И пошел, пошел стряпать крендели сиг! Я не мог подвести его к берегу, не мог остановить, взять на подъем, чтобы хлебнул ухарь воздуха. Сиг правил мной, а не я им, но все у меня стойко, прочно, рыбина взяла червя взаглот, иначе давно бы сошла. Значит, сиг стоял на быстри и спокойно зажирал червя — удилище вопросом. Ох, какой я молодец! Какой молодец! Заторопился бы, сплоховал — и с приветом! Это я на охоте: то пальну возле ног, то уж когда версты две птица отлетит, но тут шалишь! Тут я выдержал характер, и сиг ходил на удочке, танцевал, рвался на волюшку, в просторы. Я бегал, метался по берегу, спуску ему не давал. И вдруг рыбина, понявши, что в реку не уйти — не пущают, резко помчалась к берегу,

рассекая воды святым пером — так в Сибири зовут спинной плавник, — это была еще одна ошибка сига, последняя в жизни, — по ходу, по лету я взбежал на приплесок и выбросил на темный песок бушующего, темноспинного красавца, сшибающего с себя серебро чешуи. Отбросив сига ногой в сторону, я запрыгал и закричал хвастливо, что есть я старый рыбак и коли сиг хотел со мной игрушки играть, не надо бросаться к берегу — мигом подберу слабину, и отыми ее попробуй! И вообще я хороший парень, а сиг — хороший людя! Взял вот, попался и надолго, если не на всю оставшуюся жизнь, подарил мне такую радость.

Никого нигде не было, что хочешь, то и делай, впадай хоть в какое детство — и я поцеловал сига в непокорную, стремительно заточенную морду, вывалянную в песке, снес рыбину и швырнул за гряду камней, в поток, где он сразу заходил, заплескался, взбивая муть и раскатывая гальку, пробовал куда-нибудь умчаться, да только выбросился на камни и долго скатывался обратно в щекочущую воду…

В ту ночь брало еще несколько крупных сигов, но удачи мне больше не было — все они оказались хитрее и сильнее меня.

Я ждал дня, чтобы перевести дух от комаров и

хоть маленько поспать. Но день пришел такой парной, что палатка сделалась душегубкой. В насквозь мокрой одежде, задохнувшийся, почти в полуобмороке, я отправился в лес, надеясь найти червяков и отдышаться в холодке, но как только вошел в тряпично завешанный мхами, обляпанный по стволам плесенью и лишаем, мелкоствольный, тыкучий лесишко, почувствовал такую неподвижную духотищу, что сразу понял: ничего живого, кроме мокрецов, плотно залепивших мне рот и уши, здесь нет, все живое изгнано, выбито отсюда на обдув высоких хребтов. Жил, резвился и вольно дышал в обмершем лесу лишь поток — дитя вечных снегов. Не было ему ни метра пространства, где бы выпрямиться, потянуться, успокоиться. Рычащей, загнанной зверушкой метался он меж ослизлых камней, заваливался, весь почти терялся под вымытыми корнями, застревал в завалах и бурлил тут, пенился взъерошенно, катался кругами, но продирался-таки, протачивался в невесть какие щели и скакал с гряды на гряду, с камня на камень, вытягиваясь змейкой в расщелинах, в клочья рвал себя на осыпях и вывалился наконец из-под гряды прибрежного завала, навороченного ледоходом, совсем было его удушившего,

к Тунгуске.

Пьяный, с разорванной на груди белопенной рубахой — и свободы-то сотня сажен, но он и этакой волюшке рад, заурчав радостно, будто дитенок, узревший мать, он в наклон катился к Нижней Тунгуске, припадал к ее груди и тут же умиротворенно смолкал. Зимой дикий поток погрузится в оцепенелый, ледяной сон, заметет его снегом, и никто не узнает, что средь заметенного леса, под глубокими сувоями распластанно, окаменело спит он мертвецки, спит до той счастливой поры, пока не оживит его солнце, и снова он кипуче, светло, бурно отпразднует лето.

Понявши, что червей мне не раздобыть, я сломил пучку, зубами содрал с нее жесткую кожу и жевал сочный побег, прыгая с камня на камень, как вдруг, при выходе из завала, средь наносного хлама, пробитого там и сям пыреем, метлицей, трясункой и всякой-разной долговязой травкой, увидел лилию, яркую-яркую, но как-то скромно и незаметно цветущую среди травы, кустов и прибрежного разнотравья.

— Саранка! Саранка! — себя не помня, заблажил я и чуть не свалился с камня в ледяной поток.

Саранками в наших местах зовут всякую лилию. Самая среди них распространенная — вы-

сокая, с кукушечно-пестрым пером сиреневого или сизого цвета, лепестками ее маслянистыми, скатанными в стружку, мы в детстве наедались до тошноты. Есть высокогорные, будто чистой, детской кровью налитые и в то же время ровно бы искусственные саранки, но это то самое искусство, которое редко случается у человека, — он непременно переложит красок, полезет с потаенным смыслом в природу и нарушит ее естество своей фальшью.

Я стал на колени, дотронулся рукою до саранки, и она дрогнула под ладонью, приникла к теплу, исходившему от человеческой руки. Красногубый цветок, в глуби граммофончика приглушенный бархатисто-белым донцем, засыпанный пыльцой изморози, нежданно теплой на взгляд, напоминал сказочно цветущий кактус из заморских стран.

— Да как же тебя занесло-то сюда, голубушка ты моя ясная? — защипало разъеденные комарами веки — неужто такой я сентиментальный сделался? Да нет, не спал вот двое суток, гнус душит, устал…

И здесь, на первобытно-пустынном берегу реки, надо было перед кем-то оправдаться за нахлынувшую на меня нежность. Я бережно отнял лилию

от луковки, чтобы на будущий год из земли снова взнялся цветок, и она насорила мне на руки белой крупки, один стебелек цветка чуть подвял, сморенно обвалился. Так же бережно я опустил саранку в пузырящийся поток, неподалеку от того места, где рыбачил, и, вынесенная из приурманной темени на снег, опущенная в снежную воду, лилия открылась, что тихая душа, освещенная яркой любовью, во всю ширь, со всем доверием, и дикий поток, показалось мне, заметно присмирел и ровно бы поголубел даже, шевеля бледные ниточки тычинок, на которых едва приметными мушками лепились три коричневых семечка.

Я перелистал потом справочники-травники и разные пособия, но нигде не отыскал подобной саранки. Встретилось в одном атласе под названием «даурская лилия» что-то похожее на нее, и я уж решил, что больше никогда такого цветка не увижу, но однажды на юге, в ухоженной клумбе засияла мне приветливо туруханская лилия — «Валлота прекрасная» было написано на табличке.

Бог знает какими долгими путями добиралась в туруханские дебри южная валлота, утрачивая в пути горластую роскошь, назойливую яркость. Но, может, все наоборот? Может, нежный север-

ный цветок спускался на юг по рекам и морям, подхваченное бурями, летело его семя, обретая в долгом пути имя, накаляясь от жаркого красного солнца? Перекалило цветок напористым южным солнцем. Южная ночь слишком грузно навалилась на него чернотой, и потому лилия стала жесткой на вид, ломка лепестками и напоминала скорее вареного рака, а не цветок. Лишь в середке лилии, в углублении граммофончика затаенно белела первозданная сердцевина, застенчиво освещая донышко цветка; наружу без опаски, с вызовом высовывались семена, не два, не три — целый пучок семян, переполненных грузом плоти, изнемогшей в раскаленном цветочном нутре, спешащих скорее оплодотвориться и пасть на землю.

Туруханскую лилию не садили руками, не холили. Наливалась она студеным соком вечных снегов, нежили и стерегли ее уединение туманы, бледная ночь и незакатное солнце. Она не знала темной ночи и закрывалась, храня семя, лишь в мозглую погоду, в предутренний час, когда леденящая стынь катила с белых гор и близкий угрюмый лес дышал знобящим смрадом.

Как было, что было — не угадать. Но я нашел цветок на далеком пустынном берегу Нижней

Тунгуски. Он цветет и никогда уже не перестанет цвести в моей памяти.

Настала еще одна ночь, мутная, до звона в ушах тихая и еще более душная. Тело мое замзгнуло, стало быть, прокисло, задохнулось от пота. Из-за мыса вымчалась деревянная лодка, задрав нос, полетела на меня, ударилась в берег.

— Дру-уг! — закричали с нее два окровавленных мужика. — Бери, чё хочешь! Дай намазаться! Съели! Сгрызли! О-о-ой!.. Это чё же тако?.. — Я подал им флакончик. Они со стоном намазались и воскрешенно выдохнули: «Во-о-осподи-и-и!» — Рыбаки эти гнались за хариусом вверх по Тунгуске. Рыбу не догнали, себя на стоянках гнусу стравили. Покурили, матерно ругая комаров: — Э-э! Закружился, затренькал! Чё, взял? Взя-ал, паскуда! Не ндравлюсь я те намазанный-то, не ндравлюсь?! — и от благодарности предложили мне сматывать удочки и двигать в Туруханск, пить вино.

Я отказался, и, жалеючи: «Доедят ведь!» — мужики отдали мне червей, завели мотор и умчались.

На свежих червей я взял еще одного сига, несколько рыб помельче, но густела марь, густел воздух, густел комар. Я сидел, засунув руки в

рукава штормовки, всему уже покорившийся, ко всему безразличный, раскаиваясь в том, что не согласился уплыть с рыбаками.

Когда мы ехали в Туруханск, Аким не переставал хвастаться, что дружки его по геологической экспедиции, неутомимые разведчики недр, если потребуется, так и на луну доставят. Но на Севере все течет, все изменяется в народе куда быстрее, чем во всякой иной земле. Подверженные зову кочевых дорог, соратники Акима давно покинули Туруханск, и, до пыху набегавшись по городу, он в каком-то бараке сыскал непроспавшегося мужика, который за червонец доставил нас сюда, единожды лишь за дорогу разжав рот: «Дожидайтесь пересменки». Пересменка — воскресенье, ждать еще два дня — попробуй доживи до назначенного срока!

Из скалистого устья Нижней Тунгуски послышался мощный рокот, гулкое, отрывистое, слишком какое-то уверенное биение моторного сердца. Встречь воде, задирая ее высоко и разделяя белыми крылами, шла серебристо блистающая обводами моторка. По-акульи хищно вытянутое тело моторки без напряжения скользило по воде. В носу судна заподлицо заделан кубрик с двумя круглыми фрамугами, застеклен-

ными авиационным стеклом.

Клюнув носом и отбросив ком воды, моторка точно бы ненароком подвернула ко мне. У руля сидел крепкий, непромокаемо и плотно, под космонавта одетый парень с изветренным лицом и адмиральски надменным взглядом. В ногах его пятизарядный вороненый карабин. Парень не здоровался, ни слова не говорил, ощупывал меня настороженными глазами, обыскивал, выворачивал карманы взглядом, пытаясь уяснить, какое там лежит удостоверение и кто затаился в палатке? Мотор поуркивал отлаженно, мощно, удерживая лодку на месте. Из кубрика выскочили два заспанных и тоже здоровенных парня, одетых в редкостные летные костюмы. Кормовой повел на меня взглядом. Подобранные, напружиненные парни тоже обшарили меня неприязненными взглядами, один из них раздосадованно бросил: «А-а!» — и стал мочиться через борт, стараясь угодить в поплавок моей удочки.

Три вот этих разбойника еще недавно были нормальными рабочими парнями, но утомило их производство. Они сконструировали на авиационном заводе и воровски, по частям вывезли люкс-лодку. Полмесяца назад увезли с одного из притоков Нижней Тунгуски шестьсот килограм-

мов тайменьего балыка и вот идут за хариусом. Прикрытые брезентом, стоят в лодке бочки. Закончив харюзную страду, они примутся за сига. Тем временем взматереет птица, вызреет орех. Бензопилой они сведут сотни гектаров кедрачей. За один только сезон три добрых молодца вырывают из тайги дани на многие тысячи рублей, живут размашисто, разбойничают открыто. Пробовал их преследовать и застукать рыбинспектор Черемисин — был из леса подстрелен, и ладно, лодку течение вынесло к Туруханску.

Пришлось Черемисину после больницы переводиться на более «спокойный» чушанский участок. В Туруханске силы нет против этой вот маленькой, но нахрапистой банды, которую по закону, видите ли, следует брать на месте преступления, но бандюги так вооружены, подлы и ловки, что взять их сможет разве что воинское подразделение. Войско же занято совсем другими делами, и безнаказанно, разнузданно пиратничает банда по обезлюдевшему Северу, да кабы одна!

— Ну, чего выпялился? — сорвался я. — Не видел, как удочкой рыбу ловят? Взрывчаткой гробить ее привык?

Кормовой дернулся, сжал рукой шейку кара-

бина так, что наколка на тыльной ее стороне сделалась синее, но тут же поймал взглядом палатку, харкнул за борт, процедил сквозь зубы: «Попадись нам еще, шибздик!» — и врубил скорость. Взрыхлилась муть, заголило лоскутом устье потока, скрутило удочки, толкнуло волной песок, шевельнуло рыхлый приплесок, и серебристая моторка уверенно удалилась за мыс.

Ну почему, отчего вот этих отпетых головорезов надо брать непременно с поличным, на месте преступления? Да им вся земля место преступления!

В глухой час, в минуты самой необъятной тишины взялись переплывать Тунгуску лось с лосихой и отвлекли меня от мрачных дум. Опустилась парочка напротив мыса с явным расчетом выйти на берег вдали от человека, но течением зажало зверей, потащило по реке. Шумно хукая ртом, сопя ноздрями, отфыркивая воду, вытаращив то вспыхивающие, то меркнущие от небесного света глаза, они плыли на меня, погрузнув в воду до подбородков.

Выходило так, что зверюги ткнутся в удочки. Я стал соображать, как и чем отпугивать парочку, собрался уже бежать к палатке, но сохатые все же осилились, коснулись дна саженях в пяти от ме-

ня, какое-то время стояли, загнанно дыша, уронив тяжелые обрубыши голов, с которых потоками рушилась вода. Сохатые, должно быть, поняли: если стрелять, так я бы уже давно стрелил, и не обращали на меня внимания — сидит и сидит дяденька на уступе приплеска, руки в рукава, не двигается, комары его, видать, приканчивают.

— Чё хулиганите-то?

От моего голоса звери дрогнули, взбили воду, долговязо выбросились на берег и нырко понеслись в кусты, щелкая копытами о камни. За нагромождением завала они загромыхали, стряхивая с себя мокро. Я улыбнулся себе — появление добродушных и неуклюжих зверей сняло тяжесть и унижение с души, которые с возрастом больше давят и сильнее ранят.

Неслышно подошел Аким. «Живой ли ты исо?» — спросил. Я сообщил ему, что приставали «туристы», которым человека щелкнуть все равно что высморкаться. Потом лось с лосихой чуть было меня не слопали. Аким буркнул: мол, тырился небось опять? Тут, мол, тайга, милиция далеко… и, увидев саранку, дотронулся пальцами до алых лепестков, окропленных светлыми брызгами:

— Сто за светок, пана? Какой красивый! — и

опять, в который уж раз, начал мне повествовать про тот цветок, который однажды весною, в далеком детстве, нашел он в тундре возле Боганиды, и я подумал: «Аким начинает ощущать годы, чувствовать груз памяти».

Наутро спускался по Тунгуске железный тихоходный катер. Мы замахали, заорали, забегали по берегу. На катере оказались симпатичные ребята: капитан Володя, матрос дядя Миша и тихий паренек, едущий из поселка Ногинска поступать в туруханское ПТУ. Нам дадено было пятнадцать минут на сборы. Мы уложились в десять. Но и за эти короткие минуты щенок, которого везли на катере, опрокинулся на спину, закатался, завизжал — свалили комары.

На катере, тоже забитом комарами, сварена уха из стерляди, у нас бутылка. Мы ее выпили за знакомство, принялись артельно хлебать уху из кастрюли, и я тут ж поперхнулся — стерлядь оказалась нечищеной. Давиться плащом стерляди страшнее, чем костью, плащ — что тебе стеклорез, распорет кишки. «Ты чё же, друг?» — сбавляя темпы в еде, собрался я укорить дядю Мишу. Но тут же догадался — комар помешал! Месяц-полтора всей жизнью на Севере будет править гнус: мокрец, комар, слепень, мошка.

Без сна дюжить не было мочи. Намазавшись «дэтой», я упал в кубрике на топчан, замотал лицо простыней и проснулся вроде бы через несколько минут от тишины — мы стояли в Туруханске. И вот оказия, вот ведь наказанье за непочтение родителей: только сошли с катера, взобрались на яр, рухнул обвальный дождь, который собирался все последние дни, потому и было так глухо в тайге, оттого и свирепствовал непродыхаемый гнус.

Дождь хлестал, пузырился, крошил гладь Енисея, обмывал запыленные дома старенького скромного городка, высветляя траву, листья на деревьях, прибивал пыль, обновлял воздух. Бродячие собаки, которых здесь не счесть, лезли под лодки, где-то визжали и резвились дети, все канавки, выбоины, ямы и бочажины взбухали, наполняясь водою, превращались в ручьи, оплывал грязью высокий яр, из города потащило хлам, мусор, щепу, опилки, обрывки старых объявлений и реклам.

Спеша укрыться в речном вокзале, бежал туда, светясь белью зубов и придерживая нарядную фуражку, щеголеватый милиционер. За ним, не решаясь оставлять власть на запятках, трусили бабенки с узлами, по ступеням вверх кидал себя в кожаной корзине пристанской инвалид.

Слизывая с губ мокро, он чего-то кричал веселое, замешкался на лестнице, выдохшись, и одна женщина, бросив пестренький узел, схватила за руку инвалида, потянула за собой, перебрасывая со ступеньки на ступеньку мокро шлепающую корзину, что-то озорное, бодрящее крича ему, а инвалид все так же по-детски, игровито слизывал мокро с губ и норовил хапнуть бабу за мягкое место. Обе руки у него были заняты: одной он толкался, за другую его перекидывала женщина, но он все же уловил момент, щипнул бабу, за что целил, она взглянула, завизжала, милиционер и народишко, набившийся под крышу, хохотал, поощрял инвалида в его вольностях. Передав кому-то фуражку, милиционер, оказавшийся с модной, длинноволосой прической, выскочил под дождь, схватил мокнущий узел и помог женщине перекинуть до нитки уже мокрого инвалида через порог вокзала.

Дышалось легко, смотрелось бодро. Всех в такой вот дождь, даже самых тяжелых людей, охватывает чувство бесшабашности, дружелюбия, с души и тела, будто пыль и мусор с земли, смываются наслоения усталости, раздражения, житейской шелухи.

Мне вспомнился таежный поток: как он вздул-

ся, наверное, как дурит сейчас, ворочая камни, обрушивая рыхлый приплесок, и как, поныривая, крича ярким ртом, кружится, плывет несомая им лилия, а ею покинутая необъятная тайга из края в край миротворно шуршит под дождем, и распускаются заскорблые листья, травы, мягчает хвоя, прячется, не может найти себе места от хлестких струй проклятый гнус, его смывает водой, мнет, выбрасывает потоком в реку, рыбам на корм.

Дождь не лил, дождь стоял отвесно над нами, над городком, над далекой тайгой, обновляя мир. Возле деревянного магазина, обнявшись, топтались в луже, пытаясь плясать, три пьяных человека, среди которых я узнал красавицу эвенкийку. Нарядное полосатое платье под дождем сделалось болотного цвета, облепило стройное, но уже расхлябанное тело девушки, мокрые волосы висюльками приклеились к шее и лбу, лезли в рот. Девушка их отплевывала. Мужиков, которые мешали ей плясать, она оттолкнула, и они тут же покорно повалились в лужу. Дико крича, девка забесновалась, запрыгала, разбрызгивая воду обутыми в заграничные босоножки ногами. Похожа она была на шаманку, и в криках ее было что-то шаманье, но, приблизившись, мы разобрали: «А мы — ребята! А мы — ребята сэссыдесятой

сыроты!..»

Связчик мой, «пана», понуро за мной тащившийся, мгновенно оживился, заприплясывал на тротуаре, подсвистывая, раскинув руки, топыря пальцы, работая кистями, пошел встречь красотке, словно бы заслышал ему лишь понятные позывные.

— Хана абукаль!

— Харки улюка-а-аль! — отозвалась красотка, сверкая зубами.

«Они поприветствовали друг друга», — догадался я и попробовал остепенить связчика, но он уже ничего не слышал, никому, кроме женщины, не внимал. Продолжая выделывать руками и ногами разные фортели, цокая языком, прищелкивая пальцами, «пана», точно на токовище, сближался с самкой, чудилось мне, и хвост у него распустился, но из лужи приподнялся беспалый бродяга и увесисто сказал: «Канай».

Продолжая прищелкивать пальцами, заведенно посвистывая, то и дело оборачиваясь, запинаясь за тротуар, с большим сожалением «пана» последовал за мной, уверяя, что, если бы он был один да без багажа, да не мокрый, да при деньгах, он не отступил бы так просто, он бы…

Я не поддерживал разговора, и, вздохнув почти

со всхлипом, Аким смолк, однако чувствовал мое молчаливое неодобрение и через какое-то время принялся подмазываться.

— Ах, собаки! Собаки! — сокрушался он. — Забыли саранку! Сигов вот не забыли! А саранку, такую хоросынькую, забыли! Сто мы за народ?!

Я ничего ему в ответ не говорил, потому что верил: саранку вынесет потоком в реку, выбросит на берег Тунгуски, Енисея ли, и, поймавшись за землю, хоть одно семечко дикой туруханской лилии прорастет цветком.

Сон о белых горах

Было время, когда туристов и видом не видывали и слыхом не слыхивали. Разве что приедет в кои веки раз какой-нибудь, чтоб потом книгу написать. А еще того раньше, если людям попадался турист, они или тут же забивали его, или требовали за него выкуп на том веском основании, что он, наверно, вражеский шпион. И, как знать, может, только так с ними и надо было обращаться.

Уолтер Мэккин

Как маленькая тропинка выходит в конце концов к широкой тропе, а то и к дороге, так и человек, с детства таскающийся с ружьем, непременно склонится к мысли — покончить с баловством и заняться настоящей охотой, испытать отраву и сладость промыслового фарта, отметая мудрый завет: человек жив хлебом, а не промыслом.

Коля, закадычный друг Акима, всеми силами и мерами воздействовал на покрученника, страсти всякие ему рассказывал, на болезнь ссылался,

материл его, сулился ружье утопить — все бесполезно. И тогда Коля, живо помня, что случилось с ихней артелью на Таймыре, взял с Акима слово: сельдюк узкопятый пойдет на промысел один, без связчиков — кого медведь драл, тот и пня боится.

У охотников, постоянно занимающихся промыслом в туруханской тайге, были освоенные, обжитые ими районы, и Акиму, как новичку, определили угодье и никем не занятое становище, из глухих глухое, из дальних дальнее, ниже озера Дюпкун, на речке Эндэ — притоке то бурной, порожистой, то болотисто-неподвижной Курейки. До ближнего поселка Усть-Мундуйки, отмеченного на карте якорем, поскольку сюда с весенним завозом заходят пароходы и самоходки, а летом реденькие катера, от зимовья сотня с лишним верст. По левому берегу Курейки, где-то среди озер, болот и сонно темнеющих гор утерялся поселок Агата, в котором, по слухам, давно нет ни одного жителя. По правому берегу Курейки, за реками Кулюмбе и Горбиачин, где-то возле озера Хантайского, зимой и летом стоит бригада рыбаков, добычу которой таскает в игарский рыбозавод самолетик. Словом, от зимовья Акима хоть влево, хоть вправо кричи — не докричишь-

ся, беги — не добежишь.

«Две Бельгии и полторы Франции в твоем распоряжении!» — смеялся пилот вертолета, еще по теплу забрасывая к охотничьему зимовью все необходимое для долгой жизни и нелегкого зверованья: пилу, топоры, пешню, капканы, одежду, постель, небольшую лодку-долбленку, соль, сухари, керосин, другой разный скарб и припас.

Хмарная, пространственная тишина лежала вокруг заплесневелой по нижним венцам, скособоченной избушки со сплющенной от толстых снегов трупелой шапкой крыши. Тревожно шевельнулось и съежилось что-то в Акиме, просвистело сквозняком по всему нутру: «Бою-у-у-уся-а-а». И не будь чахлолесая, однообразная местность, объятая болотным смрадом, заключена в небесно-чистые горы, от которых веяло сквозной свежестью, мягкой прелью мхов и чем-то необъяснимо манящим, Аким, пожалуй, спасовал бы, и мысль, робко в нем шевельнувшаяся: «Бежать! Выплатить аванец и отказаться от договора», — укрепилась бы в нем. Но, странное дело, вернувшись в город, на базу, он стал думать о месте, ему определенном, об этих «двух Бельгиях и полутора Франциях», как о своем, давно ему знакомом, обжитом, даже и затосковал по речке

Эндэ, по старенькой, сиротливой избушке. И приснились ему белые горы. Будто шел он к ним, шел и никак не мог дойти. Аким вздохнул сладко от неясной тоски, от непонятного умиления, и ему подумалось, что все его давнее томление, мечты о чем-то волнующем, необъяснимом, об иной ли жизни, о любви, если не разрешатся там, среди белых гор, то как-то объяснятся; он станет спокойней, не будет криушать по земле, обретет душевную, а может быть, и житейскую пристань.

Как, почему это должно произойти в местах, где до ближнего охотничьего становья пять суток ходу, ничего и никого, кроме тайги и гор, нету, — Аким ни себе, ни кому другому растолковать не сумел бы. Но он давно привык полагаться на себя, доверять только собственному сердцу и наитию, которые не раз и не два шибко его подводили, и все же ничего иного не оставалось, как советоваться с собой. Пустив по воле волн душу и тело свое, доверясь внутреннему движению, Аким готов бывал уже ко всему, никому и ничему обыкновенно не удивлялся, воспринимал хоть удачу, хоть беду как само собою разумеющееся, и, может, эта именно невозмутимость, способность во всякий момент делать то, что требуется, идти

дальше с готовностью и помогали Акиму сохраниться на белом свете, дожить до тридцати лет (это он в охотничьем договоре для солидности написал. На самом же деле до двадцати семи с небольшим гаком). Хуже ему бывало, когда повороты жизни случались врасплох, когда он не был готов к отражению напастей. Вот тогда один лишь ход, одно спасенье знавал — вино. Ах уж это вино! Если б не оно, проклятое, где бы сейчас и кем был Аким! Где бы и кем он был, Аким, по правде сказать, представлял неясно, однако не сомневался: все было бы по-иному, по-хорошему, как не сомневался в том великий человек — Парамон Парамонович и все пьющие, бродяжливого характера люди. И когда ударялся в загул, часто плакал о себе Аким — о том, который мог бы быть, даже вроде бы и есть где-то совсем близко, да этот, враг-то, пропойное-то рыло, к нему не допускает…

Полный деловитости, возбужденный ожиданием всего наилучшего, Аким высадился в устье речки Эндэ, на удобной площадке, накрыл багаж, придавил брезент каменьями, помахал вертолету рукой и пошел на ветхой осиновой долбленке с первым небольшим грузом к становищу — узнать, что там и как, да и путь-дорогу

по осенней речке разведать. Предстояло ему на шесте проделать этот путь раз десяток, если не больше, — много необходимого имущества надо современному охотнику.

Поталкиваясь легким шестом, покуривая душистую сигаретку с мундштучком, он обдумывал свое будущее здесь житье. Зимовье Аким подремонтировал в прошлый прилет, но возни с ним еще много, подопрело зимовье, давно в нем не было промысловика, а вот туристы и бродяжки всякие наведывались: скололи углы на растопку и козырек над дверью свели, истюкали топором половицы и порог. Комары, холод ли не дали приблудным людям разбить стекло в окне: разбить стекло, напакостить в избушке, высечь надписи топором на стене и ножиком на столе — это уж непременный долг современных ночевальщиков, если они этого не сделают, то вроде как с хворью в душе уйдут, с неудовлетворенностью. Надо проконопатить, обшить дверь, набить за оконный надбровник моху — вытеребили птицы, мыши, и само окошко оклеить, промазать, пол приподнять — сел на землю; главное же — дров на весь сезон наширкать, запасти накрохи, птицы, рыбы, ближе познакомиться с молодой, только что приобретенной собакой Розкой, которая рез-

во носилась по тайге, облаивала глухарей или рябчиков, проломившись сквозь зарастельник, громко лакала воду, смотрела на приближающуюся лодку, пошевеливала хвостом, загнутым в вопрос: что-де за человек мой новый хозяин, как мы с ним уживемся?

Аким трепал Розку по пушистому загривку, скреб ногтем за чуткими ушами. Розка, уткнувшись хозяину в колени сырой, чистой мордой, притихнув, глядела снизу вверх с покорной ласковостью. «Ты только не бей меня, и все будет ладно», — говорил ее взгляд.

Шибко бьют иногда собак, шибко. И самых добрых и нужных бьют — ездовых и охотничьих. Комнатных шавок бить не за что, они сахар едят, лапу дают, гавкают, и все. В тайге жизнь серьезна, тут лапой не отделаешься, тут работать надо и знать, когда гавкнуть, а когда и промолчать.

— Ничё, Розка, ничё! — успокаивал собаку Аким. — Ищи давай, ищи! — С детьми и собаками Аким умел ладить, они его любили — верный признак души открытой и незлой.

В речке Эндэ, выбивая мальков, хлестался ленок, завязав узел на воде, уходили с отмелей таймени, хариус прощупывал плывущие листья и осенний хлам, лениво снимая личинок, пуская

осторожно кружки. Ожиревшая, выпутанная рыба от лодки отваливала неторопливо, выстраивалась возле струи, в бой воды, в водовороты не лезла. Скоро покатится хариус в низовья, следом уйдет таймень, ленок, и речка опустеет. Хорошо бы на ямах чего осталось, хоть мелочь, налим пошел бы на икромет — зимой питанье себе и собаке, а накроха — всем заботам забота.

Зимовье темнело продавленной крышей за прибрежным веретьем, в сером оголившемся ольшанике. Сразу за избушкой мшел каменный бычок-плакун, выдавливая из-под себя или из себя талец, путь которого и жизнь которого на свету была совсем коротенькой. Редко ставят охотники зимовье в таком сыром, заглушистом месте, но на сезон-два, видать, и рубили избушку, и охотник ленив был: чтоб вода, дрова, промысел — все рядом, на остальное плевать. Талец и камень переплело, опутало смородинником с последними на нынешних маслянисто-темных побегах листьями, прихваченными морозцем; дружной рощицей стояли вдоль тальца медвежьи дудки, уронив тряпье обваренных листьев и топорщась мохнатостью зонтиков; жались к камню кустики аршинного чая-лабазника, соря в желобок тальца круглое, пылящее семя; понизу светились уже

слепые нити незабудок и чахоточно цветущей, но сочной мокрицы, которая, после того как опали и завяли зонтичные, получила каплю света, взбодрилась от припоздалого солнца, от первых ли инеев; липучка навязчиво ластилась ко всему. Когда еще с первым вертолетом прилетел Аким, то нащипал возле тальца берестинку морхлой, недозрелой смородины, хрустел косточками черемухи, лакомился гонобобелью и называл заросли за избушкой садом.

Сразу за «садом», в шаге от избушки начиналась приполярная тайга с редкими, колотовыми кедрачами, ершистыми ельниками, седым пихтарем в падях, мелким чернолесьем по речке Эндэ и вздыбленным притокам ее. Но по-за речками простиралась ласта — местность низкая, закрученная в моховые поляны, — предвестница тундры. В ясные дни глаз доставал подтаежье — ничего хитрого: в какой-нибудь полсотне верст на север, может, и ближе — шестьдесят седьмая параллель — Полярный круг. Аким пытался «оформить» эту самую параллель, зрительно представить ее в виде границы. И хотя он в Заполярье родился, вырос, все видел и знал, при научном слове «параллель» у него в голове преображалось, жизнь и местность обретали

какие-то иные формы, и выходило, что по эту сторону параллели — лес, ягоды, кустарники, боровая птица, лесной зверь, а по ту — сразу же голая тундра, испятнанная озерами, и ничего там нет, кроме мха и кустарников, уток да гусей, песцов и куропаток.

Поймавшись взглядом за угол зимовья, Аким с удовольствием отметил: осадка избушки та же, что и ранней осенью, — значит, не мартышкин труд то, что талец, наладившийся подмывать жилище, отведен Акимом в гущи «сада», что уперты в набережную стенку три слеги да подлатана корой крыша, — человеческие руки, они и строят, и хранят, без них даже лесная избушка дряхлеет.

И все же что-то было не так с зимовьем, потревожено оно вроде бы чем-то, мох на тропке притоптан, на каменьях сбит и заголен; торчит пенек недавно срубленной ольхи; труба в черной кайме свежей сажи, стало быть, тоже невдавне топлена; «сад» шибко смят, утоптан у рябящего устья тальца, смородинник и вовсе обломан; на дне Эндэ блеснула крышка консервной банки; к стене избушки прислонено на скорую руку вырезанное удилище, болтается оборванная жилка с городским пластмассовым поплавком. «Туристы! — взвыл Аким. — Добрались, пад-

лы! — Отрывисто, испуганно залаяла у зимовья Розка. — Заблудились, в рот им пароход!»

Приткнув долбленку к берегу, Аким подтянул ее, выгреб из носа лодки патронташ, дождевик, заглянул в ружье — заряжено ли, и, внутренне взъерошенный, ожидал, как, держа пальцы в мелких карманах драных джинсов, космачом, без шапки, спустится от избушки заросший человек, беспечно поздоровается и выдаст что-нибудь кисло-шутливое насчет того, что приблудились они с дружками, задичали, съели в избушке все, кроме бревен, и стойко ждали, когда явится хозяин зимовья — охотник, накормит, напоит и выведет или укажет им дорогу, спасая их для потомства и будущих великих дел. Любителей странствовать по диким местам развелось полно, и они не только не трудятся, чтобы поучиться ходить по ним, но даже и расспросить ленятся, что это за оказия такая, тайга-то, пригодна ль она для прогулок?

Никто от избушки не спускался. Розка лаяла все растревоженней и звончей. Аким поспешил к зимовью, на ходу отмечая взглядом приметы нашествия: ведро, полное дождевой воды; пенек ольхи и щепа закраснели; муть отстоялась в человеческом следу — судя по вдавышу, сапог сорок второго размера, неделю, если не больше,

не выходили. Ага, окурок! Окурок давний и совсем раскисший, и сигарета докурена до фильтра — бережливый, опытный турист был или весь издержался? На подпаренном мохом крылечке, вросшем в землю, двумя пестрыми куропатками сидели драные, в пятках смятые кеды подросткового размера. «Тихий узас! — Волосы на голове Акима зашевелились. — Мужик с парнишкой! Умерли!..»

Аким толкнул дверь — она не подалась. Он опустил с плеча ружье, прислонил его к стене, схватил деревянную ручку обеими руками, пнул дверь ногой, навалился плечом. Сыро хлюпнув, она нехотя отворилась. Акима втащило на двери в жилье и там чуть не сшибло едучим, застоявшимся запахом гнили и мочи.

Промаргиваясь на мутное, в серых разводах окошко с пятнышками прилипших к стеклу комаров и лесной тли — окно не протирали, некогда было или не догадались, Аким охватывал глазами избушку: с подоконника, тесанного нехитрым топором безвестного охотника, свисала грязная цветастая кепочка, вытянув целлофановый козырек утиным клювом, — при бедном, таежном убранстве избушки совсем неуместная и жалкая вещь; на столе тюбик противокомарной мази,

грязный, почти выдавленный; здесь же темные очки в перламутровой оправе; золотые часики, светящиеся цветком-стародубкой; россыпью неошелушенные кедровые шишки; котелок почему-то на полу, в нем деревянная ложка с рыжим черенком; топорщилась ржавой жестью неумело открытая, уроненная на бок банка, из нее вытекла, плотным слоем пыли облипла лужица; голубая сумка с голубем на боку; изодранный городской плащик-болонья; громадный рюкзак с раздернутой пастью; топор — чем-то очень знакомый топор, рядом чехол от топора валяется; возле печи щепа, ореховый мусор, печь давно холодная, в избушке настоялся мозглый смрад.

Кучей лежащее на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами оленьей шкурой, зашевелилось, и из-под него заглушенно донеслось:

— Го… Го… Го-го…

Аким бросился к топчану, поднял шкуру, разрыл тряпье, откинул скомканную палатку и в грязнющем спальном мешке обнаружил беспамятного, горячего подростка. Вместо лица у него был костяк, туго обтянутый как бы приклеенной к нему восковой кожей, оскалились зубы, заострился нос, выпятилась кость лба — печать тления

тронула человека. Преодолевая отвращение, Аким сдернул с него изопрелые джинсы, вместе с ними паутиной стянулось что-то похожее на женские колготки, и скоро обнаружился фасонно шитый, вяло болтающийся на опавшей груди атласный бюстгальтер.

«Ба-а-ба-а-а!» — отшатнулся Аким.

Опомнился он лишь через несколько дней, когда вышел из избушки на берег Эндэ и увидел в устье тальца на промытом песке и стеклянно-мерцающей гальке что-то пышноперое, головастое, по-поросячьи сыто, вроде бы и высокомерно поглядывающее круглыми зоркими глазками. Упятившись в заросли забоки, Аким махом слетал в избушку, схватил ружье и дуплетом опрокинул нежившегося на щекочущей струйке нарядного тайменя. Громом выстрела так рвануло по речке и по тайге, что вроде дверь распахнулась в мир, и Аким начал слышать все вокруг и ощущать себя.

Три дня и три бессонных ночи провел он в полной отключенности от мира, одолевая смерть, спасая человека — женщину или девчонку — не поймешь: истощала от голода, иссохла от телесного жара и болезни, сделалась что утка-хлопунец, вся жидкая, кожа на ней ошершавелая. Одним

горлом, безъязыко она выбулькивала: «Го-го, го-го, го-го…» Аким прилеплялся ухом к спине больной, и она, чуя его, переставала турусить, замирала в себе. Хрипело, хрюкало, постанывало под обеими лопатками, под обвисшей, дряблой кожей. По всему измученному, вытрясенному до костей телу шла испепеляющая работа, не одну, не две, а сразу несколько скрипучих сухостоин качала болезнь в глубине человеческого нутра, туда-сюда катала немазаную телегу. «Воспаление», — словно бы услышав смертный приговор кому-то из близких и бессильный облегчить участь приговоренного, Аким мучился тем, что сам вот остается жить, дышать, до человека же рукой подать, но он как бы недоступен и все удаляется, удаляется…

Не дал Аким ходу таким мыслям, переборол свою расслабленность и растерянность, перетряхнул аптечку, назвал себя вслух молодцом за то, что среди самых ценных грузов захватил ее с первым ходком в долбленке. Невелика аптечка, да и ту друг Колька навязал, а ценность ее в том, что главные в ней лекарства — против простуды. Обихаживая избушку, Аким нагрел воды и вымыл девушку, девочку ли на забросанном лапником полу.

Облеплял ее горчичниками, натирал спиртом, делал горячие компрессы, отпаивал ягодным сиропом, суетился, бегал весь потный, задохшийся от жары, но отчетливо помнил: надо экономно расходовать лекарства, больницы и аптеки здесь нету. Лечить больную следует осторожно, жизнь в ней едва теплится, и себя надо беречь, очень беречь. Первый день в одной рубахе, сопрелый, шастал на улицу, засопливел, давай скорее лечиться: пришлепал себе горчичники на спину, докуда рука доставала, таблетку проглотил — как рукой сняло, а то шибко испугался — запропадет он — все, и все здесь, в изгоне, пропадут вместе с ним. Он и Розку не забывал кормить, и сам ел, пусть на ходу, в пробег, но хоть раз в день да горячую пищу. Никогда в жизни Аким еще не берег так сам себя, не заботился о своей персоне, да, признаться, никогда в жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что братьям, сестрам да матери. Но где, когда это было? Прошлое затмилось бродячей жизнью. Больше всего Аким боялся разжариться в тепле, расслабнуть, уснуть. В голове у него поднялся кровяной шум, в коленях сделалось мягко, поташнивало, как он думал, от табаку; он старался меньше курить, не садиться надолго, а толочься на ногах, занимать себя раз-

нодельем.

Выпотрошив тайменя, Аким присолил его по разрезанному хребту и повесил за хвост на дерево, пусть обвянет, обдуется жирная рыбина. Из головы и подгрудных плавников тайменя он варил уху, начистив в нее без экономии аж четыре картофелины! Ничего не жалко! Надо человека поднимать.

А зверовство? Промысел? Под договорчик-то аванс взят, пятьсот рубликов!.. А-а, как-нибудь выручится, выкрутится, не впервой в жизни горы ломать да из-под горы выламываться, главное — человека спасти! Там видно будет, что и как.

Но вначале-то, когда сутки катились колесом, так что спиц не видать, он не успевал ни о чем думать: ни про охоту, ни про план, ни про то, где и как он отработает аванс… Замечать время, считать дни и горевать «о плане» охотник начал уже после того, как легла в тайге полная, глухая осень. Где-то там, в России, в Москве, падали нарядные листья, дети из детсадов и влюбленные девочки собирали их в букеты, а здесь, в Приполярье, лишь в заветрии там-сям трепало шубный лист на березах, пусть мелкий, приморожeнный, но все же освещенный прощальной желтизной, охваченный грустью увядания. А по заостровкам,

возле мокрых лайд, в щелках кипунов лист так и остался недоспелым. Жевано болтался он, не успев окрепнуть, отцвести, увянуть, в холодные утренники жестяно звенел под ветром и взрывался шрапнелью, если из зарослей взлетала птица. Много еще было неосыпавшейся черемухи на островах и в заветриях на берегу, от морозцев ягода сделалась мягче, слаще. На черемуху и редкую здесь рябину слетались глухари, рябчики. Неопавший мелкий лист, недоспелая ягода, рябчики, долго не надевающие «штаны», стало быть, не обрастающие пухом на лапах, устало парящие болота — все это признаки затяжной расхлябистой осени.

В избушке, на прибранных нарах, застеленных ситцевым пологом, в мужском теплом белье, вытянувшись, лежала девушка — теперь Аким знал точно — девушка, у нее были отбелены волосы, но давно отбелены, и она сделалась пестрая. Больше чем на четверть отросли у нее волосы орехового цвета, свои. Аким вымыл, вычесал из них весь гнус, а в тех, неродных волосах, что ковылью-травой струились ниже, гнус не держался. Глаза девушки, сваренные жаром, были еще кисельно размазаны, затемнены со дна, но гасла краснота на белках, по ободкам зрачков, точнее, из-за них

начинала натекать хоть и жиденькая, да уже теплом согретая голубизна. Заостренные скулы девушки, спекшиеся губы, тени в подглазьях, резко очерченные брови и ресницы, все-все, как бы отдельно обозначенное и обложенное болезнью, виделось отчетливо на бледном, истонченном лице. Высокая, круто изогнутая шея в мелких слабеньких жилках вызывала такую жалость, что и выразить невозможно. Придерживая голову девушки, Аким поил ее из кружки теплой, наваристой ухой, приговаривая:

— Пей! Пей! Кушай. Тебе надо много кушать. Ты меня понимаешь?

Девушка прижмурила ресницы и какое-то время не могла их открыть — не хватало сил.

— Го-го! — прогорготало ее горло. Больная пробовала поднять руку, пытаясь показать что-то. По бреду больной, по вещам, по следам и порубкам Аким уяснил: в избушке были двое, девушка и мужчина. Скорей всего мужчину-то и звали Гогой, или Григорием, или еще как-то, на букву «г», о нем-то и хотела девушка попытать или сообщить, куда тот делся, и поискать просила своего связчика, мужа ли.

Аким делал вид, будто не понимает просьбы больной, потому что одну ее оставлять пока нель-

зя. Гога же или Григорий скорее всего утерялся в тайге, и найти его — дело длинное, головоломное, почти невозможное, однако искать все равно придется. Приговоренно вздохнув, охотник вытирал губы девушки полотенцем и про себя удручался: «Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Вот попал так попал — ни кина, ни охоты!» — такую жалобу ему один товарищ-скиталец написал когда-то с целинных земель. Акиму так смешно было, что сделалась та жалоба-вопль его поговоркой.

И вот черная струйка градусника первый раз уперлась в красную перекладину и замедлилась. Аким стряхнул градусник, снова сунул его девушке под руку. Температура стояла на тридцати семи. Аким щелкнул пальцами, даже стукнул себя по колену, утер лицо рукой и, шумно выдохнув: «Пор-рядок!» — напоил больную отваром из трав и чаем с брусникой. Сразу стало невыносимо держать себя на ногах, голову долило — так убайкался за эти дни. Бросив телогрейку на кедровый лапник, он собрался соснуть часок, но пробудился засветло. Вскрикнув: «Ё-ка-лэ-мэ-нэ!» — бросился к больной, думая, что она умерла…

Нет, девушка не умерла и даже в сухом лежала. Но сил на то, чтобы остаться сухой, потратила так много, что опять впала в забытье и у нее

подскочила температура. «Фершал, н-на мать!» — изругал себя Аким и стал на ночь пускать в зимовье Розку. Собака поначалу от приглашения деликатно уклонялась, чувствовала себя в избушке стесненно, когда ни посмотришь — шевельнет хвостом и к порогу. Но словно бы что-то уразумев, смирившись с участью, с придавленным, бабьим стоном, вздохнула и легла у дверей. Ночью Розка часто вскидывала голову, смотрела на нары, принюхивалась и, успокоившись, шарилась зубами в своей шерсти, выщелкивала кого-то, зализывала взъерошенное место, приглаживая себя. Чуткому уху охотника и такого шума доставало, чтоб не провалиться на бесчувственное дно забытья, а спать впросон.

Через неделю после того, как опала температура у больной, тайгу оглушил первый звонкий утренник, и в это же утро, тяжело переворачивая язык, девушка назвала свое имя — Эля. Услышав себя, она растерялась, заплакала. Аким гладил ее по голове, по чистому волосу, успокаивал, как умел. С того дня Эля принялась торопливо есть и не стыдилась жадности — накапливала силу. Чуть окрепнув, уже настойчивей заговорила:

— Надо Го-гу… Надо… Там… — приподняв руку, показала больная в сторону Эндэ.

Аким еще в первый день своего пребывания в зимовье обнаружил зацепленную в щели бревна своедельную блесну с обломанным якорьком; на подоконнике белели обрывки лесок, ржавело заводное колечко. «Рыбак! Ушел рыбачить. Утонул, наверно. Где, как я его найду! А что, если!..» — Аким запрещал себе думать о том, что напарник девушки, муж ли, ушел, бросил ее — столь черна была эта мысль. Утонул, заблудился, ушел ли неведомый тот Гога, а искать его изволь — таков закон тайги, искать в надежде, что человек не пропал, ждет выручку, нуждается в помощи. Однако прежде следовало перевезти от устья Эндэ груз. После стеклянистого утренника, после светлой этой, короткой, предзимней тишины может разом пасть сырая непогодь, снежная заметь и укрепится зима.

Натопив печку, поставив в изголовье девушки пол-литровый термосок со сладким чаем, Аким плыл вниз по Эндэ, слегка подправляя лодку легким кормовым веселком, зорко оглядывал берега и за первым же шивером, на обмыске, занесенном темным таежным песком, заваленном колодником, среди которого хозяйски стоял приосадистый кедр без вершины, приметил строчки собольих следов и молчаливо, не по туловищу

юрко стрельнувшую в кусты парочку воронов. Аким подвернул к берегу. До пояса замытый песком, возле воды лежал человек с выгрызенным горлом и попорченным лицом. «Когда утонул, вода стояла выше, — отметил Аким и томко, как-то даже безразлично размышлял дальше: — Дождей не было, тальцы в горах перехватило, снег там захряс, не сочится».

Причитала ронжа на кедре, опустившем до земли полы старой, непродуваемо-мохнатой шубы. Было это главное в округе дерево, по главному-то и рубануло молнией, отчекрыжило вершину, вот и раздался кедр вширь, разлапился, в гущине рыжеют шишки, не оббитые ветром, крупные, отборные шишки. Одна вон покатилась, сухо цепляясь за кору, пощелкивая о сучки. Ворон со старческим ворчанием возился в кедре, сшевелил выветренную шишку. Где-то совсем близко по-кошачьи шипел соболь — вовсе это редко, потайная зверушка, не пуганая, значит.

Под утопленником нарыты норки. Человек был некрупный, но грудастый, круглокостный. Из глубины страшного, выеденного рта начищенно блестел стальной зуб. Бакенбардики, когда-то форсистые, отклеились, сползли вместе с кожей щек к ушам, висели моховыми лохмотьями.

Пустые уже глазницы прикрыло белесой лесной паутиной.

«О-о-ох ты, разохты! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!» — выдохнул Аким и, ко всему уже готовый, но растревоженный железным зубом, бакенбардами и коротко, походно стриженными волосами, принялся разгребать покойного. Вытащив труп из песка, он первым делом глянул на кисть правой руки. На обезжиренной, выполосканной до белизны коже руки, под первым, когда-то смуглым слоем, обновленно, вылупленно голубела наколка «Гога» — аккуратная наколка, мелконькая, не то что у Акима, уж ему-то на «Бедовом» наляпали якорей, кинжалов, русалок и всякого зверья. Человек этот, Гога, умел беречь свое нагулянное тело.

Заставляя себя надеяться, что это все-таки наваждение — больно много всего на одного человека: сперва девка, часующая на нарах, теперь вот мертвеца Бог послал, да еще как будто и знакомого, пускай не друга, не товарища при жизни… нет, почему же? Это он, Гога, не считал людей ни друзьями, ни товарищами, он сам по себе и для себя жил, Акиму же любой человек, в тайге встреченный, — свой человек.

Крепкая, удобная штормовка, шитая по выкройке самого хозяина, с внутренней, вязанной

на запястьях, шерстяной резинкой. Самовязный толстый свитер, брюки без прорехи, на резине, с плотно, «молниями» затянутыми карманами, часы со светящимся циферблатом, на широком наборном браслете, часовой стрелкой, остановившейся возле девяти, и около шести — минутной, сапоги, откатанные до пахов, — рыбачил Гога.

Прежде чем отыскать последний, наивернейший знак, чтобы опознать покойного, Аким забрел в Эндэ, помыл руки с песком, вытер их о штаны и закурил, стараясь табаком подавить запах мертвечины, облаком окутавший его.

Бросая редкие взгляды на бесформенно лежащее, исполосканное водой, забитое песком тело утопленника, как бы разъезженного колесами, Аким почти не задерживался глазами на белеющем платочке, которым он прикрыл то место, где было когда-то загорелое, чуть барственное и всегда недружелюбное лицо. Взгляд приковывал к себе брючный оттопыренный карман. Там, в деревянной коробочке, перетянутой красной резинкой, в узкой отгородке — крючки, грузильца, кусочек бруска для точки затупившихся уд, запасной поплавочек, а рядом по-паучьи сцепленные блесны — качающаяся, вертящаяся, колеблющаяся, ленточные, ложкой, и среди них должна быть

потемнелая, как бы подкопченная на костре, блесна из старого, боевого серебра, которой Гога, если это все-таки тот, известный Акиму, Гога, дорожил не меньше глаза.

Из-за этой блесны они чуть не пострелялись.

Судьба свела их в геологической экспедиции. Гога Герцев отрабатывал в поле практику. Злой на язык, твердый на руку, хваткий в работе, студент был не по возрасту спесив и самостоятелен. Работяги сперва звали его Гошей, пытались, как водится, помыкать юнцом, использовать на побегушках — не вышло. Герцев поставил на место и себя, и отряд, да и хранил дистанцию независимости. К слову сказать, держался он гоголем не только с работягами, но и перед начальством, практику проходил уверенно, имущество содержал в аккуратности — бритву, транзистор, фонарик, флакон репудина, спальный мешок и прочее никому не давал, ни у кого ничем не одалживался, жил стипендией и тем, что зарабатывал, почти не потреблял спиртного, воспоминаниями о первой любви и грешных тайнах ни с кем не делился, в общем котле был справедлив, добычу, если она случалась, не утаивал. В его молодые годы он знал и умел до удивления много: ходить по тайге, бить шурфы, плавать, стрелять, рыбачить

и во всем старался обходиться своими силами. В геологическом отряде Герцева уважали, сказать точнее, терпели, но не любили. Впрочем, в любви и разных там расслабляющих человека чувствах он и не нуждался.

К сроку, день в день Герцев закончил практику, получил деньги, справку, отличную характеристику и отбыл в Томск на геофак защищать диплом.

И не диво ли?! Через пять лет, на реке Сым, у таежного лешего в углу, Коля с Акимом рубили избушку, имея целью пощипывать из потайного становища нетронутые угодья, и вот на тебе! Явление Христа народу: в непогожую ночь выбрел на костер плотно и ладно одетый парень с горой вздымающимся за спиной рюкзаком. Он прилег у огня на спину, полежал, вынул себя из застеганных лямок рюкзака, помахал руками, разминаясь, и только после этого поздоровался. Достав кружку, он молча нацедил чаю, бросил в кружку экономно, два кубика, сахару, неторопливо опорожнил посудину, подержал ее на весу и, не разрешив себе еще одну кружку, отвалился головой на рюкзак и сказал, глядя в ночь, обыденно, однако с той интонацией, которая дается людям, еще с пеленок возвысившим себя над

остальным людом:

— Ну что, приемный сын? Все бродишь по свету, все тычешься к добрым людям? Все корабль «Бедовый» ищешь?

Впавши в умилительность от выпивки, Аким рассказал когда-то пестрому работному люду в геологическом отряде о Парамоне Парамоновиче — великом человеке и что на «Бедовом» он, Аким, был вроде приемного сына. Практикант-геолог высмеял его святые слезы, и весь сезон дразнили Акима в отряде «приемным сыном».

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Георгий! Откуль свалился? — всплеснул руками Аким и тут же запрезирал себя — он ведь хотел отшить Герцева: «А ты, приблудный сын, — сказать, — чё в тайге шаришься? Чё ишшешь? Золотишко? Соболей?» — да ведь в уме только и горазд Аким отшивать-то. Спросил лишь: — Где отряд?

— Какой отряд? — открыл устало смеженные глаза Герцев и, ворохнувшись, принялся развязывать рюкзак. — Я сам себе отряд! Ночую возле вашего огня, мужики, — не то попросился, не то разрешил себе Георгий. — Топор уронил, — пояснил он, сноровисто разбивая односпальную палатку.

Они дали Герцеву топор. Он выколотил из него

старое, треснутое топорище и бросил его не в костер, а в реку. «Чтоб не оскорблять древний священный огонь», — заявил. Долго тесал, скоблил березовую заготовку, не мастерил, прямо-таки творил у огня Герцев, излаживая проще простого вещь — топорище. Осмолив свое изделие над угольями, отчего оно сделалось гладким, желтым, словно лаком покрытым, он опробовал топор, бойко помогая Коле и Акиму рубить зимовье, в шутку или всерьез — никогда не поймешь у Герцева, — бросив: «Надо рассчитаться. Не люблю ходить в должниках».

Аким плюнул и отвернулся, не понимая, отчего это человек все время выдрючивается, все ему как-то неспокойно с людьми? На другой день, в честь окончания стройки, выпили, и Коля посулился взять в лодку Герцева, с издевкой сказав: «Бензин после отработаешь!» — «Хорошо», — без улыбки согласился гость. «Назем надо у коровы вычистить — под потолок в стайке». — «Задание понял», — снова согласился Герцев. Аким замычал ушибленно, головой замотал, от раздражения хряпнул лишковато спирту. Захмелев, лез к Герцеву с вопросом: «Сто ты за селовек?!» — «Зубы сначала научись чистить, а потом лезь к людям с вопросами! — отмахнулся Герцев и уничто-

жительно процедил: — Я свободный человек! Устраивает это тебя?» — «И я свободный!» — «Ты-ы?! Ха-ха-ха! Трижды смеюсь! Ты был и всюду будешь приемным сыном, ясненько?» — «Ясненько? — Аким вдруг взвился, закричал: — Колька! Пускай он уходит! Я за себя не ручаюсь!.. Застрелю! Утоплю падлу или чёнить сделаю!..»

— Га-авнюк! — Герцев взгромоздил на себя мешок и ушел в ночь, с белеющим топорищем, вдетым в чехол с правого боку.

Днем они догнали Герцева. Коля ткнул лодку носом в берег, кивком пригласил скитальца садиться. Скорчив брезгливую гримасу, Герцев отпихнул ногой лодку и покарабкался по оплывине в глинистый крутик, хватаясь за обвалившиеся дерева и шипицу. На горе он приостановился, снял с плеча мелкашку и на вытянутой руке, словно из пистолета, сшиб кедровку, надрывавшуюся на вершинке ели саженях от него в полста, если не больше.

— Стрело-о-ок! — восхитился Коля. Напарник его помалкивал возле парящего под дождем мотора, пошмыгивал носом.

— Ну сё, поплывем или любоваться будем артистом? — не выдержал он.

Вскоре объявился Герцев в Чуши. Аким встре-

тил его, постриженного, с подкрашенными бакенбардами, выпаренного в бане. Акима он вроде бы даже и не заметил, словно забыл о нем. Поработав какое-то время на пристани, грузчиком в рыбкоопе, Герцев в зиму определился сразу на две должности — слесарем и дежурным электриком на лесопилку. Жить поселился в электромастерской, старательно ее остеклил, обил дверь, подконопатил, выскоблил, переложил по-коровьи раскоряченную плиту на русскую уютную печь и даже голичок перед крылечком за веревочку привязал. «Люблю, знаете ли, после костров и тайги понежиться в сухом тепле. К тому же хорошо думается, когда топится русская печка», — объяснил он начальнику лесопилки, который опешил, увидев, чем стала продымленная, грязная, воняющая мазутом мастерская, и ставил новоприезжего парня в пример иным женщинам, да и сам подтягивался в его присутствии, не матерщинничал, не лютовал. И с перепугу иль от уважения выписывал Герцеву каждый месяц премию, ожидая, что тот непременно сделает что-нибудь выдающееся, а сделав, сотворив открытие или изобретение какое, не забудет и его, скромного начальника чушанской лесопилки, помянет где следует «добрым, тихим

словом».

Ночами в мастерской долго не гас свет. Герцев приводил в порядок летние записи. Он часто наведывался в пустующую, просторную библиотеку поселка, где новые, незахватанные, незачитанные книги сторожили аж две библиотекарши, техничка и еще клубный истопник — Дамка. Средняя посещаемость библиотеки равнялась шести-семи душам в сутки. Одна библиотекарша была замужем за бухгалтером рыбкоопа, имела корову и двоих детей. Книг давно никаких не читала и всю работу переложила на «миленькую» Людочку, которая окончила Минский библиотечный институт, с энтузиазмом приняла распределение на Крайний Север, уверенная в том, что библиотека и читатель у нее будут образцовыми. В первую же зиму она забеременела от вертолетчика, притворившегося активным читателем, и при помощи подруги-библиотекарши Гавриловны определена была в больницу города Енисейска, где ее и «опростали» от груза. Летун-ухорез тем временем перевелся в другой, еще более отдаленный отряд, откуда не подавал никаких вестей.

Квелая, вечно мерзнущая, сидела Людочка за деревянным, по-лавочному открывавшимся ба-

рьерчиком, глядела на запыленные, с осени еще высохшие в пол-литровой банке ветки рябины и осины, тихо роняла: «Да», «Нет», «Пожалуйста» — и все куталась, куталась в теплый шерстяной шарф, листала свежие тонкие журналы с картинками, вечерами от знойного безделья занималась английским языком и читала-перечитывала без конца один и тот же роман «Доктор Фаустус».

Пристрастием к этой заграничной толстой книге она пугала Гавриловну. Ей, Гавриловне, и Фауст-то зловещей личностью казался. А тут Фаустус! Страсти-то какие заморские! Осторожно, матерински заботливо Гавриловна подъезжала к Людочке с советами: «Вы бы, Людочка, что-нибудь другое почитали, встряхнулись бы, развлеклись, потанцевали бы, попили бы парного молока. Если надо, прям в библиотеку таскать стану, бесплатно».

Однажды Гавриловна застала в библиотеке новоприезжего. Он так обволакивающе-дружелюбно беседовал с Людочкой, навалившись на барьерчик, что Гавриловна и спугивать беседующих не стала, задом пихнула тяжелую дверь и упятилась в читальный зал.

Герцев пригласил Людочку в свою белоснежную хоромину, напоил чаем, влив для аромата в

него ложку коньяку, разговорил, разогрел девушку, однако известил, что у него в Новосибирске жена и дочка, какие-то там планы строить не следует, но он гарантирует: в Енисейск лететь не понадобится.

— И вы — хам, — тихо молвила Людочка, но ночевать осталась — очень уж тепло и уютно было у Герцева, да и любопытно было его слушать, мысли он изрекал не новые и не свои, но с такой убежденностью, с таким неотразимым напором, что устоять невозможно.

Еще в детстве, насмотревшись на мышиную возню родителей «при искусстве» — это в оперном-то обозе — искусство! — глумился он, Гога задал себе задачу: всему научиться, что нужно для жизни, независимой от других людей, закалить дух и тело, чтобы затем идти куда хочется, делать что вздумается и считаться только с собою, слушать только себя.

Окончив университет и «отбыв положенное», он тут же ушел из геологов и бродит где хочет, куда хочет, делает что вздумается, ограничив свои потребности до минимума, но все, что нужно человеку небарахольных наклонностей, у него есть: палатка, мешок, нож, топор, бритва, малокалиберное ружье, из которого он за сто метров

попадает в гривенник и, если надо, убьет лося, медведя, тайменя на отмели. Когда обойдет приенисейскую тайгу, устанет от нее, переберется на Ангару, по ней к Байкалу, после на Лену — все пути земные перед ним открыты…

Людочка слушала оратора, который, будто застоявшийся в стойле конь, ходил по мастерской, махая руками, говорил громко, увесисто, не говорил, прямо-таки вещал, и, сама того не замечая, Людочка заведенно, как китайская кукла, кивала головой, но иногда поднимала веки, отягощенные теменью густых ресниц, пристально, так пристально, что он смешивался под этим взглядом, вперивалась в него и снова начинала покачивать головой бесстрастно, до бешенства спокойно. Один раз она тихо уронила: «А семья? Как же семья-то? Ребенок?..»

«Женщина есть женщина! И образованная, и начитанная, а все бабьи тяготы на уме — семья, квартирка, пеленки, главная собственность — муж!» Герцев терпеливо объяснил, что свои родительские обязанности он выполняет, зимою, когда «служит», аккуратно посылает деньги, ну а летом пусть не взыщут, летом ему работать недосуг, летом он живет тайгою и водами, добывая на хлеб и чай случайными заработками. «Семья

— моя грубая ошибка!» — осуждал себя Герцев. Людочка гнула свое: «Вас же бичом сочтут! При всем таком возвышенном — и бич!» — «Какое это имеет значение? Важно, как сам себя человек понимает». — «Может быть. Может быть… А старость? Одинокой старости вы не боитесь?..» — «У меня не будет старости». — «Как это?» — очнувшись, Людочка снова вперивалась в собеседника долгим взглядом, и за сонной тихостью взгляда чудилась ему насмешка — окаменелое, надменное лицо Герцева, в котором просвечивала ощутимая приподнятость над всякой шевелящейся тварью, линяло, становилось постным — его возвышенные мысли падали в пустоту.

И вот пустынный берег Эндэ. Осенняя тайга, вороны, чутко стерегущие мертвеца, почти угасающая девушка в зимовье. «Чего же не жил ты один-то! Чего толкался локтями, ушибал людей? Быть человеком отдельно от людей захотел! Вариться в общем котле и клокочущей каше — и не свариться?! Шибко ловок!

Нет, тут, как ни вертись, все равно разопреешь, истолчешься, смелешься. Хочешь жить нарозь, изобрети себе корабль, улети в небо, на другую землю, живи там один себе, не курочь девок…»

Аким с силой раздернул приржавелую «мол-

нию», достал коробочку из кармана покойного, помедлил и снял резинку. Блесна, черненая, с самопайным, пружинистым якорьком лежала как будто отдельно от остальных уд, колец, карабинчиков и блесен, тронутых рыжиной по ребрам и дыркам. Эту увесистую, плавно выгнутую под «шторлинг» блесну Аким взвесил на ладони, затем сжал так, что якорек впился в твердую кожу руки — на крупную рыбу, на тайменя блесна.

Киряга-деревяга, переселившись с Боганиды в Чуш, приблизиться к должности своей уже не мог. Служил истопником при конторе и доглядывал рыбкооповский магазин, за что ему платили полторы зарплаты. Но и полторы не хватало. В Чуши дополна компаньонов, запился с ними в дым Киряга-деревяга, лишь деревяшка да медаль «За отвагу» с потертой колодочкой еще старого образца и уцелели у него. Киряга-деревяга попросил Акима приделать к ней надежную застежку, потому что только медаль «За отвагу» да деревяшка еще позволяли ему выделяться средь бросовой бродяжни, похваляться подвигами, поплакать о фронтовом снайпере и о «сыбко больсом человеке», каким он был на Боганиде.

Аким в ту пору шоферил в рыбкоопе, заглянул как-то к Киряге-деревяге в сторожку. Тот носом

пуговичным швыркает, по скуластым его щекам, путаясь в редких, детских пушинках, катятся слезы: медали хватился — нет ее на телогрейке.

— Пропил?

Киряга-деревяга залился слезами пуще прежнего, убить его потребовал, «тут зэ убить, как собаку!».

— За сколько?

— Путылька…

— У-у, морда налимья! — поднес Аким кулак под нос Киряге-деревяге. — Дать бы тебе, да старый… — и бросился в лесопильную мастерскую. Он точно ведал, кто может решиться у нищего посох отнять. Даже в поселке Чуш, перенаселенном всякими оческами, обобрать инвалида войны, выменять последнюю медаль мог один только человек.

— Где Кирягина медаль? Отдай! — ворвавшись в мастерскую, запальчиво налетел на Герцева Аким.

Гога открыл стол, взял двумя пальцами за тройничок изящную, кислотой обработанную блесну и, как фокусник, покрутил ее перед лицом Акима.

— Лучше фабричной! Не находишь?

— Ну ты и падаль! — покачал головой Аким. —

Кирьку старухи зовут Божьим человеком. Да он Божий и есть!.. Бог тебя и накажет…

— Плевать мне на старух, на калеку этого грязного! Я сам себе бог! А тебя я накажу — за оскорбление.

— Давай, давай! — У Акима захолодело под ложечкой от какого-то, вроде как долгожданного удовлетворения. — Давай, давай! — с трудом сдерживаясь, чтоб не броситься на Герцева, требовал он.

Гога прошелся по нему взглядом:

— Удавлю ведь!

— Там видно будет, кто кого…

— Сидеть за такую вонючку…

Фразу Герцев не закончил, по-чудному, неуклюже, совсем не спортивно летел он через скамейку, на пути смахнув со стола посуду, коробку с блеснами, загремел об пол костями и не бросился ответно на Акима — нежданно зашарил по полу рукой, стал собирать крючки, кольца, карабинчики с таким видом, как будто ничего не произошло, а если произошло, то не с ним и его не касалось.

— Доволен? — уставился наконец на взъерошенного Акима.

— Ну, чё же ты! — Только сейчас уяснил Аким, что парня этого, выхоленного, здорового, никто

никогда не бил, а ему бивать приходилось всемером одного, как нынче это делают иные молодые люди, подгулявшие в компании, клокочущие от страстей. — Жмет, что ли? Жмет?!

Герцев утер рот и, справившись с замешательством, заявил, что мордобой — дело недоносков, он не опустится до драки, а вот стреляться, по благородному древнему обычаю, — это пожалуйста. Аким знал, как стреляет Гога — с юности в тирах, в спортивных залах, на стендах, а он, сельдюк, — стрелок известно какой — патрон дороже золота, с малолетства экономь припас, бей птицу на три метра с подбегом, так что ход Герцева верный, но слишком голый, наглый ход, не от тайги, где еще в драке да в беде открытость и честность живы. Без остервенения уже, но не без злорадства Аким поставил условие:

— Стреляться дак стреляться! Как пересекутся в тайге пути, чтоб и концов не было… Ессе сидеть за такую гниду!..

— Тебе не сидеть, тебе лежать!

— Ну-ну, там видно будет. Я не смотри что по-банному скроен, зато по-амбарному крыт! — Ах, как ко времени пришлась поговорка богани-динского рыбачьего бригадира — так и пришил-пригвоздил почти что к стене в рыло битого

«свободного человека» довольный собою Аким.

И вот пути пересеклись, скрестились. «Сам себе бог», иссосанный гальянами, изгрызенный соболюшками, валялся, поверженный смертью, которая, не то что жизнь, не дает себя обмануть, сделать из себя развлечение. Смерть у всех одна, ко всем одинакова, и освободиться от нее никому не дано. И пока она, смерть, подстерегает тебя в неизвестном месте, с неизбежной мукой и существует в тебе страх от нее, никакой ты не герой и не бог, просто артист из погорелого театра, потешающий себя и полоротых слушательниц, вроде библиотекарши Людочки и этой вот крошки, что в избушке доходит.

Перед тем как закопать Герцева и заложить его камнями, Аким ощупал затылок покойного — так оно и есть: все вроде бы умеющий, осмотрительный человек сделал оплошку — камни в пороге склизки от волосца, по ним и с хорошим нарезом на подошве сапог прыгай, да остерегайся. У Герцева сапоги избиты, резина обкатана, сношена — долго торкался в тайге, а выйдя на лов, торопился: в зимовье больная. И когда зацепил тайменя, хотел поскорее его умаять, забегал, запрыгал по камням, чтобы подволочь рыбину к отмели и добить из мелкашки. Был, навер-

ное, первый подморозок, поскользнулся, упал, ударился затылком о камень, на минуту небось из сознания и выбило, но захлебнулся в пороге здоровенный человек, возможно, и судорогой скрутило, вода-то — лед.

Похоронив Герцева, Аким, потупившись, сказал: «Ну вот, понимас, како дело…» Он поднялся к порогу и в прозрачной воде увидел зеркально мерцающую катушку, поднял со дна складной спиннинг, по леске подтянулся к тому, что было тайменем. Скелет рыбины изгрызен зверьками, разбит клювами птиц, голова разодрана когтями, челюсти тайменя, будто конские подковы с остриями гвоздей, торчали из песка. Блесны покойничек всегда делал сам и якорьки сам паял, рыба с них редко сходила. Тут же нашлась и мелкашка, старая, заслуженная, чиненная на шейке приклада, она была прислонена к камню возле порога. Вода в момент гибели рыбака стояла у самого камня — мокромозготник со снегом валил, под камнями плесень…

Теми как раз днями Аким широко обмывал с друзьями в игарском ресторане будущее фартовое зверовство, а здесь вот люди загибались — кругом противоречия, и ликвидируй их попробуй. Всегда было и есть: одному хорошо, другому

плохо и «живой собаке лучше, чем мертвому льву», — говорил на поминках Петруни тот самый «путешественник», что весь свет объехал и много чего изведал и знал.

Приподняв руку, Аким нажал на спуск — мелкашка щелкнула, и пуля, возможно назначенная Герцевым ему, Акиму, с визгом устремилась вдаль, зажужжала, раз-другой слышно задела за стволы кедрачей, топчущихся на выемках рыжего каменистого берега, нависшего над водой, и упала где-то. «Салют!» — вымученно усмехнулся Аким и повел лодку по Эндэ, к избушке, невольно бросая взгляды на мелкашку и пожимая плечами: очень все же иной раз занятно получается в жизни. Когда Аким переступил порог, от окна отлепилось что-то белое.

— Гога… — словно бы опухшим языком не попросила, потребовала Эля.

«Ишь ты какая быстрая! — насупился Аким. — Черт черта знает! Она начинает права качать!..»

Не отвечая девушке, охотник растоплял печку, поставил греть уху, вынес сваренные рыбьи потроха Розке, собрал на стол.

За ним неотступно следил вопрошающий взгляд, и когда свет огня, ворочающегося в печи, ударившись о стену, рикошетом попадал в угол,

глаза отсвечивали фосфорически ярко, по-звериному затаенно.

«Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Какой-то тихий узас! Везет мне, как утопленнику!..» — и тут же удивился глупости поговорки. От рук и одежды сильнее запахло утопленником. Мыл руки сперва керосином, затем водой с духовым мылом, но такой запах прилипчивый — не отдерешь. «Вонючка!» — вспомнилось Акиму — не молвил, а просто влил слово мыслитель Герцев.

— Ну, как ты тут, одна-то? — полюбопытствовал Аким, дожидаясь, когда смеркнется, совсем погаснет за лесом клок неба, будто смазанный йодом ожог, обезвреженный по бокам зеленкой, — хлесткий утренник сулит закат, он поторопит в путь последнюю птицу, стронет с верховьев последние косяки рыбы, боящейся промерзнуть, со льдом до дна; вот-вот отрежет заберегами и шугой багаж, хранящийся в устье Эндэ, без того багажа, без припасов им пропадать на стану. Все здесь определено, рассчитано на одного, не хворого человека. — Ну дак как же одна-то тут зимогорила?

— Эля! — прошелестело из угла.

— Эля! — подхватил Аким. — Я знаю. — И, продолжая мысленно жить своими заботами,

повторил: — Эля! Очень приятно! — споткнулся, вскочил, нашарил ее в углу. — Поднялась! Заговорила! Вот хорошо! Вот славно! — и дальше объяснялся, точно с глухонемой: — Надо мне. Груз! Груз, понимаешь, груз! Перевозить поскорее, припасаться. Мяса, рыбы заготовить…

— Гога! — прервала его девушка. Аким осекся, поерзал на топчане.

— Пропал Гога, — мрачно произнес он, — ушел. Заблудился…

— Го-га… не может… — точно на ощупь собирая слова во фразу, не соглашалась девушка.

«Может, милочка, может! Тайга и не таких сковыривала, — заспорил Аким и удивился: — Ишь как он ей мозги-то запудрил! Верит, а?!»

— Ногу подвернул, может, на медведя напоролся? Сорвался с утеса, в оплывину попал… тайга-а!

Эля всхлипнула, вжалась дальше в угол. Пазы в углу прелые, сыро. Аким молча вытянул ее из угла, приспустил на постель, укрыл, погладил по мягкой голове. На темечке, детски запавшем, теплела тоненькая кожа — опять жалко сделалось живого, беспомощного человека, прямо до крику жалко.

— Эля, слушай меня.

— Да-а.

— Я охотник-промысловик. Это мое зимовье. Ты после расскажешь, как сюда попали. Покуль слушай, чё скажу.

Разделяя слова, будто диктуя в школе, Аким рассказал ей все о себе и о том, что им необходимо делать, чтоб не задрать лытки кверху; ей как можно скорее поправляться и быть терпеливой, все остальное он обмозгует, обломает, сделает, и они не пропадут.

— Жить-то хочешь ведь, правда?

— Жи-ы-ы-ыть!

— Вот правильно! Стало-ть, не плачь, не бойся меня. Останешься одна, тоже не бойся. Я буду все время с тобой. Только багаж…

Он настойчиво, изо всех сил старался убедить ее в чем-то. Эля напряглась, слушая, но поняла лишь, что этот единственный возле нее живой человек тоже куда-то уходит, и она вцепилась в него острыми пальцами, тряслась всем телом, всхлипывала, светилась слезами в темноте.

— Ну, ну, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Как же? Пропадем же?..

Она так и уснула, скорее утишилась сном, держа в слабой горсти его рукав. Аким осторожно разжал хрупкие пальцы, посидел еще возле больной, повздыхал и, наладив все необходимое для существования: еду, питье, лекарства, — тихо

вылез из избушки. Розка, увидев ружье, радостно заповизгивала, запрыгала. Аким поймал ее, прижал собачью морду.

— Тихо ты! — прислушался: в избушке ни звука.

В несколько уже коротких дней, загнав себя до полусмерти, изодрав шестом ладони в лоскутья, Аким поднял к стану багаж. Не в силах поесть, разуться, залезть в спальный мешок, он воспаленными, слезящимися глазами уставился на Элю, пытаясь что-то вспомнить, сообразить, но ничего уже не могла его тяжелая головушка, он упал на лапник, проспал почти сутки.

Разбудило Акима легкое, но настойчивое прикосновение. Охотник открыл глаза, увидел девушку, сидящую на нарах с накинутым на плечи байковым одеялом, которое всюду возил с собою по причине его укладистости. В печи мерцал огонь, в окно лился непривычно ясный, ровный свет, и от него, пусть навощенно, бумажно, но все-таки и живой жизнью светилось лицо Эли.

— Снег?

Аким подхватился, голоухим, в одной рубахе вывалился за дверь и побежал к речке, закусив губы, боясь черно обматериться. «Раздавило! Лодку раздавило!»

Лодка впаялась в мутную, оловянно прогибающуюся заберегу, сдавленную серой кашей мокрети. Аким обессиленно сел на нос лодки и погладил ее шершавую осиновую щеку, будто шею коня в упругом коротком волосе. Никогда, дал он себе слово, никогда в жизни более надеяться на авось не станет, особенно в тайге — многое зависело от этой и в самом деле, а не по пословице, утлой лодчонки…

Вернувшись в избушку, он бодро похвалил Элю, молодцом назвал и еще добавил, что дела их наладятся, не может быть, чтоб не наладились…

— Гога пропал? — Эля смотрела прямо. — Или бросил меня?

«Ишь ты, засумлевалась! Не совсем, значит, дура!» — отшучиваясь, дескать, Гога не такой, как Ванька за рекой, Гога не бросит, Аким поскорее нашел заделье, выскользнул на улицу, принялся тюкать топором по стене — давно кто-то из пьяных охотников, беглых арестантов или туристов оставил на бревне похабную надпись. Стесывая матерщину, Аким не переставал мучиться разными заботами и вопросами. Один вопрос пластырем прилип — не отдерешь: «Где? Как? Когда эту приглазненькую девушку охмурил Герцев?»

Сошлись они, Эля-москвичка и Георгий Герцев — вольный человек, быстро и до удивления просто. На знакомство и соединение судеб им хватило стоянки теплохода — двенадцати минут.

Теплоход подваливал железным боком к чушанскому дебаркадеру, слышались обычные причальные команды, работал дежурный матрос на носу, а на верхней палубе, кучно сгрудившись, лепились у желтого леера пассажиры. Герцев поплевывал в воду с дебаркадера, ожидал теплоход, собираясь купить в судовом буфете доброго чаю — в поселке чай дотла истребили чифирщики. Вообще-то Герцев больше от скуки колотился вместе с другими чушанцами на дебаркадере. Никак что-то нынче он не мог сняться, уйти в тайгу, удерживала его на обжитом месте какая-то нерешительность. Он все еще служил на лесопилке, хотя обрыдли ему и чушанская лесопилка, и поселок Чуш, и библиотекарша Людочка. Несмотря на все его предосторожности, она ухитрилась «попасть», плакала за стеллажами, валялась в обмороке при читателях, надеясь спектаклями пронять Герцева, восчувствует, мол, и не бросит ее такую…

Со средней палубы теплохода, опершись на леер, без интереса смотрел вдаль, на поселок Чуш,

на огороды его, на поленницы, на бани, парень, совсем еще молодой, но уже перекормленный. От скуки, должно быть, парень зацепился взглядом за дебаркадер, за Герцева, взгляд его, утомленный ленью, ничего в Гоге заслуживающего внимания не отыскал, перешел на сигаретку, которую парень курил без удовольствия, как бы по обязанности, и, не докуря ее, бросил, нет, не бросил, не щелкнул, а, разжав пальцы, выпустил и тупо следил, как она, искря и вертясь, падала за борт.

Рядом с парнем скучала девка, одетая в двухцветный тонкий свитерок, расшитый на манер одежки Пьеро, напущенный на атласные оранжевые брючки. Те, в свой черед, напущены были на золотом крашенные туфельки, точно такие, какие подарил когда-то Золушке принц, а эта, порешил Гога Герцев, отхватила на сертификаты у модерновых валютчиков. На груди, зверушечьи к чему-то принюхивающейся, по свитеру с одной стороны синим по белому пропечатано «Ну!», с другой — белым по синему: «Погоди!» Восклицательный знак величиной с милицейскую регулировочную палку венчал изречение века.

Девка тоже скучала и курила сигарету, но скучала активно, курила залпом, жадно и, словно торопясь куда-то, перебирала-перебирала золо-

тыми туфельками — Бобби Дилон, оравший из динамика, или еще кто-то не давал ей покоя, взвинчивал, или, наоборот, развинчивал чего-то в человеке, и, вот ведь оказия, Гога почувствовал, как в нем тоже начало все развинчиваться, ему тоже захотелось на теплоход, к девке, слушать голос Бобби и застенчиво гадать: к нему, Гоге Герцеву, лично, иль ко всему человечеству обращен вызов, намалеванный на независимо выпяченной груди. «Повсюду страсти роковые, и от судьбы спасенья нет!» — кротко вздохнул Герцев и заметил другую девушку в мелкострочной, оттопыренной на груди тельняшечке, с отбеленными волосами, собранными на затылке в метлу, а на лбу отчекрыженными челкой, яркогубую, глазастенькую, свежую, что луговая земляничинка. Меткий глаз охотника и скитальца вмиг выцепил и отстрелил от остальной массы эту пассажирку.

— Эй, курносая! Куда едешь, чего ищешь?

Не переставая сиять глазами и чему-то улыбаться, девушка весело откликнулась:

— Долю!

— Может, вместе поищем? — Герцев обладал способностью слепых или до беспамятства пьяных особ не стесняться людей, не видеть их,

отделять при надобности от того, что делал или собирался делать, и потому решительно никакого внимания не обращал на ухмылки и любопытные взгляды пассажиров, а также обывателей поселка Чуш, толпящихся на дебаркадере. Пребывая среди масс, он остался толковать с девушкой как бы наедине. И — диво дивное! Девушка, почувствовав что-то неладное, внутренне напряглась, перестала улыбаться, пыталась сопротивляться наваждению, ощущала, как слабела под натиском какой-то силы, гипнотической, что ли? Недаром бывший друг по университету сказал однажды Герцеву: «Ты какой человек? Ты ж с девкой полчаса разговариваешь, а она и не замечает, что ее уже двадцать девять минут раздевают!»

«Спустись вниз!» — указал себе в ноги Герцев, изогнув кисть руки изящным, дирижерским манером.

Девушка дрогнула, отшатнулась от леера, зашарила по горлу, пытаясь запахнуться, но на ней всего лишь этот миленький цирковой тельничек с непорочно белым ободком, непорочно белой чаечкой-аппликацией, на непорочно остренькой грудке с кругленькими ягодками-крыжовинками сосцов под тонкой, соблазнительно облегающей ее тканью. Чистые, беспомощно слабые ногти в

почти бесцветном маникюре собирали в горсть синенькую травку тельняшечки, чтобы спрятать, укрыть поскорее так, оказывается, опасно обнаженную грудь.

«Заглотнул!» — прицокнул языком Гога и, не дожидаясь, когда выбросят трап, перепрыгнул через бортик дебаркадера на теплоход «Композитор Калинников».

Стоя в очереди у буфета, он рассеянно смотрел на литографический портрет человека, чьим именем был назван этот легкий белый корабль. Ушастенький, провинциального вида человек с короткой стрижкой, и коли б не одухотворенный, из нутра высвеченный искрою взгляд, из души вроде бы в душу направленный, не галстук-бабочка — вечный атрибут служителей муз, да не лицо, детская доверительность которого и была уже талантом, тайной его, вроде бы всем открытой, но даже самому творцу непонятной, мучащей его неспокоем, терзающей воображение, слух и сердце невидимыми миру страстями, — этот ушастенький человек воспринимался бы как обыкновенный конторский служащий, обремененный беспросветной долей мелкого чиновника и большим количеством детей.

В салоне теплохода звучала музыка. Исполня-

лась вторая симфония Калинникова, любимая в семье Герцевых.

«Отец композитора служил становым приставом во Мценском уезде. После помощником исправника в Брянске», — слушая пространственно-печальную, ничем не загроможденную музыку, читал Герцев биографию Василия Сергеевича Калинникова, и ему чудилось, что шел он чистой степью, уже тронутой шорохами осени, и вдали недвижно стояла желтая береза, одна-единственная на всю землю. «В условиях старого, эксплуататорского строя вынужденный пробивать себе путь к высотам искусства ценой мучительных лишений и борьбы, он в конце концов надорвал свои силы». И дальше все, как у нас в России быть должно: восторги и слезы при исполнении первой симфонии, шапка по кругу для собирания средств на лечение смертельно больного чахоткой композитора, но спасать его уже поздно. «Ах, Мати Божья!» — вздохнул Герцев и напрягся слухом: исполняется как будто и не Калинников? Григ, пожалуй? Кажется, вступление к единственному фортепьянному концерту — Аллегро-молто-модерато или как там? Тр-р-рам-пам! Та-ра-ра-рам-пам! «Да-а, дожил, докатился! Норвега с русским путать начал! Все путем! Как и

предсказывали дорогие родители…»

Родители, дети старомодных сельских педагогов, помешанных на поэзии и музыке, встретились в музучилище, в консерватории бедовали уже как муж и жена — незаметно для себя, под менуэты и фуги сочинив ребеночка. Матери так и не удалось «добить» консерваторию из-за дитяти, отец же, пока ее окончил и получил место в оркестре оперного театра, сделался неврастеником. Мальчик рос под мелодию Глюка, засыпал и просыпался с нею. Годам к десяти он припадочно закатывал глаза при звуке папиной флейты, вырубал проигрыватели, радио, ни на какие концерты, тем паче в оперный театр, не заглядывал, назло матери уродовался на пустырях с футбольным мячом. Рано стал зарабатывать собственные деньги. Родители мечтали пристроить его в гуманитарный вуз, но после десятого класса он заявил: если ему не позволят поступить на геологический факультет, он уйдет из дому или повесится.

Маленькая, истеричная мама рано умерла. Папа, слышно было, женился вновь, но так ли это, Георгий точно не знал — он ни с кем, и с родителем тоже, в переписке не состоял.

«Тр-р-рам-пам! Тара-ра-рам-пам! Что же это

все-таки? Григ или Калинников?..»

Отчего-то вспомнились только что увиденные на теплоходе парень с девкой. Уронив сигарету и не зная, что бы еще сделать, парень вперился в поселок и что-то с усмешкой сказал девке. Перестав вихляться и топотить, девка тоже вперила из-под густо намазанных синей краской век — взор не взор — что-то, в общем, воспаленное, уже расплавленное всезнанием, пресыщенностью доступных наслаждений. Смотрела девка на землю, на поселок, на людей, толпящихся на берегу, у борта дебаркадера, и не то жалела всех, не то обижалась за то, что такое население, такой неинтересный ей народ показывают. Какая-то нарочитая, театральная манерность этой ультрамодерновой девушки гнула в дугу ее естество, презрение ко всему, даже забубенность ее были жалкими.

Вышел лицедей на улицу! В гримах вышел, в париках, в аляповато-ярких одеждах, и ничего, кроме ленивого пресмыкания перед модой, собою не возбудил…

Театр же, сдавши бутафорскую рухлядь в общее пользование, отряхнув с себя вековой прах, зажил естественной жизнью, в нем почти не стало грима, стираются окаменелые условности,

снимаются занавесы, убираются декорации, и вот уже принц Датский дует современные песни под гитару; Отелло душит Дездемону в белых перчатках; работяги с шагающего экскаватора в слюнявой истории, повествующей о страданиях современной Магдалины, работающей кассиром в поселковом магазине, бродят в сапогах по залу и кричат на сцену: «Пижоны!»

Где зрители? Где артисты? Где жизнь? Где театр? Где правда? Где ложь? Все перемешалось, все на распутье меж игрой в жизнь и самой жизнью. И эти вот парень с девкой, да и он, Герцев, по правде-то сказать, раскорячились: одной ногой в театре, среди лицедеев, другой — на вольном мирском просторе, на всех земных ветрах.

— А вот и я!

В створчатую стеклянную дверь просунулась девушка, уже в нейлоновой курточке, старающаяся сохранить все тот же безотчетно-радостный вид на лице, но в голубых, беспокойно расширенных глазах ее угадывались признаки смятения.

— Цвай минут! — Герцев быстро рассовал по карманам покупки — пачки с чаем, лаковую баночку с монпансье, два плавленых сырка; небрежно держа бутылку сухого вина с виноградным листом на картинке загорелой жилистой

рукой, на которой синела наколка и скромно светилось золотое колечко, подхватил девушку, вывел в коридор, интимно к ней склонился: — Так, значит, долю ищем, красавица?

— Папу я ищу! — пытаясь высвободиться, заявила девушка.

— Па-а-апу-у! — не выпуская девушку и как бы окутав ее теплыми, вязкими парами, изумился Гога: — Он что, от алиментов бегает?

— Он работает! — решительно отстранившись, сказала девушка и назвала имя известного эпидемиолога. — Его экспедиция на Нижней Тунгуске.

— Она была там в прошлом году! — Герцев встревоженно глянул на часы — до отправления «Калинникова» оставалось шесть минут. — Объяснения на ходу! Где ваша каюта?

Когда теплоход «Композитор Калинников» отваливал от чушанской пристани, девушка по имени Эля, переплетя ножки, обутые в новенькие пестрые кеды, изображая беспечность на лице, стояла на дебаркадере возле клетчатого чемоданчика с «молнией» и кожаной сумки, из которой торчала ручка теннисной ракетки. Эля кому-то на теплоходе махала рукой, пожимала плечами, разводила руками и то застегивала, то расстегивала нейлоновую курточку цвета бычьей крови

— налетел спортивного вида парень, опрокинул, подхватил, уволок, сказав, что только он и знает, где находится «папина» экспедиция и что только он и может доставить дочку к папе.

Теплоход меж тем неторопливо развернулся, стеснив собою Енисей, и, уцепившись узким, обкатным носом в северные распахнутые дали, застучал громче, взвихрил кудрявый дымок над трубой, круто взбурлил за кормою воду, откинул ее свитым бугром и покатился на круто выгнутый озор реки, где качались, мерцали в солнцебое две меж собою не соединяющиеся полоски земли.

Скоро теплоход завис меж ломко подрагивающими стрелками и не шел дальше, не качался, а белосахарным кубиком намокал снизу, опускался в воду, пока наконец совсем в ней не растворился.

Выезжать из Чуши Гога не торопился, заверяя, что в тайгу не сунешься — гнус. Пожили недели две в беленькой мастерской, читали книжки, говорили и наговориться не могли, шлялись белыми ночами по окрестностям, держась за руки, читали стихи, пели песни, ловили закидушками рыбу. Но вернулась из «отпуска» библиотекарша Людочка и спугнула парочку. Нервными, красивыми руками обшаривая себя, обескровленная,

синенькая, будто медуничка, стояла Людочка, спиной опершись о косяк мастерской. Пряча опустошенность за презрительностью, морща усохшие губы, она озрела валяющуюся с книгой, прямо в брюках, на постели девушку, буркнула с усталой усмешкой: «Еще одна романтическая читательница прибыла!» — постояла с минуту и, ничего больше не сказав, удалилась, оставив гостью встревоженной и озадаченной.

На все докучливые вопросы Эли Герцев вразумительного ответа не давал, кривился: «Аа-а, не стоит разговора — вонючка!» Но все же, натиска Эли не выдержав, пооткровенничал: «Ходила тут, навязывалась, да всюду нос начала совать, даже в дневники. Баба!»

Через сутки Гога с Элей катили на вылизанном, быстроходном теплоходе «Профессор Близняк» в светлую страну с незаходящим летним солнцем. У них была отдельная каюта, они обедали в ресторане, вечером танцевали на палубе и никуда не торопились. Теплоход свозил их в Дудинку и повернул обратно. Они высадились в Игарке — Эля читала об этом городе статейки в газете, хотела его посмотреть, и летами бойкий, взбудораженный навигацией, заполярный городишко понравился Эле. Везде в ту пору было им хорошо,

вольно.

Только в августе на тихоходном местном катере они добрались до станка Курейки, переправились на другую сторону Енисея, узнали, что из-за мелководья катера вверх по Курейке не ходят. На лодке их везти никто не соглашался — рыбаки с ночи на ночь ожидали ход чира, а бывает он в устье Курейки коротким, рыба сбивается тут в косяки, и если ее не взять скорой порой, значит, план не вытянешь. И еще рыбаки сказали, что вроде бы никакой экспедиции нынче на Курейке не было, шлялся по тайге всякий народ с рюкзаками и посейчас еще который шляется, но на экспедицию непохоже.

Застопорить бы Гоге, позвонить в Туруханск, но он пребывал на неведомом доселе душевном подъеме, все для него вокруг подернулось радужным светом, нигде и ни в чем не чудилось преград, хмель бродил в голове, тело требовало ходу, работы, риска. Он черкнул красным карандашом линию на карте, прямо от Енисея на приток Курейки, Эндэ, и, щелкнув по носу очарованную спутницу, воскликнул:

— Мы и экспедиция пойдем друг другу навстречу и низринемся с верховьев Эндэ на голову твоему многоумному папе! Ты видела в кино

белые горы? Отныне ты их будешь видеть наяву и не заметишь, как войдешь в дивную сказку…

Не получилось сказки. Уже на первом переходе Гога почувствовал: быть в тайге одному — совсем не то что вдвоем, да еще с девушкой, да еще с городской, которая хаживала в горы возле курортной Ялты и прогуливалась воскресными днями по опрятному, сплошь огороженному Подмосковью. На втором переходе, во время обеденного привала, посмотрев на подсекшееся лицо присмиревшей, даже перепуганной спутницы, Герцев подумал: не вернуться ли? Но он не умел отступать, уступать, поворачивать, и Эндэ на карте — вот она, рукой подать. За два перехода до Эндэ пришлось стать — Эля подбила непривычные к сапогам ноги. Мозоли заживали на молодом теле быстро, однако половина недели потерялась.

Пал иней. Тайга перекипела гнусом, успокоилась, зашуршала отгорающим листом, закраснела брусникой, будто в варенье, сладкой сделались голубика и черника, дичи не переесть, рыбы в речках не переловить.

Бабье лето покидало Приполярье, растворялось в прореженной листопадом и ветрами тайге, пятилось к Енисею под напором все ближе под-

ступающих гор. В легком светозарном платье, осыпанном спелыми ягодами, не шагало, а желтым, выветренным листом летело это краткое приполярное лето дальше и дальше, свертывая в трубку расшивной ковер, оставляя сзади хмарь, сбитых с места птиц, безголосые леса, темные туши зародов средь седой от иньев отавы. Светлая льдинка дня обтаивала по краям, самое уже донышко его несмело подсвечивало перегорелым пеплом лета.

После отдыха, по прозористой и нарядной тайге, без накомарников и мазей, шагалось легко, дышалось радостно. Эля втягивалась в походную жизнь, крепла мускулами и больше не сбивала ноги — их, оказывается, в тайге надо беречь не меньше глаза. Все тут, как выяснилось, необходимо беречь: продукты, обувь, одежду, себя.

Вышли к Эндэ, подкинули вязаные шапочки, умылись, попили, и Гога щелкнул по носу Элю:

— Все, курносая! Три-четыре дня — и ты облобызаешь папулю, откушаешь таежных щец и ушастаешь в Москву, в свой Литинститут, сочинять стишки и пьесы и, может, втиснешь куда картинки, виденные здесь, опишешь скитальца нетронутых дебрей.

Приподнятое настроение не покидало парня и

девушку. Плыли по обмелевшей Эндэ, переговаривались беззаботно. На первом же оголившемся шивере разбило о камни плот, на скорую руку связанный таловыми прутьями. Подмочились продукты, имущество, ну и сами пловцы набродились до ломоты в суставах, спасая пожитки. Речки, текущие по вечной мерзлоте, круглый год ледяные, а снеговая вода пронзает тело до костей, грозит тяжелой простудой, особенно людям, непривычным к холоду и кочевью. Эля простудилась, и Герцев сразу понял — тяжело. Он натирал ее спиртом, привязывал к спине каленую соль, накладывал горчицу, но спутница задыхалась, не могла идти, слабела, истаивала на глазах. Горячую, со стоном дышащую, тащил Гога на волокуше девушку встречь «папиной экспедиции», да не было никаких ее признаков. Встречались лишь первобытные стоянки диких туристов, погасшие костры браконьеров, коих вертолетами забрасывают на необитаемые речки, снабжают солью, тарой, продуктами дельцы из авиаотрядов, лесоохранщики и все, у кого есть под рукой летающий транспорт. Лето-летенское бичи, романтики и всякого рода бродяги тащат из безнадзорных вод тайменя, сига, хариуса. Случалось, и Герцев подрабатывал этаким нехитрым

способом.

Начался предзимок, потянуло сыростью, снегом. В палатке Эле конец в такую погоду. Снова плот, снова волокуши и — о, счастье! — наконец-то охотничья избушка.

Пересидеть, подлечить больную, тем временем, глядишь, и эпидемиологическая экспедиция подтянется.

По правде сказать, в экспедицию верила уже только папина дочь…

Если бы они догадались прервать приятное плавание на теплоходе и выяснить планы полевых работ, намеченных на нынешнее лето в туруханской и эвенкийской тайге, им стало бы известно, что эпидемиологическая экспедиция оставлена еще на сезон на Нижней Тунгуске. К началу августа вела она работы в районе речки Ейки — притока Тунгуски и в конце сезона должна соединиться с экспедицией, двигающейся из Иркутской области. Изменения были связаны с тем, что на Восточных Саянах планировалась стройка новой железной дороги. Возникла срочная надобность в ускорении исследований эпидемиологов именно в этих районах задолго до прихода строителей.

Слышал еще прошлой осенью Герцев где-то

что-то об этом, да пренебрег таежным правилом — всякую новость запоминать. Привыкший жить для себя и отвечать только за себя, он оказался не готов к передрягам, делал ошибку за ошибкой. Почти наверняка уже зная, что «папиной» экспедиции нет на Эндэ, он все же прошвырнулся до устья речки, оставив больную в зимовье, надеясь наткнуться на какой-нибудь народ, хотя по опыту должен был ведать — к этой поре северная тайга пустеет, преддверие зимы выгоняет из нее всякий люд, кроме охотников-промысловиков, но охотникам начинать зверовство рановато — межсезонье.

В пустой, прелой избушке, в таежной глушине и бывалому человеку не по себе, если он один. Эля зажалась в углу, не топила печь, столкнула термос с кипятком на пол, но почудилось ей — столкнул его седой старик, тихо вползший в избушку через дверную щель. Эля парализованно наблюдала, как старичок бесплотно плавает по зимовью, колышет бородой, шарит, щекочет ее, залепляет волосами рот — дышать нечем. Сплющенная ужасом, Эля звала Гогу, а старик все щекотал, ластился, лип…

Когда обыденкой сбегавший до устья Эндэ, на подламывающихся ногах Герцев ввалился в

избушку — Эли на нарах не обнаружил. Она без памяти лежала под нарами на изопрелом, плесенном полу, с сорванными ногтями — кого-то, видать, отталкивала от себя, от кого-то отбивалась, пряталась. Выхватив спутницу из-под нар, он опустил ее на сбитую постель, влил глоток спирта в чуть теплый рот. Девушка открыла плывущие в жару глаза, шевельнув губами: «Господи!» — и припала к нему, и он понял, догадался: больная решила, что он ее бросил.

Вся теперь надежда на охотника. Мешок с сухарями, подвешенный к потолку, ящик патронов под столом, за избушкой в землю вкопана канистра с керосином, на вышке зимовья пила, топоры, гвозди, всякое охотничье снаряжение, нержавелое, ухоженное, по всем видам недавно заброшенное. У охотника или у охотников должна быть рация — они вызовут вертолет. Пока же греть, лечить, спасать больную. Но ей день ото дня становилось хуже и хуже. Лекарств нет. Что были, а были они больше на забаву, чем на лечение, кончились, вся надежда на лес, на тепло, на ягоды, на травы, хвойные припарки. Ягоды вокруг избушки Герцев выбрал, кедровые шишки оббил, сушняк свалил, птицу выбил, рыбу в устье тальца выловил, а с верховьев речек она еще не

покатилась. Надо было отдаляться от избушки, чтоб набрать ягод, набить ореха, добыть пропитание. Но Эля его никуда не отпускала, и он взялся ее обманывать — надо-де готовить площадку — завтра-послезавтра прибудет охотник с рацией, они вызовут вертолет и мигом улетят отсюда. Обостренным болезнью чувством она угадывала ложь, тихонько плакала, но однажды сорвалась, завизжала, принялась хлестать его по лицу, однако силы ее скоро кончились, истерика прошла, она испуганно обхватила его шею, целовала то место, куда била.

До прихода охотника, как потом стало известно из дневника Гоги, который он вел, невзирая ни на что, оставалась неделя, самое большее — полторы. Герцев все же был крепким, умелым таежником, сумел успокоиться сам, успокоить спутницу, уверив, что болезнь ее детская, не опасная — бронхит, а он преодолим в тайге. От трав, от ягод, прогреваний больная пошла на поправку, чтоб утешить напарника, говорила, что ей даже нравится так вот, вдвоем, в лесном зимовье, о таком, мол, лишь в романах и прочтешь, а тут вот все наяву, наглядно, так сказать. В Москве расскажет — не поверят.

И природа к ним милостива была, после ги-

бельной, мокросвальной непогоды подарила тихий, желтый денек, и не верилось, будто здесь, на этой вот земле, в этих лесах только что тащило непроглядную снежную муть и столь было сиро, мокро, что и воздух-то вроде загустел, в груди накапливался холодом и не таял. Сыпанув из котелка каленых орехов на стол, поставив термосок с чаем, Герцев взял спиннинг, мелкашку, потрепал Элю по шапочке, бодро бросив перед уходом:

— Ну все, курносая! Покатился таймень! Не успеешь склевать орешки, как я приволоку самого-самого отчаянного речного громилу. Мы его сварим, съедим, и ты сразу станешь румяная и толстая. Погода летная, быть скоро вертолету-самолету-драндулету! — Поцеловав кончики пальцев, Гога понарошке перекрестил ее, и она, помнится, поежилась: «Ну зачем он так? Нехорошо».

Она терпеливо ждала его до ночи. Ждала ночью. Ждала еще день и еще ночь. Потом ее оглушил сон. После сон перешел в какое-то тягучее забытье, она вроде бы отдалилась от себя самой, погрузилась в безвременье.

Не было голода, боли, страдания, ничего не было.

Спать бы Эле вечным сном в вечной мерзло-

те на берегу пустынной, глохлой Эндэ, если б у Акима не было верного, много бед испытавшего друга. Это он, Коля, измученный болезнью, сказал на прощанье Акиму: «Раз ты упрямый остолоп, и нет у тебя нисколько ума, и ты прешься в тайгу — запасись лекарствами, да не аспирином только…» И сам снарядил аптечку, в которой, к удивлению Акима, оказался даже шприц с маленьким кипятильником, несколько коробок с ампулами камфары, глюкозы, пузырьки с пенициллином да еще полный целлофановый мешочек с таблетками и порошками.

«Сё я, болеть, сто ли, в тайгу-то? Я зверовать иду!..» — «В избушке оставишь, коли минуют беды тебя, дурака! Это ж самый легкий груз и самый в тайге ценный…» — «Ну, ланно, ланно, анальгину побольсе сунь…»

У Акима частенько побаливали худые северные зубы, и он знал только одно лекарство — анальгин, ел его, будто конфеты-горошек. Сильно болел он только раз, если посчитать за болезнь цингу, добытую еще в детстве. Во вторую или в третью осень, когда он служил под началом Парамона Парамоновича, они припозднились в низовьях, спешили на отстой в игарскую затишную протоку, но мороз опережал их. Приходилось

окалывать ломами «Бедового». Акимка сорвался со стремянки, булькался в шуге, не бросая лом — драгоценную в том положении «Бедового» железяку. Так с ломом и вынули его из воды. Когда он оказался в игарской больнице, сквозь толщу жара слышал отдаленно: «Камфару! Камфару! Дыхание…»

Ничего столь ужасного, вяжущего руки-ноги он не переживал, как первый укол камфары, который делал Эле.

Мысль и память Акима были четкими. Он все делал, как в больнице: расстелил на столе марлю, прокипятил на печке шприц, осторожно обрезал махонькой круглой пилкой сосок ампулы, всю жидкость, до капелюшечки вытянул из нее и даже солидно кашлянул: «Ссяс мы сделаем укольчик. Маленько потерпите». Замешательство получилось — куда его ставить, укольчик-то? В руку бесполезно, болит не рука, в ягодицу не то чтобы стыдно, а как-то все же неловко. Решил под лопатку — все ближе к легким. Он приподнял на узенькой, впалой по хребту, мелко подрагивающей спине теплую рубаху, при свете лампешки и двух свечей, казавшемся ярким в полуслепой избушке, притронулся ладонью к млечно светящейся коже. Кожа «боялась», бралась пу-

пырышками, под нею чего-то жулькало, больная тряслась от внутреннего озноба, и в то же время спина ее маслянисто взблескивала испариной. Истопыренная позвонками, ребрами, лопатками, спина эта ужималась, проваливалась в отемненную канавку — куда и кольнуть, неизвестно. Сам от напряжения покрывшийся испариной, Аким забросил больную одеялом и, схватившись за голову, сидел подле стола на чурке, тупо уставившись на квадратик окна, в котором отражались и подрагивали огни свечей и лепестком цвел, чем-то напоминая цветок, найденный у Богаиды, огонь лампы.

На марле перед Акимом блестел, переливался шприц, дерзко, с вызовом растопырившись иглой; рядом, на топчане, вниз лицом, как он повернул, так и лежала девушка, больной человек. У нее рвалось дыхание, да и не было его, считай, дыхания-то, сипение, шум, частые легкие всхлипы, когда не хватает в человеке сил на бред и стоны, когда он уже не на дровах горит, а дотаивает на жарко нагоревшем угольe. Аким подходил к больной, поднимал рубаху, тщательно протирал стеариново светящуюся кожу под крылато вознесенной лопаткой, подносил шприц и тут же в страхе отдергивал его, видя, как корчится ма-

ленькое, беспомощное тело, пронзенное иглой, отчего-то вмиг делавшейся в палец толщиною.

После третьей или четвертой попытки Аким решил снова кипятить шприц — микробы могут… микробы кругом, да и руками заляпал тонкий инструмент. Руки-то, вот они, что крюки, сколь их ни мой, все в наростах…

Лишь наутро, когда отбелило небо за окном и больная перестала даже всхлипывать, утихла вовсе, он, перекрестившись про себя, будто перед прыжком в воду, задержав дыхание, оттянул слабенькую, мятую кожу на спине больной и, зажмурясь, вонзил иглу, как ему показалось, в пустое место, но, открыв глаза, увидел: черненькое жало иглы ушло под кожу, больная даже не дрогнула, она вроде бы как расслабла и вытянулась, услышав укол. Сил его хватило еще на то, чтобы выцедить из шприца жидкость, проспиртованную ватку подержать на махонькой, чуть закровенелой точке укола, осторожно положить шприц на стол. После чего он хватил на улицу, выдернул рубаху из штанов, тряс ее, пуская холод к телу, хохотал, взрыдывал, обсказывая положение пугливо отскочившей от него Розке: «Вот, Розка! Вот, собаська, и все! А ты, дура, боялась! Понимас, нужда намучит, нужда научит… Фер-

шалом стал… Ё-ка-лэ-мэ-нэ!..»

Больная очнулась, не понимая, где она и кто перед нею, увидела склоненное над собою лицо человека, на котором не различались ни брови, ни нос, ни губы, все было скрыто тьмою. Одни лишь глаза мерцали живой влагой и светились зеленоватым, хитрым, успокоительно-домашним светом, а из полуоткрытого от любопытства и напряжения узенького рта доносило запахом каленого кедрового ореха и еще чем-то горелым, как бы ощутимо и видимо клубящимся — табаком — уразумела она. Перед ней мужчина. Сейчас вот он курил в сторонке и, внезапно сорванный с места ее движением, зажимал в кулаке цигарку. Из носа и рта его еще сочился отработанный, очищенный от никотина слабый дым. «Дяденька! Курит!» — она, как ей показалось, суматошно схватилась, но на самом деле слабо потащила на грудь одеяло и услышала свое тело, толсто и грузно придавленное сверху, почувствовала боль в костях и под лопатками, кружение в голове и пошевелила до черноты спекшимися губами, задав тот вопрос, который везде и всюду задают воскресшие люди:

— Где я?

Один глаз дяденьки пошевелился, исчез, пере-

стал светиться, и чуть позднее, заторможенным сознанием она открыла и почему-то испугалась — глаз ей подмигнул!

— Шшытай, на этом свете!.. — Над нею зашуршало, зашевелилось, в рот полилось что-то сладковато-кислое, сквозящее по всему усталому, испеченному жаром нутру. — Шшытай, на курорте крымуешь! — совсем уж бодро сообщил ей незнакомец и чем-то мягким вытер облезлые, растрескавшиеся губы, которые пощипывало кислым питьем.

Аким стал «фершалом», сестрой милосердия, няней, сиделкой — всем больничным персоналом сразу. К запаху больницы, затопившему избушку, он долго не мог привыкнуть. Розка и вовсе не терпела ядовитых ароматов, фыркала, вычихивала из себя химию, тяжело вздыхала, возясь за печкой, — Аким так все время и запирал ее в избушке вместо будильника.

Когда Эля поправилась настолько, что смогла осознанно все видеть и даже говорить, она с умиленным счастьем просветления произнесла:

— Соба-а-ачка-а! — и протянула руку, чтобы погладить Розку.

Ровно бы все понимая, Розка тоже умильно смотрела на больную, подрыгивала хвостиком,

форсисто брошенным на холку, но подойти стеснялась. Аким взял собаку за шкирку, подсунул к топчану. Дотронувшись вздрагивающими пальцами до прохладной, мягкой шерсти Розки, услышав под ладонью острие совсем неострого уха в чуткой шерстке, Эля, вроде бы высвобождаясь из-под чего-то, прошептала со слезами: «Соба-а-ачка-а!»

Розка лизнула ладонь девушки, мягко прилегла возле топчана мордой на вытянутые лапы, преданно глядя на больную. С тех пор стоило ей только вернуться с улицы, она так вот, на одном и том же месте и ложилась, смотрела неотрывно, задремывала и тут же открывала глаза, заслышав движение на нарах. Она лизала в лицо Акима, спавшего на полу, дотрагивалась мокрым носом до его уха и шумно чихала — больная проснулась, ей нужна помощь. «Неужто хоть животная, хоть человек — женщина женщину знает?» — изумился Аким, радуясь неизвестно чему, был болтлив, как больничная сиделка, все пошучивал, посмеивался над Элей, точно над маленьким ребенком, и ему удавалось сгладить неловкость отношений, которые неизбежны меж беспомощным человеком и тем, кто нянчится с ним.

Натянутость и неловкость нарастали по мере

того, как она выздоравливала, лучше соображала и больше видела.

Хозяин избушки, обнаружила она, далеко не дяденька, и, самое ужасное, он не просто молодой, он еще и застенчивый. День ото дня стесненность между ними нарастала, и самое-самое, чего она ждала, добивалась с болезненной, прямо-таки режущей ее нетерпеливостью, — чтобы скорее выходить на улицу. Но температура у нее долго не падала, к вечеру поднималась на два-три деления, еще шатало, кружило ее, и она быстро уставала, даже от разговора. И чем явственней пробуждалась в ней мысль, тем отчетливей уясняла Эля: какое же, современно говоря, некоммуникабельное существо женщина! И в первый раз ей пришло в голову: как же это бедолаги девчонки, ее погодки, на фронте-то, среди мужичья, в окопах, на марше и особенно на морозе выполняли военную работу?

Она стала таиться. Аким сразу это заметил и ловчился угадать, когда и насколько ему надобно уйти из избушки, чего положить на вид, чего прихоронить, что видеть и что не видеть, о чем говорить и чего в разговоре избегать. И по тому, как он все это делал — старательно, незаметно, и оттого часто неловко, не составляло труда по-

нять — он мало знал женщин, подолгу с ними не общался, не жил, а мать, судя по его разговорам и воспоминаниям, он так и не привык считать женщиной, мать есть мать — все тут.

Когда Эля первый раз вышла на улицу, попросив не провожать ее, Аким забубнил: «Ну, как же, понимае, сразу одна?..» Задохнувшись холодом, снегом, кружащим голову, ощущением неба, живого света, живого мира, зрелищем деревьев, кустов, тропинки к реке, сбега следов на снегу, всего того, что она видела как бы впервые, стояла Эля, держась за стену, и ладонью ощутила гладкость дерева. Приглядевшись, припомнила: тут, под рукою, где свежий стес, была написана ножом или углем скабрезность. Почему-то многоумный Герцев не догадался стесать топором похабщину, а парень, выросший в каком-то Богом забытом поселке, пытался быть деликатным, не всегда это ему удавалось, не всякий раз получалось «незаметно», но он пытался, вот в чем дело!

За избушкой нежданно возникло что-то похожее на загончик: несколько елок прислонены были к снегам-подпоркам, придавлены с боков лапником и жердями. Загончик плотно забросан снегом, и в нем было глухо, не дуло. Возвращаясь со двора с опущенными глазами, Эля накрыва-

лась с головой, лежала глухо, а «пана» озадаченно покашливал, пытаясь угадать, где опять допустил оплошность. На улице старался быть подольше, тюкал топором, ширкал пилою. Он распилил лодку и мастерил из носовой ее части возок. Загнув обносы — бортовые доски — лыжинами, Аким прибил их к опиленной долбленке, вставил в заду донце из досок — получилось что-то вроде кошевки.

«Скоро уходить», — догадалась Эля, ей сделалось страшновато, хотя она и ждала этого дня, будто Христова воскресенья. Аким чего-то тянул, принюхивался к тайге, долбил лед на Эндэ, ставил уды.

В тайге залегла полная, тихая осень.

Еще по голу Аким вышарил весь ближний лес, выбрал подчистую бруснику, замочил все в баночках, хранил на чердаке в корзинах, которые плел долгими ночами, сидя у постели больной; натаскал и наморозил рябины, посушил черемухи, черничного листа. Эля, наблюдая за его хлопотами, удивлялась — куда столько всего? Они что, тут вековать собираются? Городской житель, она не знала, как много требуется человеку пропитания, если он его сам добывает и запасает на долгую зиму. Тут из магазина или с

рынка не возьмешь того сто грамм, этого двести. Охотник и сам-то поражался — откуда у него такая хозяйственность? В Боганиде жил он давно, привык быть перекати-полем: лег — свернулся, встал — встряхнулся, столовки всюду есть, ну а если с приварком худо, кусок хлеба, щепотку соли, кружку воды — и живи дальше.

И вот этакий-то ветрогон экономил в избушке каждую кроху, ел птичье мясо почти без хлеба, круто его соля, все меньше пахнет. Боровая птица с ягод перешла на почку и ольховую шишку и пахла гнильем. Запах этот не оставлял Акима даже ночью, в животе жгло, в разложье груди стояла горечь, которую он старался глушить ягодами и орехом. Элю раздражала его крестьянская скопидомность, но Аким тер к носу, не обращая внимания на ее капризы, и старался разнообразно питать больную, чтоб скорее набиралась сил, — супом, мясом, для затравки давал пластик соленого хариуса или кусочек тугого тайменьего балыка, на верхосытку — моченой морошки, брусники, а то и ложку сгущенки.

В ту пору, когда Эндэ стремительно катила вниз шугу, на глазах запаивая речку заберегами, стирая ее кривую полосу с земли, словно росчерк с тетради ученической резинкой, Эля находилась

между жизнью и смертью, и запасы делать было недосуг, но как только она маленько поправилась и ее можно стало оставлять в избушке на пару с Розкой — уговорились, в случае чего выпускай собаку, она хозяина найдет, — Аким стал уходить от избушки подальше. Эндэ замерзла лишь на плесах и заплесках, полыньи всюду парили, и, страшась сорваться, погибнуть, Аким добывал удами налимов или закалывал острогой припоздалого, беспутного, нестайного хариуса, который не скатился со всей рыбой вместе в Курейку, застрял в таежной речке, на ямах, дай Бог на всю бы зиму. Надежда была на ход налима, но едва ли он сюда отрядно пойдет — тесно жирному поселенцу на Эндэ, туго в напористых струях, мало здесь намойных песков для икромета. Налим попадался редко и мелкий. Аким заставлял Элю есть налимью печенку:

— Ес! Наводи тело, свету не видела, снег слепит, зренье может сясти. Рыбий жир — перво дело для глаз, налимья макса — голимый рыбий жир…

По напряжению, какое угадывалось в Акиме, по тому, как он жил и долго, обстоятельно собирался в поход, чувствовалось: из тайги выбираться трудно и опасно. Но из теплой избушки, из сытого, хоть и скудно сытого жилья опасности и

трудности казались Эле не очень страшными. Ходят же люди. Ездят на оленях. Доберутся и они, Бог даст, до становища, до людей, она уж окрепла почти, не мерзнет, чего и тянуть?

Аким связками носил зайцев, пластал их, запасал мясо Розке, памятуя старинное правило: какова псу кормля, такова его и ловля, состригал шерсть с заячьих шкурок, сделал прялку из двух досок, веретено из вершинки ели выстрогал и обжег на углях, учил Элю прясть шерсть на нитки. Две катушки ниток он нашел в кармане рюкзака Герцева, да своих катков было пяток — собирался от скуки в непогодье распустить ниточный сачок, опять же сыскавшийся в мешке покойного, но тот все делал основательно — сколь ни бился Аким, расслабить туго стянутые ячеи не смог, значит, так тому и быть — сачок с собой возьмут, в заторошенной полынье, в отбитом от реки льдом заливчике, в устье теплых ключей, под грядами подденет, глядишь, какую зеворотую рыбину.

Короче и короче делался день, и чем он скорее окорачивался, тем плотнее становился для охотника. Две глупости свалял он, отправляясь на промысел: не взял пилу «Дружба» — зачем она? «Я не дровосек, я зверовсык. Зараньсе наготовлю дров лучковой пилой». Отмахнулся и от рации:

«У меня зазнобы нет, калякать стобы с ней, а учиться на рацию долго. Время где? Промыслять кто за меня будет?»

Лучковой пилой Аким ширкал, ширкал дрова и до того доширкался, что Эля однажды сказала:

— Чего это ты скрежещешь и скрежещешь? Невозможно терпеть. Сердце перепиливаешь!..

Как и у всякого вымотанного болезнью человека, у нее были слабые нервы. Живая темная волна волос ее набегала на отбеленные, захлестывала, смывала искусственную муть. И внутри человека, угадывал Аким, отмирало и менялось что-то. Стесняясь недоступного ему, сложного мира женщины, который содрогнулся, сломался, считай, и вот вновь обретал краски, звуки, движения, воспринимал все вокруг внове, Аким решил не тревожить ее расспросами, наоборот, избавлять от худых воспоминаний, отвлекать. Давно надо было предложить Эле обрезать эти двойного цвета волосы — мыла много уходит, да, может, ей нравится так? «Как-нибудь обойдемся. Пускай покрасуется...»

Аким отнес козлины подальше — Эля понятия не имела, сколько уходит дров за ночь и сколько их еще понадобится — большие морозы пока еще не грянули. Потому и уходить нельзя, лед на Эндэ

ненадежен, ахнешься с попутчицей в полынью или в чарусу на болотах, наплюхаешься…

Аким потихоньку втягивал ее в дела: то пол подмести просил, то поштопать, то варить чего, и она не без гордости бралась за веник, иголку. Но и это ей большой работой казалось, потому что она настоящей-то работы, по правде сказать, пока еще и знать не знала, и ведать не ведала. Но уже и то хорошо, что иголкой владела, пол подмести и обмахнуть тряпкой могла, похлебку какую-никакую сварить и не пересолить — почему-то всегда они, городские-то, на языки только ловки, еду пересаливают, каша у них пригорает, а то еще и сами обгорят у огня.

Утрами хрустел, сверкал вокруг чарым — осенний наст. Аким старался бегом проверить десяток капканов, разбросанных поблизости, три кулемки за речкой, стрелял пяток-другой белок, для чего стал брать с собою Розку. Долг-должок, хоть какую-то часть его надо отработать, никто не покроет, не спишет долг-то: к ответу потянут, жулик, скажут, проходимец, надул контору.

Эле в избушке тоскливо, жутковато, и чем она становилась здоровее, тем больше угнетало ее одиночество. Однако просить Акима, чтоб он не шлялся по тайге, не бросал ее одну, она не смела

— не утехи ради носится «пана» по тайге. И все-таки Эля сорвалась, неожиданно даже для себя. Аким обдирал белок возле печки, бросал тушки за дверь. Розка там их уминала, похрустывая косточками, будто макаронами. Элю замутило, она попросила подать с печки кружку с водой. Аким охотно подал ей навар с травой-седьмичником — от жены Парамона Парамоновича он перенял не только восклицание: «Тихая ужасть!», но и кой-какие навыки в пользовании всякого рода снадобьями. У каждого лекаря-самоучки есть своя заветная травка, в силу которой он верит особо, такой вот заветной травкой жены знаменитого речника был седьмичник, цветок о семи лепестках, что цветет в июле и считается не только целебным, но и приворотным средством. Этот самый седьмичник Аким, где бы ни увидел, обязательно срывал, и нынче запас он колдовской травы, экономно ее заваривал, давая больной испить на сон.

Руки охотника в сукровице, в приставшей к пальцам жаровой и серой шерсти.

— Отвратительно! Отвра-ти-ительно! — Эля вышибла из руки Акима кружку и закрыла лицо руками.

Не сразу догадавшись, в чем дело, Аким поднял

посудину, заскреб с пола развареные былки седьмичника, жалея добро, растряс их за печкой на железке и, как ни старался сдержаться, с прорвавшейся неприязнью проговорил:

— Отвратительно шкурки пялить на себя! Пустоглаза, обснята, кишка кишкой, а ее на шею! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! — и притормозился — устал, конечно, извелся, но он-то мужик, а тут человек нездоровый, притосливый, брезгливый, стало быть, не в себе человек, из города, из Москвы самой. Он-то ко всему привычный, лесной-тундряной, неженатый, холостой, и, смиряя себя, миролюбиво продолжал: — Охотник пушнину ради хлеба добывает — сам мехов не носит. — И, вспомнив, как друг его верный, Колька, зверовал на Дудыпте, добавил еще: — Не до мехов! Может такой сезон выпасти — без штанов останесся…

— Все у вас тут шиворот-навыворот!

— Может, это у вас там выворот-нашиворот…

— У кого это, у нас?

— У тебя, скажем!

— Не обобщай! — Эля всхлипнула. — Бродишь по лесу, черт-те где рыскаешь за этими зверьками. Я одна, одна… так жутко, так жутко! Не ходи, пожалуйста, не ходи, а?..

«Не понимает. Привыкла, чтоб все готовое. Для

нее все само собой растет и добывается», — с огорчением думал Аким, выходя к ловушкам после того, как Эля засыпала.

Однажды долго выправлял соболий след, попал в снежный заряд, скололся с лыжни, заблудился и добрался до избушки еле жив, в брякающей льдом одежде перевалился через порог, грохая обувью, на карачках, пополз к печке. Эля дала ему кипятку, спирту из флакончика, помогала раздеваться, но сил ее не хватало разломить, стянуть с него одежду. Она в голос выла, ломая ногти, дергала с охотника валенки. «Ты что, тонул?» — спрашивала, кричала она, а он смотрел на нее перевернуто, непонимающе и валился с ног, засыпал. Она колотила его, трясла, умоляла:

— Не спи, простынешь! Не спи! Не спи! Не спии-и!.. — И как-то все же раздела его, растерла спиртом, затащила на нары.

— Топи печку, пока есть сила! — дребезжал он голосом, трясясь под тюком одежды, и, засыпая, заснув уже, успел еще повторить: — Топи! Топи! Иначе…

До нее дошло наконец: если с Акимом что случится — и ей хана. Шарахаясь от печки к нарам — пощупать, жив ли хозяин, Эля напарила ягодного сиропа, суп сварганила из птичины, а когда

обессилела, легла рядом, прижалась к охотнику, стараясь согреть его своим слабым теплом. Горячий, разметавшийся, он ничего не чувствовал и, проспавши остаток дня и долгую-долгую ночь, поднялся как «огурсик», зубы только ныли, правая щека припухла, и он изжевал две таблетки анальгина.

Не чуя под собой ног, Эля суетилась в прибранной избушке, принесла котелок с печи, поставила солонку, положила по сухарю себе и хозяину.

— Ешь! — пригласила она и первая хлебнула из котелка. Аким не сразу отозвался на приглашение, зачем-то понюхал в котелке, скосил на нее слезящиеся глаза — все же простужен, хоть и уверяет, будто он как «огурсик».

— От, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Нужда — наука проста, но верна, любого недотепу, филона наверх овчиной вывернет!

— Ешь давай! Ешь больше, болтай меньше, толстый будешь!

Аким вытаращил глаза: ну и память у человека! Она слушала эти слова, когда у нее и башка-то не держалась, падала, как у рахитного младенца, а поди ж ты — запомнила.

После того случая в тайгу на ночь глядя он не ходил, проверял ловушки, тропил соболя по све-

ту, и сердце его обливалось кровью — густ был соболиный нарыск оттого ли, что давно на Эндэ никто не зверовал, тронула ли бескормица от северной кромки зверье туда, где урожай ореха, где скапливалась белка, птица, мышь и всякая другая кормная живность. Поредел рябчик на Эндэ, осторожней сделалась белка, прибавлялось нарыску, шире кружил соболь, реже становился сбег следов, но чаще и чаще встречались места схваток — оседлый соболь отстаивал свои владения, изгонял с них ходового соболя. Побеждал сильнейший.

Но вот приспела новая, неизбежная беда: следом за белкой, соболем, колонком и горностаем двинулся песец, волк, росомаха. Припоздав к ловушкам, охотник находил в спущенных капканах лапку или шерстку соболя. Следовало в погодье чаще обходить ловушки, строить кулемы и пасти на песцов, травить волка, росомаху. Почти не спят охотники такой порою, ловят, промышляют, работают — схлынет зверь, минет урожайное время, хоть заспись.

Аким скрипел зубами, ругался, чуть ли не выл, видя, как уплывает от него удача. Торопился приделать домашние делишки — кухонные хлопоты отымали столько времени! Выскакивал в лес на

часок-другой, носился на лыжах невдалеке от стана, топтался вокруг десятка капкашек. Смазанные, новые, добрые капканы висели на вышке, кулемы и слопцы он настораживать перестал — выедает из них зверька и глухаря росомаха — до того обнаглела, к избушке подобралась, поцарапала Розку. За ней, за росомахой-разбойницей, гонялся в погибельную ночь Аким, стрелял, вроде бы ранил, пыху не хватило достать, добить. Рожень бы на нее, на подлую, изладить — видел как-то в тайге, на Сыме, простую с виду, но хитрую ловушку Аким — «русамага» лезет на рожень, снимает приправу с острия, и где так хитра, а тут толку нет спрыгнуть, ползет по глади рожна задом и вздевается рылом на заостренный конец.

Чем дальше в зиму, тем больше тропился песец, значит, снова, как в том году, когда Колька шарашился по Таймыру возле речки Дудыпты — в тундре мор лемминга, голод стронул оттудова зверька. Снег еще неглубок, зима не жмет особо, морозы ухнут позже, разом, видать, завернет землю в белый калач, держись тогда. А пока больше верховая, редкая здесь об эту пору погода, озолотеть можно в такой сезон, но… На вот тебе, расхлебывай Гоги Герцева грехи! Договорились стреляться, так он и тут исхитрился, выбрал

месть потяжельше, подбросил свое имущество в зимовье, да еще и с прицепом…

Ох уж этот прицеп!

Нет в ней стремления и понятия, что помогать ему, а значит, и себе — работать, работать, работать необходимо для жизни, для существования. Хоть и сдвинулось в человеке кое-что, а все выходило так, что будничное, грязное, нудное кто-то должен делать за нее — человека вроде бы иной, высшей породы, а она бы только рассуждала по поводу сделанного, деля все на две части — это ей нравится, это нет.

Распсиховалась недавно, бросила почти целую тушку рябчика к порогу: «Не могу больше! Надоели! Травой пахнут! Горьким чем-то! Невыносимо!..» Розка тушку рябчика подобрала, зажала в лапах, смотрела на Акима. Он рябчика у собаки отнял, кинул в берестянку над печкой и, чувствуя в себе тошноту и отвращение к птичьему супу, хлебал его остервенело.

Эля отвернулась к стене, не умея, а может, не желая укрощать характер, хынькала.

«На что мне вся эта хреновина сдалась? Бросить, уйти!..» И зная, что не сделать ему так никогда, сдерживая в себе клокочущее бешенство, как можно скучней Аким проговорил:

— В Москве расскажешь, как мы тут крымовали и как ты рябчиков не ела — обхохочутся!

— В Москве? Где она, Москва-то? — Ее как раз и выводило из себя его обыденное, скучное ко всему тут терпение, и он, чувствуя неприязнь, зарождающуюся между ними вражду, терпеливо толковал:

— Москва-то? Москва далеко, и магазин, как это у вас там — бери сам чего хочешь, или универсам, не близко, а еду трудно сделалось добывать, дальше и того трудней будет. Надо сматываться, и поскорее. Чтобы дойти — сила требуется. Чтобы силы накопить, кушать требуется, чтобы кушать, свалить сохатого требуется, не сохатого, дак оленя, не оленя, дак глухаря, не глухаря, дак куропатку, не куропатку, дак хоть рябчика…

Реденькая курчавая бородка пушилась по заострившемуся лицу Акима, космы волос обвисли на плечи — с такой растительностью да на столичный бульвар — цены бы не было кавалеру! В тайге же грива — помеха, и докучливая помеха, потеет, обмерзает, грязнится — мыться, стричь волосы времени нет, время и мыло уходят на постоялку, запасы брал на одного себя и особо на туалеты не тратился — флакон тройного одеколона, банка пахучего вазелина, смазывать

треснутые от воды и ветра руки, губы, щеки, пара печаток духового мыла, пяток стирального и, для «форса», бутылочка шампуня, ее, эту штуку, навязала ему продавщица в хозтоварах, расхваливая фасонный флакон с колпачком — можно использовать как флягу, когда опростается. Шампунем Аким мыл голову больной — пены много, в избушке пахло парикмахерской, голова быстро очистилась, волосы перестали сечься, струились живыми потоками — полезная, оказывается, штука, а он думал, забава.

— Аким, дай я тебя подстригу, — предложила Эля и виновато потупилась, — должна я хоть какую-то работу делать, помогать тебе.

— Должна, — жестко подтвердил он. — Ходить на улицу, таскать дрова, резать прутья, огребать снег, вязать себе теплую шапочку и шарф, вместе будем шить обутки и одежду, поскольку лето красно ты прогуляла, об зиме не думала, не гадала.

— Надо так надо, — согласилась Эля. — Шила же куклам платья, помнится, маме фартучек сварганила к Восьмому марта. Вот ножницы в руки никогда не брала, только в парикмахерской и видела, как корнают людей… Ох-хо-хо-о-о! Парикмахерская! — и постучала ножницами

по голове Акима, туго повязанного холщовым полотенцем. — Вам как, гражданин? А-ля бокс или под «горшок»?

— Валяй, пана, как умешь, — задушевно согласился Аким и громко вздохнул: нет, не вникала она в его слова, не понимала бедственности их положения. Она и этот разговор о помощи начала как бы между прочим, как бы ему одолжение делая, подмазываясь, исправляя свой каприз. — Тебе надо привыкать к тайге, к холоду, иначе нам не выйти, — снова настойчиво начал Аким. Но Эля дотронулась до головы сурового зверовика, и сердце защемило — волосы тонкие, жидкие, как у ребенка, неокрепшие, и она, ровно бы самой себе, сказала об этом вслух. Аким пощупал себя за голову, потеребил бородку и, слабовольно переходя на другой тон, смущенно заерзал:

— Оброс, ё-ка-лэ-мэ-нэ, будто лесый, мохом. Ой, тьфу, тьфу! Не к месту будь он помянут!

Его суеверье, бормотанье наговоров и заветов, житье по приметам поначалу смешили Элю, потом начали раздражать, но чем они дольше жили в тайге, чем глубже она проникалась смыслом этой будничной, однообразной жизни, тем уважительней относилась ко всему, что делал Аким, смиряла себя, старалась сдерживаться.

Напарник ее и хозяин, которого она иной раз насмешливо и покровительственно именовала «паной», день ото дня как бы отдалялся от нее, становился взрослее: он много умел, ко всему тут был приспособлен, но еще больше он заставлял себя уметь, часто через великую силу, вот уж она-то не способна себя заламывать, не представляла до сей поры, что можно попуститься своими желаниями, насильно выполнять работу не по сердцу, есть пищу не к душе, пить отвар из трав и хвои, от которого воротит. Ан нет, оказывается, не очень-то хорошо знала себя, научилась есть варево из птичины, отволглые и оттого кажущиеся пресными сухари, жарила на каком-то трескучем, брызгающемся, горящем синим пламенем жиру оладьи и уже не порскала, зажимая рот, за дверь. Однажды отважилась и по доброй воле отскребла топором прелый по углам и щелям пол, постирала свое, а потом и Акимово белье, побанилась в избушке, наводя щелок для головы. Сжавшись в комок, сносила оморочь, когда Аким обдирал зверьков, хотя по-прежнему мутило, вертело ее при виде крови и розовых тушек с поджатыми коготками.

Эля не то чтобы испугалась, а внутренне ослабела, притихла, когда Аким, дождавшись, чтоб она

была в здоровом уме и твердой памяти, взялся разбирать имущество Герцева. Оттого что охотник долго не притрагивался к чужому рюкзаку и наконец вытряхнул на пол вещи и раскладывал их так, словно итог чему-то подбивал, она утвердилась в мысли: Герцев из тайги не вернется.

Аким строго и отстраненно вынул из целлофанового пакета документы, разложил их на столе: красный диплом отличника, красный же военный билет, паспорт в кожаной обложке прибалтийского производства, нарядный беленький билет члена Всесоюзного общества охраны природы, трудовую книжку, пачку квитанций на денежные переводы в Новосибирск — алиментная подать. Вузовский, совсем новый «поплавок», похвальный лист и медаль «За спасение утопающего» и разные справки, средь которых хранился зачем-то старый-престарый трамвайный билет с однозначным, «счастливым» номером, увидев который Эля заплакала. Акиму вспомнилась присказка Афимьи Мозглячихи, говоренная не раз по поводу существования касьяшек: «Овца не помнит отца, сено ей с ума не идет».

Стянув тугой красной резинкой кипу бумаг, Аким дождался, когда Эля успокоится, и не пододвинул, а прямо подтолкнул к ней пальцем тугую

пачку документов.

— Вот, — отворотившись, молвил он, — выйдем — сдадите и заявите о пропаже человека. Я не стану этого делать. Меня уже разок таскали следователи, хватит!..

И то, что Аким перешел на «вы», сделался боязливо-суровым, смутило Элю, потому что за этой суровостью угадывались подавленность, смущение, и деланое спокойствие не могло их прикрыть.

— Аким, где он? — боясь отчего-то притронуться, показала Эля на пачку бумаг, будто перечеркнутую кровавой полоской.

— Не знаю, — помедлив, отозвался Аким и, еще помедлив, обнадежил: — Но я узнаю. Скажу.

Вещи покойного, в особенности палатка, топор, нож, острога, пачка сухого спирта, бритва, запасные портянки, были необходимы охотнику и Эле, могли пригодиться и тем, кто набредет на таежное зимовье. Лишь стопка общих тетрадей, сшитых рыбачьей жилкой, ни к чему, бросовая вещь.

— В печь?

— Н-нет! — встрепенулась Эля и, отчего-то смущаясь, заспешила: — Может, там записи последние есть, может, ценное чего по геологии?

Может, объяснится что? И потом, все равно читать нечего… — и обрадовалась возможности уйти с разговором в сторону: — Ты почему книжек с собой не взял?

— Некогда читать промысловику. — Аким перематывал нитки, руки его были заняты, и он кивнул головой, заставляя помогать ему трудиться. — Со стороны, пана, всякая работа, таежная в особенности, удовольствием кажется: бегат охотник по лесу, постреливат, собака полаиват… Ты видела кое-што, да не все. Если бы я вплотную занялся промыслом, мне надо было наготовить кубометров двадцать дров — зимой с ними некогда возиться. Запасти накрохи. Хорошо, если завалил бы сохатого, дак десятка два выставил бы капканов, не повезло бы с сохатым, наладил бы пасти, кулемы, ловил бы рыбу, квасил птицу. Ловушки — хочешь ты не хочешь, здоровый ты или больной — сдохни, но каждые сутки обойди, замело снегом — откопай, наживи. И пожрать надо хоть разок горячего, оснимать шкурки, высушить, снарядить патроны, избушку угоить, рукавички, то да се починить, да и самому не заослеть, мыться, бельишко стирать, волосье лишнее убрать — накопить добра, ну и собаку кормить следует, пролубку на речке поддалб-

ливать, без воды чтоб не остаться — снегу не натаешься. Ко всему не угореть и не обгореть, не захворать… — Он приостановился. — Упаси Бог заболеть одному. Один и подле каши загниешь…

— Да-да, — тряхнула головой Эля. — Это мне можно не рассказывать. Но отчего же… Отчего охотятся в одиночку? Вдвоем же удобней, лучше?..

— У меня друг, Колька, на Пясине втроем были, дак загрызлись. Не уживаются нонешние люди, тундряная истерика, психопатия попросту, на их накатывает.

— А раньше?

— Раньше, видать, нервы у людей были крепче. Может, в Бога веровали — сдерживало. Да тоже послушаешь, всяко лихо делалось — резались и стрелялись, а то скрадом доводили сами себя. Тихий узас!..

— Как это?

— А так. Осатанеют до того, что убить готовы один другого, а нельзя: убьешь — пропадешь или Бог покарат. Тогда оне преследовать друг дружку возьмутся, охоту всякую забросят, не спят, шарахаются от каждого сучка, оно и с ума сойдет который. А скрадет который которого, поранит, на себе в избушку таш-шыт, лечить начинает,

Богу молиться о спасении, иначе тюрьма.

— Да что же это такое?

— Жись в тайге о-очень хитрая, пана, много сил, терпенья и, не смейся, не смейся, ума требует.

— Да какой уж тут смех? — Эля вдруг спохватилась: говорит Аким почти чисто, не сельдючит, голос его, отмякший, какой-то проникновенный, доброжелательный, будто он наставляет послушного, отзывчивого слушателя школьного возраста, и качнулась, покатила по ней волна ответной благодарности к человеку, заменившему ей все живое на свете. До сего момента она хоть и говорила ему спасибо, однако воспринимала все как само собой разумеющееся, как должное — одна в тайге, больная, беспомощная, так спасай, помогай, посвяти себя, раз ты человек. А где, собственно, и кем это написано иль указано — спасай, помогай, забудь о себе и делах своих, да и все ли способны помогать-то бескорыстно?

Вот они, бумаги, документы! А что за ними, за этими хорошо сохраненными документами, скрыто? Хозяин их и хранитель был напористо-открытый, вроде бы великодушный и в то же время неуловимый, загороженный усмешкой, неприязненно-грубый с людьми, он как бы приподнял себя над условностями бытия, напустил на свой

лик дымку значительности, и этого достало, чтобы другие не то чтобы мелочью себя почувствовали в сравнении с ним, но почитали в нем силу и емкость души. Доверилась же вот она ему сразу, непрекословно. В первый же день, именно в день, не дождавшись ночи, там, в чушанской мастерской, он заграбастал ее, подмял, словно так и не иначе и должно быть, затем водил ее за собой, будто овечку, плел-говорил самодельные умности, а она, простушка-аржанушка, слушала его, внимала. Парализующая сила исходила от Герцева, даже не сила, а уверенность в ней.

Молода, ох молода она была и глупа, ох глупа! И непамятлива, и доверчива: вот много ли времени прошло со встречи, а не помнит уже лица Герцева, не может представить ясно его, отчетливо. В хвори сгорел, видать, его образ, пепел остался в душе и перед глазами, и в памяти что-то расплывчатое. А может, он и был таким расплывчатым, неоконтуренным. Одно она явственно помнит — его руки. На них, на этих крепких, все умеющих руках, засучены рукава; сжатые в полугорсть, готовые в любой миг схватить, сгрести, придавить, загорелые, искрящиеся волосом, с толстыми продольными жилами — очень выразительные были руки, оттого и запомнились, должно быть,

и, как выяснилось, навсегда. А еще что? Слова, слова, слова! Много слов, тоже вроде бы что-то значительное скрывающих за собой. Эля попыталась приподняться, заглянуть за скобки слов — за ними оказалась пустота.

Это случилось, точнее — началось после того перехода, когда, подбив ноги, Эля нежилась в палатке, а Герцев ладил еду, мимоходом сунув в палатку букетик снежно-белых таежных ветрениц, которые, как он объяснил, на нормальных землях давным-давно отцвели, здесь же, на мерзлоте, и в иных углах все еще начало лета. «Любимые цветы моей покойной родительницы», — как всегда, криво усмехаясь, объяснил он и после обеда запропал где-то. Явился мокрый, уработавшийся.

— Ты не месторождение ли, часом, ищешь?

— Что ж? — отозвался Гога. — Не худо бы подарить государству золотой, допустим, приискочек и навсегда рассчитаться — учило, кормило, моралью пичкало — не люблю быть должником. И попадается золотишко, широко попадается, да все это семечки. Вот, — бросил он спутнице узелок. — Никогда не видела?

Эля с любопытством развязала тряпицу. Золотники напоминали блестки жира, снятые с

топленого молока, уже старого, затемнелого, сохлого, чешуйчато прилипли они к тряпице, не горели, но сияли. «Люди гибнут за металл!» За этот вот?

— Отруби! — небрежно бросил Герцев, приняв от нее платок и завязывая его с ловкостью фокусника вокруг пальца.

— Найдешь месторождение, прииск твоим именем назовут?

— Что? А-а! Не возражал бы. Но главное, получить кругленькую сумму и навсегда расквитаться за глупость молодости. Послать бы разом из расчета полста рэ алименты до совершеннолетия дочери.

— Не очень-то щедро для открывателя месторождения!

— Нечего баловать детей!

— Умный ты! Ох, умы-на-ай!

— Всего лишь практичный. Не находишь?

— Нахожу. И все-таки шарлатанством попахивает.

— М-м, пожалуй, ты не точна. Скорее дилетантство. Но один умный режиссер меня успокоил, сказав: «Современному искусству не хватает дилетантов», науке, по-моему, тоже.

— Восполняешь?

— Кому-то ж надо страдать за общество.

— Нынче желающих страдать за общество на словах навалом! — съязвила Эля, и у патрона ее сразу начал наливаться тяжестью взгляд. Топорик, который он подправлял бруском, вязнул в пальцах, пробующих острие, движения затормозились, клубящаяся муть поднималась из отстойников, слепила, перекручивала человека, и если он не пересилит себя, даст захлестнуть — рубанет, может рубануть — отверделая, давняя злоба спластовалась в залежах души Герцева, а родители, говорил, слабаки и добряки были. Вот тут и разберись в генах этих самых. Нет уж, лучше не вертеть запал у мины, не баловаться — вдруг неигрушечная…

После у них всего было навалом — она и капризничала, и плакала, и бросала в патрона чем попало, лаяла его, но он все сносил, однако близко ее уже не подпускал, от разговоров о личном уклонялся, да к той поре ничто их вместе, кроме единой цели — найти экспедицию, — и не удерживало. Эля чувствовала: патрон только сбудет ее с рук, тут же перестанет о ней думать, тогда и ей тоже мнилось: с глаз долой — из сердца вон…

Долгими вечерами, сидя против дверцы печурки, глядя в пылкий, от ореховой скорлупы

по-особенному жаркий и скоромный огонь, сумерничая при свете лампы-горнушки, в прибранной, со всех сторон стиснутой тайгой и темнотою избушке, Эля слушала дневники Герцева, пытаясь что-то понять, пусть припоздало, разобраться, что и почему произошло с нею.

Общие тетради, завернутые в целлофановую пленку, Герцев таскал с собою в кармане, пришитом под спиною к рюкзаку. Судя по охранным предосторожностям, Гога дорожил дневниками. В тетрадях встречались записи геологического порядка, состоящие из специальных терминов, сильно, до неразборчивости сокращенных. Судя по записям, Герцев с геологией не покончил и вел свои наблюдения, подобно британскому детективу, частным, так сказать, порядком. Зимами расшифровывал заметки, обрабатывал, наносил наблюдения на карту. Но с собой подробных записей у него не было, и карта была помечена системой крестиков, в большинстве своем в устьях речек, кипунов и потоков.

Почему, зачем поманили ее дневники Герцева? Узнать чужие тайны? Но Гога от людей скрывал вещи, мораль же свою всегда держал на виду, хоть она у него и была паче гордости. Записи и мысли свои он считал столь высокими, что не

боялся за них — не уведут, они в другой башке попросту не поместятся. А стесняться? Чего же? Он не школьник, что стережет и прячет свои тайны под подушкой.

Удивляло немножко, что такой аккуратный в делах человек не ставил подписей под цитатами из книг и научных трудов, как бы ненароком путая чужое со своим — исключение сделано лишь Блаженному Августину да модному средь студентов той поры Сент-Экзюпери. Запись, сделанная, видать, еще в отроческие годы, в общем-то, ни о каком еще снобизме не свидетельствовала: «Природа — более мачеха, нежели мать — бросила человека в жизнь с нагим телом, слабым, ничтожным, с душою, которую тревожат заботы, страшит робость, увлекают страсти, но в которой, между тем, хотя полузадушенная, всегда остается божественная искра рассудка и гения» — Блаж. Августин. Влияние Блаженного Августина на духовное формирование юного мыслителя было непродолжительным — уже первые записи в студенческой тетради рвали глаз: «Люди, как черви, копошатся на трупе земли». «Хорошо артисту — он может быть царем, любовником, героем, даже свободным человеком, пусть хоть игрушечно, пусть хоть на время». «Неужели человеку надо

было подняться с четырех лап на две, чтобы со временем наложить на себя освободившиеся руки?» «Законы создали слабые, в защиту от сильных». «Счастье мужчины: «Я хочу!» Счастье женщины: «Он хочет!» Ницше — куда герцевым без него!

«Все люди, одни более, другие менее, смутно ощущают потребность родиться заново» — Сент-Экзюпери.

— Зачем ведут дневники? — отложив тетрадь, закуривая, спросил Аким, глядя на затухающий огонь лампы, поставленной на полочку в запечье. Они старались обходиться печкой, берегли керосин, свечи, жир и горнушку засвечивали, лишь когда упочинивались. Эля не отвечала, не слышала вопроса, уйдя в те слова и мысли, что читал ей Аким, не всегда верно делая ударения, с трудом разбирая почерк Гоги, напористый, заостренный — буквы прыгали, слова налезали одно на другое, будто торопились куда-то.

— В войну подбили подводную лодку, — опустив на колени упочинку, не открывая глаз, заговорила Эля бесцветным, тихим голосом, — лодка упала на морское дно. Команда медленно, мучительно погибала от недостатка воздуха, командир подлодки до последнего вздоха вел

дневник. Когда лодку подняли и жена прочла дневник мужа, командира подлодки, она всю жизнь посвятила тому, чтобы изобрести элемент, вырабатывающий кислород. — И, чуть изменив интонацию, добавила: — Вот они какие бывают, жены! А вообще-то люди ведут дневники, когда побеседовать не с кем, замкнутые чаще люди, ну и те, которые знают или думают, что их жизнь и мысли представляют большую ценность…

— А-а! Понятно. Дальше тут стихи. Пропустить?

— Нет, читай! Все читай, времени у нас навалом. — Эля наклонилась к рукавице, на которую лепила латку, рукавицы не носились — горели, Аким таскал трещобник на дрова.

— «Большинство стихов записано в студенческие годы и в поле, — прочел Аким. — Они сочинены людьми, которые могли стать поэтами, но вообразили себя поэтами раньше, чем ими стали, пропили свой талант, истаскали по кабакам, вытрепали в хмельном застолье…» — Аким прокашлялся и перешел к стихам:

Что же есть одиночество?
Что же это за зверь?
Одиночка – и хочется

На волю, за дверь?

Ну а может быть, просто —
Твой отчаянный крик
С нелюдимого острова
На материк?

Что же есть одиночество?
Что не понят другим,
И стихи, и пророчества —
Беспредметны, как дым?

И что все твои замыслы,
Все, чем жизнь дорога, —
Непролазные заросли
И мрачны, как тайга?

Что же есть одиночество?
Не понять мне вовек.
Может, миг, когда корчится
В петле человек?..

Пустыня от зноя томится,
На дюнах молчанье лежит,
И дремлет с детенышем львица,
Качая в глазах миражи.

Под пальмою звери уснули,
Предательски хрустнул носок,
И львице горячая пуля
Ударила в рыжий висок.

Еще не набравший силенок,
От крови разъярен и ал,
Вскочил перепуганный львенок
И тут же от боли упал.

Он вырос, враждуя со счастьем,
Крещенный смертельным огнем,
И знает, как, злая от страсти,
Тоскует подруга о нем.

Тяжелые веки прищурив
И вспомнив ту рану в боку,
Он видит песчаные бури,
Сыпучих барханов тоску...

Усталый, но гордый доныне,
В неволе людской поумнев,
Он рвется на голос пустыни,
Седой и бунтующий лев.

Едва прошла блистательная ночь,

Скабрезная и скаредная шлюха,
Уж новая – холодная, как нож,
В моем веселом доме бродит глухо.

О эта ночь!
Простор, упавший навзничь,
Хрипит и содрогается от ветра.
И час,
Что не назначен и не назван,
Стучится в окна,
Черепа
И двери.
Но, не дождавшись ясного рассвета,
Хранят наш мир уснувшие отцы…
В такую ночь стреляются поэты
И потирают руки подлецы.

— У-уф! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! — расслабился Аким. — Нисё не понимаю. Может, хватит?

— Что? А, хватит, хватит! Там еще есть стихи?

— Навалом! — Аким не заметил, когда начал пользоваться любимым словечком Эли.

— Завтра почитаем, ладно?

— Конесно! Куда нам торопиться! Пос-сита-аем! Завтра я тебе не это горе, — щелкнул по тетради

ногтем Аким, — завтра я те стих дак стих выволоку!..

— Уж не сам ли?

— Не-э! С ума-то еще вовсе не спятил! Дружок один на прииске старателем подался, а там ни кина, ни охоты, со скуки и строчил стишки да мне в письмах присылал. Больно уж мне один стих поглянулся. Я найду то письмо…

— А сам? Ничего тут такого?.. — повертела Эля возле головы растопыренными пальцами. Аким уклончиво хмыкнул и забренчал о печку поленом, подживляя огонь. По избушке живее запрыгали, высветляя ее до углов, огненные блики. Аким стоял на корточках, смотрел на огонь. Эля тоже не шевелилась, молчала.

Ощущение первобытного покоя, того устойчивого уюта, сладость которого понимают во всей полноте лишь бездомовые скитальцы и люди, много работающие на холоде, объяло зимовье и его обитателей. Полушубок, кинутый на плечи Эли, начал сползать, она его подхватила и без сожаления, почти безразлично сказала скорее себе, чем Акиму:

— Напутала я что-то в жизни, наплела… — Еще помолчала и усмешливо вздохнула: — Сочли бы при царе Горохе — Бога прогневила. И верно, —

она еще раз, но уже коротко, как бы поставив точку, вздохнула: — Бога не Бога, но кого-то прогневила…

Побаиваясь, как бы от расстройства Эля не скисла совсем, не стало бы ей хуже, Аким снова перевел беседу в русло поэзии, мол, вот, когда бродит один по тайге, особо весной или осенью, с ним что-то происходит, вроде как он сам с собой или еще с кем-то беседу ведет, и складно-складно так получается.

— Блажь! — заключил Аким.

— Может быть, и блажь, — согласилась Эля, — но с этой-то блажи все и началось лучшее в человеке. Из нее, из блажи-то, и получились песни, стихи, поэмы, то, чем можно и нужно гордиться… — Не подбирая наплывшие на лицо отросшие волосы, убирала она их как-то ловко, красиво, сделав рогулькой руку, отодвигала их навес в сторону и плавным движением головы сгоняла ворох за спину. Белые, точно приклеенные, волосы изредились, оплыли вниз, совсем уж на кончиках остались; темная волна живых волос все напористей отжимала их, прореживала.

Было тихо, так тихо, что слышна не только скатившаяся с крыши избушки льдинка, подтаявшая от трубы, но и реденько падающие

капельки, звук которых действовал усыпляюще, и когда печка притухла и капельки смолкли, они, ни слова не сказав друг другу, легли каждый на свое место. Аким поворошил под собой лапник и почувствовал закисшую в нем сырость. «Надо сменить», — мимоходом подумал он и прислушался: Эля не спала. Растревожилась, видать, и еще раз выругался про себя: «Па-ад-ла-а! Фраер из университета!» — и хотел сказать Эле: ничего, мол, не убивайся, скоро я завалю тебя на салазки и оттартаю к людям, а там на вертолет, на самолет — и будьте здоровы! Привет столице!..

— Мы, как говорится, случайно в жизни встретились, потому так рано разошлись…

— Что?

Аким вздрогнул и тут же съежился — по привычке таежного бродяги он заговорил вслух.

— Ты чего? — встревоженно привстала Эля.

— Ничего, спи! — Аким снова притаился на полу и не разрешил себе уснуть до тех пор, пока не услышал ровное, сонное дыхание Эли. Для него сделалось уже привычным ловить ее каждое движение, взгляд, сторожить сон и покой.

Когда они встретились, сколько времени прошло с тех пор? Наверное, целая жизнь. Успел же он когда-то из маленького беспомощного ребен-

ка выходить и вырастить взрослую, красивую девушку, такую ему родную, близкую, что и нет никого ему теперь ближе и дороже на земле.

Эля угадывала — Аким читает не все из дневников, неинтересное, по его разумению, пропускает, чего-то ленится разбирать. Когда «пана» на весь день отправился в тайгу, она забралась на нары, поджала ноги, закуталась в одеяло и при бледном снеге оснеженного окна не только заново прочла, но и разобрала комментарии, бисерными строчками петляющие по полям затасканных тетрадей, — их Аким и вовсе оставил без внимания.

Первый комментарий — мошечные буковки, накорябанные неисправной, плохо подающей мастику ручкой, кинуты были на тетрадные листы, проложенные сухой веткой багульника, под стихотворением такого содержания:

Повидавший на земле немного,
Он ни в ком не признает врага,
Он идет, идет своей дорогой,
И копыта крепнут на ногах.
Люди попадаются немые.
Им не жаль беспечного телка.

Сапоги тяжелые, чужие
Сдуру ударяют под бока…

Утонула мама у телка, сорвавшись по весне с подмытого обрыва, и все, кому не лень, пинают несмышленое животное. Но шло время:

И однажды из ворот открытых,
Выкатив недобрые глаза,
Выходил бугай, холеный, сытый,
Темно-синей масти, как гроза.

И вот оно, то, ради чего и трудился Герцев, переписывая длинное, нудноватое стихотворение:

Отходили недруги в сторонку,
К гордой силе ненависть тая,
Обижали слабого теленка,
Ну-ка, тронь попробуй бугая!

Эля не без иронии фыркнула и принялась разбирать комментарий: «Вас, мистер, никто не обижал, а все равно бугай получился, мычащий, породистый, рогатый…»

По круглому, мелконькому почерку Эля догадалась, кто это посмел перечить Герцеву и даже отчитывать его.

Еще страница, проложенная молочаем — почти

все страницы в тетрадях проложены травками, цветами — память о походах? О встречах ли? Одна из разновидностей оригинальничания, сентиментальности — этой неизлечимой болезни гордецов?

«Молчание — удел сильных и убежище слабых, целомудрие гордецов и гордость униженных, благоразумие мудрецов и разум глупцов!» Ниже дробненько, однако хорошей уже ручкой, отчетливым почерком сработано резюме: «В общем-то так мудро, что уж и непонятно простым смертным. Совсем и не к месту, но отчего-то вспомнилось: однажды разбился самолет, погибли люди, много пассажиров было изувечено, нуждалось в помощи. Между тем два целехоньких, здоровых парня, перешагивая через убитых и увеченных, искали свои чемоданы! Мне сдается, одним из них были вы, мистер!»

На это последовал росчерк Герцева — непристойный, злобный.

— О-о, философ занервничал! — Эля плотнее закуталась в одеяло. После такой-то мысляги — о ценности молчания вдруг уличная брань!

«Мне представляется аморальным «хотеть», чтобы мои дети стали, например, учеными. Кем они станут — это вопрос и право их собственного

выбора» — профессор Дрек Брайс. Меланхоличная запись сопроводила высказывания Дрека Брайса: «Что это у вас, мистер, все любимцы из «оттуда»? Нигде вы наш народ и словечком единым не похвалите?..» И росчерк Герцева: «Не похвалишь — не продашь. Да?»

В давней, больше других потрепанной тетради, проложенной нехитрыми, в прах обратившимися травками институтского скверика и городских бульваров, обнаружились высказывания любимого героя юности. Эту тетрадь, словно первый, чистый грех юности, Гога хранил тщательнее других. «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю, ничего!..»

«Ах Герцев, Герцев! Вот это-то тебя, видать, и освещало для меня, — поникла Эля. — Печорин — и мой любимый герой! А я все гадала, что нас объединяет, что? Оказывается, мы оба глупо созданы…»

Любительница чтения — профессия обязывает все, что писано, честь, — добралась и до этой святой записи! Сильно истоптал Герцев Людочку,

она уже не просто полемизировала, она била по морде: «Экий современный Печорин с замашками мюнхенского штурмовика!..» Людочка лишь снаружи тихая-тихая, а в «середке», видать, о-ей-ей какое бабье пламя ее сжигает! Врал, клепал Герцев, что «крошка» намеревалась подловить его беременностью, женить на себе и зажать затем строгой нравственностью, хворью, дитем…

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог,
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог!

Стишок этот «на память Г. Г.» оставила когда-то нареченная Герцева, ласковая, по всей видимости, теплая, чистенькая, но Гога-орел, Гога-боец отбоярился, улизнул и от этой ласковой особы, наследил, правда, подать в виде алиментов выплачивает, но все же улизнул! «Ай да Гога! А я-то, я-то! Тоже молодец! Ка-акой молодец! Вот дак да! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Так тебе и надо, дурища! Так тебе и надо! — бросив за печку тетради и вытирая руки о спортивные штаны, взвыла она. — Пошлость-то, пошлость какая! Гос-споди-и! Куда же от нее спрятаться? В тайге, в снегах настигла! Вот дак да! Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Ё-ка-лэ-мэ-нэ!»

Было невыносимо стыдно, хотелось скорее что-нибудь делать, отвлечься, забыться, и, сама себя не слыша, Эля все повторяла и повторяла, качаясь из стороны в сторону и держась ладонями за щеки:

— Люди добрые! Люди добрые!

Наконец она опомнилась, забеспокоилась — пора Акиму прийти, набросила одежонку, выскочила на крыльцо избушки. Пустынно, холодно, первозданно чисто в миру! Широк он, мир-то, его не залапаешь, не заплюешь, не обкорнаешь так скоро. Но вот душа человечья, в особенности бабья, мала, слаба… «Где же пана-то? Не торопится пана».

Эля вернулась в избушку, затопила печку, водрузила котелок, чайник на ее прогнутую хребтовину. Не сразу, не вдруг отвалило душевное расстройство, но встряска проходила, девушка словно бы возвращалась к себе самой, к нехитрым таежным будням, и помечталось ей слабо: «Вот всегда бы и жить здесь, несуетно, спокойно, вязать шапку, ждать, когда ввалится с мороза хозяин, бухнет к печке до костяного звона выветренные дрова и загадочно улыбнется: «А я сё-то принес!» — и высыплет горсть мерзлой черемушки или прилепит к ее щеке поздний, где-то

зависший, невыцветший лист, а то бросит в руки заполненную во всех ячейках кедровую шишку, бывает, одарит сучком, изогнувшимся зверушкой, наростом с дерева — копыто и копыто. Эля не отставала от моды, собирала лесные диковинки в парках Москвы и на юге, но что те диковинки в сравнении с Акимовыми! Так и то сказать, в его распоряжении почти вся туруханская тайга.

Аким не шел. Треногой смыло все мысли, ее будоражившие, хотелось есть, но она терпела, подшуровывала печку, на которой бормотал котелок с варевом, брызгался носком чайник, прислоненный к трубе. Она уже привыкла и наяву, и мыслями быть постоянно с Акимом и, дичая, что ли, обрастая мохом, глохла к прошедшему, отвыкала от людей и — о себялюбка, себялюбка! — начала забывать и о тех, кого чтить и помнить сам Бог велел! — Аким, опять же Аким сделал прополку в ее башке, возвратил Элю на житейский круг.

После того как она остригла его лесенками, кочками, уступами и он недоверчиво оглаживал, щупал свою облегченную верхотуру, а она, подъелдыкивая его, хохотала — уж больно куцый и младенчески голый сделался «пана», и дохохоталась — перехватило горло, кашлем колотило до

хрипа. Придерживая Элю, повторяя: «Не балуйся! Не дергайся, заполошная!» — Аким попоил ее теплым чаем, дождался, чтоб унялся приступ, летуче вздохнул:

— Ох, девка ты, девка! Похохатываешь тут, а отец-мать умом, может, тронулись! Шутка ли! Одно дите, и то потерялось… — и вздохнул уже длинно, перекатил даже вздох в груди. — Зима везде приступает, и в Расее тоже. Совсем загинула, думают, пласют… — Он связал вместе два слова, и получилось оно слитным — отец-мать, беда с ней приключившаяся, и в самом деле могла сослужить хорошую службу, объединить их семью. «Навсегда бы», — подумалось Эле… Разнообразная все же жизнь! Ехала вот к папе, на прогулку, поболтаться в экспедиции, набраться впечатлений, а тут гляди, какое дело вышло!..

Эле всегда везло, если не на оригинальных, то на чудаковатых людей, и в родители ей Бог послал человеков презабавнейших. Бурная, многословная, неприбранная, курящая мама вечно кого-нибудь «спасала». Папу, явившегося в сорок пятом году из госпиталя, она, будучи студенткой полиграфического института, «спасала» от бездомовья, холода и голода. И «спасла»! Перейдя на заочное отделение, устроилась работать коррек-

тором в газету. Будучи человеком благородным и бесхарактерным, папа после института помогал доучиться матери, тянул лямку в научном учреждении, чуть было диссертацию под напором мамы не написал, но как-то изсилился, порвал домашние и служебные путы, ушел в поле и притаился в лесах. Года четыре спустя прислал сбивчивое письмо, которое мама по рассеянности оставила на кухонном столе.

Пребывая в любопытном отроческом возрасте, Эля то письмо узрела и прочла: «Я навек тебе обязан, но я не могу так жить. Здесь я чувствую себя полезным человеком. Будь свободна, распоряжайся собой, как тебе хочется, и мне предоставь такую же возможность…»

Мама не рвала волос на голове, не жаловалась в парторганизацию. Она к той поре работала старшим редактором в только что образовавшемся издательстве, помещение которому определили меж скобяным магазином и похоронным бюро. Говорили — временно, да забыли про то, что говорили, и мама по сию пору пребывала в комнатухе, окно-бойница из которой выходило как раз во двор похоронной организации. Но это нисколько не удручало сотрудников нового издательства. За притыкнутыми столами, где если редактор сидел

за столом, то автору надо было уже моститься на стол, мама двигала родную литературу и верила, что именно это издательство благодаря ее и всех работников стараниям будет выпускать не просто лучшие, а самые боевые книги, которые в других издательствах печатать не возьмутся. Из-за скученности и производственных неудобств мама работала на дому. Всегда у них околачивались и ночевали на раскладушке, бренчащей с мясом вырванными пружинами, авторы с периферии и нигде не прописанные столичные «гении», за которых мама «ходатайствовала». Стены квартиры — к счастью, старогабаритной, а то бы их за шум и содом выселили — сотрясались возгласами: «Надо беречь язык! Заездили, как клячу!» — «Мы еще поборемся! Двинем! Дадим!..» — «Нет, ты послушай, послушай: «Прекрасно в вас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться!» — «Х-господи! Написать такое — и помирать можно!..» — «А вот еще, вот: «Не верь, не верь поэту, дева, его своим ты не зови, и пуще Божиего гнева страшись поэтовой любви...» — «Поэтовой! Надо же! Да за одно такое «искажение» нынче с порога издательства попрут, неграмотный, скажут, поэзию

оскорбляешь...» — «Не отовсюду, голубчик мой, не отовсюду!» — вступала в дебаты растроганная мама, окутываясь облаком сигаретного дыма.

Один рассеянный поэт, уходя, вместо ручки совал в кармашек пиджака чайную ложку, понуждал маму пить с ним дешевое красное вино и кончил тем, что женился на молодой продавщице из пивного бара в парке культуры и отдыха, сделался толстым от пива, купил «Запорожец», стихи писать бросил и маму при встрече «не узнавал».

Потом появился некто Карепанов из Удмуртии — помесь бесцветного вотяка с дебелой русской бабой. В Удмуртии он говорил и писал только на удмуртском языке. В Москве говорил и писал только по-русски. Он прикинулся тихоньким, бездомовым. Мама, конечно же, пригрела «сироту», доводила «до ума» толстенный его роман про современную передовую деревню, прописала его в своей квартире, и когда наконец после скандалов и проволочек роман, под который мама пособила автору выбрать все авансы и не издавать его сделалось уже невозможно, вышел, Карепанов отхватил через суд одну из трех комнат в квартире мамы, папа к тому времени потерял московскую прописку, мама, захваченная стихи-

ей литературы, забыла ему о том напомнить, да, пожалуй, и не ведала паспортных законов. Зато Карепанов знал все.

Не успев отлежаться в больнице после схватки с Карепановым, мама обнаружила автора, еще более одаренного, из бухты какой-то. Этот мыслитель, по фамилии Пупков, работал в леспромхозе вальщиком. Он и в литературе вел себя, как на лесозаготовках, писал, будто дрова рубил. Прямой, взъерошенный, был он тем редким автором, который «импонировал» Эле. Всю писательскую свору, валившую через их квартиру, словно через перевалочный пункт, она терпеть не могла, однако с детства нахваталась литературной отравы, бойко читала «редкие» стихи, баловалась именами модных поэтов, могла сойти за «знатока». Пупкова-милягу она баловала вниманием, подкармливала на кухне. Мама, работая над рукописью Пупкова, хваталась за сердце:

«Вы, Тихон, прелесть! Я думаю, писатель из вас получится стоящий. Только учитесь, учитесь. Знания жизни, пусть и превосходного, мало!» — «Што я, не понимаю, што ли? Вот попаду в Союз писателей, на литкурсы стану проситься».

Пупков и в самом деле объявился на курсах в Москве. Не позвонив, не предупредив, ввалился

в роскошном пальто с каракулевым воротником, в собачьей мохнатой шапке, сгреб в беремя маму и Элю, поднял, закружил, выхватил из портфеля кус редкостной рыбы, пристукнул бутылкой о стол: «Пировать будем, когда так! — и добавил, потирая руками: — В Москве калачи, что огонь, горячи!»

Сидели, разговаривали. Тихон хвастался, сколько он «умных» книг прочитал, еще один сын у него появился — все хорошо.

Мама, мама! Что с нею сейчас? Жила, работала, не только ведь ради Карепановых, но и на нее, на дочь, жизнь убухала, да не понимала этого дочь-то, дура набитая, проклятая!.. И жизнь мамы, на первый взгляд безалаберную, разбросанную, бестолковую, не понимала, ведь при всем при том мама открыла, вынянчила, «спасла» навалом по-настоящему даровитых авторов, а главное, она всегда была среди людей и нужна людям, и когда ее шибко интеллектуальная дочь, после десятилетки, ожегшись на быстрой любви, ударилась в отчаяние и пессимизм и никуда не ходила из дома, терзая себя печальным одиночеством, мама так грустно и так серьезно сказала: «Одиночество — беда человека, дорогая моя. Гордое одиночество — игра в беду, и ничего нет подлее

этой игры! Позволить ее себе могут только сытые, самовлюбленные и психически ненормальные болваны».

Дошло! Дошло вот! Дошло, когда припекло! И мама совсем иной видится, и жизнь ее, трудами и заботами переполненная, высветилась иным светом, и нет никого лучше мамы, и дай Бог вернуться домой, заберет она документы из Литинститута, куда поступила, поддавшись модному течению времени — детки литераторов сплошь ныне норовят в литераторы, детки артистов — в артисты.

А она поступит… Куда же она поступит? Ну, пока еще рано об этом думать, но поступит учиться серьезной профессии и никогда, никогда не покинет маму, будет все время сидеть дома, готовить, стирать, прибираться и ничем-ничем и никогда не обидит маму.

Возле дверей избушки послышался шорох, скрип, предупредительное покашливание. Эля пощупала лицо, вытерла глаза, распахнула низкую дверь избушки. «Пана» весь в мохнатом куржаке, шапка, шарф, брови, каждая неприметная глазу волосинка на лице обросли белым мохом. Из лохматой белой кочки, из-под мокрых ресниц светились щелки нахлестанных ветром

глаз, губы вздуло холодом, валенки каменно постукивали, большая изнуренность была в каждом движении охотника.

«Зачем же ты так долго ходишь? Стужа на дворе!» — чуть было не вырвалось у Эли, но она успела вовремя застопорить, помогла раздеться промысловику, стянуть валенки из-под спущенных на голенища отяжелелых брюк. Оставшись босым, Аким посидел на чурке расслабленно, подвижно и не скоро шевельнулся, выдохнув:

— Во ушомкался дак ушомкался! — Вынув из мешка четырех налимишек, мерзлую куропатку, зайца с проволочной петлей на шее, он птицу и зайца сунул за печь, на дрова, налимов, которые в тепле обыгались и начали возиться в ивовой плетенке, распорол, выдрал из них внутренности, отделил максу.

— Отдыхай, грейся, я сварю, — предложила Эля. Аким молча протянул ей ножик, сполоснул руки, сел к печке, закурил и, пока нагревалась, закипала вода в котелке, не шевелился, не разговаривал. Они «слеповали» без света, и только промельк огня от цигарки да серо стелющийся понизу уплывающий в поддувало табачный дым свидетельствовали о том, что Аким не уснул.

— Что-то случилось? — тронула его изветрен-

ную, шершавую руку Эля и задержала ладонь на костистом, горящем от мороза запястье.

— Начинаются морозы, снег по лядинам уже до коленей, — сразу заговорил он. — Если мы на этой неделе не выйдем, хлебать нам тогда здесь мурцовку поди-ко до февраля. И дойдем мы до тюки… Пусть даже я добуду сохатого, найдем мы с Розкой берлогу, но ты человек больной, изваженный, тебе питанье хорошее нужно, иначе беркулез… Соли, крупы, если не сорить горстями, как ты вот только што, должно хватить на месяц. Дальше как?[2]

Рассыпанная соль потрескивала на печи. Эля только и воспринимала этот легкий треск как упрек в расточительности, все остальное было так серьезно, что вникнуть в смысл Акимовых слов она разом и не могла, ее тяготило вновь нависшее молчание.

— Уходить так уходить, — чересчур бодро проговорила Эля. — На этой неделе так на этой неделе. Чем скорей, тем лучше.

---

2 notes: 2

Мурцовка — нутряной медвежий жир, скатанный в колобок вместе с сухарями, его можно таскать годами, в мешке он прогоркнет, затвердеет; когда пристегнет в тайге беда или голод, от колобка наковыривают крошек, разваривают в кипятке или так жуют — еда горькая, тошнотная, но очень «сильная», на ней можно продержаться много суток. Существуют и другие виды мурцовки, автору известна только эта.

— По Эндэ до Курейки два перехода. Эндэ я пробежал — почти везде замерзла. На Курейке есть шивера и пороги, возле них полыньи, нырнешь и больше не вынырнешь… Горы нам с тобой не обломать, сорвесся, укатисся, засыплет курумником, — все тем же, едва слышным голосом наставлял ее или размышлял вслух Аким. — Если б мы и прошли пороги, Курейка пусть везде стоит, дак матерой торосов наворочено, что трещобинку. Пусть где бережком, где бечевкой, где горой, где тайгой прошли мы по Курейке до станка Графитного. Живут там люди? Вопрос! Давно я не ходил по Курейке. Летать навострился, понимас. Переть в Усть-Курейку? Но и там народу небось нету. От Усть-Курейки через Енисей, в саму столицу[3] — Курейку… М-да, долга верста таежная!..

— Что же делать, Акима?

— Спускать рыбу! — не открывая глаз, кивнул он головой на бурлящий, брызгающий котелок.

— Ой, растяпа! — спохватилась Эля и с деревянной плошки смахнула в клокочущую воду куски рыбы с крылышками максы, лавровый листок, щепотку сушеного луку.

Варево перестало бормотать, в избушке снова

---

3 notes: 3
Матерой — серединой.

все утихло. Аким размяк в тепле, распустился, цигарка потухла в его пальцах, и Эля не решалась тревожить хозяина, пусть думает, решает. Аким спохватился, распрямил хрустнувшую поясницу, потер ее рукой, зачмокал цигаркой, точно проснувшееся дитя соской. Не курилась цигарка. Он сунул в поддувало лучинку, прижег ее, дернул разок-другой и громче, с той же глубокой серьезностью продолжал, вбивая ногтем щепочку в подтопок:

— Есть еще вариант, как толмачат братья-геологи: перевалить через бережное нагорье и двигать по лесотундре. Верст через пятьдесят озеро Хантайское, на ем стоит бригада игарского рыбзавода, туда самолет ходит, радист есть. Пущай нет бригады, постели, одежда, сети, соль, харчишки какие-нибудь поди-ко остались в бараке? — и повел носом, продернул тугими от простуды ноздрями воздух. — Сымай уху, чую, поспела. «Цэ дило трэба разжуваты», — как говорит рыбак Грохотало. Песельник — куда Кобзону! — и «пана» тряхнул головой, отгоняя какие-то расслабляющие, голубые воспоминания.

Насквозь уже все знающая про жизнь Акима в Боганиде и на «Бедовом» в особенности, Эля подхватила зазвучавшую в душе человека струну:

— Нет человеку блага, как есть и пить, чтобы было ему хорошо от его труда, гласит восточная мудрость, и потому двигайся, Акима, к столу.

— Хоросая мудрость-то, покусать и в самом деле не месат.

— И выпить — гласит мудрость! — принялась искушать охотника Эля, проворно доставая из-под изголовья фляжку со спиртом, хранимую пуще всякого имущества и продукта. — Выпей, развейся!

— Нельзя! — округлил глаза Аким.

— Не все на мою особу тратить, не больно и заслужила! — услышав, как сглотнул он слюну, настаивала Эля. — Промерз, ушомкался, говоришь, а выпьешь, настроение боевое, голова лучше соображает…

— Сто правда, то правда.

— Чего там! Всей мировой наукой доказано, — доламывала слабое сопротивление охотника Эля, — я вот и себе плесну на эту самую каменку…

— Тогда давай! — прошептал Аким. Выпив спирт, он заел его ложкой ухи, вслушался во что-то в себе и прочувствованно молвил: — Давно хочу спросить: Эля — это как будет?

— Эльвира.

— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Чё эти интеллигенты токо не придумают! — возмущенно стукнул кулаком по колену охотник, с большим сочувствием глядя на Элю: — Но сё рамно ты хоросый человек, и я тебя нигде не брошу. Если пристигнет погибель, дак вместе! Правда?

— Правда, Акима, правда, — зажигая разом две свечи, откликнулась Эля, больше всего радуясь тому, что Аким снова сделался тем славным, привычным «паной», которого она знала, наверное, уже вдоль и поперек, во всем на него полагалась, всему, что он говорил, верила. Легко, просто было с ним, и слово «погибель» у него совсем не страшно выходило, как это: Аким — и вдруг погибель? Чепуха какая-то, бессмысленность. Она дотронулась до плеча охотника подбородком, дохнула ему в ухо теплом. — Акима, ты не будешь больше букой? Не станешь меня пугать?

— Постараюся.

— Вот и умница! Вот и умница! — обрадовалась Эля и чмокнула его в щеку. — Ешь, давай ешь! Шляешься целый день по лесу голодный, холодный, таскают тебя лешаки, непутевого! — бранилась понарошке Эля, работая под ворчливую бабу-хозяйку. — Сложишь башку удалую, я одна останусь горе мыкать.

— Получается! — Аким длинным, пристальным взглядом посмотрел на нее, угадав, что скрывается за этой взвинченной игривостью, успокоил: — Все будет хорошо, Эля!

Она привалилась к нему, заплакала:

— Навязалась вот на тебя, дурища! Спутала по рукам и ногам.

Он гладил ее по волосам, по худенькой, ведомой ему до каждой косточки спине, такой родной, беспомощной, в сыпи пятнышек от иглы.

— В жизни всяко бывает… Вон она какая… И не таким, как ты, салазки загибала…

Эля от «солидных» речей Акима совсем расстроилась, залилась пуще прежнего в сладостном изнеможении, приникая плотней к своему спасителю и защитнику, щекотала мокрым носом его шею, благодарно целовала за ухом, и он явственно ощущал, как смывают, уносят из него большие эти слезы грязь, мусор, всякую, незаметно скопившуюся, наслоенную в душе пакость. И воскресала душа, высветлялась, обновленно и легко несла в себе себя — да хрен с нею, с охотой этой, с авансом и со всем на свете! Главное сбылось: шел он, шел к белым горам и пришел, остановился перед сбывшимся чудом, которое так долго предчувствовал, может, и ждал. Не такое оно ему брезжилось,

но раз уж пришло, прикатило, иного нечего и желать, устеречь, сохранить, на руках вынести — чудо, оно такое, оказывается, хрупкое…

— А-а, пировать дак пировать! — вскричала Эля и болтнула флягой. — Тут еще навалом! Выпей, Аким! Выпей! Мы спасемся! Нам рано умирать! Мы долго жить будем. Я тебя никогда-никогда не забуду, — охваченная душевным порывом, она крепко-крепко обняла его за шею сзади, больно сдавила костлявыми руками горло.

Акиму было трудно дышать. Лопатками он чувствовал ее небольшие, обвядшие груди, дыхание прерывистое и жаркое возле уха, закатывающиеся вовнутрь всхлипы. В нем начала заниматься мелкая дрожь, и он осторожно разжал ее руки, поднялся от стола.

— Курить охота, — сглатывая слова, сказал Аким и, закурив, быстро и жадно истянул цигарку. — И спать пора. Попировали — хватит! Вставать рано, — и, словно оправдываясь, начал перечислять работу, какую следовало сделать до отправления в путь: дошить обутки — шептуны, выкроенные из старой шкуры, для Эли; собрать из одеяла хоть что-то похожее на куртку, подстежив ее старыми ватными брюками, забытыми кем-то в избушке; довязать шарф, шапку из заячьего

пуха; дошить запасные рукавицы, носки из распущенной вязаной фуфайки Гоги. Эля связала по паре толстых теплых носков, нужна еще пара — запас. Мама держала дома машинку и, когда еще не была захвачена до конца литературой, шила на ней кое-что для себя и дочки, приучала к швейному ремеслу Элю, не подозревая, как ей это сгодится. Отправляясь на Север, к папе, Эля больше всего заботилась, чтобы не забыть теннисную ракетку и лак для ногтей, Герцев обременял себя только своим, личным багажом, вот и снаряжались теперь заново. Аким нарадоваться не мог Элиной сноровке — этакая фифа, а иголка не валится из рук! Упорна деваха, упорна, опрятна в домашнем обиходе, из нее вполне можно человека сделать, если взяться вплотную, но виду, однако, не показывал, как доволен ею, боялся вернуть ту, бойкую на слово, но пахорукую в делах горожанку, которую он презирал, на которую злился и которую нужда или он заломали-таки, может, и перевоспитали даже.

— Эх, дурило, песню испортил! — качая головой, вроде как понарошку, вздохнула Эля и взялась прибирать на столе, потом подмела в избушке и, гнездясь на нарах, с усмешкой поинтересовалась: не вспомнил ли он еще какое неотложное дело?

— Вспомнил, — невозмутимо подтвердил Аким. — Послусать надо.

— Слусать так слусать, — передразнила его Эля, став на колени, покорно задрала рубаху, ждала «фершала», покрываясь куриной кожей, хотя в избушке было жарко. Готовясь к осмотру или, как со смехом говорил «фершал», к «сиянцу», он расшуровывал печку, но Элю, как всегда, пробирало ознобом.

— Худому поросенку и в Петровки мороз. — «Пана», как и полагалось настоящему медику, маскировал серьезность лечебной работы шуткой. — Свет погасить?

— Вот еще! — Эля дернула остреньким уголком плеча, от которого начиналась и обручем закруглялась ключица. — Ты же доктор, — чуя в нем замешательство, с деланой храбростью добавила она, — а докторов не стесняются.

— Доктор! — прикладываясь хрящеватым, ломким ухом к спине, нащупывая им выемку под лопаткой, буркнул Аким. — Коновал, а не доктор! — И вдруг срывающимся, петушиным криком выдал:

Ты, милашка, скинь рубашку,
Полезай на сеновал!

Я тебя не покалечу,

Я старинный коновал!

И поскорее забегал ухом по спине, тыкаясь в чутко подрагивающую кожу — хитрил «пана»! Всегда он так: ляпнет что, сорвется ли и поскорее за дело примется, я, мол, не я, и хата не моя.

— Твои шутки иной раз…

— Тихо! Слусаю…

— Твои хамские шутки, — настаивала она, — оскорбительны для женщины, и тебе они совсем не к лицу.

— Со поделаш! — отнимая ухо от спины больной, отчужденно и грустно обронил Аким. — Культуре обучался я в Боганиде и на «Бедовом». Как зысь воспитала, так и воспитала, извиняйте. Под правой лопаткой сипит, под левой вроде бы не слыхать. Будем ходить или в избушке сидеть?

— Ходить. А зысь ни при чем! Природа дала тебе ума и такта довольно. Не форси и не выпендривайся! — Эля сердито сдернула с шеи рубаху, полезла под одеяло.

Аким, сконфуженно пошмыгивая носом, отсчитал капли, поколдовал над банкой с травяными снадобьями и, понимая, что зубатиться им сегодня не следует — такой добрый вечер, поддразнил

ее, подавая колпачок от термоса с каплями:

— Значит, в столице всего навалом?

— Всего! — Эля опрокинула колпачок с лекарством лихо, будто водку на именинах, и осипшим от горечи лечебного зелья голосом добавила, вспоминая о чем-то своем: — И калачи там горячи…

— Хорошо! Замечательно! Дальше сто?

— Изверг ты, вот сто!

— Спасибо. Прими еще вот этот порошочек…

Она послушно высыпала в рот какой-то желтый, тиной воняющий порошок, запила его кружкой совсем уж диковинного настоя — в нем багульник, корень шиповника, кора редкой здесь худорослой калины, стерженьки черемушника — все-все как есть, с точки зрения «фершала», пользительное, лишь седьмичника, заветной травки, нет, кончился седьмичник. Скоро сухари, крупа, мука кончатся, да и кончились бы уже, если б Аким не нажимал на мясо, рыбу и орехи. Он морил себя, держался побочным харчем, а что послаще отдавал ей, пас каждую крошечку, каждый стебелек, ягодку. Уткнувшись взглядом в ноги, Эля перемучила, передышала занимающийся от горечи лекарств кашель и долго еще сидела, спустив ноги с нар и глядя на расположившегося

внизу Акима, ровно что-то в нем открывая заново. Он смешался от ее взгляда, забормотал опять насчет завтрашних дел, насчет сборов и скорых морозов.

— Нянюшка моя! — не слушая и не слыша его, признательно тронула прохладной ладонью щеку Акима Эля. Он защемил ее руку на плечо подбородком, дотронулся губами до желобком прогнутого запястья. — Милая, добрая нянюшка! Не заводи ты меня, не мучай и сам не мучайся! Слышу ведь, слышу, ворочаешься на холодном полу, не маленькая, не девочка… Фершал ты мой, хозяин ты мой, человек лесной… Славный… Добрый… Погибать, так вместе. Погибать, так… О-о, Господи!..

Утром в зимовье висело гнетущее молчание. Эля таилась в постели. Аким затоплял печь, разогревая почти нетронутую уху. Парил в кожухе термоса над печкой сухари, пошвыркивал чай. Искрошив зубами сухарик, закурил и, громко кашлянув, произнес словно бы в пустоту:

— Ну, я посол! — потоптался у порога и повторил: — Посол… В лес… В тайгу, значит. Надо капканы сымать, петли, кулемы спустить. После-

завтра двинемся. Дак ты это… гумажье[4] смотай, подпрядывай, полусак дошивай, снаряжайся… кхе-кхе… Посол я.

— Хорошо, иди…

«Зачем я его позвала? Совратила. Испортила все!.. Истинно мамина дочь! Тоже спасать люблю. Избился «пана» на полу. Холодно ему. Неуютно. Жалко мальчика. А какой он мальчик? В матросах был, с портовыми шлюхами гуливал… А-ах! Ну, все! Ну, плевать! В конце концов, это даже смешно: двое в тайге, в избушке… Все! Все! Встаю! И за дела. Делами попробую спастись, как хитрый «пана».

Переживая горьковатый, но в то же время приятный стыд, Эля пусть припоздало, пусть не всвеже поняла, оценила неповторимость тех чувств, которые, наверное, испытывала и затем несла в себе как единственное, ей лишь ведомое счастье, девушка-невеста, познавшая заказанное природой наслаждение.

Перейдя невидимый, сложный рубеж от невинности к тому, что открывало сладостный и мучительный смысл продления жизни, пусть в ней не сахар, не мед, пусть в ней брезжат одни только

---

4 notes: 4
Гумажье — нитки, пряжа.

будни и обыденный конец за ними, — радость торжествующей плоти, счастье и муки материнства высветят и будни сиянием непреходящего праздника, если он, конечно, не будет заранее отпразднован где-то в углу, тайком, блудливо, и два человека сберегут друг для друга очарование первого стыда, трепет, боль — все-все, что составляет прелесть сближения и тайну, их тайну, вечную, никогда никем еще не отгаданную и не повторенную.

Казалось, давно забылся тот хлыщеватый, роскошно одетый поэт, чью книжку мама «спасала»; однажды поэт пригласил Элю «покататься» на машине. Он разделался с нею, как повар с картошкой, раздавив не только душу, вроде бы и кожу с нее живьем ободрал, а ободранному, голому все уж нипочем. Бывали, ох бывали и встречи, случались и увлечения, но память упорно хранила, удерживала уверенного в себе поэта, по-собачьи оскалившегося, больно вонзившего в ее спину ногти. От бывалых женщин узнала она потом — первый грех и первый мужчина жизнью не изживаются, временем не стираются — клеймо это вечное. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный…»

«Ах ты! Ах ты! Куда это все мы торопимся-то? Отчего так немилосердны к себе при всем нашем себялюбии?»

Эля надела полушубок, замотала голову вязаным шарфом, валенки, предупредительно повернутые голенищами к печи, насунула на ноги, подошвами почувствовала настоявшееся в них мягкое тепло — хмель в обуви лежит. Аким ушел в сапогах, значит, ненадолго — и эта маленькая радость опахнула сердце теплотою, отодвинула в сторону печали — много ль человеку, особенно женщине, надо — погладь, приласкай, и замурлыкает, на лапах присядет, к теплому прижмется.

Жиденькая, морковная зарница таяла за дальними перевалами, пришитыми неровным швом горной тайги к низкому серому небу. Тишина кругом лежала такая широкая и плотная, что нет, мнилось, и не было нигде никакого движения и жизни. Снежный лес в глубине загустел, с Эндэ, из норки, проточенной в шубе заснеженного густолесья, выкинуло упряжку — с бурлацкой брезентовой лямкой через плечи коренником шел сам «пана», в пристяжке стелилась по узкой тропе, суетливо перебирала тонкими лапами Розка, впряженная в сыромятную нехитрую шлею.

Груженная еловыми комельками «кошевка» катилась, гребла перед собою белый-белый таежный снег.

Аким издали улыбнулся Эле, Розка качнула хвостом, кинула его на холку, но тут же хвост сполз, выстелился по снегу. Вывалив язык, натужно похрапывая, чуть даже скуля, Розка помогала хозяину тащить дрова к становью. Эля бросилась навстречу упряжке, пристроилась толкать возок руками сзади.

— Вот-вот, — не оборачиваясь, бросил Аким, — учись, под старость кусок хлеба!

Ладились выйти на брезгу[5], но Аким еще и еще проверял поклажу — не забыли ли чего? Еще и еще обходил возок, подпинывал что-то, подтягивал, подвязывал, и Эле подумалось: он никак не может решиться сделать первый шаг в глубь немереной, настороженной тайги — отвалить от избушки, словно сойти с покинутого корабля в пустынное море.

Собиравшаяся в дорогу старательно, но с легким сердцем — одежка, обувь, бельишко — все-все давно и заранее было выстирано, подшито, подбито, Эля не уставала дивиться, как ходовый,

---

5 notes: 5

Брезг — это слово «забрезжило», то есть чуть начало светать.

опытный вроде бы таежник Герцев легко, играючи, можно сказать, снарядился летом в поход. Может, потому и легко, что летом. А может, и его обуяла та бездумность, окутало то облако, что зовется розовым у людей увлекшихся или влюбленных. Любить-то, положим, он никого, кроме себя, не любил, увлечься же мог вполне. Спишем все на лето и на то, что оба были здоровы, свободны от всего и от забот о себе тоже, несли вещей укладно, харчей уедно, постели улежно — умещались в одном спальном мешке, гордый странник не мог допустить, чтобы женщина при нем мерзла.

Эля оглянулась на избушку, вдавившуюся в снег, не припертую стяжком, а заложенную в деревянную ручку строганым таячком охотника — этакая тонкая, крепкая палочка с лопаткой на другом конце — ею, когда ходят по тайге, толкаются на лыжах, нащупывают след, промоину в речке, чарусу в болоте и ею же, как догадалась Эля по обагренному концу, добивают в ловушках зверьков, лопаткой откапывают ловушки — необходимая палочка, жестокая работа, суровая жизнь, о которой много ей теперь ведомо. Знает она, отчего двери в лесных зимовьях отворяются вовнутрь — заметет снегом, откопаться возмож-

но, набредет медведь — не вломится: он всякое добро тянет только на себя — так все непостижимо просто.

— Ну, благословесь! — обронил почти шепотом в предутреннюю морочь охотник и, удивившись шепоту, не давая подавить себя душевному гнету, прозвенел мальчишеским фальцетом: — Вперед, товариссы!

Шаркнули лыжи, скрипнули полозья, взвизгнула Розка, дернулась, постромкой ее вскинуло вверх, она по-тараканьи заперебирала в воздухе лапами, опала на снег и, бочком прилепившись к ногам хозяина, потянула вместе с ним возок по дорожке, натоптанной к Эндэ. Вспахивался, песчано рассыпался под полозьями и ногами путников приполярный снег, скрипел он совсем не музыкально, а хрустел ржаво, крошился. Возле огороженной слушками проруби приостановились. Прорубку обметало снегом, по кружку она губасто намерзла. Возле нее было скользко, за ночь воронка проруби остыла, подернулась словно бы пленкой бледного жира, под пленкой шевелилась живая вода, вспыхивала пузырьками. Покинутые прорубка, да и избушка будут еще какое-то время жить, остывая. Эля глядела на едва приметную, размазанную слабым светом

избушку, ухороненную в глубине тайги. Отчетливо был виден на льдисто-выстуженном, гладком небе кончик бойко торчавшей железной трубы, почудилось, над нею, истекая, зримо кружится остатное избяное тепло.

По Эндэ петляла тропка. Версты две катили бойко, остановились зачем-то возле обдутого, заголенного ветром до песков обмыска, невдалеке от которого за кустами, забитыми снегом, утрамбованным топаниной зайцев и куропатками, темнел кедр. И хотя у него не было вершины, стоял он богатырски вольно, распахнув на груди лохматье встречь северным ветрам, все и всех растолкав на стороны, разбросив густые нижние лапы по снегу.

— Запомни это место, — сказал Аким, помаргивая ресницами, успевшими окуржаветь, сказал и отчего-то отвернулся, насупившись или скрывая что-то.

«Зачем?» — хотела спросить Эля и не успела, вздрогнула, сжалась, догадавшись. Нарта скрипнула, покатилась, Эля схватилась за нее, но не толкала, а волоклась за возком, оглядываясь туда, за обмысок, на кедр, пытаясь разглядеть под ним или за ним могилу или хоть холмик. Холмов было много, на каждой валежине по холму, густо сухих

поторчин в косогорке: здесь когда-то бушевал пожар или смахнуло заросли бурей, лишь дальше по небу, по яснеющему его краю маячили кресты, и хотя она понимала — еловые это вершины, ей там все казалось сплошным погостом.

Она заспешила, заперебирала ногами, стараясь поскорее уйти от этой мертвой тайги, и почувствовала — ноги увязают. Сделалось тяжелее идти, стало быть, дорожка кончилась.

Эля не толкала возок, только спешила, спешила, суетно перебирая ногами, обутыми в легкие, теплые шептуны, чтоб не отстать, не утеряться. Одышкой сперло грудь, подкатывал кашель. Долго и кругло колотившийся в груди, он полоснул ее и бил до всплесков огня в глазах, до изнеможения — она отпустилась от возка, хрипела, отплевываясь в снег, и когда наконец кашель унялся, хриплое дыхание улеглось и она стала ясно видеть, обнаружила: возок уже далеко — он уходил за поворот речки, оставляя в сыпучем снегу не след, а борозду, сбоку которой видны частые глубокие дырки от Розкиных лап. «Куда же вы? Как же я-то?» — хотела закричать Эля, но уже ноги сами несли ее вперед и по следу, и когда, как ей сделалось легче, она не сразу и почувствовала.

Чуть похрипывало в груди, но она шла, хорошо

шла, бойко, и еще не вспотела — потной немедленно в кошевку, велел Аким, потной на ходу нельзя. Но ехать? На ком? На охотнике, почти до снега опустившем руки, с совсем кругло, в упоре изогнутыми ногами, с шеей, будто у птицы в полете, тонко и непривычно вытянутой вперед, на этой по-бабьи преданной, уезженной собачонке?.. Нет, нет и еще раз нет! Она сама идет и сама дойдет, куда нужно.

Утро разжижало морок, неторопливо накатывало от далекого, казалось, уже зимовья. «Милая избушка-старушка! Прощай!»

Жаль чего-то, может, избушку? Уютная такая избушка, чем-то родная, осталась одна в зиме, в лесу, никто в ней огонька не затеплит, никто не посумерничает длинными-предлинными вечерами в тихих покоях, пахнущих дымом, орехом, смолой.

В тот час, когда с землею небо говорит,

В глухую темнозорь, в остывшем мраке

Огромная, похожая на ночь, вдруг встрепенется птица

И, целясь клювом в дальнюю звезду,

Услышав звон ее, пронзенная сияньем,

Натянется струной, откликнется ответно.

И все вокруг тогда умолкнет и уймется,

Внимая песне, непонятной и тревожной.

В ней телеграфный перестук, щелчки, шипенье, скрипы.

А все, что непонятно, раздражает,

А все, что недоступно, манит…

А по раскисшему, кочкастому болоту крадется зоркий

человек

С ружьем в руке и со слепою страстью в сердце.

А птица все поет!

И блекнут в небе звезды!

И падают за дальнее болото,

Ударившись ребром о твердь земную,

Собою высекают искру.

И небеса, от искры той зарею вспыхнув,

Зальют весь мир сияньем света,

И, хлынув с неба, половодье утра

Затопит землю птичьим звоном,

Движением воды, лесов и трав движеньем

И воскресением земли.

Нам кажется в тот час: весне быть вечно!

И вечно быть земле и небу,

И этой тайной песне птицы,

Раскрошенной звездой катающейся в горле,

Наполненной предчувствием любви.

О песнь любви, ты всем понятна!

И в тех мирах, что нами не открыты,

Наступит срок, мы этой песней объясним себя.

Коль бесконечен мир,

Так бесконечна и любовь!

...А кровь стучит в висках, на уши давит,

И тяжелеет взгляд, и тяжелеют ноги,

Лишь совести легко от ослепленья,

Лишь совесть человечья не болит,

И он идет, и липнут пальцы к холодной тяжести ружья.

И шлепает, и пенится болото.

Всплывают пузыри из раненой земли,

И сердце разгорается от жажды крови.

Что птица? Песнь ее? И дикая любовь?

И, словно оправдавшись перед кем-то,

Перечеркнув далекую звезду зерном ружейной мушки,

Он жмет на спуск и ранит утро, землю, небо!

Рвет черным дымом алую зарю!

Но, дрогнув и качнувшись тяжело на ветке,

Певец не смолк.

Мир рухнул – он поет!

И онемел охотник потрясенный —

Неужто и на самом деле любовь сильнее смерти?!

И вдруг, о радость!

Счастье!

Торжество!

Клубя перо и рвя себя о ветви,

Пошла в полет последний птица,

Пробитая насквозь картечью,

Пробитым сердцем песню довершив.

Перо – как ночь, обрызганная кровью.

И скорбен клюв, припачканный сосновою смолою,

В котором песнь остановилась навсегда.

Убить певца и песнь его убить – пустое дело.

Вот гордости его убить никто и никогда не сможет!

Ну, что же ты, властитель, Бог иль попросту охотник,

Клади в мешок добычу, неси ее домой!

Там ждет тебя голодная семья.

А песня что? Ведь песню не едят!

…Рассвет идет.

Над лесом от хвои озеленилось небо,

И зажелтело спелою морошкой,

И соком княженики налилось.

И птичий хор раскачивал леса.

И речки разбегались в звоне, в пене, в реве.

И сок дерев, и каждая хвоинка светилась, ликовали, пели.

Мир захлестнуло морем света,

Весны и новой жизни торжеством!

...Но птицы тень катилась в свете утра.

Не умирала песнь таинственного гостя

Неведомых ночных миров...

Далеких, недоступных человеку.

Когда-нибудь придет в тайгу землянин без ружья,

Попробует дослушать и понять все песни

И, может быть, узнает с горькой мукой,

Как неразумен был и часто дик он,

И бил не птиц, а мирных, безоружных к нам посланцев,

Старающихся песнею своей внушить любовь

И доброту ко всякому живому существу.

А на земле его свинцом! Огнем! Обманом!

Не думая о том, что там, в глуби небесных океанов,

В иных мирах возьмут да нас, землян, вдруг глухарями

посчитают

И встретят выстрелами в грудь…

Аким все-таки нашел бумагу с обещанным стихотворением. Эля прочитала его вслух вчера, возле печки, после того, как они все собрали, увязали и девать себя стало некуда. Заполнять время делами на завтра не надо, тревогу же необходимо было чем-то глушить, вот и пригодилось стихотворение безвестного Акимова дружка.

Прочитав стихотворение, долго они сидели на чурбаках, склонившись к дверце печки. Эля, подпершись ладонями, не шевелясь, смотрела на огонь. Аким покуривал, думал о завтрашнем походе. Что-то их ждет завтра? Эля пододвинулась к Акиму, как бы успокаивая себя и его, положила ему голову на плечо. Он ее ощупал, бережно натянул мягкий шарф на уголок плеча, притис-

нул к себе, молчаливо успокаивая и ободряя. «Сидеть бы под крышей, в тепле, тихо-мирно и никуда-никуда не ходить…» Глаза защипало от жалости неизвестно к кому и к чему, но скоро все унялось, успокоилось, и Эля под мерное и такое уж привычное шевеление неторопливого огня в дырявой печурке задремала.

В первый переход сделали, по подсчетам Акима, верст двенадцать. Эле казалось — все пятьдесят. Кропотливо отаборивался охотник, рубил лапник, прогревал костром землю, ставил на него палатку, ночью часто просыпался, ощупывая Элю, заботливо подтыкал под ее спину одежку, прижимал к себе, стараясь прикрыть, но девушка все равно мерзла. К утру у нее ломило под лопатками, тугие комки под ними набухли, и она опять дивилась, что слышно их отдельно от всего тела, однако ничего Акиму не сказала, да и говорить не было надобности, он научился по лицу, по дыханию, даже по выражению глаз угадывать ее самочувствие.

Грея чай на костре, обжаривая испеченные перед походом лепешки, охотник прощупывал спутницу растревоженным взглядом, затем нерешительно увязывал багаж, томясь, обозревал небо, принюхивался к тайге, и Эле помстилось,

отыщи он там предвестия худой погоды, с облегчением повернул бы к зимовью, благо от него еще недалеко.

Отошли с версту по ровному, лишь кухтой издырявленному снегу, над низким, как бы приосевшим в забои лесом все курился струйкой покинутый огонек и щемило сердце, нарастало беспокойство.

Вышли к Курейке совсем неожиданно — очень уж однообразна, нудна ходьба по заломникам, толсто укрытым холмами, в излогах, запутанных следами зверьков и куропаток, издырявленных горностаем, мышью, местами притрушенных шелухой изморной кедровой шишки, испещренных восклицательными знаками отмершей хвои — сухо, глезко, падает хвоя, скоро грянут морозы.

Эля притерпелась к монотонности движения, к полусну, к бесчувствию, казалось, так будет вечно: визг полозьев, хрип собаки, кашель, шарканье и тайга да снег кругом, а впереди шаги, шаги, шаги…

И вот Курейка. Криушастая лента реки изузубрена остриями торосов, нагроможденных в шиверах и на перекатах, темной чащею означающих стрежень, последнее движение густой, окрепшей шуги, наползавшей на утесы и вздыб-

ленно остановившейся. Пустынно, мрачно. Даже песцовый мех снежного крошева, обметавшего льдины, не смягчал речной неприютности. Каменная стужа сквозила по глубокому каньону реки, прорубившейся в рыжих утесах, то отвесно, то осыписто подступивших к ней. По распадкам и расщелинам уверенно лежали засоренные мелким камешником — курумником — снега, парили камни-плакуны, ветвистыми наплывами сверкала накипь теплых источников, водяные жилы потоков, набухшие в каменьях. Редкие, сплошь ломаные леса, камешник, насоривший на лед, прибавляли угрюмости и без того дикому месту.

Нигде ни единого следочка.

Аким развел костер на левом, наволочном берегу, взял лыжи, скатился на реку. Притихшая, ужавшаяся в себя Эля, оставшись у костра, смотрела на проступающие в небе тяжелым бредом горы. Летом они ослепительно сверкали, манили белыми вершинами, а в зиму налились тяжестью, означились темным громадьем — не сразу поймешь, что бель вершин прочно и надолго укрыло, впитало в себя низко опустившееся небо. Видны лишь склоны, ущелья, осыпи, серые и грязно-желтые останцы в разгорьях. Дальше, выше

накатывают мощные валы седловин, перевалов, вздыбленные рыжими, выветренными утесами, на которых, рассказывал Аким, в недоступной выси, на одиноких лиственницах качаются, перетирая сыромятные ремни, обожженные колоды с навек уснувшими охотниками и оленеводами, обитателями этих пугающе безгласных краев, постепенно переходящих в надгорья, холмы и беспредельную дымчато-качающуюся тундру, которая после угнетающей глаз и душу голой каменной округи блазнится легкой, светлой, приветливой землей.

На реке залаяла собака, хлопнули два выстрела, и лай оборвался. Скоро к костру выкатился Аким, молча бросил к ногам Эли трех куропаток. И она с готовностью принялась их теребить, дуя на терпнущие пальцы.

— Куропатки на тальниках, что снегу, — заговорил охотник, навешивая котел над огнем. Прикурил, пошевелил дрова, поморщился. — А дороги никакой нет. Старая-старая борозда от оленьей нарты — еще по забереге бойе на промысел чалил…

Опустился морок. Коротенький день, напоминающий мохнатую, невыкуневшую зверушку, сворачивался вокруг костра, прятал выстужен-

ный нос в мякоть снегов, западал в леса и горы. Огонь слабенько шевелился, прожигая себе дырку в зимней мгле, временами приподнимался, пробуя раздвинуть свинцово сдавившую его со всех сторон холодную твердь ночи, и, вдавленный обратно в оттаину, сердито стрелял искрами, шипел, посипывал, наконец, обессилев, унялся, и костерок растекся едким дымом по ельникам. Но едва хрустнула морозом ночь, выпрямился дым, вытянул за собой огонь из снега, в накатом сложенных сухаринах зашевелилось, забухало пламя, и попавшие в дым искры, кружась, летели высоко, долго, иные, так вроде бы и не угаснув, прилеплялись к небу звездами, и час от часу гуще и гуще их там насобирывалось.

Палатку нагревали котелком с угольями, да где же улицу нагреть, к тому же такую широкую? С великим трудом перемучили ночь, у которой вроде бы конца уже не было. Утром Аким нарубил в костер толстых комлей, сверху навалил выворотень и, наказав Эле никуда не отлучаться, держать огонь, взял ружье, рюкзак с едой, патронами, котелок и укатился по вчерашнему следу к реке. Розка, мотнувшаяся за хозяином, тут же вернулась, помотала Эле вопросительно хвостом — почему, мол, ты не идешь? Девушка потрепала

ее по шее и толкнула на след. Розка послушно потрусила, куда велели, однако все время оглядывалась, но вот поймала след и, обо всем сразу забыв, залилась, залаяла, голос ее, вызвоненный морозом, разносился далеко окрест, тревожил спящую тайгу.

Ударил выстрел, и вновь все смолкло, остановилось. Белая земля спала непробудно, и все окрест словно бы открыто прозрачной пластушиной льда, не пропускающей тепла, звуков, движения. Даже пар по распадкам не плавал, а незаметно возникал, густел, набухал, собирался в ворох и переходил в равнодушно-пустое морочное небо, которое, не поймешь, стояло, двигалось ли над лесом, над горами, и эта пустота непроглядного, нигде не начинающегося и не кончающегося неба, сплошного ли облака давила на сердце ощущением безнадежности, охватывала сонным безволием.

Но где-то дрогнула земля, послышался дальний гром, будто высыпали в пустой погреб картошку — это зашевелился, поплыл, потек с гор перемерзлый камень. Увлекая за собой курумник, песок, всякое крошево, нарастая, ширясь, катился он, рушился из поднебесья, и поднималась над обвалом грязновато-серая пыль, долго оседала

затем на снег и лед, покрывая его серебрящуюся, сверкающую искрами белизну мертвенно-серым налетом. И долго еще язвами гноилась река, выбуривало в раны пробоин темной кровью, медленно их заживляло морозом, бинтовало белой марлей, запорошивало снежной ватой.

Страшны, ох страшны осыпи-капканы, летом страшны, о зиме и говорить не приходится. Летом медведь сутками преследует оленя, пока не загонит в курумник, где животные ломают ноги. Хищная морда лежит невдали, «парит» мясо в камнях, а потом кушает его всласть. С широкими лапами, мешочно-мягким туловищем самого косолапого редко давит в осыпях. Случается, он «плывет» вместе с курумником, и не поймешь: дурачась или со страху блажит на всю округу, пока не шмякнется в воду или не изловчится выскочить из потока.

Спит медведь, спокойно спит в своем укрытом «дому», но живут осыпи, звучат, движутся, грохочут по онемелой земле, укрытой снегами, пробивают броню Курейки-реки.

Как много земли-то кругом! И вся она белая, вся в ровных снегах, ни дорожки, ни тропки, ни единого следочка — иди куда хочешь.

Аким поднялся в горы, достиг осередыша,

свалил сухостоину, расположинил ее, и скоро в поднебесье, где холод был ясен и звонок, свет неба близок, хотя и вяло, не жарко — воздух-то разрежен, — горел костерок. Пламя отгибало к Курейке, всасывало дымок в каньон, в снегу под огнем поникивало. Пока натаивался снег на чай, Аким, отдыхиваясь, устало уронив руки, сидел на сутупке и глядел сверху на прихотливые изгибы Курейки. Эвенки зовут ее Нума, Люма — ласково-то как, прямо прилипает к языку конфетой. Так и только так возможно называть место, надежно тебя питающее, дающее не только приют, но и смысл существования, и любовь, из которой затем прорастает тоска по земле, по такому вот, пусть дикому, но родному ее уголку.

Эвенки не верили в смерть и тлен, переступая из одного мира в другой, они просто делали перекочевку из местности в местность и потому снаряжались основательно, брали с собою нарты, чайник, котел, луки, копья, после ружья, капканы, нынче на могилах и в колодах можно найти пол-литра водки, транзисторный приемник. Однажды Аким видел на захоронении эвенков баллончик с аэрозолем, привязанный к березке, — а ну как на том свете гнус одолеет? На сучке той же березки выветривалась папуха денег

— вдруг вздумается бойе в магазин забежать, а денег с собою нету!

Нума, Люма, Курейка! А где-то за нею тоже белый широкий Енисей. В него ткнулась крупной ледяной иголкой речка Боганида, в устье ее еще торчат небось два-три столба, может, и будка еще не сгнила, она крашеная, будка-то, крепкая. Хорошо бы почувствовать свой предел, отправиться на Боганиду и лечь среди тундры на мох, под свитые корни стлаников, рядом с теми людьми, которые любили тебя в детстве и которых любил ты. Да как узнаешь приход последнего дня и часа? Разучились люди в суете думать о смерти, готовиться заранее к вечному кочевью, нет его — вызнали шибко умные люди; каждый со школы знает: смерть — темень, прах, тлен; умирать — значит пропасть насовсем, сгнить, червям себя скормить. Легче ли вот стало людям от этого знания? Вопрос! Большой вопрос и смутный. Потеряв веру в бессмертие, не потеряли ль они вместе с нею и себя? Отчего-то ж тужатся иные люди хоть на неделю, хоть на день, хоть на часок отдалить смерть. На преступление иные идут ради этого, других людей пытаются вместо себя вперед высунуть, да не выходит, не получается пока — от смерти не загородиться, не откупить-

ся. Ткнешься где-то в неизвестном тебе месте, и ладно, коль не затеряешь себя сам, как Петруня, в тайге. Но тот хоть во всамделишной, зеленой тайге потерялся, чаще-то люди затериваются в людской тайге, торопливой, занятой собою, захваченной будничными заботами. Бегут, бегут куда-то, выронят из стаи своего собрата и, как припоздалые, стужей гонимые птицы, даже не оглянутся. Лишь вскрикнет, проголосит одинокая самка в табуне, приотстанет чуть-чуть, сделает круг над упавшим самцом и заторопится вослед несущемуся табуну…

Курейка — пустынная река, не замерзла еще в порогах, парит. С высоты видны разверстые пасти полыней, изодранное белое лоскутье льда — нагромождения торосов. Черно, бездонно спешится вода, шевелится устало в оледенелых камнях. Что-то незавершенное есть в природе, в зиме, в неприкаянности и пустоте измученной реки, сама природа как будто мучается вместе с нею.

От порогов до камней-плакунов направо и налево непролазные скалы, подпертые сзади горбинами перевалов и дальше — темной моросью тайги. Прошел бы, прокатился на лыжах, где заберегой, где закрайком, где узкой жилкой распадка, но один! Один — сам себе господин!

Потеряешься, сорвешься с обмерзлых камней, попадешь в обвал, уйдешь под лед — сам, один! Жалко, конечно, себя будет, всем себя жалко, да жалость потухнет, как этот вот одинокий костерок, и никому от того ни жарко, ни холодно.

Нума, Люма, Курейка — ходу ей семьсот с лишним верст, она в пути два озера делает — Анаму и Дюпкун. Питается Курейка водою вечных снегов и течет по вечной мерзлоте. Вечные снега мертвы, но сколько рек, озер, болот, лесов, цветов, травы живет ими! На Енисее ледоход всегда получается раньше, чем на Курейке, и тогда спертая вода катится по притоку вверх, тревожит, шевелит высокой водой лениво спящую Курейку, и которой весной полмесяца, которой дольше течет она вперевороть, взапятки, обратно сваленная: очнувшись, колотится, ревет, мечется; дурная в общем-то река — многоводная, длинная, а транспорт далеко не пускает. Вертолетам доступна да лодкам, если силы у лодочников много и кишка не тонка.

Обломать бы горы, спуститься за так называемую «параллель» к редким, болотистым лесам Заполярья, прижавшим к Губенской протоке смирный зимней порою городок Игарку. Один, да на лыжах, да с собакой — в три-четыре дня при-

шлепал бы в городок, попарился в баньке, выпил с дружками-приятелями и рассказал бы про весь тот «тихий узас», который стрясся с ним в тайге.

К стану Аким вернулся затемно, принес в мешке белок, песца и соболька тощего, загнанного собратьями в бескормные прибрежные скалы. Оснимав шкурки, охотник нагреб в котелок углей, занес в палатку, нагрел ее изнутри, снял с себя полушубок и велел Эле снять полусак, делавший ее старой, сгорбленной старухой.

«Зачем?» — спросила она его взглядом, и он молча же вперился в нее: «Раздевайся!»

Эля боязливо свела лопатки, съежилась. Ухо Акима, будто холодная телефонная трубка, коснулось спины, вжалось в тело. Вроде бы и не человеческая дыхалка работала под ухом, а поршневой движок хрюкал, фукал, скрипел соплом, дыхание путалось, цеплялось за что-то, хрустела и шлепалась внутри больной мокрота, будто сметана под мутовкой.

— И как там моя душа, доктор? — силилась шутить Эля, дрожа обсохшими губами.

— Неважно.

— Что ж нам делать? Помирать? — все еще пытаясь удерживаться на шутливой волне, вымучила улыбку Эля, натягивая на себя остывшую

одежду.

— Зачем помирать? — отозвался Аким. — Зачем помирать? — И по его отстраненности она внезапно поняла: он-то не шутит, он к возможности помереть относится всерьез.

— Акима, миленький! — выводя охотника из задумчивости, тронула она его. — Я выдержу… Я наберусь сил… — и заторопилась отогнать от него, а больше от себя тревогу. — Не бойся гор! Кабы Кавказские — другое дело! Эти невысокие. Сколько там, пятьдесят, сто километров? Пройдем! Я помогать тебе… Розка, я. Пойду ногами, пойду… Не надо стоять. Почти сутки потеряли. Дни короче и короче… Я так-то здорова, только легкие… Но люди с туберкулезом, даже с одним легким живут. Борются. Мы выйдем, выйдем, Акима!..

«Чего-то чует, — насторожился Аким, — но не понимает, все еще не понимает. Слова тратит… Ничего здесь слова не стоят».

— Ладно, будем спать. Утро вечера мудренее, как говорится, — прервал он спутницу.

Эля благодарно улыбнулась ему, в глазах ее блеснули слезы. Она обняла охотника, приникла к нему и успокоенная заснула в нагретой палатке. Аким ее ничем не тревожил, старался лежать

неподвижно, дыша на грудь женщине, чтоб не пропадало тепло даром, пусть и малое.

Ледяная беззвучная ночь лежала вокруг, сдавливала, коробила палатку, а в глазах Акима все не гасла, цвела вечерошняя заря…

Как хорошо, просто здорово, что, задумавшись глубоко, он просидел вчера на осередыше до нее, до этой зари.

Костер почти потух. Возле ног охотника, упрятав в пышный хвост всю узенькую мордочку, спала Розка. Над Курейкой, выше парящих полыней, выше осередыша, выше ломаных, расщепленных, изодранных утесов, за грядою перевала, черноту и угрюмую наготу которого отчетливо высветляло желтым светом где-то закатывающегося солнца, неделю как здесь уже не объявлявшегося, и только свет этот дальний напоминал, что солнце живо и там, далеко в западной стороне, люди видят его в небе, на привычном месте.

Зато здесь, в громаде каменьев, среди холода и снегов, свет дальнего, безвестного солнца только усиливал чувство подавленности, одиночества, особенно ощутимого среди тех пространств, что открывались с высоты. Кипрейная нежность зари обвяла, только занявшись; холодным блеском тя-

желого золота ослепило, залило живую небесную плоть, слиток металла, погружаясь в глубину скоротечных сумерек, расплавлял твердь горных вершин, и когда зазубренным ребром, совсем уже твердый, остывший ввалился этот слиток из прорванного неба в узкую горную расщелину, небо еще долго оставалось продранным, и в проран, в небесную дыру, смотрелась и дышала мертвым холодом бездна.

Призрак солнца, этот верхний, уроненный небом и всосанный чернью каменьев свет, предвещал морозы. Скорые. Начнут лопаться в тайге деревья, с глухим звуком станет рвать камни. Раскатываясь по каньону реки, глухой звук будет полниться, приближаться, нарастать и ахнет громом так, что содрогнутся горы, рухнут обвалы, увлекая за собою потоки мерзлых, сыпучих лав. И только тогда, в трескучие морозы, отмучается, успокоится всюду и в порогах тоже Курейка, загонит ее под лед, и только тогда будет возможно пройти к устью, к поселку, к людям. Да выйдут ли вдвоем-то? Одному же ему пути отсюда нет.

Аким хотел уже подниматься. Розка почуяла его движение, вскинула голову, заспанно уставилась на него, как что-то коснулось неожиданно слуха, заставило придержать дыхание — с неба,

оттуда, с затемненной северной стороны, нарастало гудение, и скоро на слабом свету, идущем от горных снегов, от остатного ли блеска зари, поднимающегося из расщелины, возникла темным перышком вытянутая фигурка самолета с зеленым глазом под брюхом и красно, больно, в глаза стреляющей лампой на хвосте.

Самолет, по прикидке Акима, прошел почти над самой избушкой, оставленной, брошенной в лесу, на речке Эндэ, благополучно перевалил через горы, неторопливо уплыл дальше, на минуту весь обрисовавшись от хвоста до крылышек, и скрылся, не черно, а серебристо сверкнув за горами в небесном проране.

«Ах ты, самолет-ероплан! Посади-ка нас в карман!» — унимая забившееся сердце, радовался Аким, но тут же суеверно умял ту радость, затолкал подальше — может, это случайно самолет… забрел на Север и кружится? Зимовщиков высаживал, научный какой, может, искал кого, может, на полюс на Северный летал? Мало ли…

Но сомнения оспаривались, в голове было несогласие — начали ходить рейсовые самолеты на Хатангу, начали. Зима набрала силу, лед крепок, можно садиться на реку, на озера. И как он запамятовал? Почему? Но откуда знать, что

трасса на Хатангу проложена здесь вот, над его, Акимовым, становищем? Расспросить? Чего же расспрашивать-то? Он не собирался бедовать в тайге, он охотничать, работать в ней собирался.

Конечно, рейсовый самолет есть рейсовый самолет, надеяться на него рисково, но больше надеяться не на что и не на кого.

Холодом подняло и выгнало их из палатки, когда еще небо не отбелило ни с какого края, и кичиги, как называли в древности созвездия, ледяным крошевом пересыпались в небе, над жарко нагоревшим огнем, который калил лицо, пек до боли, почти выдавливал глаза, но от мороза совсем не спасал. Аким заболтал в котелке затируху из муки и сухого птичьего мяса. Пили ее кружками, пресную, недосоленную, пахнущую дымом. И, слава Богу, в середке потеплело. Пока охотник в сердитом, как показалось Эле, сосредоточении с хрустом складывал оиндевелую, негнущуюся палатку и привязывал к кошевке багаж, в котелке снова натаял снег, громко заклокотало, запарило из посудины. Заварив покрепче кипяток, Аким слил его в маленький термос, остатки дал попить Эле и, что-то в себе перерубив, отверженно, почудилось, даже со страхом, произнес:

— Ну, вроде бы все? Двинули!

Шли торопливо, не шли, можно сказать, бежали. Эля задохнулась морозом, кашляла. Аким пихнул ее в возок, укрыл палаткой, с боков подтыкал, завязал шарфом рот, натянул башлык полусака, оставив только глаза, постучал по плечу, шевеля затверделыми от мороза губами: «Держись!» — и попер возок, то и дело обваливаясь лыжами в забои, увязая в валежнике, задышливо взбадривая Розку, себя ли:

— Жми, мои милые! Жми! — И сначала еще пробовал взвеселиться: — «Жми, Фома, деревня близко...» — Дальше там шли озорные слова: «У милашки свет потух. До нее дорога склизка, разрезай лаптей воздух!» — но договорить их у Акима не хватило дыхания. Он гнал себя, гнал собаку, а вокруг все напряженней сверкали перекаленные снега, сухо потрескивали, ахали в глуби остекленелой ночи деревья, струями текла с дерев шорохливая крупа, рыбьей чешуей бусила, клубилась миражная, сгущающая воздух сыпь, нарастала тишина, и еще холодней, еще льдистей светились цепенеющие звезды в глуби бездонного и бесчувственного неба.

Сжимало сердце, ломило уши, слепило глаза стылостью сверкающих снегов, покорностью разъеденного леса, заговоренно опустившего ла-

пы в снег. Всякое дерево, нищенски обтрепанное, ощетиненное сучками, стояло со своей отдельной тенью, словно бы застыв в безгласной молитве о вечном терпении.

Шуршал, скрипел, сверкал под лыжами снег, надсадным дыханием рвало рты и груди Акима и Розки, кошевку накренивало, бросало с валежины на валежину, с кочки на кочку, полозья взвизгивали, точно раздавливая крысу, и катились дальше то плавно, то рывками. Элю охватило безразличие, думалось тупо и все о вечном, о Древнем Египте, почему-то о таинственных жрецах и жрицах и еще о вымерших в Индии городах, заблудившихся среди джунглей, о скитающихся кораблях, покинутых людях и о всяком таком вот. Все земное, близкое отдалилось в пустыню стылой, смиренной ночи и тайги. Тут и себя забыть просто, и забыл бы, если бы не боль, ломящая лицо, льдом слепляющая глаза и ноздри.

— Не спа-ать! Не спа-ать!

Содрав лед с ресниц, Эля увидела Акима, опершегося руками о возок. Весь он в снегу, в куржаке, все на нем состылось, шуршало, дыхание рвалось, глаза в мерзлых щелях светились всполошенно, на щеках пятна млечного цвета. Эля никогда

не видела обмороженных людей, но все равно испугалась — так, только так, бескровно, чужеродно может выглядеть отмирающее тело. Аким черпнул снегу рукавицей. Эля, всхлипывая, торопилась оттирать лицо охотника и, чувствуя, как ему больно, лепетала какие-то слова, просила потерпеть, рассыпала снег, черпала его, черпала. Клоня лицо все ниже и ниже, сжимая до хруста в пальцах бортик нарты, Аким матерился сквозь стиснутые зубы:

— Што ты как без рук!.. Д-душу твою! — оскалился мокрым, жженой рукавицей измазанным лицом. — Шибче три! Шибче!

И снова бежал, задыхался Аким, скребся почти на четвереньках, а возле него хрипела, взвизгивала Розка, красно пятная снег изорванными лапами; не попискивали, не крякали, не скрипели, а живым визгом исходили полозья нарты. Их подбрасывало, кренило, дергало все резче, и что-то выпало, зачернело сзади на снегу. Эля кричала о пропаже, но Аким даже не обернулся и, если оторвется нарта, подумала Эля, он тоже не оглянется, как шел, так и будет идти до тех пор, пока не упадет, — ничего он уже не слышал, не понимал, не чувствовал.

Страх, ни с чем не сравнимый страх охватил

Элю, гнал ее следом за возком и охотником с собакой. Не думалось уже о вечности, о вселенной, о затерянных городах и древних странах, ни о чем больше не думалось — все вытеснил страх. Ощущение нескончаемости пути, пустоты, беспредельности тайги подавило не только мысль, но и всякое желание, кроме одного: остановиться, прилечь возле живого красного огня и перестать сопротивляться — все равно никуда не придешь, вернее, придешь, куда все в конце концов приходят, так какая разница — раньше или поздней?

Раз-другой покоробленные шептуны ступили на что-то твердое, каткое — кошкарник, выворотни, подумалось ей, но вдруг блеснуло — след! Они идут по следу, несколько правда странному. На передувах и взабоях снег прорыло чем-то тупым, на чистине след раздваивало, виделись лыжные бороздки, собачья топанина. Горы, ломь оголенных громад, зловещей воронью чернеющих над белой лентой реки, отдалились в призрачность неба: сплюснутые, они там пластами соединялись с громадой недвижной небесной тверди.

Горы остались сзади. Значит, они их когда-то перевалили, значит, они идут к жилью, к становищу, к чуму, к рыбацкой бригаде! Не все ли равно? Лишь бы выйти на свет, на люди. Здесь

погибнуть не дадут. Ототрут, отогреют, напоят, накормят, на оленях доставят куда-нибудь, полечат и на самолете домой, к маме, в Москву отошлют.

Да неужели они есть: мама, Москва, люди, много людей! Никогда-никогда и никуда она больше не поедет, никогда не оставит мать, пусть курит табак, пусть ругается с авторами, «спасает» их. Стало быть, Аким попал на след, потому так и торопится, загоняет себя и Розку. «Бедный Аким! Хороший Аким!»

В лесу чуть посветлело, поослаб мороз — незаметно глазу, но ощутимо лицом помягчало в тайге, деревья реже хлопали разрывно, зато сильнее хрустело, сыпалось сушье и трупелый мох-бородач, слепленные холодом в табачные папухи, шорохтели листья, и эта невидаль отчего-то тоже пугала Элю.

Остановились в неглубокой разложине, засиненной от теней ли леса, от все еще тянущегося рассвета иль от подступивших уже сумерек. Эля упала грудью на возок. Аким еще набрался сил развести огонь, навесить котелок и тоже упал на тонко набросанный лапник, который, хрустнув, раскрошился под ним. Лицо Акима в кровяных царапинах, уши вздулись, кости скул завело под

глаза, косицы старчески запали. Пили чай, не экономя сахар, пили жадно, много. Руки Акима дрожали, вздутые жилы черно ветвились, ровно бы звеня от надсады, по белкам глаз растекались лопнувшие сосуды, веки набухли, вывернулись мокрым исподом, и не взгляд, не глаза Акима так дико светились ночью, а это вот набухающее и набухающее мокро, под которым ничего, кроме смертельной усталости, не угадывалось.

Распечатав последнюю банку сгущенки, Аким погрел ее на огне, хлебнул пару ложек, наболтал молока в кружке и дал полакать Розке. Собачонка недоверчиво глядела на хозяина, пошевеливая хвостом, он приоткрыл глаза: «Ешь, ешь!» И она, всегда такая робкая, забренчала кружкой, заприхлопывала громко языком. «Правильно! Чего продукты жалеть? Придем к людям, у них все есть, и молоко, и сахар. А собачка чистая, в тайге живет, на снегу спит, дичью питается. Ей можно и из кружки. Собака — друг. Розка — друг, вдесятеро вернее иных людей!..»

Снялись. Пошли. Костям больно отчего-то, и голова болит, в ушах звон. Гнали, не останавливаясь, без передышки, отчаянно торопились. Аким начал спотыкаться все чаще и чаще, вот и упал лицом в снег, поджал под себя руки. Розка скули-

ла, лизала его в шею, в затылок. Эля склонилась над Акимом, боязно тронула его рукавичкой. Упершись руками в снег, Аким сел, обмахнул рукавом лицо.

— Теперь иди. Сколь можешь. — Но все же он сжалился и потом, в какой-то час дня или ночи, до звона все выморозившей, слыша надсадный, хриплый кашель сзади, сорванно прохрипел: — Держись за нарту! — и, подышав, всхлипнул: — Не отставай!

Боясь отпуститься от возка, Эля перебирала не своими уже ногами и не только думать, замечать что-либо, ощущать потеряла способность. Кашель выбивал оранжевые вспышки в голове, валил ее на колени, тело покрылось мокром. «Погодите! Постойте! Я больше не могу!» — волочилась она по снегу. Но ее не слышали, и она осиливалась, привставала, тащилась за кошевкой, не чувствуя уже, как смерзаются глаза, губы, мокрые от кашля, как закаменело под лопатками и совсем нет дыхания, тошнота давит, выжимает из тела холодный пот, шум и звон в голове покрыли все звуки, все шорохи, яркие круги, вертящиеся перед глазами, сожгли весь белый свет и воздух. Хоть бы глоточек, один глоточек теплого, живительного воздуха!

В бреду, наяву ли она нашла, нащупала Акима в затени, привалившегося спиной к дереву. Ветви густо завязли в снегу, получилось что-то вроде шатра, здесь как будто было теплей. Воспринималось только это да освобождение от труда, от изнурительного бега, ломящего кости. В бреду иль наяву она увидела перед собой не лицо Акима, нет, не лицо — маску, вздутую, обожженную до кирпичной красноты, и по ней наземной, грибной россыпью бурились пятна. Выстывшие, загнанные глаза светились красным, разящим оком и горели одной уж только силой упрямства и злобы. Она или не она, совсем какое-то другое существо, раздавленное ужасом надвигающейся смерти, ползало возле обмороженного, распластанного под деревом человека, тормошило его, тыкалось губами в лицо и, чуя окаменелость щек, носа, уже не просило опомниться, встать, идти, а вперебой с кашлем выстанывало:

— Прости меня!.. Прости! Прости!..

Когда-то, пижоня, балуясь, забредала Эля в Елоховскую церковь на святые праздники, давилась в толпе зевак верующих и вот теперь, на краю гибели, тужилась припомнить хоть что-нибудь из слышанных тогда молитв: «Боже, милостив буди мне, грешному, Отче наш, иже на небеси…

Да святится имя Твое!.. Ради Пречистыя Твоея Матери, помилуй нас!.. Отврати лицо Твое от грех моих… не отвергни… Воздаждь ми радость спасения…»

Слезы вымерзли, остановился крик. Она привалилась к Акиму, обняла его, спряталась лицом в то место, где за оторванной с мясом петлей, в меховом разъеме полушубка, под мягким, заячьим, ее руками связанным шарфиком рыгало горло, толчками вздымалась грудь и слышался хрип: «Молись! Молись ишшо».

И она послушно шептала, обращая молитвы уже не к небу, а к нему, к мужчине, к земному заступнику и покровителю, который во веки веков был опорой и защитой женщине, кормильцем ее, хозяином и господином. Так было. Так есть. Так будет. Никто, кроме него, мужчины, не спасет ее, слабую женщину. Надо подняться. Надо! Надо!

И, поражаясь таящейся в женщине неистовой жажде жизни, он одолел слабость, поднялся, постоял на карачках, увязив руки в снегу. Оскалившись от боли, скуля по-собачьи, он выкачал себя из снега, пополз из-под дерева на четвереньках до синеющего следа. Там выпрямился, стал, шагнул, и Розка дернулась, затявкала. До этого он пинал, бил, топтал в снегу Розку-то, но она

все простила воспрянувшему к жизни хозяину, который, искупая вину перед ней, перед кем ли еще, волок теперь и ее, и Элю и не мог уже ни кричать, ни материться, только хрипел погибельно, и хрип этот и был криком, что еще поддерживал его, не давал упасть.

Розка к чему-то принюхалась, туже натянула лямку, еще длиннее вывалила язык и зачастила, зачастила кривыми лапами, до мяса исструганными снегом и глызами. Аким, не сбавляя хода, обернулся — руки его сцеплены на лямке, из-под которой выбивало пар, полушубок распахнут, шарф волочился по снегу, он приступал конец шарфа: «Падай!» — мотнул головой. И, зная, что приказание не повторится, сразу поняв, чего делать, не думая об Акиме и Розке, о том, как они ее повезут, не жалея их, а радуясь своему счастью, Эля опрокинулась в забитый снегом возок.

Ход нарты замедлился, она почти остановилась, но в струнку вытянутые человек и собака все же тащили — не возок, а непосильный воз — куда-то ввысь, в гору, и она сжалась в кошевке, в себе, чтоб быть меньше, легче, чтобы хоть как-то помочь человеку и собаке. Пыталась снова молиться, но не могла уже вспомнить не только молитвы, даже единой церковной фразы. Из

скованного каленой стужей рта выталкивалось только: «Боже!.. Боже!.. Боже!..»

На припорошенном чистым, новым снежком пороге избушки, разбросив руки, врасшеперку лежал человек с лямкой и ружьем через плечо. За поясом его блестел топор. Человека рвало. Собака с игрушечной шлейкой на худом, ребристом тельце, со вдавленной на плечах шерстью, торопливо и угодливо обихаживала крылечко и попутно хозяина розоватым, ловким языком.

Дверь избушки заперта таяком, у стены сухие еловые слеги, источенные короедом, на них навален лапник — для ухоронки. Возле двери на бревне стес, все еще желтоватый! На бревне когда-то кривлялась черными каракулями матерщина. Таяк, с которым ходят на охоту, — палочка такая струганая, в деревянную скобу продернута и концом уперта в подгнившую укосину двери лесного зимовья. Кончик трубы над крышей, прогорелый до дырок; дрова под навесом, чтоб не заметало, тропка, пробитая к речному спуску, и следы, много следов, сделанных криво сношенными валенками, и торопливый, густой собачий след, будто набросанный ветром мятый лист.

— Ты куда меня привел?!

Человек не хрипел уже, но корчился на крыль-

це, он сидел на приступке, отплевываясь, отдыхивался.

— Ты куда меня приве-ол?! — Эля с неожиданной силой схватилась за отворот полушубка спутника, дернула его с крыльца, затрясла, заколотила кулаками в грудь.

Он сморенно смотрел на нее, ничего еще не понимая, но вот решительно отстранил ее рукою, снял с себя состывшуюся лямку, распряг собаку. Высвобожденная из шлейки, она встряхнулась, стала кататься по снегу.

— Ототри мне лицо, — зачерпнув снегу рукавицей и протягивая Эле, приказал он, — да не царапайся. Больно.

Подавленная его спокойной властью, Эля покорно оттирала лицо охотника, сдирала шляпки бледных, обугленных по краям грибов-поганок, но нутро ее наливалось теменью, клокотала в нем злоба, какую она в себе не подозревала.

— Ему больно! Ему, видите ли, больно! — начала она придушенно. — А мне нет? — Завизжала вдруг: — А мне нет?! — и начала хлестать рукавицей по лицу, еще бесчувственному, неоттертому. — Гад! Гад! Гад! Ты куда меня привел?! Я к маме хочу! К маме! В Москву! Гады! Гады! Гады! Все гады! Что вы со мной делаете? — Рукавица

улетела в снег, и она била его со щеки на щеку усохшей до кости рукою. — Я умру здесь! Подохну! Я не выдержу! Не выдержу-у-у!

Аким поймал сначала одну ее руку, потом вторую, сжал так, что она задергалась подранком. По подбородку из разбитой губы текла кровь. Он вытер губы, посмотрел на ладонь и придушенным шепотом вытолкнул:

— Они свою только боль слышат, свою только жись ценят! — и с небывалой слепой яростью заорал тоже: — Не выдержишь?! Сдохнешь! Песцам скормлю такую слабенькую! Хоть какая-то польза! Нет, еще разок услужу: закопаю рядом с хахалем! Там! — Он ткнул рукой в сторону Эндэ. — Чтоб не скучно… Ну-ка! — отпихнул ее Аким с дороги. — Путаесся токо под ногами! — Он принялся выдергивать из возка рюкзак, вынул котелок, набил его снегом, свежим белым снегом, соскребая тонкий его слой с поленницы, а кровь все сочилась из губы, тянулась ниточкой по подбородку, путаясь и насыхая в торчках обмерзлой бородки, и он слизывал, слизывал с губы кровь, которая не свертывалась на морозе. Эля видела на бели его зубов красно плавающую пленку, и ее нудила тошнота. Проходя к дверям избушки мимо нее с котелком, набитым снегом, в одной руке

и с горстью желтой бересты в другой, он ровно бы споткнулся о девушку в неуклюжей, обмерзлой одежде, синюшно-бескровную, по-щенячьи дрожащую, но все такую же упрямо-злую. — Не угодно ли войти в помессэнье! — Бросив бересту, Аким схватил ее за шкирку, будто кутенка, и поволок к избушке, матерясь с такой ненавистью, что она испугалась, засеменила.

Дверь зимовья крякнула, заскрипела, и Эля полетела в глубь выстывшей избушки, ударилась грудью о низкий столик, сползла на пол. Так она и стояла на коленях, положив руки на столик, лицо на руки, и слышала, как хозяин бренчал поленьями о печку, чувствовала, как поплыл по избушке густой дегтярный запах разгорающейся бересты, как обрадованно трепыхнулась и загудела печка. Скоро зашипел на ней снег, подтаявший в котелке. «Чаю бы скорей. Горячего! Горячего! С сахаром!..» — подумала Эля и сглотнула слюну, но слюна не смочила горло, застряла — так в нем было сухо.

И пока растоплял печку Аким, таскал манатки с улицы, ходил взад-вперед, все он ругался, но уже не люто, и не ругался, а ворчал:

— Капризулечки! Купоросочки!.. Спасибо, што дошли! Не знаю, какому угоднику и свечку

ставить. Съели бы нас зверушки, потом с тех зверушек шкурки бы содрали таким вот цацам на воротники да на шапки!.. Нас-то бы съели — туда и дорога! Розку жалко! Она-то, бедная, за што страдает? Ее-то за што стравили бы? О-о-ох, падлы!

Розка, напуганная руганью, но еще больше убитая дорогой, распластанно лежала за печкой на дровах, однако, услышав свое имя, нашла силы поднять голову.

— Собаська! Спи! Отдыхай! — приласкал ее Аким. И столько было нежности в его голосе, что в Эле снова начала вскипать обида: она хуже собаки!

От печки донесло теплом. «К печке надо, к печке!» — и, перебираясь по нарам, она, как слепая, поползла ощупью к печке, нашарила за нею Розку, обхватила ее руками, уткнулась лицом в густую шерсть, не различая уже того запаха псины, который когда-то так трудно переносила. «Собачка ты моя, собачка! Собачка ты моя, собачка!» — пронзающая жалость душила ее, расслабляла, убаюкивала.

Проснулась она от грубого, сильного толчка и почувствовала, как ей сыро, жарко, душно, как больно рвет лицо, как горят и отходят отерпшие

руки, ноги, как поет все тело.

— Поедим, што ли?!

Больше Аким с нею не разговаривал, да и в избушке, кряхтящей от лютого, ошеломляющего мороза, появлялся поздно ночью, ел, чего ему давали, пил чай, захлебываясь, стеная и, опрокинувшись на топчан, тотчас же засыпал, уставив вверх заостренное, серым мохом подернутое лицо.

Эля топила печку, варила еду, закрываясь ладонями, кашляла, лечила себя наварами мерзлой брусники и таблетками, которые Аким выложил все разом на стол: «Хочешь жить — лечись!»

Еще осенью Аким облазил грозовым валом обрушенный лес на Эндэ, за тем обмыском, на котором царил старый кедр, и вот пластался в нем, ворочал сушняк, возил его на обмысок, возле которого, под кедром, не ведая бед и печалей, спал теперь уж воистину свободный человек Георгий Герцев. Морозы, как водится в Приполярье, сменятся метелями — затяжными, свирепыми, совсем тогда гиблое время наступит. Аким торопился до снеговалов запалить большой костер, придавить его ворохом сырых ветвей, чтоб выше и гуще стоял дым. То, до чего он не мог додуматься прежде, что пришло ему в голову там, на осере-

дыше, когда он, глядя с вышины на курящуюся зимним паром реку, потому, видно, и названную Курейкой, услышал и увидел рейсовый самолет, вселяло веру: пилоты, раз в сутки пролетающие над становищем, заметят, не могут не заметить дым постоянного костра.

И пилоты, на то они и полярные пилоты, не сразу, не вдруг обратили внимание на настойчивое, тревожное свечение костра даже в ночи и сделали из авиаотряда запрос по всем местным радиостанциям: есть ли кто в квадрате номер такой-то на среднем отрезке речки Эндэ?

— Есть! — откликнулись радисты Охотсоюза.

Над обмыском, помеченным темной вехой одинокого кедра, морозно хрюкая, снизился вертолет, сбросил на веревке сумочку, в которой была походная аптечка, суточный запас продуктов и записка с вопросом: «Что случилось?» Аким сунул в сумочку заранее приготовленную писульку: «В зимовье тяжело больной человек. Прошу помощи». В ответ ему, уже без веревки, в той же сумочке сбросили записку: «Выполняем срочный рейс. На обратном пути возьмем. По возможности означьте посадочную площадку». На этот случай нарублен штабелек темных ольховых жердей. Аким выложил их на снегу

квадратом. Получилось что-то вроде загона, куда попал почти весь пологий обмысок с кедром и незаторошенная забережка Эндэ — лучшего места для посадки в этом кошкарном, забуреломленном и каменистом месте не сыскать. На той же полуразбитой нарте, у которой сострогало снегом, глызами и пеньями-кореньями полозья до бумажной тонкости, кашляя, отхаркиваясь, вез Аким Элю к месту посадки вертолета. Был он мрачно-молчалив, лица его уже не узнать, так обморожено, что короста наслаивалась на коросту. Но нахохленно сидящая в возке спутница не испытывала уже ни злобы, ни жалости к своему спасителю, да и к себе тоже. Покинув избушку — по ней она передвигалась с трудом, худая, с восковым, желтым лицом, которое голубой пустотой пронизали глаза, она беспрестанно покашливала и громко, с мучительным стоном отхаркивалась в снег густой мокротой, перепутанной кровавой паутиной.

Акиму же хотелось спать. Спать, спать и ничего больше не видеть и не слышать. Как жжет, раздирает водянисто налитое лицо, не слышать, как ломит надсаженные кости, как стоном стонут наспех замотанные грязными бинтами руки. Стариковски согбенный, он едва волок себя и нарту

и, когда достиг обмыска, помог Эле доплестись до кедра, усадил подле огня, в заволочек, сам спустился на корточки и, зажав лицо, качался над огнем.

— Может, попрощаться желаешь? — не отнимая рук от лица, тихо спросил он. — Попутчики все же были…

Эля мотнула головой, соглашаясь или отказываясь, но с места не стронулась, и когда над ними завис и затем опустился в загон небольшой пузатенький вертолет, выдув снег до песка, она все сидела пеньком. Аким помог ей подняться от костра. Медленно, как будто и без радости уже, Эля направилась к распахнутой дверце вертолета, в которую выглядывал молодой, лучащийся приветливостью пилот. Он спустил железную лесенку и, подняв на борт поддерживаемую охотником женщину, сказал: «Добро пожаловать, таежники!»

Ухватив за ошейник легонькую, мышкой трясущуюся собаку, тощий рюкзак за лямки, Аким неуклюже полез в вертолет, стараясь не уронить скулящую, упирающуюся, царапающуюся о металл когтями собаку. Вбросив ее и рюкзак в машину, Аким поискал глазами — куда бы отсесть подальше от спутницы, но сиденья все,

кроме двух, были наклонены спинками вперед, и он воткнул себя рядом с нею на мягкое. Пилот хмурился, собираясь, должно быть, сказать чего-то насчет собаки, но Розка успела вползти под сиденье, втиснулась головой меж ног хозяина, украдкой лизнула его ладонь, не забывай, дескать, меня, и я тебя не забуду, однако Аким ничего уже не слышал, не воспринимал. Он уже спал.

Вертолет затрещал, подпрыгнул, выпрямился и потянул невысоко над лесом, к устью Курейки, взъерошенной на стрежи торосами. Машину покачивало, когда она резко взмывала над вершинами утесов. Молодой пилот, продолжая чему-то лучезарно улыбаться, принес из кабины флакончик с гусиным жиром, потряс за плечо пассажира:

— Эй, друг, намажься…

Аким не отзывался. Лицо его завалилось меж сиденьями, из открытого рта с сипом, с клекотом вырывалось задушенное простудой дыхание.

— Дайте я, — протянула руку Эля и, осторожно, одним пальцем принялась смазывать на еловую кору похожие коросты на лице Акима, гниющие заушины, нос.

— Не жалейте, не жалейте! — кивал пилот на

флакон с мазью и, потоптавшись, крутнул головой. — Ну и прихватило вас! Вы кто? Откуда?

— Долго рассказывать! — Эля вымученно улыбнулась, показывая на потолок грохочущего вертолета. — Нет сил, извините. — И, перекрывая шум, прокричала еще, возвращая пузырек с мазью: — Только разбередила! Спасибо! Большое спасибо! — и тоже отвалилась на сиденье, прикрыла глаза, чтобы пилот скорее отлип с расспросами.

Если бы Аким не спал, он с удивлением обнаружил бы, что летят они не в Туруханск, не в Игарку, тянут они над Курейкой, спрямляя ее криули, к давно заброшенному поселку и садятся на разгребенный в снегу аэродромишко, возле которого одиноко темнеет корявая лиственка с одной лохматой лапой. В лиственке, до загибов вросшие, рыжеют крючья, всверленные еще в тридцатых годах, на них висят прогнутые провода, толсто обросшие изморозью. Они свадебными вожжами держат, не дают убечь, скатиться в реку кособокому бараку, строенному из заплотника, — здание аэропорта срублено тоже в тридцатых годах. Черен, выветрен барачишко, зато новые в нем рамы, подпорки, заплаты, на крыше труба струит дымом из снежного забоя. На лиственке,

на вершине болтается «кишка» с продранным ветрами дном. Поселок на отшибе сбежался в кучу, сгрудился вокруг недавно срубленного помещения с вывеской, и все дома в поселке подколочены, подлажены, подлатаны, дымятся трубами, везде трещат трактора, ходят машины, горит электричество. С удивлением узнал бы Аким, что поселок этот забит до отказа мастеровым, рабочим и инженерным людом.

На Курейке, на пустынной Нуме-Люме люди ладились строить гидростанцию.

Поселковый фельдшер, старомодно учтивый, судя по носу и суетливому поведению, крепко пьющий, осмотрев и обстукав Элю, без провинциального важничанья, простецки-откровенно удивился:

— Парень-то, что в его силах-возможностях было, делал правильно, — и не без гордой значительности молвил еще: — Таежная наука! Ну-с, дела ваши, прямо скажем, неважнецкие. Ни летать, ни ехать пока вам нельзя. С недельку я вас, извините за смелость выражений, в больнице полечу, оживете маленько и, благословясь, домой, к маме, в Москву. А там и пиво, там и мед, миллион врачей живет!.. — Эля кивала головой, выжидая момент спросить про Акима, но сло-

воохотливый, как и многие северяне, фельдшер упредил ее: — Спаситель ваш больниц не признает, лечится таежным способом — гусиным салом, баней, веником…

— И вином…

— Умеренно. — И, куда-то в пространство глядя, думая о чем-то своем, фельдшер добавил: — Э-э, что вино? Лучше воду пить в радости, чем вино в кручине. А парень в тайге был, намерзся, по людям стосковался.

В аэропорт Аким пришел трезвый и скучный. На людях держался скованно, курил почему-то в кулак, смотрел все время в сторону, шмыгал простуженным носом, вытирал его ладонью, но, спохватившись, извлекал серенькую тряпочку, промокал ею облезлую, малиновую кругляшку носа, свертывал по-птичьи голову, пряча в воротник продранного на локтях полушубка то одно, то другое до мяса выболевшее ухо. Озноблённое лицо его поджило, но все еще заляпано серой, на куриный помет похожей мазью, треснутые губы он облизывал, скусывая с них пленки кожи. Выветренный, исхудалый, на свету «пана» выглядел величиной с подростка во взрослой одежде: шапка, полушубок, брюки, сползшие на валенки, — все на нем висело, болталось, заношенный

шарф серой кишкою вывалился из отворотов полушубка. Краснота еще не вся выцвела в глазах Акима, а там, где выцвела, стояло мокро. Ветром отжимало мокреть в углы глазниц, и она бело смерзалась. Весь «пана», такой уверенный, разворотливый, умелый в лесу, не то чтобы жалкий был, а потерянный какой-то, до крика одинокий, всем здесь чужой, никому не нужный.

— Ну что ты куришь и куришь? Век не курил! — не зная, что делать, что говорить, сморщилась Эля, глядя на желтую ветку лиственницы. В сером воздухе, в потухших снегах и пепельном свете дня летела куда-то нарядным крылом солнечная и такая живая ветка — не успев облететь, хвоя осенью примерзла к дереву на сыром ветру, и оттого живою выглядела ветка — она и дым над трубою только и были живые.

— Тебе пора! — тронул Элю за рукав Аким, кивая вслед мимо проходившим пилотам и семенящей за ними кучке пассажиров, в то же время решая: обнять или руку подать Эле? Руку вроде бы неловко — не чужие. Неожиданно для себя перейдя на «вы», он заговорил, ворочая валенком снег: — Извините, если что не так…

— Что ты! Что ты! — погладила Эля рукавичкой по отвороту его полушубка и задержала руку, как

бы поощряя его быть смелее.

— Выражался когда… некультурность, конечно, — стоял на своем Аким, — так што извиняйте за нескромное мое поведение.

Перед тем как уйти, он сунул ей в рукавичку какой-то комочек. Оказалось, то сжульканная, потная от руки пятерка. Эля хотела отказаться, мама, мол, встречает в Красноярске. У нее деньги, одежда теплая, у нее все есть, но язык не поворачивался отказаться от денежки, которую Аким у кого-то перехватил, чтоб в Красноярске она не ездила на автобусе — на такси чтоб, а то продует. Ей теперь надо шибко беречься…

— Ох, Акима, Акима! — Мороз стискивал горло, перехватывал дыханье. — Ох, Акима, Акима! — От самолета махали рукой, но Эля никак не могла заставить себя стронуться с места. Ей тоже хотелось в чем-то покаяться, за что-то попросить прощения, а как это сделать, какие слова сказать — она не знала. Скорей бы все кончилось! Ждала терпеливо, ждала, чтоб Аким ушел первым — ей неудобно первой-то, не мучил бы ее неуклюжей вежливостью, за которой угадывалась пугающая недосказанность. «Ах ты Боже мой! — чувствуя, что сейчас она не выдержит, старомодно упадет ему на грудь и разрыдается, стонала Эля. — Да

что же мы такие одинокие, старые!.. — А губы, сморщенные болезнью, изветренные и тоже шелушащиеся, все повторяли и повторяли: — Ох, Акима! Акима!..»

Внезапно она накололась на его виноватый и в то же время напряженный взгляд, услышала себя и, прикрывшись изожженной, костром пахнущей варежкой, сорвалась, побежала к самолету. И от катыша ли пятерки, от дыр ли на варежках у нее отерпли, занемели пальцы правой руки, на бегу она кашляла, плакала ли в рукавицу — не понять. Вихлясто поднялась по лесенке, все повторяя: «Ох, Акима! Акима!..», в самолете она ткнулась лицом в сиденье, и когда прокашлялась, отдышалась — работали уже моторы, поныривая на неровностях, самолет вислозадой птицей ковылял от избенки с аэропортовским полосатым сачком, выползал из разгребенных сугробов на взлетную дорожку.

Эля приникла к матово-белому стеклу, дышала на него, терла рукавицей. Она упрямо искала глазами Акима, уверенная, что он одиноко торчит на холоду и ветре, средь снежного поля, заранее проникаясь к нему и к себе жалостью, но ни на поле, ни на притоптанной, заплеванной, забросанной окурками площадке никого уже не было.

Сбыв самолет, обслуга аэропорта и всякий другой люд поскорее юркнули под крышу, в тепло.

Что-то или чем-то неприятно задело Элю, она еще раз обшарила взглядом поле, обежала им аэропортовскую избушку, еще раз зацепилась глазами за желтенькую блестку лиственничной ветки. «Ну и ладно! Ну и хорошо!» — дрогнули у нее губы.

В это время самолет выровнял ход, приостановился, распаляя себя ревом, дрожа от напряженности иль страха перед пустым пространством, и Эля встрепенулась, дернулась: от реки, через лог, изрытый траншеями, котлованами под строения, к поселку, сплошь испятнанному ямами под столбы, спешил человек, прикрываясь от ветра воротом грязно-желтого полушубка. «Аки-и-има-а-а! — с упоенной и неясной тоской выдохнула Эля, плотнее приникая к холодному стеклу и смаргивая с ресниц слезы. — Аки-има-а-а!..»

Снег с дороги сгребали бульдозером, наворочали по обочинам пегие хребты, и человек то пропадал за ними, то ненадолго возникал. Сумерки, занявшиеся за тайгой и горами, давно еще занявшиеся, может, осенью, может, век назад, вбирали в себя одинокую фигурку в полушубке, и еще до того, как самолет взмыл в низкое небо,

прячущий лицо в воротник, скорчужившийся на ветру человек, призрак ли, бредущий навстречу себе, растворился в смутном предвечерье.

С ночи не унявшаяся, постоянная здесь пурга, весь снег перетрясшая, что-то еще находила в сугробах, выбивала из них горсть-другую белого буса и тянула белые нитки наискось, через взлетную полосу, через лог, через дорогу растягивала, пряла, сучила их на острое веретено зимы. Снег, пустота, ветер, метель — сколь ни живи здесь, никогда к ним не привыкнешь. Только и согревает людей мечта о весне, о лете, и чем затяжней непогода, чем пробористей морозы и ветра, тем сильнее ждется распогодица, солнце и тепло.

Нет мне ответа

Никогда Ничего не вернуть, Как на солнце не вытравить пятна, И, в обратный отправившись путь, Все равно не вернешься обратно. Эта истина очень проста, И она, точно смерть, непреложна. Можно в те же вернуться места, Но вернуться назад Невозможно…

Николай Новиков

Всякий раз, когда улетаю из Красноярска и самолет, уцеленный носом в пространства, подрожит, понервничает, доведет себя до ярости, взревет диким жеребцом и рванется с Покровской горы, я озреваю родные места. Судьбе угодно было сделать мне еще подарок — пролетая по скалистому коридору Енисея, самолет иной раз проходит над моим селом, и мне почему-то всегда кажется: вижу я его в последний раз и прощаюсь с ним навсегда.

Но пока сверкнет зеркально навстречу река, прочертится ниточка бон от Усть-Маны до Базаихи, зачернеют карандашики бревен, впаявшихся в стальную твердь воды, и наплывет родное село,

я провожу взглядом город, который становится шире, многодомней, шумней, дымней и чужеватей мне. Странное совпадение, но первые мои отчетливые воспоминания об этом городе связаны с рыбой! Там, где сейчас центральная площадь города и вечерами горят на ней шикарные светильники, гомонил когда-то, скрипел мерзлыми санями, гремел кованными телегами базар, обнесенный деревянным забором, побеленным известкой, и всякая телега, коснувшись того забора, показывала, что земли кругом черные.

Людны, обильны были здешние базары! Народ съезжался, будто на праздник. Дешевизна тут утвердилась издавна. Приведу несколько выдержек из книги Петра Симона Палласа, имевшего титулы: «Медицины доктора, натуральной истории профессора, Санкт-Петербургской императорской академии наук и Вольного экономического общества, Римской императорской академии, Королевского Агленского собрания и Берлинского естествоиспытательного общества члена…»

Профессор Паллас побывал в 1772 году в Красноярске, и, отметив, что «нет почти другого места, где б воздух был так в беспрестанном движении, как здесь», маститый ученый переходит

к экономическому обозрению губернии: «Вокруг Красноярска чем более урожаю, тем жить дешевле, да я и совершенно уверен, что хотя в благополучной сей империи России нет ни одного уезда, где б на дороговизну жаловаться было можно. Однако ни в которой части сего государства земные продукты так дешевы не находятся, как здесь… О всеобщем недороде, кроме обыкновенно хорошей жатвы, здесь не знают и примеру… Красноярские жители знатную при том прибыль получают с островов, по Енисею лежащих, особливо около Абаканска и выше, где множество растет дикого хмелю, за которым многие осенью туда ездят и, сплавив на плотах в город, продают от пятидесяти копеек до рубля за меру. (Пуд ржаной муки стоил в ту пору две копейки, пшеничной — по четыре с деньгою.) По большей части с лучшей прибылью отвозят его (хмель) в Енисейск, Иркуцк и по другим местам, по Тунгуске, где хмель не родится. Изобилие его и дешевизна хлеба подают красноярцам повод ко всегдашнему содержанию бражки и быть веселеньку».

«Быть веселеньку!» — желание сие, укрепляясь в пути, пробилось сквозь толщу времени. Шумел базар, гулял базар, и не хватало на нем рядов. Тор-

говля с возов, на берегу — из барж и лодок, рыбу продавали бочками, попудно свежую и соленую, вяленую и копченую, мороженую и сушеную, красную и белую, «низовскую» и «верховскую», большую и маленькую — на всякий вкус и спрос.

Но сражен я был не базаром, не изобилием и многолюдством его, а бурой скалой, что стояла в рыбном магазине, и под скалою, слабо со дна освещенная, плавала живая стерлядь. Рыба, плавающая в дому, — это не для рассудка деревенского дитяти! Магазин тот и сейчас стоит там же, где стоял, на проспекте Мира. Был он прежде потеснее, потемнее нынешнего, шибко кафельного, с холодильными установками, с нарядными витринами, без постоянной рыбной вони в помещении, ибо в нем и рыбы нет.

Даже и не верится, что это тот самый магазин, где царственно плавала живая рыба и запыхавшийся чалдон, уцелив глазом стерлядь, решительно указывал перстом: «Энту!» Мужчина в кожаном фартуке, с долгой папироской во рту, тут же отзывался: «Эту дак эту», цеплял сачком стерлядку и заваливал ее на весы. Рыбина протестующе бухала по тарелке хвостом, мужик в фартуке норовил ее придержать. Покупатель в протест: «Э-э! За пальцы не плачу!» — «Вешай

тоды сам!» — продавец отымал руку. Стерлядка плюх на кованый прилавок, шлеп на пол и ворочается, валяется. Продавец, в порядке протеста, на ящике сидит, нога на ногу. Народ в ропот, покупатель в отступ: «Уж и слова не скажи! Я ить не от сердца…» — «А от ково тогда? Я знаешь скоко этой рыбы перевидал? На Хатанге, на Хете бывал, в Карских водах…» — «Дак известно, худого человека за прилавок не поставят». — «Но и мошенники середь их попадаются тоже!» — «А где их нету, мошенников-то?»

Труда, и немалого, стоило бабушке выманить меня из сказочного рыбного магазина, тем только и взяла она, что сахарно-мороженого посулила, кругляшок о две половинки: внизу земляничный, сверху козырем — белый, сладь, аромат, холодочек так вот тебя всего и пронзают, от языка до самой дальней кишки. Против этакого лакомства и нынешние, балованные ребятишки не устоят, а где уж голоштанной деревне?! Я и пробовал-то мороженое в детстве всего несколько раз, когда попадал в гости к дяде Кольче-старшему.

Весной тридцатого года дядя Кольча-старший сколотил салик, погрузил на него барахлишко, приставил к передней потеси бойкущую жену Талю, сам ударил кормовой и отбыл из села. Обос-

новался он в городе за речкой Качей на улице Лассаля, где строились в ту пору все, кому хотелось и как хотелось, и песню тогда же сложили: «Я на Качу еду — плачу, с Качи еду — веселюсь!..»

Все менялось вокруг, бурливо двигалось вперед, лишь дядя Кольча-старший никуда больше не двигался и не менялся, как жил натуральным хозяйством в деревне, так и продолжал жить: корова, конь, свинья, куры, собака, телеги, погребы, заплоты; даже ворота задвигались на ночь завориной, и в избе была деревянная заложка. Рубахи носил дядя Кольча на косой ворот, шаровары на пуговицах, не пустил ни одного городского слова в обиход, только сделался с годами обликом и в голосе грустен да шибко изворотливым стал. Тетя Таля провела свою жизнь на базаре, реализуя продукцию личного хозяйства. Жили супруги чудно: торгуют, выжимают каждую копейку, прячут друг от друга деньжонки, да ка-ак загуляют! Широко, шумно — и все накопленное прокутят.

Тетя Таля числилась за Качей кем-то вроде прокурора. Она тут знала всех, и все ее знали. И не раз случалось: вытащат у кого деньги или что ценное с возу унесут, торговый люд советует обратиться к Онике — так звала любимая крестница тетю Талю и так кликала ее на базаре.

Идет пострадавшая по-над Красным яром, к которому притиснута одним боком улица Лассаля, вопит о пропаже, тетя Таля в соображенье: «Так-так-так! Да не ори ты, не ори! Скоко денег-то было? Четыре ста?! Где ты экую прорву денег взяла? Корову продала! Вот дак молодцы! Укараулили дыророту! Где деньги лежали? В боковухе? Во что завязаны были?» — «В платок». — «Булавкой прицепляла?» — «Прицепляла». — «Ну дак это Толька Прищемихин! Он, он, собака! Из-под булавки ни Чужовским, ни Цигарям, ни Худоухому не взять. Нет, нет, девка, не взять! Толька это. Толька! Золотые руки! Любой ему замок, механизм ли нипочем, об кармане и разговору нет. Спец! Ох спец! Погоди-ка, девка! У нас «Марея» с Севера ковды пришла?» — «Третьеводни». — «Стало быть, не вклепалась я. Гляжу, знакомый парень по базару шастат. Здравствуй, говорю, Толька, думаю, или не Толька? Ему еще год отбывать. А он в мокром забое волохал. Зачеты. Вот и прибыл, не убыл! Ах ты, вредитель народа!..»

И отправлялась тетка Таля по известному ей адресу.

«Толька дома?» Мать-горемыка сморкалась в передник: «Куда он деватца? На сарае спит». — «Пьяный пришел?» — «В дымину. И кустюм на

ем новый, и хромовые сапоги. Опять, говорю, за старое? А он меня с большой-то матери...»

Тетя Таля поднималась по шаткой лестнице на сеновал, дергала дверь. «Толька, а Толька! Ну-ко, вставай-подымайся! На зарядку отправляйся!» — «Чё те, тетка Оника?» — «Ты взял вчерась четыре ста?» — «Ну, взял, а чё?» — «А то, что у своих берешь, бессовестная морда! Это Агафья Заварухина из Базаихи, племяннику Гешки Еловских свояченица». — «Кругом родня! Скоро и щипнуть неково будет!» — «И не щипи! Занимайся честным трудом! А нет, дак поезжай на злобинский базар или еще куды подальше!» — «Есть ковды разъезжать? Душа изнылась, жгучей жизни просит!» — «Скоко пропили?» — «Было время шшытать». — «Давай суды. Я сошшытаю».

Садились рядом на лесенке — закачинский «прокурор» и заспанный, насупленный щипач, пройдоха и драчун. Босой и мятый, он почесывался — сеном накололо, щурясь, глядел на Покровскую гору, на одиноко в выси плавающую часовенку. На лице его, черченном «мойкой», чувства вины и раскаянья отсутствовали.

«Ах вы, собаки, собаки! — хлопала себя по юбке тетя Таля. — Вот дак погуляли! Семьдесят рублей уторкали и не захлебнулись! Вот чё значит не

свое! Швыряйся, рассевай по ветру!» — «Чё теперь делать-то?» — «Чё делать, чё делать? На вот для круглого счету тридцатку — похмелись, да этим-то местом думай, у кого брать! — бренчала тетя Таля кулаком по «котелку» щипача. — Я покуль из своих вложу…»

И отправлялась тетя Таля к Агафье, родне чьей-то родни, чтобы с миром отпустить ее из-за Качи. Агафья оземь лбом, «прокурор» ей назидание: «Другоредь рот-то ширше отворяй!..»

Еще до войны базар из центра города оттеснили под гору, к самой Каче, и жизнь тети Тали значительно облегчилась. Она там пропадала с утра до вечера, стойко биясь за каждую копейку, дядя Кольча добывал корма, обихаживал скотину, развозил по уличным торговым точкам с пивзавода квас и пиво, за что на заводе ему выписывали барду и отходы для скота, а торговки, все наперечет знавшие его, до того «накачивали» на своих «точках», что к вечеру он уже отдавался на волю коня, и тот свозил хозяина под гору, домой. Больше десятка лет уже покоится дядя Кольча на Покровском кладбище, а тетя Таля все не может без него. Волоча опухшие ноги, поднимется в гору, покрошит хлеба, яичка на могилку, польет землю кваском, сама пожует чего-нибудь и ска-

жет: «Ну вот, и поели мы с тобой, Коленька».

Умер старый базар и нравы его, но жива старая Кача и закачинская «Нахаловка». В позапрошлом году, заблудившись за Качей, я встретил женщину, которая ревмя ревела, отыскивая какую-то контору, и не только не нашла ее, но и надежду потеряла выйти из здешних закоулков и лабиринтов, из скособоченных хибар и домишек.

Мы пошли с той женщиной меж высоких заплотов по натоптанной тропе, попали в чей-то огород, из него во двор, где старуха варила кашу на печке-времянке, подле ползал ребенок, пурхались куры. Перемахнув через перила, увезенные из центральной части города на изгородь и еще хранящие красные и желтые полоски, мы уже слышали близко улицу Брянскую — так ныне зовется бывшая Лассаля, как вдруг оказались в тупике. Женщина полнилась негодованием, но тут обнаружилась оторванная доска. Мы ее отодвинули и оказались в ограде, среди которой безмятежно спал парень в нейлоновой рубахе, его обнюхивал и облизывал здоровенный пес. Увидев нас, пес поначалу оторопел, не веря своим глазам, что вот мы своими ногами притопали развеять скуку его быта, и, не рыча, а со сладострастным заглотом всхлипнув, он покатил

кольцо по натянутой проволоке, на ходу поднимая шерсть на загривке, оскаливая желтые зубы, дабы дать нам и всем понять, что к службе он приставлен не напрасно.

Встретив меня, тетя Таля засуетилась, но больше уж руками да языком, ноги худо действовали, однако стопку водки в полстакана объемом хлопнула в честь гостя и поцеловала донышко с закоренелой лихостью: «Знай наших!»

На дворе ни скота, ни живота, даже собаки нет. Трава по двору пошла и березник. Навозил дядя Коля с сеном семена. Они лежали в земле, притоптанной скотом, и вот взошли и ну расти, ну буйствовать! Девять берез, одна краше другой, самосевки — деревца крепче саженых. «Душа Коленькина белой березой взошла!» — роняя слезы, говорила тетя Таля.

Той минутой в голове у меня возникли строки малоизвестного, трагически кончившего свой путь поэта Алексея Прасолова — его ценил и печатал Твардовский: «Что значит время? Что пространства? Для вдохновенья и труда явись однажды и останься самим собою навсегда».

…Как долго кружила моя память над городом, а лету — минуты. Чуть было станцию не прозевал, и не столь уж станцию, сколь блокпост. Вроде бы

не у места, лишне торчит он и белеет среди перевитых меж собою сверкающих железнодорожных ветвей. Но самое это нужное, самое необходимое помещение — сердцем станции был когда-то блокпост. В нем пульсировали живой кровью тока, переливались сосуды, трепетали, музыкально позванивали струнки проводов, моргали на щитах лампочки то зловеще красным светом, то лесным, зеленым глазом лешего, то мертвенно-белым, то фиолетовым, привычным нашему брату, будущим маневровым работникам. Перемигивались сигналы, гудели, пощелкивали, попискивали приборы, приборчики, с грохотом перекатывались рычаги блокировки, ползали серыми змейками никем вроде бы не управляемые тросы и тросики — туда-сюда, туда-сюда. И то весело, с шуточками, то раздельно, с металлическими, властными нотками в голосе командовал в селектор диспетчер, ни с того вроде бы ни с сего взрывался, зачем-то оборачивал фуражку задом наперед: «Ну, шестнадцатый! Ну, шестнадцатый! Ты у меня достукаешься! Сейчас же чтоб тысяча второй был подан на девятую! А с девятой — это тебе в наказанье! — заберешь порожняк! Угля нету? Заправляться пора? А мне хоть на пегой паре порожняк вынь на горку! Вынь, и все! Все,

все!» — и водворял фуражку на место.

Любезная сердцу, напряженная жизнь товарной станции, работа военного периода…

«А кто, орлы, на мелькомбинат?» — перед фэзэошниками-практикантами, навалившимися спинами на теплые, банно шипящие батареи и сплошь в тепле закемарившими, с пятки на носок, с носка на пятки раскачивался диспетчер, и вид у него такой, будто он держал за спиной булку с маслом. Мы все разом вскакивали и руки по швам. Рты наши распялены счастливой улыбкой потому, что поездка на мелькомбинат — подарок, да еще какой! Там, пока на стрелке скидывали и подбирали порожняк или пломбированные «пульманы» с мукой, мы успевали пшеничкой полакомиться либо лепешкой, которые непрерывно пеклись на железной печке в будке стрелочника из наметенного в вагонах мучного буса.

Мимоходом, мимоездом ныркий фэзэошник насыпал зерна в заранее прорванные карманы бушлата, заранее же ведая, что при выезде его обыщут, вытрясут вахтеры всю лопотину, с досады пинкаря отвесят. Но вахтеры — тоже люди. У них где-то на кого-то тоже учатся, воюют свои «робята», и они, как бы изнемогши в борьбе с

нами, на самом-то деле надеясь: добро добром отзовется, и «робят» их тоже кто-нибудь попитает, плюнут, матюкнутся, пнут еще разок — для воспитания и где-нибудь — за швами в бушлате, в нагрудных карманах или пришитом к ширинке кошельке «не заметят» зернышек. Вечером мы жарили пшеницу на каленых общежитских вьюшках, бодро хрустели зерном, передразнивали вахтеров, вспоминая, как мы их ловко надули и как еще ловчее надуем в следующую поездку.

Вот он, мелькомбинат, под самым самолетом. Впились в гору серые кубы, колена, трубы, и во дворе-то, во дворе маневрушка суетится, да с трубой! Нет ныне маневрушек-паровозов, а эта выжила, дымит, свистом попукивает, будто мыльные пузырьки выдувает, два продолговатых и один кругленький. Это что же? Один длинный — вперед, два длинных — назад, два коротких — постопори, тише едь. Или наоборот: один длинный — назад, два длинных — вперед? Забыл сигнализацию. Проходит жизнь, тускнеют ее приметы. И бараков нашего ФЗО нет. На скорую руку они строились, с насыпными стенами. Сопрели. Некрасивые они были, вот и смахнули их с земли. Взамен отгрохали современные бараки, многоэтажные, сплошь серые.

Так-с, пока на мелькомбинат пялился, ФЗО вспомнил, чуть не прозевал Гремячий лог, в котором отшумела речка — была и нету!

Ушла под крыло самолета, мелькнула горбина горы с сияющими новизной, голыми какими-то, неприютно чужими здесь домами Академгородка. Впереди пластушина острова, будто зеленая коровья лепеха, плюхнутая средь реки, но взгляд почти не задерживается на нем, глаз торопится к тому месту, при виде которого всегда слабеет во мне сердце.

Шалунвей — Шалунин бык, обколотый взрывами, будто затасканный в кармане кусок сахара, — здесь было последнее мамино пристанище.

Говорят, что человеческая душа жива и бессмертна до тех пор, пока есть в оставшемся мире тот, кто ее помнит и любит. Не станет меня, и мамина душа успокоится, отмучается наконец, потому что мучается она не где-то там в небесах, мучается во мне, ибо есть я — ее продолжение, ее плоть и дух, ее незаконченная мысль, песня, смех, слезы, радость.

Высоко летим, и уже не зрением, дном его чую я бугорок неподалеку от устья Большой Слизневки, заросший мелкою густою травкой, — стекает к Малой Слизневке, как и прежде, отблескиваю-

щая Лысая гора.

Над Большой Слизневкой, по гриве и по сопкам — сплошь горельник. Жизнь доживаю, а не бывал на Слизневской седловине, и бабушка моя, и дедушка, и все мои селяне не бывали там. Грибы-ягоды — они и внизу всегда росли. Лес на скалах не рубили. Самой природой назначено красоваться желтоталовому, жаровому сосняку со стройными стволами в синем поднебесье. Но тренированные в спортзалах, пустоглазые транзисторщики забрались на скалы, погуляли, повеселились и для полноты ощущения пустили по горам пал.

На яру, разжульканном гусеницами, возле Малой Слизневки еще год назад торчали два зябких тополя — все, что осталось от Касьяновского кордона. Здесь был единственный на всю округу сад, наносил его из лесу чудаковатый человек по фамилии Лапунин, привозные в том саду были лишь тополя. Рьяные трактористы своротили их в реку гусеницами, просто так, от нечего делать, и даже не оглянулись, не увидели, не услышали, как предсмертно хрустят, безгласно вздымают обломанные лапы добрые, нездешние деревья, дававшие приют птицам и детям, тень саду, прохладу дому, красоту реке.

Вот и родное село. Но пока еще не заслонило корпусом самолета то, что впереди и внизу, я поворачиваюсь направо, отыскиваю взглядом косую ниточку распадка Караульной речки, вдетую в острую иглу залива, пытаюсь увидеть избушку бакенщика, в которой ныне обитают городские дачники, насадившие вместо картошек петрушку, укропчик, корень ревень, турецкие ромашки, гладиолусы.

В конце пятидесятых годов смерть унесла братана Мишу и его верную подругу Полину. Почти разом остались ребятишки без матери и отца, и принял семью на широкие плечи вернувшийся из армии сын Миши — Петр. По глади реки ползет серая козявка с белым подгузком, за нею двоится росчерк, катерок не катерок, лодка не лодка, с крытым носом и узкими оконцами, трещит на весь Енисей, переправляя с раннего утра и до позднего вечера двигающийся туда-сюда люд. Правит этой машиной конопатый, хваткий, на Полину похожий мужик. «Петька! Ешь твою вошь! — ругаются овсянские мужики. — У нас курицы нестись перестали из-за твоей трещалки!» — «У вас бабы родить перестали, дак тоже моя моторка виновата?!»

Тень, летящая впереди самолета, скользнула по

старым, деревянным, и новым, шиферным, крышам. Раздалось село Овсянка. Два новых поселка на увалах возникли. Строители ГЭС оставили на память селу деревообрабатывающий завод — основное предприятие на три поселения.

Растянувшееся вдоль реки село перескреблось через светлые струны железной дороги, паутинку шоссе, грибными плотами высыпало на первый увал и замешкалось, приостановилось перед покатым склоном Черной горы. Берег реки с непрерывающейся почти загородью кажется подрубленным на швейной машинке. С мушектаракашек величиною виднеются на улицах и на берегу мотоциклетки, моторки, машины. Я поискал взглядом старый бабушкин дом, в котором обитает ныне тетка Апроня, да где же найти его с такой высоты? Мал он, крыша перекрыта, двор заужен, огород от леса обрублен казенными дорогами, сжат с боков новыми усадьбами. Во-он в квадрате одной загородки метлячком белеется бабий платок. Я потянул спутника к окну, указал пальцем вниз, сказал, что это лёлька, тетка моя Апроня редиску полет. Отчего-то не рассмеялся моей шутке спутник, лишь грустно покачал головой.

Взглядом отыскал я квадратик кладбища воз-

ле Фокинской речки. Неизменный, живой друг нашего стремительного детства, место игрищ и забав — Фокинская речка летами ныне не течет — ее разбирают шлангами по огородам. В полдень путь речки угадывается лишь по грязной борозде и бледным, вымытым из земли камешкам. Ночью речка еще выдавливается из лесов живой струйкой и, крадучись, тихонечко ползет поперек села к Енисею. Кладбище тоже «не работает», зарастает лебедой, жалицей — покойников ныне возят на Усть-Ману.

Мана! Я поискал глазами рыжий гребешок Манского быка. Нету! Гидростроители смахнули. И сама красавица река ощетинена торосами сплавного леса. Через Ману проложен мост. Когда в устье реки бурили грунт под опоры, на восемнадцатиметровой глубине попадалась в пробы древесина. Утопленный и зарытый лес, все больше лиственница — она в воде почти не гниет. Может, потомки благодарить еще нас будут за хотя бы таким вот хитрым образом сделанные для них запасы древесины? Прощай, Мана! И прости нас! Мы истязали не только природу, но и себя, и не всегда по дурости, больше по нужде…

Самолет качнуло, повело на правое крыло. Промелькнул оголившийся Манский шивер,

прочеркнулась и отрябила в распадке речка Минжуль, наплывали малахитово застывшие перевалы гор, по подолью которых ступенчато выстроился новый красивый город. Вот-вот возникнет плотина гидростанции, я не вперед гляжу, я выворачиваю шею, чтоб еще хоть раз увидеть остающееся за хвостом самолета родное село и Усть-Ману, да загустела синь за бортом, взрывами замелькали под утюгом самолетного брюха облака. Забирая правее, выше, мчался самолет, оставляя по левому крылу в разъятой голубизне небес леса и горы, родимый Енисей, берега которого отсюда, с пугающей высоты, как в древности, видятся нетронутыми, девственно чистыми, погруженными в мохнатую тишину. Лунными серпами там и сям просекает тайгу Мана. Все так покойно, величаво, но отчего же на сердце гнетущая тоска и горькая тревога?

За день до отлета земляки сговорили меня и моего друга посмотреть речку Бирюсу и гидростанцию. Я видел последний раз гидростанцию еще недостроенной, облепленную человеческим муравейником и поразился теперь ее безлюдью, и подумалось мне, что предприятия будущего сделаются еще более обезлюденными. Оторопь наваливается на человека, привыкшего к ар-

тельному, шумному труду, охватывает чувство малости, ничтожности своей. Первый раз такое козявочное чувство посетило меня в зале синхрофазотрона и вот возобновилось на гидростанции.

На пути к Бирюсе, за плотиной, в старом-старом, бездымном пароходе, киснущем в киселе плесневелых водорослей, я с трудом узнал старикашку «Спартака», приспособленного под брандвахту. Много в жизни переживший грустных встреч, могу сказать, что это была не просто грустная встреча, это были минуты подведения своего итога, та черта под закатным периодом жизни, о которой подозреваешь, но как-то ухитряешься ее отдалить, не думать о ней, и вот неизбежное и скорбное самому себе признание: «Да-а-а, старимся!..»

По водохранилищу не плыли — летели на полуглиссере.

Дурная молва велась в наших местах когда-то о речке Бирюсе. Леших, водяных и прочей нечисти водилось на ней видимо-невидимо, отбивало у многих желание здесь охотиться и рыбачить! А вообще-то, сказывали, речка богатющая, красивая. То, что увидели мы на Бирюсе, даже затопленной, в плесени замзгнутой воды,

не поддается описанию. Дух захватывает от неповторимой, воистину колдовской красотищи!

Есть на Бирюсе одна скала особенная. Верстах в десяти от устья Бирюсы, наподобие полураскрытой книги, тронутой ржавчиной и тлением времени, грузно стоит она в воде. На одной стороне скалы, на той, что страницей открыта в глубь материка, древним ли художником, силами ль природы вырисовано лицо человека — носатое, двуглазое, со сжатым кривым ртом: когда проходишь близко, оно плаксиво, а как отдалишься — ухмыляется, подмигивает, живем, дескать, творим, ребята!..

— Вот она!

Я вздрогнул и очнулся. Пассажиры в самолете приникли к окошкам, не отрываясь смотрели на отдаляющуюся гидростанцию. Они любовались творением своих рук.

Переменилась моя родная Сибирь. Все течет, все изменяется — свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет.

Всему свой час и время всякому делу под небесами:

Время родиться и время умирать;

Время насаждать и время вырывать

насаженное;

Время убивать и время исцелять;

Время разрушать и время строить;

Время плакать и время смеяться;

Время стенать и время плясать;

Время разбрасывать камни и время собирать камни;

Время обнимать и время избегать объятий;

Время искать и время терять;

Время хранить и время тратить;

Время рвать и время сшивать;

Время молчать и время говорить;

Время любить и время ненавидеть;

Время войне и время миру.

Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа.

1972–1975